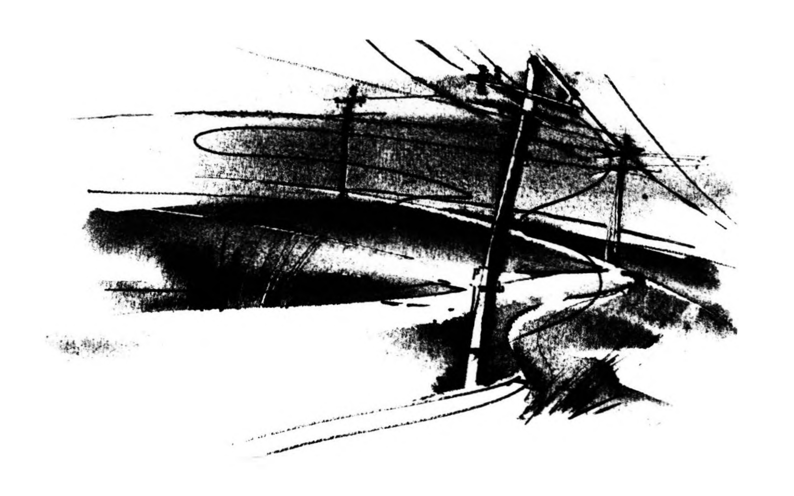
Лауреат премии
Александра Солженицына
2008

БОРИС ЕКИМОВ

НА ХУТОРЕ



БОРИС ЕКИМОВ

НА ХУТОРЕ

ПОВЕСТВОВАНИЕ

В РАССКАЗАХ

МОСКВА

2010

УДК 821.161.1-3
ББК 84Р7-5
Е45

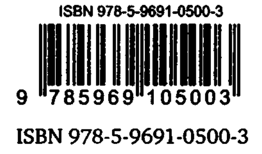
*Издание осуществлено при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы «Культура России»*

Оформление и макет
Валерий Калныньш

Екимов Б. П.
На хуторе: Повествование в рассказах. — М.: Время, 2010. —
Е45 464 с.
ISBN 978-5-9691-0420-4 (общий)
ISBN 978-5-9691-0500-3 (т. 1)

О творчестве замечательного русского прозаика Бориса Екимова написано много, но, возможно, самым емким высказыванием стала формулировка премии Александра Солженицына, которой он был удостоен в 2008 году: «За остроту и боль в описании потерянного состояния русской провинции и отражение неистребимого достоинства скромного человека; за бьющий в прозе писателя источник живого народного языка». В двухтомник вошли лучшие рассказы и очерки Бориса Екимова, каждый из которых заставляет читателя сопереживать и думать.

ББК 84Р7-5



ISBN 978-5-9691-0500-3

НА ХУТОРЕ

ПОВЕСТВОВАНИЕ
В РАССКАЗАХ

ЗА ТЕПЛЫМ ХЛЕБОМ

В пять утра зазвенел будильник, но загодя, прежде его петушиного гласа, встала бабка. Она уж из печи выгребла и затопила ее, когда затрещал будильник и поднялся со своей кровати дед Архип.

— Ну, как там, не потеплело? — спросил он.

— Не чутко, — со вздохом ответила бабка.

Дед Архип валенки надел, стеганку и вышел из дома. В первую минуту, с избяного тепла, ему показалось, что на улице теплее вчерашнего.

Еще стояла глухая ночь. Чернели по белому снегу базы да сараи. Студеное небо светило просяным звездным инеем, а посреди — одинокая Жарничка горела льдистым огнем.

Архип пошел на улицу. Перед самыми воротами дорожка была переметена рыхлым снегом. Значит, не во сне, а наяву гудел ночью ветер. И теперь дорогу на станцию тоже перемело, и утреннего автобуса не будет. Зябко поеживаясь, Архип заспешил домой. А в доме печь уже гудела ровным огнем.

— Дюже тепло? — с усмешкой спросила бабка. — Телешом можно?

— Да потеплее... — неуверенно ответил Архип.

— Не бреши... — мягко укорила жена. — Вон на окошке вторые шипки позамерзали, а у тебя все теплеет, под носом. Уж не ездил бы, переждал погоду. Да и праздник завтра. Добрые люди в праздник по домам сидят, не шалаются.

— А тама будут нас ждать? — указуя коротким толстым перстом в потолок, спросил Архип. — Пока мы отпразднуем? Да пока потеплеет? Тама тогда народу налетит... Туча черная... Тришкина свадьба...

Бабка в ответ лишь вздохнула.

— Вот так-то... — закончил Архип. — Надо сбираться, ехать. На автобус я уж не рискую. Вчера не было, а ныне и подавно. Уж развиднеется, тогда тронусь. Пойду дозоревывать.

И Архип снова забрался в постель. Он уже вроде не спал, просто подремывал, временами проваливаясь в зыбкое

забытье. И тут же возвращаясь в явь. «А может, и пойдет автобус, — думалось ему. — А я разлеживаюсь. Сейчас уже, гляди, на центральную пошел. Крутанется — и назад. Добрые люди уедут. А может, и не пойдет. Вчера и в тот день не ходил, а нынче и вовсе мело...»

Хутор, где жили дед Архип с бабкой, лежал в тридцати километрах от райцентра. По летнему да сухому времени были те километры недалекими, тем более что дважды в день, утром и вечером, пробегал через хутор маленький шустрый автобус. После легкого дождя автобус ходил лишь по грейдеру, боясь увязнуть в хуторских колдобинах. Но то еще была не беда: до грейдера и пешком можно добраться, четыре версты всего. А вот непогода напрочь обрезала крылья. Осенняя ли, весенняя долгая грязь, зимние глубокие снега да переметы становили автобусы на прикол. И тут уж выбирайся, как говорится, своим средствием. А лучше всего — сиди и не рыпайся.

Деду Архипу сидеть было никак нельзя: топка поджимала. В прошлом году он угля не достал и нынче дожигал остатнее. И совсем было приготовился на дровах зиму бедовать, когда узнал о постановлении. Сначала в конторе услыхал, а потом газеткой раздобылся. В газете все было написано так, как и добрые люди говорили, льгота выходила бывшим фронтовикам, облегчение в жизни. И в конце напрямик было написано: «проявлять постоянное внимание». Эти слова дед Архип теперь уже наизусть помнил.

Почитал старик газетку, с бабкой и другими людьми посоветовался и решил: надо в район ехать и топки себе добиваться, пока закон вышел. Был он хитрым политиком и решил не откладывать, а, как сказано там, прямо с нового года идти, не тянуть. Кто рано встает, тому Бог дает, и кто раньше спохватится — легче будет.

Первые дни января Архип годил, давая людям отпраздновать да после праздника похмелиться. А потом завернул мороз с ветром, дороги в низинах перемело, и вот уже третий день не было автобуса. Два раза ходил Архип на грейдер, но попусту. Ждать было больше нельзя. И сегодня накрепко решил Архип домой с грейдера не ворочаться.

Хоть на чем да уехать. Дело было нешуточное: без угля зимовать тяжко.

Потому и не стал Архип рисковать в потемках, к утреннему автобусу спешить. Автобус — дело ненадежное. А с центральной усадьбы машины не раньше десяти пойдут. К тому времени можно и закоченеть.

Время подошло к семи. По радио из области начали последние известия передавать. Архип уши навострил, голос у приемника поубавил, чтобы бабка не слыхала. «По северу области до тридцати...» — наконец обрадовала дикторша. «И-и, глупая, — попенял ей дед Архип, — заталдычила одно...»

— Чего там бубнишь? — спросила бабка. — Сколько объявили?

— Чего сколько? — притворился непонимающим дед Архип.

— Не придуряйся... Про погоду чего сказали?

— А-а, слухать их... — пренебрежительно ответил дед Архип. — Они здеся были, на хуторе? Видели они нашу погоду? Сидят черт-те где, в тепле поустроились — и брешут.

— Померзнешь на сухарь, — вздохнула бабка.

А деду Архипу вдруг иное пришло на ум: вспомнил он про котец. Вспомнил и начал собираться.

— Лежу, как сом на икре... И ты мне не подкажешь. Котец-то непроверенный. Так бы и умелся. А с нашими ребятами... Такие провалы, враз обчичекают. Из такого-то котца.

«Котцами» называли ловушки для рыбы, что ладились в низах, на речке. Во льду их рубили. У деда Архипа котец был большой. Для рыбы и людей привлекательный.

Архип быстро оделся, легкую пешню взял, мешок да черпало и подался к речке. Дорожка от базов, по меже, к саду и речке была протоптана в глубоком снегу канавой. Но теперь, поутру, после ночного ветра, замело ее наискось, а то и напрочь легким снегом.

До солнца было далеко, лишь смуглился восток. Но уже развиднялось. Мерклые звезды еще светили, и ясно глядела луна. Деревья садов и кудлатые старые вербы по обережью лежали в сизоватом дымчатом инее. Словно дышали дерева, и тут же морозом схватывалось их теплое дыхание.

Архип спустился к речке, подошел к своему котцу, размахнувшему камышовые «крылья» к самым берегам. Валенком осторожно он сдвинул снег с крышки котца. Но можно было не опасаться, за ночь на добрых три пальца льду намерзло. И сразу Архип увидел: есть рыба. Темное что-то ворохнулось подо льдом, большое. Архип быстро обдолбил котец, черпалом отбросил лед. И крупная, чуть не в размах величиной, щука заплескалась в темной воде. Черпак был мелковат и щуку не брал. Но старик изловчился и выбросил рыбину на снег, с радостью почуяв тяжесть ее. Щука дважды плеснулась, сгибаясь в колесо, и замерла черным поленом. Старик выцедил еще двух красноперок да окунька, подчистил котец, сложил добычу в мешок и заспешил домой, бабку обрадовать ухой и жаревом к празднику. А в доме уже кипели щи, мяса кусок бабка обжарила с картошкой, налила самогонки.

— Ну и как? Може, обдумался? — спросила она у вошедшего старика.

— Обдумаешься... — передразнил ее Архип. — Гляди, какого тебе анчихриста припер. Давай чашку.

Щука скользнула из мешка в подставленный таз, колом легла поперек, выставив большое, белое, пятнистое брюхо.

— Ху-у... — брезгливо сморщилась бабка. — Чистая гадюка. В сенцы ее, нехай замерзнет, а то биться начнет.

Архип наскоро умылся, сел к столу. Бабка принесла с печи в полотенце завернутый горячий хлеб. Привозили хлеб на хутор редко, особенно в непогоду, но люди приспособились. Черствую буханку заворачивали в полотенце, в широкую кастрюлю воды наливали, ставили миску, а в нее хлеб. Вода в кастрюле кипела, под крышкой хлеб отпаривался, становился волглым, мягчел.

Выпив стаканчик самогонки, Архип принялся щи хлебать. Жена сидела рядом, вздыхала.

— Ныне-то уж не вернешься... — сказала она.

— Дал бы Бог добраться. А на ночь-то глядя... Уж завтра.

— У Василия ночуешь?

— А где же...

— Сон мне нынче привиделся, а к чему — не приложу, — задумчиво сказала жена. — Маму видела. Мама хлебы печет.

Вынимает, хороший такой хлеб, чую, сладкий, и так мне хлебушка хочется. А она не дает. Я прям слезьми кричу: мамушка, родная, ну, дай хоть кусочичек, хоть чудок. А она не дает. А мне так хочется... Такой у него дух, прям донельзя сладимый. Почему не дала? — спросила бабка. — Либо чем обидела ее, не так помянула? Прям в голову не возьму.

— Солонечиху поспрошай, — усмехнулся Архип, — она разложит.

— Придется, — всерьез ответила жена. — Ты дюжей ешь. Щи и мясо. Я тебе и самогонки для этого дела влила. Дюжей наедайся, а то померзнешь.

— Не замерзну, — успокоил ее Архип. — Как пододенусь, нехай тогда...

Оделся он, как всегда, по-зимнему, по-стариковски: теплое белье, телогрейку и ватные брюки, валенки, овчинные рукавицы. Но теперь, в дорогу, он надел поверх всего зеленый плащ-болонью. Его когда-то сын за ненадобностью бросил. Но старикам плащ пришелся по нраву и впору. Он был легок и плотен, ветра не пропускал.

— Ну, оставайся тут с богом, — сказал Архип.

— Ты тама не задерживайся, — ответила бабка. — Праздник находит, а я — одна. И сон видишь какой нехороший видала. Родная мамушка хлебца не дала. А уж так хотелось...

Из своего двора вышел Архип ровно в девять часов, как и располагал. В эту же пору на центральной в гараж шофера приходят. Пока они машины разогреют да соберутся, туда да сюда, пока тронутся, Архип к грейдеру подгребется. Вот и получится впору.

Уже белый день стоял. Красное с мороза солнце только что поднялось. Багровые дымы редким лесом вздымались над хутором; легко, словно тоже с морозцу, розовело небо, и вся глубоким снегом полоненная окрестность, и даже сороки, молчаливыми стаями сидевшие на деревьях, даже сороки отдавали розовым.

Особо не надеясь, а просто на всякий случай завернул Архип на колхозный двор. Ехали две машины на станцию, за комбикормом, но с шоферами грузчики сидели. Больше ничего не предвиделось.

А дорога от хутора к грейдеру лежала прямая, торная, снегом ничуть не занесенная. Одет был Архип тепло, легкой была амуниция, тела не вязала, и потому шагалось хорошо. Морозу он особого не чуял, но в лицо дышала стылым холодом белая степь. Куржак кучерявился по краям шапки-ушанки. И время от времени Архип рукавичкою тер нос и щеки, чтобы не познобить их.

Звучно скрипел снег под валенками, текли мимо высоченные снежные валы, сдвинутые с дороги бульдозером, молчаливая индевелая лесополоса тянулась. А вдалеке маячил Петипский курган, возле которого грейдер проходил. И в мыслях было хорошо, потому что день, судя по всему, должен выдаться удачный. Машины, конечно, пойдут, никуда не денутся. Так что добраться в район можно будет. И с углем должно выгореть, не зря же в газете написано черным по белому. Эту газетку с собой прихватил дед Архип на всякий случай. Раз вышло такое указание, значит, и приказ из Москвы пришел: помогать всемерно. И уж чем-чем, а топкой помогут. Тем более зима такая стоит. И собрался он сразу, вовремя сообразив что к чему. Тут ведь тоже политика, Архип ее понимал: первым надо прийти, пока гуртом не полезли. Архип это понимал и радовался своей смекалке. Все должно получиться по задуманному. И может, даже сегодня прикатит он в хутор с углем, прямо на машине. А может, и завтра. Завтра, конечно, повернее. Нынче запишут, а завтра велят прийти. Так всегда бывает. Переночует он у племянника Василия. Вечером посидит с ним, бутылочку выпьют. Василий — человек грамотный, с ним и потолковать не грех. Посидят, побеседуют. А уж завтра, с углем, прибудет Архип домой.

Так, в добрых мечтаниях и по ровной дороге, добрался старик и до грейдера. А на грейдере, возле кирпичного строения автобусной остановки, толпился народ.

— Здорово живете, добрые люди, — поднимаясь на полотно грейдера, весело проговорил Архип. — Заждалися меня? Я вот он, прибыл. Теперь шумите, нехай машины едут.

— Шумим с ночи, — здороваясь, ответил знакомый из Вихляевки, — а они либо поглохли.

— Не было автобуса?

— Был бы — уж уехали.

— Какая беда, — огорчился Архип, а в душе похвалил себя, что не пошел впотьмах, удержался.

Народу у остановки было немало. Стайка молодежи табунилась подле черного, прогоревшего кострища. Пальтушки на них были всякие: и добрые, и продувные, а прочая сбруя: брюки, юбки да чулки, а тем более обувка — никудышная. Оттого и на месте им не стоялось: топотили да бились «на любка» — грелись. Знакомый из Вихляевки был с дочкой.

— В техникум провожаю, другой день не провожу, — объяснил он Архипу. — Харчей наклали, одна не дотянет. Другой день выходим.

— А эти ребята — либо тоже ученики?

— Кто откуда. С техучилища, школьники. Дубовские большинство да наши. Моей-то край надо, экзамены сдает.

— И прямо с ночи стоите?

— А то как же... Ныне в четыре поднялись, в полшестого здесь были. Вот и стоим дожидаемся.

— Не было машин?

— Проехали одни «Жигули», полные.

— Ну, теперь скоро колхозные должны подойти.

Народ собрался свой, с ближних хуторов, с Вихляевского, Тубы, с Малой Дубовки. Архип от одного к другому пошатался, поздоровался. От Малой Дубовки показались пароконные сани.

— Вот и уедем! — обрадовался Архип. — Посадимся — и айда!

— Да-а, сейчас на лошадях далеко уедешь.

— А как же бывалоча, в старые-то времена?

— В старое время лошади были да и одежка. Тулуп добрый одеть, тогда конечно. А эти куда? — показал мужик на ребят да девчат. — Да и тебя в твоей телогреечке быстро просифонит.

— Это верно, — согласился Архип.

Тем временем подъехали сани. Кроме кучера сидели в них две женщины, укутанные ковровыми платками. Заиндевевшие лошадки ткнулись к будке: возница им соломы бросил и баб начал ссаживать. Одна была помоложе

с огромной, одеялом обмотанной ногой. Архип тут же к ней направился.

— Здорово живете. Это чего с тобой сделалось?

— Да ногу поломала. В гипсе. Теперь вот ехать надо. Велели приехать. Может, сымут.

— Какая беда... — заохал Архип.

Молодые ребята решили соломкой с саней подразжиться, чтобы костер запалить. Но возница их вовремя заметил.

— Куда тянете?

— Посогреться... Соломы, что ль, жалко?

— Я не для вас клал. Лошадям да сидеть. А соломой все одно не согреетесь. Лишь пыхнет. В лесополосу вон, хворосту наберите. Молодые, да ленивые.

Ребята его не послушались, за хворостом не пошли, а подожгли охапку все же унесенной соломы. Сгрудились над невысоким пламенем. Кто руки к огню тянул, кто распахнул одежонку, чтобы тепло телом почуять. А кто промерзлые башмаки грел над пламенем.

— Гляди, штаны загорят, — остерег Архип.

Но штаны сгореть не успели. Пламя быстро угасло.

И наконец-то послышался гул. Он далеко был слышен, но явственно. От центральной усадьбы по грейдеру шла машина. Все разом стали выглядывать да гадать: одна ли машина идет да какая. Поклажу из кирпичной будки разобрали. А оказалось зря: зеленая «скорая помощь» с центральной усадьбы прошла и не остановилась. Правда, была она битком набитая. И через стекла видно, и шофер по горлу себе ладонью провел: дескать, полно. И укатила машина дальше.

— Твою мать... На центральной как короли живут, понасадились.

— Да можно бы еще взять, не схотел.

— Хозяин...

А в следующую минуту головы повернулись к той дороге, которой пришел Архип. Оттуда гудело. И скоро вылетели из-за лесополосы два «газона»-самосвала. Выскочили они на грейдер и встали передом к станции, куда и направлялись. Это были те самые машины, что за кормами шли. В кабинах у них, кроме шоферов, грузчики сидели. Тут

и проситься было некуда. Но минут десять спустя от центральной усадьбы еще три грузовика подвалило. Тоже на станцию, за кормами.

Начался тут гвалт и содом. Все разом бегали и просились, а проситься особо было некуда. В кабину много не поместишь, да там уж и сидели. Уехала девчонка-студентка да двое мужиков. Хотели женщину уважить, с гипсом, да она не влезла. Молодняк в кузов просился, но шофера их не взяли. И правильно сделали. По такой погоде в кузове не ездят.

— Позатот год мы вот так-то с Петром Кривошеиным собралися, — рассказывал дед Архип, — край надо было на станцию. Машина от нас через Ярыжки шла. В кабине полон. Возьмите, Христа ради, в кузов, доедем. Залезли. Прижухли под кабиной... Поехали. А морозяка вот такой пер. Как нас закрутит. Затишки никакой. Секет ветер, до кости просекает. Слезы текут и враз обмерзают. Глаза не глядят. Кое-как до Ярыжков доехали, стучим: останови, Христа ради. Еле слезли — и в магазин. Доразу бутылку выпили, слава Богу, отдыхались. Езжайте, говорим, пропади они, все дела, жизня дороже. По такому холоду... Что вы, ребята... — доказывал Архип.

И вправду ведь холодно было. Солнце, по-зимнему невысокое, уже поднялось из желтого тумана и сияло над миром режущей глаз стылой белью. По набитому полотну грейдера потянулась поземка. Она легко шуршала и дымилась, пересекая дорогу наискось. Она бежала волна за волной, неторопливо.

После того как ушли машины, и долго гудели, поднимаясь в гору, и долго чернелись на белом снегу, после того как затихли они, настроение упало. Каждый думал про себя, что и он мог бы сейчас ехать в кабине, уже далеко отсюда и скоро на место прибыть. Тут еще «козел» проскочил, не остановился, за ним «Москвич», полный. Бабы прижухли под убеленными инеем платками. Мужики стали ходить по дороге взад и вперед, набирая тепло. Архип тоже прошелся. Ветерок хоть и легкий был, но лицо прихватывал; оно дубенело, а в затишке горело огнем. Молодежь притихла, не переставая курила. Наконец их совсем допекло.

— Костер давай! Согреемся!

И они стайкой скатились по откосу, по колено и выше увязая в мягком снегу, и стали по лесополосе сушняк собирать, ломать сухие ветки. Потом соломкой разжились, нашли газету и долго разжигали огонь. Руки уже не владали.

К костру подошли и бабы. И тут Архип разглядел, что старая женщина под тяжелым платком — его давняя знакомая Феня Чурькова. Она лишь недавно к младшей дочери в райцентр уехала.

— Либо ты, Феня? — подошел к ней Архип.

— Да, а то кто же?

— А я тебя не угадал. Укулемалась в этот платок. Ты откель же?

Не успели они и двух слов сказать, как новая тревога поднялась: шел автобус. Востроглазые молодые ребята издали его углядели и начали костер топтать. Снова вещички свои разобрали. В автобусе должны были все поместиться. Как сельди в бочке, но влезть. Как-нибудь, но доехать, а не стоять на таком морозе.

Тупоносый колхозный автобус, совсем пустой — это даже Архип разглядел — притормозил, остановился. А когда кинулись к нему гурьбой, он тронулся, свернул налево с грейдера к хутору Малодубовскому и поплыл неторопливо, вперевалочку, оставив на дороге еще одного бедолагу, с чемоданчиком.

— Куда? Куда он? — накинулись тотчас на него.

— В Малую Дубовку, собрание проводить.

— Да он туда не проедет, — сказал возница. — На лошадях еле проехали. Хоть спросил бы. Сейчас сядет, — пообещал он, не спуская с автобуса глаз.

Автобус и точно сел. Проехал немного, забуксовал, забуксовал. Вылез шофер, и началось обычное.

— Вот так тебе и надо! — торжествовали на грейдере.

— Чего он туда? Для какого бесу?

— Собрание, говорю, проводить. Зоотехник поехал. Предвыборное собрание. За депутатов чтоб голосовали, агитировать.

— Ёш твою... — шутливо заругался Архип. — Вот бы он в автобусе и проводил агитацию. Нас бы посадил и до самой

станции читал да читал. Оттель снова взял людей, и их бы... Да мы б за него все голоса поотдавали, даже лишние, за такого хорошего. Ты нас только до места довези.

— А кто шофер на автобусе? Может, уговорим?

— Да чего шофер. Там зоотехник. Ему пузырь не поставишь.

— Твою мать...

— А пойдут еще машины с центральной? — спросили у вновь прибывшего.

— Все ушли. Я не успел. Санитарная, за кормами. Агроном на «козле».

— А чего ты сюда ехал?

— Да може... Мне все равно надо. Вроде поближе. Може, с Урюпина пойдут или с комплекса...

— Жди. С Урюпина по асфальтовому грейдеру идут. А с комплекса вечером.

— Буду ждать.

— Зря лишь костер тушили.

Молодежь встала кружком, пошушукались и всем табором подались по домам: четверо в Малую Дубовку, двое в Вихляевку. Те, вдвоем, рысью помчались, застучали по набитой дороге словно кованными, промерзшими подметками башмаков.

Остались Архип, Феня Чурькова, женщина с гипсовой ногой, муж ее на лошадях — лошади уже в белой шубе стояли, понурившись, — и еще два мужика. Глядя вослед поскакавшим в Вихляевку, кто-то сказал:

— Застоялись...

— Застоишься, ежели в пять — из дому, а сейчас двенадцатый. Небось все кишки проморозили.

— Ничего. Рысью они за час доберутся.

— Бядуни... Чистые бядуни...

Архип всерьез начинал мерзнуть. Хоть и одет был неплохо, но полегонечку пробиралась к телу стынь. Просекал ветерок, и ноги коченели. Не шибко грела старая кровь. Но сдаваться он пока не хотел. Ребята, считай, шесть часов отстояли, а он — лишь в девять из дому. Надо было терпеть.

— Ёш твою... — пожаловался Архип. — Дураку надо бы самогонки взять. Глотнул — и хорошо, — лицо его чугуне-

ло и стало отдавать сизостью. — А то вот стой теперь. Либо цыганочку станцевать, — хлопая себя по плечам и груди, он засеменил, на месте перебирая ногами. — Ёш твою... Так бы бечь и бечь до самой станции.

— Тебе бы надо не сюда идти, а прямиком на Перещепной. Там Алексеевский грейдер, асфальт. Там машины всегда.

— На Перещепной, парень, нынче не дюже доберешься. — А сколько там километров?

— Да бес их мерил. Пять, а може, семь, а може, и все десять. Нет, десять не будет. А дорога тяжелая, по займищу. Где там лезть. Застрянешь в снегу. Потонешь навовсе. Туда я не рискую.

— Мерзни здесь.

— Чего ж, такая, значит, судьба, — ответил Архип и пошел к затоптанному костру, чтобы снова разжечь его.

Сухой хворост занялся сразу же, но жидкий его огонь грел лишь ладони рук, и только. Феня Чурькова к костерку подошла, встала рядом.

— Ты к кому же на гости ездила?

— Не на гости. Сеструшка двоюродная, сорок ден... Вот приезжала.

— В Малой Дубовке?

— Ну да.

— Это какая же сеструшка?

— Нюра, за Петром она была, за Подураевым, конюхом он.

— Петра-то я знаю, — вспомнил Архип. — А сама ты, так с дочкой и живешь?

— С дочкой.

— Пенсию платят?

— Пенсия... — тихо ответила Феня. — Одна слава, что пенсия. Стажу колхозного нет. Зачем, мол, уходила из колхозу? А я разве по своей воле...

Архип слушал Феню, а что сказать ей, чем утешить, не знал. Одно лишь промолвил:

— Такая наша жизня. Прожили век за куриный пек... — И, перемолчав, сам пожаловался: — А меня топка зарезает. Бедствуем с углем. Морозяка жмет, а топить нечем. Хучь костер, такой вот, посеред хаты жги. И никому не дошумишься, никто слухать не желает.

— Вы с бабкой вдвоем? Дети-то не при вас?

— Нынче детей удержишь? Они к своему стремятся. Одне...

— Оно, може, и лучше, — вздохнула Феня. — Я вот покою хочу. Чудок бы самой пожить. Отдохнуть. Весь век в чужой воле. То в мужней, то в дочериной...

Костерок догорел, и призрачное тепло его быстро развеялось в студеном поле. Белая степь лежала вокруг, белая дорога дымилась поземкой, чернели вдоль дороги, в снегу по пояс, вязки и клены, и не было никаких машин. Лишь синий автобус как застрял на пути к Малой Дубовке, так и стоял там неприкаянно.

Мохнатые от белого инея лошаденки стояли, покорно опустив головы, и солому не жевали. Мужик-возница, бросив окурок, сказал жене:

— Поехали, а то вторую ногу отморозишь. Ничего боле не будет. Тетка Феня, так как? Или рискуешь?

— Да сама не знаю. Меня ждут. Чего же это такое сделалось? Погода совсем разорилась.

— Стихея... — ответил Архип. — Стихея.

— А може, нам Бог поможет, — нерешительно сказала Феня.

И, словно услышав старую женщину, издалека-издалека, со стороны Малой Дубовки, донесся слабый, но явственный рокот. Это был рокот трактора.

— Автобус либо вытягать едут?

— Похоже...

— Его бы подале запихнуть, чтоб до весны сидел.

— Машина!

— Где?

— Трактор машину тянет.

— Либо из Большой Дубовки?

— А откель еще? Из Большой. Это на станцию они едут. До грейдера — трактором, у них там балки непролазные.

— Може, на центральную?

— Не, на центральную прямая дорога.

Трактор рокотал все ближе и ближе, за ним на тросу тянулась машина с крытым брезентовым верхом. И наконец они выехали на грейдер. Машину отцепили. Она шла

в райцентр, на станцию. В кузове, под брезентовым тентом было людно. Но уселись все. Архипу на лавочке места не досталось. Он пристроился почти у заднего борта, на запасном колесе. Пристроился, плащ подоткнул, чтобы не поддувало, закурил.

Машина тронулась. У заднего борта вихрило; снежная пыль клубилась и оседала на Архиповых валенках, холодила лицо. Но позади остался кирпичный теремок остановки; и вот уже сгинула в снежную бель Малая Дубовка; и белая дорога бежала из-под колес.

Ехали долго. Заворачивали в Березовку, людей ссаживали, две свиные туши сдавали. Пока то да се, бумажки писали. Пришлось ждать. В кузове прижухли. Мужик с головой, обмотанной бабьим пуховым платком, все охал, зубами маялся.

И в четвертом часу прибыли наконец в райцентр. Правда, Архипу подвезло. Машина остановилась неподалеку от конторы, где уголь выдавали.

В поселке было теплее, чем в степи. Но Архипа, до нутра промерзшего за день, познабливало. Согрев был один — курево. И старик закурил, отряхнул с плаща и валенок снег и направился к воротам «Райтопа». Ему дважды приходилось покупать здесь уголь, и порядки были знакомы. По правую руку от входа стояла контора, но спешить туда Архип не стал, а прежде оглядел территорию. Уголь был. Возле рельсовых путей высился курган мелкой «семечки». Отдельно лежала куча доброго угля, антрацита. Обглядев эту картину, Архип в контору вошел. Там три стола помещались, и сидели за ними одни женщины.

— Здравствуйте, дочушки, — снимая шапку, поздоровался Архип. — С праздничком вас, с Рождеством Христовым. Или вы в городе такие праздники отменили? А я вот к вам пришел по-деревенски прославить, може, вы мне чего и подадите, — он тонкую политику вел, подлаживался и немножко дурачка деревенского из себя строил. — Рождество твое Христа Божие, воссияй миру свет разума... Не славят у вас так-то вот?

Конторские женщины заинтересованно головы подняли.

— Нет, деда, у нас было, да прошло.

— А вот у нас досе славят. Ныне моя бабка конфетов приготовила, печеньев, мелких денег. Родне и постарше какие — тем бумажные.

— Взрослые славят?

— А почему? Славят. Приходят как положено. — Архип, конечно, лукавил. Старое отошло. Из взрослых один на хуторе славильщик остался, Афоня Чертихин. Тот ходил. Остальные давно бросили. Но сейчас Архипу впечатление нужно было произвести, задурить бабам головы. — Приходят... А как же? Прославят. Вольешь им самогоночки...

— Ну, это и нашим мужикам покажи выпивку, они не то что Бога, черта прославят.

— Точно! Запоют еще как...

И женщины, о пьянстве мужиков вспомнив, к Архиповым речам как-то сразу остыли и спросили его:

— С чем пожаловал, деда? Угля нету.

— Как нету? А на дворе?

— Мало что на дворе... Мы же к тебе во двор не лезем, не высматриваем, где что лежит. Нету. Это учреждениям.

Полная женщина в очках, она возле окошка сидела, догадалась:

— Да ты же и не наш? Ты где живешь? Откуда ты?

— С колхоза.

— Ну, вот в колхозе и получай. Ты новую вывеску видал? «Гор-топ». Мы теперь только город снабжаем. Понятно?

— Нету у нас в колхозе угля, не дают. Чего бы я ехал? Нету. Порошины нету. А у меня весь вышел. Чего же нам с бабкой теперь, померзать? Помогите, Христа ради. Вы — девчата хорошие, с праздником я вас поздравил. Поимейте снисхождение к старикам.

— Де-еда... Тебе русским языком говорят: «Гор-топ». Снабжаем только город. А сейчас и своим не даем. Понимаешь? Обращайся в колхоз. Вас теперь централизованно снабжают, отдельно. А мы ни при чем, понял?

— Куда же мне идти, дочушки? Поимейте снисхождение. Зима, глядите, какая. А топка зарезает. Какие помоложе, на технике, те достают. А мы с бабкой, кому нужны пенсионеры? А в свое время трудилися. И ныне я, по возможности... То сад сторожу. Фронт я прошел, — главный свой

довод наконец выложил Архип. — Заслужил награды. Вота и удостоверение есть, — начал он плащ расстегивать.

— Не надо твоих удостоверений. Тебе же говорят — в колхоз обращайся. А мы «Гор-топ». В колхоз иди.

— В колхозе конь не валялся. Чего я туда пойду? Порошины там нету угля. А вы обязаны... А как же... — стал запинаться дед Архип, все свои слова выговорив и расстегнув телогрейку, вынул на свет божий газету, которая лишь видом своим придала ему сил; и голос выправился, стал твердым: — Вот... правительство что говорит? — потряс он газетой. — Для участников войны в первую очередь! — он даже воскликнул тонким сорвавшимся фальцетом. — А вы мне голову кружите! — И снова в голос, чуть не в крик, проговорил наизусть, не глядя в газету: — Проявлять постоянное внимание!

Женщины, поняв, что старика не унять, терпеливо слушали его, а потом одна из них спокойно спросила:

— Ты, деда, русский человек или нет?

Архип вдруг в единый миг понял, что угля не дадут. Он понял, шапку натянул и пошел из конторы.

А время стояло не раннее. Короткий зимний день догорал желтым, режущим глаз закатом. Солнце уже утонуло за крышами домов до утра. И теплые звезды земных огней зажигались в домах.

На центральной площади поселка нещадно дуло, по серому асфальту шуршала поземка. Двухэтажный дом стоял с сиянием огней. В доме было тепло, форточки открыты, даже двери настежь.

И как только подумал Архип о тепле, о покойном домашнем тепле, так сразу окоченел. Казалось, единым махом просек его до костей и насквозь студеный ветер. Архип сжался, пытаясь сохранить в теле хоть теплую крупицу. И скорее, скорее поковылял к магазинам, что стояли за площадью, справа. Там можно отогреться.

Он прошел полпути, когда пахнул ему в лицо сладкий запах свежего пшеничного хлеба. Архип споткнулся и встал, вначале ничего не понимая, он замер и стоял, вновь и вновь вдыхая этот благостный, добрый, почти забытый дух. Надышавшись всласть и опомнившись, Архип пошел к хлебу, к магазину.

Хлеб выгружали из машины. Старик, глотая слюну, хотел прямо здесь попросить хоть кусочек, но побоялся. Он прошел в магазин, и голова его кругом пошла, опьяненная райским запахом хлеба.

Народу не было. Продавщица в белом резала свежие буханки пополам и в четверть и бросала их на полки, прикрытые стеклом. Архип потянулся к четвертушке.

— Я заплачу́, дочушка, заплачу́... — пробормотал он и захлебнулся, когда в руке у него очутилась теплая горбушка. И, стыдясь и ничего не умея с собой сделать, Архип лишь успел шагнуть в сторонку и, разломив четвертушку, начал есть ее. Так сладок был этот чистый пшеничный хлеб с упругой, хрусткой корочкой, с еще горячей ноздреватой мякушкой, так вкусен был и едов, что Архип не заметил, как съел четвертушку. Последний кус проглотил и почувствовал, как теплый хлеб обогрел нутро и по жилам потек горячим током. А хотелось еще. И он снова подошел и взял четвертушку, оправдываясь перед продавщицей.

— Я заплачу́, дочушка, не боись, деньги есть. С дороги я, наголодался за день, намерзся... Теплый хлебушко... — дрогнул голос его.

— Ешь, дедушка, на доброе здоровье...

Вторую четвертушку дед Архип ел медленно, но с еще большим вкусом. Он жевал и чуял языком и нёбом пресную сладость пшеничника, слышал еле заметный и дразнящий дух хмельной кислины и сухарную горчину корочки. Вторая четвертушка тоже кончилась. После нее деда Архипа ударило в пот. Перед продавщицей было стыдно, но хотелось хлеба еще. Сладкий дух его нагонял слюну.

— Уж прости, дочушка, я еще съем. Наскучал по свежему хлебушку. Сколько лет-годов теплого не ел.

Продавщица ничего ему не ответила, поглядела внимательно и ушла в свою каморку и скоро вернулась с полной кружкой горячего чая. Она и стул принесла, усадила деда Архипа возле подоконника.

— Садись, дедушка. Пей, ешь, отогревайся, — мягко сказала она.

Горячая волна благодарности к незнакомому доброму человеку подступила к сердцу.

— Спаси Христос, моя доча, — тихо сказал Архип, опускаясь на стул. — Спаси Христос.

После третьей четвертушки он сделался сыт, согрет и здоров. Допив сладкий чай, старик поднялся, деньги заплатил. Пора было правиться на ночлег, к племяннику. Но дед Архип, казалось, не мог уйти от этого доброго хлебного духа, от золотистых буханок, что грудились за стеклом. И хотя у Василия, конечно, был хлеб, но Архип не стерпел, купил буханку. Ее даже в руке держать было хорошо; чуять пальцами упругую корку, под которой горячей кровью бродило тепло неостывшей живой мякушки. Старик расстегнул плащ, телогрейку и осторожно упрятал буханку на груди. Хлебное тепло и дух теперь были с ним.

И вдруг о бабке, о жене, о родной своей старухе вспомнил Архип. Он вспомнил вдруг, как говорила она ему нынче утром о своем непонятном сне. О хлебе, который мамушка из печи вынимала, но почему-то не дала. Мамушка, сон — все пустое. Но хлеб, но теплый хлеб, которым обидели его старуху, был явью. Сны — блажь, и мамушку не вернуть, но теплый хлеб, он рядом. Его сейчас ел Архип и наелся вволю. Давно уже так не едал. А старуха — во сне, да и то лишь поглядела, не дали. «А так хотелось свеженького», — вспомнил Архип.

Вспомнил и разом наново все перерешил. Что племянник, что его ночевье, что уголь — все это ерунда. А вот старухе хлебушка принести свежего, как обрадуется. Жизнь с нею прожили, много ли радовал. Может, лишь в молодости. А потом... Какая жизнь потом, долгая... И может, в последний раз, да еще перед праздником, горячего хлебца ей, словно из вчерашнего сна, разговеться.

Архип вынул из-под полы, из-за ремня мешок, положил туда пять буханок. А ту, первую, оставил при себе.

— Спаси Христос, доченька, — поклонился он продавщице, — С праздником тебя.

За минуту наново все перерешив, Архип знал, что он будет делать. Он пойдет на Алексеевский грейдер и доедет до Перещепного. А там, с асфальта, к ферме, ее огни будут видны. От фермы вниз, на луга займища, оттуда сено возят, дорога пробитая. Сроду там сено оставляли на зиму. От

лугов взять правее, занесенные Чуриковы талы обойти. Потом левее, через Летник, там тихо. Выходить на Пески, на Большие, на Малые Городбища, а там — считай, дома. Он дойдет, доберется. И снега и мороз — это не беда. То ли еще было. Здесь все свое, родное, хоженое-перехоженое.

А за пазухой грел ему сердце теплый хлеб.

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ РАИСЫ

Телят уже который год не стерегли — рук не хватало, и бродили они до самой зимы по хутору и округе.

Хутор лежал просторно, с широкой улицей и заулками, пустошами, проездами. По весне и лету все это зарастало гусынкой, ромашкой, лебедой, донником да полынью, высокими лопухами, крапивой — было где попастись, где повольничать.

К осени молодняк сбивался шайками и уходил на Солонцы, за речку, в колхозный сад, к Ильменю. И вечером, допоздна, когда коровы и козы уже стояли на базах и гусиные стада ворочáлись с полей, смутно белея во тьме и кагакая, до поздней ночи неслось по хутору и округе звонкоголосое:

— Мартик! Мартик! Домой, домой, мой хороший! Февраль, Февраль! Чтоб тебя, косопузый черт... — и кое-что покрепче добавлялось; и снова ласковое: — Февраль, Февраль! Марта! Где ты, моя красавица?! Где тебя леший носит?! Поставлю завтра на баз, будешь знать...

Искали телят дотемна и порой не находили. И телята, извадившись, ночевали в садах, на обережье, у воды, шкодили на огородах.

Челядиных до поры Бог миловал, но пришел их срок. Забрались к ним телята, потравили и вытоптали деляну люцерны. А хозяйский белолобый Январь так обожрался на сладкой траве, что его раздуло, и пришлось телка прирезать.

Вечером Райка Челядина плакала:

— Господи... Да чего я такая несчастная... Бог меня метит и метит. Сенца — былки считаные, и люцерну погу-

били. За телка копеечку взять хотела, опять Бог не свелел. Да чем же я ему... — рыдала она.

Бабка Макуня слушала внучку молча, горько поджав губы. Мартиновна по-матерински пробовала успокоить дочь, подсаживалась рядом, гудела:

— Ну чего... Ну чего... Ну какая беда... Огавки подкосим, соломки дадут. Не горься, моя доча...

— Да как мне не гориться!! — в голос закричала Раиса, упав на кровать, и смолкла.

И больше ее не было слыхать. Пришли с улицы ребятишки, Петя да Маруся, повечеряли, спать улеглись. Бабка Макуня с Мартиновной зажгли на кухне огонь. Мартиновна платок вязала, старая мать ее уже ни прясть, ни вязать не могла, но сидела рядом, вздыхала. В горенку, где стояла Раисина кровать, дверь затворили, но все равно говорили шепотом.

— Не спит... — шелестела сухими губами Макуня.

— Не спит, — шепотом, но гулким, отзывалась Мартиновна. Она тихо не могла говорить. Сама и в старости была могутная, с крепкими руками, ногами, и голосок — ржаной.

А мать ее, Макуня, уже отживала, высохла на балык, ветром ее шатало. И голос словно усох, едва пекала.

— Тоскует, — помолчав, говорила Мартиновна и вздыхала шумно.

— Тоскует... — слабым эхом отзывалась Макуня. — По дружечке...

И в четыре печальных глаза глядели на дверь, за которой тосковала их дочь и внучка.

Василий, Раисин мужик, помер зимой. Позорную смерть принял, как говорила Мартиновна. Пилил он дрова у людей, в Вихляевке, хорошо подвыпил, вечером в клубе его видали, он там цыганочку «гокал». Загулял и остался ночевать в Вихляевке, у развеселой Шурки Чужой. Шурка угощала своих друзей крепким питвом из денатурата да той гадости, какой в городе стекла моют. Василий выпить был не дурак. А утром, чуть свет, он вскочил с постели, дурным голосом заорал: «Воды!» — и упал, не дождавшись. Видно, загорелось у него нутро.

Хоть и помер мужик с позором, в чужом дому, но схоронили его по-хорошему, три бабы над ним голосили: жена, теща да бабка Макуня.

«Ой, да на кого ты нас спокинул...»

Двое детей, Маруся да Петяня, плакали над отцом.

«Твои губочки не открываются. Твои рученьки лежат сложены...»

Эти губочки, бывало, как «откроются», скажут пару ласковых — и хоть из дому беги, рученьки так приласкают, что Раиса с Мартиновной по соседям прячутся. Детей, правда, не трогал, и старую бабку тоже. А жене да теще хоть не часто, но доставалось.

Но правду говорят: плохой муж помер, хорошая жена по миру пойдет. При жизни Василия все больше считали его грехи, теперь увиделось иное: дом стоял, его руками сделанный, о дровах прежде не думали, о сене, на чем привезти да отвезти: в руках у хозяина лошадь была от лесхоза да синий «Беларусь» — владай. Да только ли это... Там прибить, там что-то подделать, крыша потекла, крылечко похитнулось, у погреба стенка обваливается... Хозяйство, оно мужских рук просит и просит. Взять нынешнее: какой Василий ни был, а по весне городьбу у огорода чинил да еще по лету не раз рубил терновую да грушовую дичину, колючих веток накидывал, чтобы скотина не залезла. И телка́ Василий мог бы спасти: сел на мотоцикл да сгонял в Мартыновку за фельдшером.

А бабы, они бабы и есть. Они лишь охали да вздыхали. А Раисе было и вовсе несладко: по дружечке тосковала. Она и теперь в своей комнате, на постели, наплакавшись досыта, забыла о телке́ и потравленной люцерне, вспоминая Василия. Себя видела молоденькой и его. Как познакомились, на мотоцикле в Мартыновский лес ездили, на гулянки ходили, он цыганочку плясать любил.

Так она и забылась, и во сне виделось ей далекое, сладкое. Мартиновна в комнату к дочери заглянула. По лицу спящей бродила улыбка. Боясь спугнуть сладкий сон, Мартиновна поскорее ушла, плотно затворив дверь. А на кухне размашисто перекрестилась.

— Слава Богу, спит, — сказала она матери.

— Слава Богу... — тихим эхом отозвалась бабка Макуня.

На воле стояла ночь, но спать не хотелось. Прошедший, полный несладкого день лежал на сердце.

— Повяжуся еще, — сказала Мартиновна. — А ты, мама, ложись.

— Все одно не усну, — ответила бабка. — Возля́ тебя посижу.

Она принесла из чулана мешок с тряпьем. Зимними вечерами бабка Макуня плела из тряпок круглые половички под ноги. Время подступало, и пора было готовить тряпье.

— Господи... — сказала Мартинова. — Прям душа вянет.

— Да чего уж, — думая о сене и о телке́, ответила ей мать. — Переживем.

— Я об Раисе... Жалку́ю, а чем помогнуть. Прям невперенос, — всхлипнула она.

— Чего ж... С Богом судиться не будешь, — ответила мать.

— Судиться — кто говорит. А вот нехай бы он нам помог, послал человека. Она девка незамутимая, в работе цапучая, всяк скажет. А вот обчичекали ей жизню. А ведь нынче не война.

— Не война, — поддержала ее мать. — А все одно, где мужика взять? Это в городе их — страсть господня. А у нас Шаляпин, да Ванька Скоробогатов, да Нюськин — Алеша.

— Такие нам не нужны, — открестилась Мартиновна. — Нам подходимого бы человека, доброго.

— А добрые где...

Подумали, погадали, прошлись по соседним хуторам, перебирая, но ничего не нашли. Лишь в Малой Дубовке недавно померла жена у Афони Лещукова. Но мужик был не больно надежный, да и прислонился он, еще при живой жене, к Варютке Кирсановой, из Вихляевки.

— Богу надо помолиться, — сказала бабка Макуня. — Помолиться вдвох, тебе и мне. Може, он помогает.

— Это ты правду, мама, говоришь, — неожиданно горячо поддержала ее Мартиновна. — Надо хорошень попросить, нехай послухает и помогает. Кому ж еще помогать, как не нам.

На том и порешили. И, разобрав постели для сна, свет потушив, они встали на колени перед Богородицей, старой иконой, ею еще бабку Макуню мать благословляла: «Отче наш иже еси на небеси и да святится имя твое...»

Макуня помнила с детства запавшие слова и шептала их, прибавляя свое: «Пресвятая Богородица, сохрани и помилуй рабу твою Раису, дай ей...»

Мартиновна же сроду набожной не была, молитв, почитай, не знала и теперь, подняв к Богу глаза, разговаривала с ним по-свойски, упрекая и совестя:

— Почему такое происходит?.. Конечно, Василий был не дюже. Попивохивал да по чужим. Но хозяин. Прибрал его... А другого... Она баба молодая, в самой поре. Чего ж ей, как Нинке Тельновой, всех на себя тянуть — старого и малого? Это нехорошо... — Мартиновна крестилась, бормотала недолго: — Прости, Господи, Пресвятая Богородица... Помоги, Господи... — но от общих слов скоро опять переходила к больному и резала напрямки. — Без хозяина нам никак. Бабьи руки, они бабьи и есть. А людям не накланяешься. Мы с мамой помрем, Раисе одной куковать. Ты уж помоги. Она, сам знаешь, как возрастала. Я во слезах... — всхлипнула Мартиновна. — Другие, значит, у тебя за пазушкой, — креп ее голос. — А нам как проживать? Неправильно это...

— Господи помилуй, Господи помилуй, помоги, Господи, — просила бабка Макуня и, слыша укорливые дочкины слова, пугаясь их непочтения, говорила через плечо: — Ты уж не больно... А то как с бригадиром. Ты молися...

Помолились и улеглись. Бабка Макуня, пока с телком колготилась, за день не только не прилегла — считай, не присела. Теперь же, лишь подушки коснувшись, она провалилась в зыбкий старческий сон.

Мартиновне не спалось. Она прикинула, сколь денег потеряли, прирезав телка. Сотни две выходило, не меньше. Прикинула, повздыхала. Потом снова о дочери стало думаться, а потом о себе. И снова о дочери: неужто и ей материну тропку топтать, всю жизнь. Не дай, не дай бог!

Мартиновна в девках была красивой, работящей. Но не сложилась ее судьба. Петро Харитонов в ногах у отца с матерью валялся, просил засватать ее. Но родители искали

для сына счастья, а что могла в дом принести Макунина дочь? С лица же воду не пить... Петру засватали богатую, из Дурновской станицы. Она женихов дом обставила, даже шторки повесила на окна. Мартиновне осталась дочь, белявенькая, вся в Петра. Дочь Раиса осталась да краденые ночки, за которые платить приходилось битыми стеклами да принародным позором.

А потом и это прошло. Год-другой — и прошло. И нечего было ждать до самой смерти. А сколько было несладкого: косые взгляды, попреки и укоры, тяжкая работа, сплетни и пересуды, липкие руки мужиков: от зеленой куги до старцев — для них не девка, не вдова — вроде легкий кус. А она никого не подпускала. Мужние бабы себя так не блюли — видит Бог. И одинокие ночные слезы, сколько их...

Теперь всё позади. Только о дочери сердце кровит.

За стеной, во дворе, текла ночная жизнь. Мартиновне показалось, что слышит она чьи-то шаги. Остатнее мясо телка сохранялось в погребе, без замка. И Мартиновна встревожилась: не дай бог унесут. Нынче на хуторе развелось всяких.

Она поднялась, не одеваясь и белея во тьме рубахой, пошла из хаты.

На крыльце ее встретила покойная ночь. Все было тихо. Низкая луна висела над черными садами. Играли звезды, и холодок ранней осени студил голые ноги.

Пройдясь по двору и погреб поглядев, Мартиновна вернулась в дом. Лунный свет, пробиваясь через незатворенные ставни, мягко сиял на бумажном серебряном окладе иконы. И в избяной тьме лик Богородицы проступал. И было в лице ее что-то суровое, словно обижалась она на Мартиновну за лишние слова.

Покосили отаву и, пока она сохла в зеленых валках да кучках, начали копать картошку. Кончалось лето. По обережью наливалась алой кровью калина, терн сизел, в старых садах с одичавших яблонь и груш сыпались последние плоды, устилая землю. Старики да детишки едва успевали сбирать их для скотины. Сладковатый и терпкий яблоневый да грушевый дух витал над хутором. Тихомолом подступала осень. Серебряная кудель паутины цеплялась за сухие будылья подсолнуха, спеющей кукурузы и струилась по ветру, светясь.

Копали картошку. Дворы опустели. В низах, по огородам, стало людно. И далеко было слыхать, как ругает своего мужика Марфутка Инякина.

— Баглаина шеястый!.. Сроду ему некогда. Ни косы, ни лопатки не возьмет. Весь в маманю свою, продуманный.

Перекликались соседи, а то и сходились вместе, обглядывая свою картошку и чужую.

Челядины копали всем гуртом: Мартиновна и ребятишки; бабка Макуня хоть и лопату держать не могла, но выбирать помогала; пришла с фермы с утренней дойки Раиса.

А в ту пору подкатил к дому трактор «Беларусь», вылез из него человек, во двор прошел, хозяев не углядев, спустился в огороды. Тут уж его увидели и признали: это был покойного Василия товарищ, он тоже в лесничестве работал, а жил на Перещепных хуторах. При жизни хозяина заезжал он не раз, но всегда с Василием. Выпьют — и до свидания.

Раиса гостю обрадовалась, напомнил он ей о муже. Она бросила картошку и пошла во двор, стол наскоро накрыла. И жалилась, жалилась не переставая, плакалась на свою судьбу.

— Бычок такой расхороший... А пропал вовзят. Прирезали. Людям по два рубля за кило продали. На девяносто всего. Посолили — и нет телка.

Перещепновский гость слушал внимательно. Он был в Раисиных годах, на лицо рыжеват, чуть прихрамывал.

— Я к тебе, хозяйка, с делом, — сказал он. — Свататься приехал.

— Чего? — удивилась Раиса.

— Свататься... — повторил мужик теперь уже со вздохом. — Жена от меня ушла, с детьми. Говорит — не ворочусь. А одному — оно как...

Так неожиданно было все — снег на голову. Раиса растерялась, переставляла на столе нехитрую посуду, не знала, что сказать.

А той порой в огородах, на картошке, все углядев и разом поняв, спешила к челядинским бабам всезнающая Марфутка. Она была тяжела, коротконога и запыхалась, пока добралась, лицом раскраснелась.

— Ну чего? — издали громким шепотом спросила она. — Сговорились?

Мартиновна не поняла ее.

— О чем сговорились? — отставила она лопату.

— Ты мне глузды не забивай. Я издали углядела. Жених приехал.

— Господь с тобой! — так искренне ответила Мартиновна, переводя взгляд с соседки на мать. — Какой жених?

Марфутка поняла, что они и вправду не ведают, и сыпанула, словно из мешка, все знамое:

— С Перещепных он. Тамошний рожак. А жена его кинула. Выпивал он добре. До двух разов уходила и ворочалась. А теперь говорит — всё. Увеялась к матери, под Урюпинск. А он решил к Раисе прислониться. У моего расспрашивал, как да чего...

Мартиновна поверила разом. Поверила, поглядела на дом, потом на мать. Макуня, дочерин взгляд поняв, засеменила ко двору и скоро вернулась.

— Сидят... — принесла она весть. — За столом. Об чем-то гутарят.

Мартиновну нетерпение жгло: как там без нее и о чем. И у Марфутки старалась она выспросить о женихе, да Марфутка толком ничего не знала. Надо бы к Петру Амочаеву сбегать, он с Перещепных, мать там, братья, бывает часто. Но куда бежать, коли гость на дворе.

И тут позвала от двора Раиса.

— Мама! Где ты? Иди сюда!

Мартиновна пошла ко двору, оставляя позади Макуню и Марфутку. Пошла, а голова ее горела. «Сейчас дочь спросит. Что сказать ей? И этому человеку... Подумать, конечно, надо, людей поспрошать, а с другой стороны...»

— Мама, — встретила ее Раиса. — Где задевалась квитанция на дрова? Под клеенкой лежала. Михаил — на тракторе, он съездит и привезет, — кивнула она на гостя.

— Давай, давай, — подтвердил он. — Я ныне выходной. Притяну по-сухому.

Дрова были нужны. Уже говорили о них не раз, просили трактор у бригадира, но в колхозе то уборка, то сев, то зябь, пока грязь не встанет. А теперь — жених не жених, но

дрова плыли в руки. И Мартиновна кинулась в дом, квитанцию принесла.

Михаил завел трактор и уехал. А мать с дочерью, перед тем как вернуться в огород, к любопытной Марфутке, сели у стола.

— Ну чего? — спросила Мартиновна. — Взаправди?

— Взаправди, — ответила Раиса, опуская глаза, словно все уже было решено.

— Ну а чего он говорит?

— Чего говорит... Сватается. Жена ушла с детьми, а один — не в силах. Пить, говорит, теперь по-умному пью.

Мартиновна глядела в лицо дочери не отрываясь.

— Ну а ты?

— А я чего, мама, — развела Раиса руками. — Посоветуюсь, говорю.

— Вот это правильно, — одобрила мать. — Молодец, моя доча. Посоветуюсь, мол, с матерью, с детьми. А сами тем временем у людей поспрошаем. На Перещепных у меня есть свои, они подскажут, ащаул он или добрый человек, а тогда...

Дочь внимала материнским словам доверчиво, словно пила их. Она была статью не в мать, худощавая, светлоликая, и характером — непролейвода. Пробивалась в волосах седина, морщинилось лицо, руки побаливали — восемнадцать годков на ферме, в доярках, — но по-прежнему в голубых глазах, в душе — что-то детское оставалось. И Мартиновна жалела ее до слез. Сама она всякого повидала, натерпелась, изъездилась, стала не баба, а конь. Ее не враз обидишь. А дочь может сломаться. И хотелось пристроить ее возле хорошего человека.

Картошку копали до вечера. Нежданный жених оказался мужиком работящим: он одну ездку сделал, другую, уже не три куба — добрых пять притянул. Поехал и в третий раз. «Съезжу — и шабаш», — сказал он. Хозяева не перечили. А по всем огородам весть пронеслась: «К Челядиной Райке сватается человек. Работящий. Еще не живет, а уж весь день дрова возит. Дубков десять притянул. На всю зиму».

К вечеру сели за стол. Раиса при матери и бабке повторила:

— Подумать надо, с детьми посоветоваться...

Михаил согласился. Он с устатку выпил стакашек-другой. Мартиновна выставила за такую работу. Щами вечеряли да жареной телятиной. Раиса ушла на дойку, а гость остался с бабками. Выпивал, покуривал. Снова выпивал, дожидаясь Раису.

А потом вдруг началось страшное. Гость как-то странно обмяк, стал глядеть на Мартиновну белыми и круглыми, словно плошки, глазами. Глядел, глядел и спросил:

— Ты кто такая? Чего здесь?

Мартиновна и язык проглотила; потом опомнилась, стала уговаривать гостя:

— Милок, тебе пора, поезжай. Ты на технике, выпимши... Время указывает, поезжай с богом.

Едва проводила его со двора. Но то было лишь начало. Гость или жених — бог знает, как его величать, — покоя весь хутор лишил. Он завел трактор и колесил на нем до полночи. Ездил на ферму, Раису искал, в контору, в магазин, вернулся назад. Раиса не вышла к нему, бабы сказали: «Нету». И он колесил и колесил по хутору. У Зрянина забор повалил, своротил магазинное крыльцо, кинобудку чуть не снес. Спасибо, вернулся со станции Петро Амочаев. Он гостя знал и чуть не силком проводил его за хутор, за речку, на перещепновскую дорогу.

Целую неделю на хуторе смеялись. Челядиным было не до смеха: со дня на день ждали они, что гость вернется. Особенно ночами боялись. Но он, слава богу, не приехал. Видать, не совсем совесть пропил.

Остались на память о нем дрова — хорошие сухие дубки. И за то спасибо. Этим дровам весь хутор завидовал.

Второй жених появился в день воскресный. Подкатили к челядинскому дому вишневые «Жигули», и вышли из них две бабы в цветастых шалях да два мужика при шляпах.

Цветастые бабьи шальки углядели враз и Архип со старухою, Амочаевы, Валентина да тетка Нотька и, конечно, Марфутка Инякина. Углядели и собрались с ведрами у колонки, вроде за водой.

Гости прошли в дом. Любопытные остались ждать.

— Може, этот жених попилит Челядиным дрова? — вслух подумал дед Архип и посмеялся своей догадке.

— На мой погляд, они с Борисов. Шкороборовой тетки Дуни. Они у ней все такие, жуковые, присадистые, — сказала свое слово тетка Нотька. У нее племянница в Борисы была выдана.

А гости были и впрямь с хутора Борисы, что лежал за Бузулуком, у Алексеевского грейдера. В дом войдя, они по-хорошему поздоровались, сели к столу. Речь повели бабы:

— Привезли мы вам человека на погляд. Наш братушка родной, — гости были и впрямь под один гребешок: чернявые, круглолицые, телом кубоватые. Лишь женишок пожиже. — Нас у матери шестеро. И все хорошо живут. А вот он стал не на ту ножку прихрамывать. Надо на него накинуть кошель, пока не разбаловался. Попивал он, чего греха таить, и по пьяному делу...

— Три года отсидел и лечился в ЛПК, в Суровикине! — отрапортовал жених, влезая в разговор.

Его сестры остановили:

— Погоди. И вот нас шестеро: четверо сестер, два брата — все один возле другого живем. Про Раюшку мы слыхали, об ней лишь хорошее люди гутарят. Наш товарец, конечно, с сырью. Но и ей человека найти при двух детях... Да ныне такие мужики пошли. Мы своих-то, спасибо, держим... — сказала одна из сестер и потрясла могучей рукой. И сразу стало ясно: эта удержит.

Старший брат молча сидел, жених кочетился.

— Два образования: три года и ЛПК. Все прошел и завязал железно. Понюхал — и хорош. Тракторист, — загибал он пальцы, — шофер, сварщик, на комбайне могу.

Он подмаргивал Раисе весело, а у той душа к нему не лежала. Понимала: сама немолода, но как-то не нравился ей человек, да и сепетливый.

— Один возля другого живем, — уговаривали сестры. — Друг за дружку держимся. Помогаем. А как же? Его бы вот определить... Лучше у нас, на Борисах, при отце с матерью, и мы — рядом. Скотина есть, подворье хорошее, дом.

Сестры понравились всем. А вот жених...

— Из себя никакой, а комиссарится, — осудила его бабка Макуня.

— И мне, бабуня, он не показался, — не поднимая на мать глаза, сказала Раиса. — Капеля он, на мой погляд. Во слезах с ним проживать.

— Кто тебя неволит, — ответила мать.

Ей и самой жених не больно по нраву пришелся. Хоть и лечился он от водки, но, по всему видать, не взяла его лека, и не пьет он, как говорится, лишь с воскресенья до поднесенья.

А семья была хорошая. Но подумали и отказали жениху. Стали ждать, может, доброго кого Бог припутит.

Старинная подруга Мартиновны Таиса Мирошкина, по-уличному — Солонечиха, который год уже проживала на станции, у дочери. Но хата ее стояла в сохранности. И несколько раз в году приезжала Солонечиха на родину. И тогда сбивались в ее тесной хатенке старые вдовы, песни играли, плакали о мужьях убиенных да умерших, поминали горькую свою жизнь, незабвенную молодость.

Нынешний раз Мартиновна, углядев Солонечиху уже под вечер, утра не дождалась, собрала в узелок яичек да сальца и подалась в гости.

Встретились, как всегда, хорошо: всплакнули, пожалились, порядили о жизни. Солнечиха раскладывать карты была известная мастерица, и потому не обошлось без колоды.

— Раскинь, — попросила Мартиновна.

— На тебя, что ль? — достала карты Солонечиха.

— Чего на меня кидать? Без картей свою дорогу знаю. На спокой, — указала она в сторону кладбища. — Раскинь на Раису. Об ней горюсь.

Раскинули на Раису. Карта ложилась неплохо: с сердечными хлопотами, бубновым интересом и девяткой бубей, что, как известно, означает добрый исход.

Но, странное дело, вертелся вокруг бубновой дамы и не хотел уходить пиковый король, тоже со своими сердечными хлопотами, и не с пустыми. Раскинули раз, другой — и не знали, что думать.

— Може, офицер или из милиционеров? — предположила Солонечиха.

— Ты уж брехни да отдохни, — остановила ее Мартиновна. — Може, дед Архип? — подсмеялась она. — Он фуражку носит.

Солонечиха обиделась, снова раскинула карты. И вновь объявился пиковый король с валетом, десяткой и семеркой.

— Ну что? — с упреком спросила Солонечиха. — Вот тебе и Архип. Карты, оне...

Правду карт Мартиновна и сама знала. И потому задумалась. Казенный король был в хуторской жизни странен, непонятен. Что за человек?

И вдруг словно спичкой чиркнуло у Мартиновны в голове. Чиркнуло, осветило, и гадание стало понятным.

— Боровсковы, — проговорила она. Солонечиха радостно всплеснула руками.

— Правда! А мне и в голову не влезло. Господи! Карты чуть не в голос гутарят, а мы сидим глазами лупаем, трухли старые...

Боровсковы была известная на хуторе семья. А теперь, когда Алешка Боровсков сидел в тюрьме, срок отбывал, новая слава про них по хутору покатилась. Алешка шесть лет получил: залез в магазин на станции и уснул там пьяный. Сам он сидел в тюрьме, но прислал на хутор двух дружков своих, отсидевших, в мужья для Парани Скуридиной и Фаины Чертихиной. Фаина со своим не ужилась, а Скуридины хвалили — мужик вроде стоящий.

И теперь карты указывали туда, к Боровсковым. Казенный человек, что возле Раисы крутился, был оттуда, из тюрьмы.

— Боязно, все же тюремщик, — зябко передернула плечами Мартиновна.

— А тама всякие есть, — успокоила ее подруга.

— Это-то правильно. И добрые там есть, — с готовностью поддержала ее Мартиновна. — Жена посадит, или начальство, иль дружки хорошие. Дал бы Бог нам доброго человека, чтоб работящий, непьющий и Раису не обижал.

— Даст, — пообещала Солонечиха. — Карты указуют. Иди и ни об чем не думай. Иди.

— Чего ж... — вздохнула Мартиновна. — Пойду. Испытаю интересу. Надо идти, — твердо добавила она. — Жизнь приказывает.

Вечером она посоветовалась со своими, а утром к Боровсковым пошла. Написали Алешке письмо, чтобы как следует человека поискал для Раисы, хорошего.

Написали и вскоре получили ответ с фотографией. Глядел с карточки угрюмоватый мужик, на лицо вроде приглядный. И тут же письмо его: как звать и прочее. Сидеть ему оставался год, пять уже отбыл. Год всего оставалось. И просил он посылочку, сальца желательно, так как в тюрьме плохие харчи.

Посылку собрали.

— В тюрьме тоже... Они есть ни за что сидят, — объясняли соседям. — Жена с другим спутается, а мужа — чирек. Иль по работе. Или дружки подведут.

Соседи соглашались легко: «Бывает, бывает...»

Оставалось теперь подождать. Всего лишь год. А там все прояснится. Карты обещали хорошее.

ПЕРЕЕЗД

1

От станции Степана вез шуряк на стареньком красном «Москвиче». Стекла машины были опущены, и ее насквозь продувало чистым степным духом. Тянулась целина — остро полынной горечью пахло, хлебные поля — чем-то сладковатым. Год выдался добрый, с дождями, и зелень вокруг лежала свежая.

Степан глядел по сторонам, довольно щурился, время от времени глубоко, с причмоком вдыхал вкусный воздух и про себя говорил: «Хорошо... здорово, черт возьми... Хорошо...» Он бы и вслух это сказал, да шуряка стеснялся. Но возле самого хутора, когда по правую сторону открылось поле, облитое желтым, прямо-таки солнечным цветом, Степан не выдержал и, засмеявшись, сказал:

— Здóрово!

— Чего здорово? — спросил шуряк.

— Да вот поле. Красиво. Горчица цветет, что ли... не пойму, — и еще раз повторил: — Красиво.

— За такую красоту, — недобро усмехнулся шуряк, — управляющему голову надо оторвать. Сурепку растит. Сеют просо пополам с сурепкой. Давно надо бы семена сменить.

У ворот материнского дома они остановили машину, посигналили. Но никто не вышел. Дом, казалось, задремал, прикрыв окна ставнями. Да и весь хутор дремал — безлюдный, тихий. Тонкий, вроде бы пчелиный, звон стоял вокруг, петухи перекликались от двора ко двору, чирикали воробьи — и всё. Ни машинного гула, ни человечьего голоса.

Степан приезжал к матери каждое лето, а иногда и в иное время на день-другой заглядывал, но вот к этой тишине привыкнуть никак не мог. Он как-то шалел от нее и даже пугался. Заводская привычка. В цехе, в ночной смене, когда прикорнешь за столом, а цех работает, под этот гул и дремлется хорошо. А если вдруг смолкнет, то вскакиваешь как ошалелый: что-то случилось. И здесь, в хуторе, он иногда ночью или днем, когда засыпал, аж подпрыгивал на кровати, вскакивал испуганный: почему так тихо? А потом облегченно вздыхал, вспоминая, где он.

Дом был не заперт, только цепочка на пробой наброшена. Здесь никогда дома не запирались, лишь при отъезде да если цыгане табором возле хутора становились. А так набросят цепочку, и все.

— Ну давай, — сказал шуряк, — хозяйничай... А я поеду. Может, в воскресенье с бредешком подскочу. Говорят, в Монголовском пруду карасика можно брать. Пока.

Степан послушал, как завелась машина и поехала. Ее рокот становился все тише и тише и наконец смолк, утонул в тишине. Тонко звенели мухи, пчелы; ветер с глухим ропотом набегал на клены, стоящие подле сараев. И всё. Степан разулся, рубаху снял, пошел через двор, покрытый короткой шерсткой гусиной травки, на огороды.

Ячмень, что мать сеяла на сено, пора было косить. Он стоял налитой, тесно стоял, колос к колосу, точно пухлый зеленый ломоть на земле лежал, ветром не шевельнешь. Лишь иногда легкая зыбь бежала по его маковкам.

А за ячменем лежал огород. Впереди картошка. За ней тыквы распускали шершавые свои плети, закрывая землю

большими лопушистыми листьями. А над ними покачивались желтоватые зонтики укропа.

Ниже огорода, до самой речки и вдоль нее, тянулся сад, который называли садом больше по старой памяти. Когда-то, еще мать помнит, здесь одной вишни по пятьдесят ведер брали, а уж про яблоки да груши и говорить нечего. Но это когда-то... Правда, еще дед как-то копошился, что-то делал. Да разве одному с такой махиной совладать! А уж помер дед — и конец саду. Деревья стали сохнуть, дичина поперла от корней. Вишенник зарос — не продраться. Вырождались яблони. И вместо «шафрана», «аниса», «доброго крестьянина» падали на землю и гнили, правда, большие, иные чуть не в кулак, кислицы.

А когда появились колхозные сады, то весь хутор свои забросил. Зачем ломать горб, если можно в колхозном взять сколько не лень. Держались за свои сады только из-за сена. Оно всегда здесь, по-над речкой, удавалось хорошее. А нынче и вовсе по пояс трава стояла.

Тропкой вышел Степан на берег. Речонка звалась Паникой. Она была небольшая, а в последнее время, когда начали перехватывать ей горло плотинами то в одном, то в другом месте, Паника и вовсе захирела. Чакан и морковник почти везде ее от берега к берегу стягивали. На омутах только и держалась, на их ключах. Омуты были глубокие. Почти скрытые от солнца обомшелыми густыми вербами, они лежали покойно. Ветер шумел в далеких вершинах, не тревожа черную стеклянную гладь воды. Белого воска лилии дремали на зеленой скатерти листьев. Кувшинки желтели кое-где. А над омутом, над деревьями, над всем этим тихим полуденным миром склонилась такая же чистая, но уже вовсе бездонная голубизна.

Степан прилег на берегу, под ивовым кустом, слушал синицу, звонко тренькавшую в саду, и незаметно уснул. А разбудил его материнский голос:

— Мой сынок, ты чего на земле лежишь? Одеялку бы взял из дому, подстелил. А я тебя ищу-ищу...

Рядом бабка стояла, опершись на клюку.

— Ищем-ищем хозяина, — засмеялась она. — Може, говорим, цыгане его увезли.

Степан поднялся. Мать уже плакала.

— Мой сынок, а его все нет. Хожу к нему, хожу, кричу-кричу, а он не подымается, не откликается...

— Видать, он уже к земле прислонился, — тихим эхом вторила ей бабка.

Прошлой зимой умер отец, и мать все плакала, плакала. Каждый раз, как Степан приезжал, плакала, да и без него, наверное. Плакала — и слез выплакать не могла.

Они не изменились — ни мать, ни бабка. То ли часто он приезжал, а может, уже был в той поре, когда ровесники и старшие будто и не стареют, а лишь молодежь поднимается на глазах. У матери, как всегда по лету, нос обгорел докрасна и облупился. Бабка и сейчас, в начале июня, валяных чуней не снимала.

До самой ночи, до поры, когда спать нужно было идти, они во дворе сидели и все говорили, говорили. На могилку к отцу сходили. Потом гости появились: кум Петро, Алешка с Володей-киномехаником, братья Маркеловы, Иван да Валька, — все свои. Мать, конечно, самогоночки поставила. Просидели допоздна: и песни попели, и разговоры поразговаривали. Но главного Степан матери не сказал. А главным было то, что собирался он на хутор возвращаться. И нынешний его приезд должен был все решить окончательно: о работе, следовательно, поговорить для себя и жены и о прочем.

В доме, в постели, Степан сразу начал погружаться в дрему. Но вдруг звучный шепот заставил его очнуться:

— Помяни, Господи... Помяни, Гос-споди, раба твоего Михаила... — это бабка молилась. — Пошли ему блаженство вечное, бесконечное... Помяни, Гос-споди, раба твоего Ивана...

Бабкина молитва была проста: помяни, Господи... А потом все покойные родичи перечислялись. Память старой женщины уходила с годами, и все труднее и труднее держались в ее голове имена близких. И потому страстный шепот ее: «Раба твоего...» — часто рвался. И бабка замирала, вспоминая.

Степан лежал в темноте, в тишине, лишь за тонкой стеной бабка считала и никак перечесть не могла ушедших от нее дорогих людей. Наконец она, видно, устала и, прогово-

рив истово «Господи помилуй, Господи помилуй...», улеглась спать.

А Степану как-то не по себе стало, чуть жутковато. И от бабкиной молитвы, и от тишины, что в доме стояла и во всем хуторе. Всегда так бывало в первые дни приезда. Все же отвык, отвык он от дома... Считай, после восьмого класса ушел отсюда. Приезжал лишь на каникулы да праздники. А потом армия, техникум, женитьба, завод. Казалось, уже навсегда родной дом остался для него лишь домом родителей, домом далекого детства... Но получалось по-иному.

Главное, конечно, квартира. Жил Степан у жены, вернее, у тещи с тестем. А у них еще одна дочь подрастала. Да Степанова девка. Вшестером жили в двухкомнатной квартире. Пробовали снимать жилье — вышло еще хуже. А своей квартирой что-то не пахло. Всё только одни обещания. В общем, трудновато жили. И как-то, при случае, вдруг пришла в голову мысль. Давно это было, еще в прошлом году, как раз после отцовой смерти. Пришла мысль и не отвязывалась. Ведь в хуторе-то какой домина считай что пустует. Мать и бабка. И тяжеловато им живется, одним-то бабам, без хозяина. А что если переехать? Специальность у него была хорошая — энергетический техникум окончил. К тому же соображал он неплохо в телевизорах, приемниках — в армии приходилось дело иметь. Так что о куске хлеба не беспокоился. Жене тоже можно устроиться в колхозе — экономист. Пусть не сразу, но приискать что-то подходящее. Жилье хорошее, просторное, работа найдется. Чего же еще?..

Жена, как ни странно, согласилась. Сначала вроде в шутку, а потом все серьезнее она говорила: «Поехали... Свежий воздух. По выходным не нужно будет никуда ездить: грибы, ягоды — всё рядом...»

Еще со студенческой поры Ольга любила за город выбираться. Сейчас у них и палатка своя была, и спальные мешки. И по возможности вместе с дочкой они уезжали куда-нибудь. Чаще всего за Волгу. Степан посмеивался над этой страстью, а потом и сам втянулся.

Правда, пугалась Ольга хозяйства. Нет, не обыденной домашней работы. В городе-то она больше всех тянула.

Жалела мать за то, что старше, сестру — что моложе. Жалела, и часто за всех управлялась. Побаивалась она животины: коровы, кур и прочего. Но Степан ее утешал: «Не трусь... Мать да бабка тебя пока и не допустят. А потом поглядим...»

Итак, ничего будто и не держало Степана. Но уже второй год он лишь разговоры с женой разговаривал, а решиться не мог. Знал он, знал, что хуже не будет. Живут в деревнях неплохо. А в городе он ничего не терял, не о чем плакать. К заводу, правда, привык, товарищи появились. Но это все наживное. На хуторе-то друзья поближе: с рождения, со школы, родичи, сватья да братья. Но все же он медлил, еще и еще раз прикидывал, потому что дело было серьезнее некуда — жизнь.

И к тому же, даже не признаваясь себе, он, кажется, стыдился своего возвращения. Так уж издавна повелось: в город за долей едут, там и кусок слаще, и рубль длиннее. А вернулся назад — значит, недоумок, не мог счастья поймать. И хоть в нынешнее время все несколько по-иному, но... Степан медлил и прикидывал. И только вот сейчас, в этот приезд, решил рассказать все матери, о работе договориться и, может быть, уже по лету перебраться сюда, на хутор.

Но почему-то об этом сегодня не обмолвился. А такое известие было бы для матери с бабкой ох какой радостью.

Утром Степан проспал долго. Открыл было глаза, поглядел на окна, подумал: «Рано», — и снова заснул. А было-то вовсе не рано. Просто деревья в палисаднике затеняли свет. И когда поднялся и вышел он во двор, уже день стоял ясный, даже с припеком.

Мать, конечно, была на работе, и бабка куда-то ушла. Степан за свежей водой пошел к колонке, а там управляющий, Арсентий, «Жигули» свои новенькие мыл. В закатанных штанах ходил он вокруг машины со шлангом и щеткой.

— А-а, здорово, отпускник, — встретил он Степана. — Косить приехал?

— Косить. А что, травы жалко?

— По нынешнему году не жалко. Все огрузимся. Слушай, Степан, посмотри телевизор, а? Всю неделю ни черта

не видно. Полосы какие-то, скачет все. Бабы всю шею проели. Сегодня везти хотел, вот с работы сбежал.

— Началось, — засмеялся Степан. — Сейчас умоюсь, приду.

Это всегда так бывало. На хуторе никто в телевизорах не соображал. И потому приезд Степана всегда был кстати. Шли к нему и шли. Теперь он с собой из города тестер возил, паяльник, кое-какие детальки ходовые. Чтобы не обижать людей, помочь.

К управляющему он сразу пошел, даже завтракать не стал, не хотелось. Арсентий по дому ходил полуголый, белотелый, живот выпустив. Видно, не больно его служба заматывала. И жилье было под стать хозяину: просторный пятистенок с мягкими дорожками, с коврами, с тусклым блеском полированной мебели, с тюлевым водопадом штор от потолка до пола, с тяжелыми кистями бархатных скатертей. Недурно жил управляющий.

А с телевизором все удачно получилось и быстро. Там и дел-то было: конденсатор подпаять да лампу посадить на место. Словом, через полчаса телевизор говорил и показывал как миленький.

Управляющий восхищенно чмокал губами, торжествовал:

— Во! Вот это да! Вот это я понимаю! Ну, спасибо! А то вези нашим чертям из района, так всю душу вымотают. Десять раз будешь ездить. Это за тридцать-то верст.

Степан привык к таким речам, про себя лишь посмеиваясь, как люди в наше время считают чуть ли не колдовством такую обыденную вещь.

Денег с управляющего он, конечно, не взял. Но пришлось остаться позавтракать и бутылку выпить, чтобы Арсентий не обиделся. Управляющий мужиком был неплохим, давно уже в хуторе работал, мать его хвалила.

Выпить решили на свежем воздухе, во дворе. От колбасы, сыра, каких-то консервов из пузатого ЗИЛа Степан решительно отказался.

— Я тоже все это, — махнул рукой управляющий, — не уважаю. Мы по-нашему, по-крестьянски.

И скоро шкворчала на столе яичница, зеленый снопик лука лежал, белея нежными луковками, желтело свежее масло в мисочке.

Выпили по первой, заговорили. О машинах речь зашла.

— А ты не думаешь покупать?

— С каких доходов? — засмеялся Степан.

— Э-э, парень, — крякнул управляющий. — С такой головой... Ну-ка, давай по второй, — он выпил и с удовольствием захрустел белой луковицей. — Говоришь, с каких доходов, — продолжал он. — Ты сейчас любой двор у нас возьми... Ну, кроме тех, где алкаши или лодыри. Возьми любой двор, так если машины нет, значит, она на книжке лежит. Вот так, — лицо Арсентия в улыбке расплылось. — А ты говоришь — доходы. Твои-то годки, гляди: у Михаила Кривошлыкова — «Жигули», у Маркеловых, у обоих, у Ивана — «Москвич», у Вальки — «Запорожец», про Тарасовых и говорить нечего, те самолет купят, не поморщатся. Ну, Алешка... Алексей, тот уже три машины, наверное, пропил. Но мотоцикл все равно имеет. Вот так! Не-ет... Чего зря грешить. Механизаторы у нас живут — хоть раскулачивай. Да и в животноводстве за привесы неплохо получают. Вот так! А с твоей головой... Бросай к черту этот завод. Привози своих, и гарантия... Я тебе гарантию даю: через два года на машине будешь.

Случай был удобный, и Степан, словно не всерьез, сказал:

— Ну приеду, положим. А где работать?

— Здорóво... — покачал головой Арсентий. — Работать... Ты же по электрической части. Видел комплекс? Армяне который делали?

— В прошлом году видел.

— Ну вот, уже монтаж кончаем. Где-то в сентябре пустим. Там по электрике — кричи! — специалист нужен. И механика надо. Сто сорок рублей — пожалуйста.

— Ну а жена где? — все так же со смешком, будто не всерьез, продолжал Степан. — Она — экономист, бухгалтер.

— Да там же, в комплексе, — отвечал Арсентий. — Или учетчицей. Я этого черта все равно прогоню. Пьет, хоть ты его убей... Много ей не будет, а восемьдесят рублей — это тоже деньги. Вот так. И я тебе вот что скажу. Это, парень, раньше все нос воротили — деревня, мол, навоз. В нашем колхозе, я тебе скажу, при наших землях жить можно. И неплохо. От нас люди не вижу чтоб убегали, нет, не вижу.

А что там город, культура и прочее! Это, я тебе скажу, ерунда. Может, молодежи и нужны всякие танцы, клубы, а постарше, семейным, в наше время главное — работа. Хорошая работа, получаешь хорошо, с харчами достаток, жильем не обижен — все в порядке. Живи — не тужи. А культура, я гляжу, у всех одинаковая. Брат у меня двоюродный в городе. Катерина, сестра, в районе. Культура у всех одинаковая — телевизор глядеть. Вот и всё.

Так они просидели, пробеседовали до самого полудня. Мать уже корову подоила, когда Степан домой вернулся.

— Ты где, мой сынок, бродишь? — спросила она. — Бабушка вон говорит: спал-спал и пропал.

— Гляну — спит, гляну — спит, — подсмеивалась бабка.

— И-и, Господи, — процеживая молоко, говорила мать, — чего ж им в городе не спать, на всем на готовом? И хлебушка им привезут, и молока, спи себе да спи. Попей, мой сынок, парного, — налила она кружку.

Степан выпил молоко и раздумывал о своем — о том времени скором, когда рано или поздно возиться с коровой будет Ольга. Раздумывая об этом, Степан спросил у матери рассеянно:

— Ты ее три раза доишь?

— А как же, мой сынок! Да пока еще по-божески, сюда гоняют. А вот с той недели придется в обедах на летник бегать. И не доить нельзя. Прямо беда.

— Слушай, — все так же рассеянно, в раздумье сказал Степан, — а если ее продать? В колхозе можно молоко покупать или у соседей. Много ли нам надо!

Мать остолбенела. Мгновение-другое она ничего не могла вымолвить, лишь глядела на сына, помаргивая короткими светлыми ресничками, белые выгоревшие брови ее поднялись вверх, густо заморщинив лоб. Наконец она опомнилась.

— Ты, мой сынок, либо сдурел! Эдакую корову переводить! Нарекет еще... Господи, не слухай его, — плаксиво прибавила она. — Да такой ядовой коровы, как наша Марта, на всем хуторе нет. Скажи ему, мама, скажи...

— Уж ядовая-а-а... Как пригонют, другие на баз, а наша никак не наистся. Всю ночь готова ходить.

— Да на нашу Марту все завидуют! Все мне говорят: хоть бы она телочку принесла! И на такую золоту у тебя, мой сынок, язык поворачивается!

— Ладно, ладно, не шуми. Золото, золото... Руки скоро не будут владать от этого золота. А то бы брала молоко в колхозе и горя не знала.

— Ага, — покивала головой мать, — счас, растопорься, много тебе вольют. Школьникам, в интернат, и то отказывают. Все государству — и никаких.

— Ну, у людей бери...

— Ты, мой сыночек, либо переспал иль со вчерашнего не очунел... Значит, пресного надо попить — беги. Кислого захочешь — снова к добрым людям. Вареничков сготовить или блинцов испечь... А иде маслице, сметанка иде, каймачок, творожок? Опять подайте, люди добрые! Иряну захочешь — и того Христа ради надо просить. Так уж... — махнула она рукой. — Плетешь, не знаю чего. Об деле бы подумал. Завтра зачнем косить. Такую страсть божию нам предстоит одолеть. Мама, ты на сад ходила?

— Ходила, глядела. И на обережье была. Аржанец зачал цвесть. Старые люди на эту пору, бывало, говорили: счас пуд сена — что пуд меду.

— Значит, завтра с богом... Пойду хоть чуток прилягу, — сказала мать. — Скоро сбираться.

А Степан у бабки спросил:

— Не слыхала, бабушка, грибы пошли?

— Какие сейчас грибы.. Одни змеиные. Добрым-то рано.

— Схожу все же, промнусь.

Грибы водились за рекой. Прямо от берега шел осинник с топольками, место сыроватое, сплошь заполоненное колючим ежевичником. Но чуть далее, к опушке, в дубках, водились белые, сыроежки, дубовики. Но появлялись они по лету не вдруг, а лишь к июлю-августу. Степан здесь и искать не стал, пошел без задержки.

Крапива нынче удалась, у речки стояла по обе стороны тропы прямо-таки заставой богатырской. Да и все удалось в нынешнем добром году. Подорожник во всю ширь дороги зелено стлался чуть не лопушиными листьями. Фиолетовое войско шалфея толпилось на опушке, возле тернов. А уж в степи...

В степи нынче было славно. Первые два колка, осины с дубками, Степан пропустил и пошел к большому, березовому. И вдруг, поднявшись на пригорок, он остановился: ложбина, лежащая перед ним, была залита ясным желтым светом. Это заросли донника недвижно стояли, покоя на сочных стеблях светлую желтизну сережек. Это молочайник, досыта напоенный, нынче радовал глаз зеленовато-желтыми, свежими веточками.

В ложбине, в полном безветрии, дурманил голову горячий дух медового настоя. Пчелы, шмели, мухи гудели меж цветов лениво и сыто, словно нехотя.

Оставив мысль о грибах, Степан шел по степи, и везде было хорошо. Гвозди́ки стояли, каждая величиной в пятак; да не по одной, а тяжелым букетом, по шесть-семь цветков на тонкой упругой ножке. Местами, полонив землю, табунились они полянами, а где и вразброс, брызгами рдели меж солнечной желтизны донника или над медуницами качались, длинноногие.

Давно, а может быть, никогда, а может, забыл уже Степан эти места в такой вот красе... А может, не приглядывался раньше... Да нет, бросилось бы в глаза! Просто год, наверное, был нынче особенный, щедрый на дожди и тепло. И потому все так взыграло, поперло из земли! Вот чабрец как цветет... Прямо в ноготь каждый цветок!

Наконец Степан устал. Возле одного из колков, чуть на отшибе, три березы стояли. В их тени, на ветерке, чтобы комаров не кормить, он и уселся, прислонясь к березовому стволу. «Вот бы девок моих сюда, — думал он. — Вот бы радости — что у большой, что у малой. Крику, визгу, охов всяких. Букетов набрали, венков бы наплели. Да хоть бы воздухом таким подышали...»

Степан дочку редко сюда привозил. В дороге ее мучить не хотелось. А с собой, на весь отпуск, брать нельзя. Глядеть за ней некому: бабка старая, сама еле ходит, мать на работе, а у него то сенокос, то другие заботы.

Степан прикрыл глаза. Он слышал, как трепещет под ветром березовая листва, как тонко звенит рядом какая-то малая крылатая тварь, как долдонит пустушка. Он видел, с закрытыми глазами видел и густую березовую зелень,

и ясную бель ствола, и пустушку видел, удода, как он пестрым хохолом своим кивает и кивает словно заведенный. «Надо быстрей переезжать, — подумал Степан. — Нечего тянуть. Откошусь — и переезжать. Пусть хоть лето поглядят. За грибами походят. Покупаются. Нечего тянуть».

2

Мать с бабкой часто вспоминали, как любил косьбу дед Колюша. Славно при нем кашивали. В восемь кос, бывало, становились, загодя готовили иряну да квасу побольше. Рядок-другой пройдут, дед Колюша командует: «Садитесь, детки, отдыхайте. Покурите, детки, кваску испейте». Еще пару рядов, и снова отдых. За два дня управлялись.

Степан этой веселой косьбы уже не застал. Обычно вдвоем с покойным отцом им приходилось работать. Иногда мать помогала. А сена́ были все те же, на садах, на обережье, а в сухие лета и на стороне прихватывали. И упираться нужно было вовсю. Час косить, десять минут перекур — таков был жесткий распорядок, установленный отцом. Коса, правда, у отца была больше, вел он ряд шире, косить умел. В три дня траву укладывали. Когда служил Степан да учился, отец с матерью косили. Иногда сестер мужья помогали.

Нынче же надеяться было не на кого. Матери «выхода́» нужно зарабатывать в колхозе, чтобы без зерна не остаться.

Вечером пришел кум Петро, косы отбил. По всем дворам на хуторе глухо колотили. А мать зудела не переставая:

— Мой сыночек, ты гляди не спеши. Ты лучше помене, но все до травочки выбирай. Пятку не боись опускать, по земе ее, по земе. Ну-ка, ну-ка, вот здесь, во дворе, пройдись по гусынке, я погляжу...

Степан несколько раз косой махнул.

— Высоко берешь, мой сынок! Так ты всю траву погубишь. Ну, чего ж делать?! Либо на работу не ходить?!

Мать, озабоченная до слез, бегала вокруг Степана, жалко пошмыгивала носом. Суматошилась, словно клушка.

— Мама! Мама! — кидалась она к матери. — Ты завтра иди за ним и гляди, показывай, учи его. А ты слухайся, а не

мотай головой! Счас вот покажи ему, мама, как точить косу. Ты, бывало, деду Колюше точила. Он всегда хвалил.

— Гос-споди! — не выдержал Степан. — Ты чего с ума-то сходишь? Чего, я косу не держал в руках?

— И-и, — махнула рукой мать, — косари! В том году зятёчки приехали помогать, всю траву загубили. Был бы живой отец, — вздохнула она, — да я бы разве... Он сам бы делал и за тобой приглядел. Такой был мастеровитый. И косьё по руке наладит, отобьет. Лучше наших кос на хуторе не было. За что же Господь... — всхлипнула она. И кончилось все это, конечно, слезами.

Хорошо было на нынешнюю траву глядеть: и зелена, и высока, и густа. А вот бралась она тяжелехонько. Когда-то по саду и обережью чистый аржанец стоял. Теперь же он почти везде выродился, помешался с люцерной, донником, со свистухой, полынком; у плетней да меж дерев лопухи лезли, крапива, чистотел. В общем, всякой твари по паре. А тут еще вьюнок густо оплел это и без того тяжелое разнотравье. И потому косилось нелегко. Сначала Степан по-отцовски хотел работать: перекур через час. Но уже на первых, коротеньких рядах по́том облился. Сердце колотилось гулко. И все более вязкой, тяжелой казалась ему трава. С силой тянул он косу, а добив ряд, останавливался, дышал с сипом и не мог продышаться. И с тоской, даже с каким-то ужасом глядел он после каждого ряда вокруг и охал в душе, оттого что вся работа была впереди, и не верил, что сможет ее сделать. Ни в первый день не верил, ни на другой.

Мать прибегала и в перерыв, и после работы и за косу бралась. Но прежде обходила, проглядывала скошенное и на Степана напускалась:

— Мой сынок, под деревами надо чище выбирать, все до травочки.

— Да там же не пролезешь и с косой не повернешься.

— А вот матари придется пролезть, — с нарочитой кротостью говорила мать. — Кто же за нее будет делать...

И она действительно пролезала в самые гиблые, заросшие вишенной, терновой и яблоневой дичиной места, по канавам косила.

— Мой сынок! — кричала она в другой раз. — Гляди, трава-то стоит! Пробежал рысью. Загубил траву, да и всё! — всплескивала она руками.

— Да там же одна свистуха...

— Во! — с растерянностью разводила руками мать. — Во мы какие богатенькие. Свистуха нам не нужна.

— Ну, попробуй ее возьми, — начинал злиться Степан. — Там бугор. Она перестоялась.

— Матаря все возьмет, — все с той же нарочитой кротостью отвечала мать. — Матаре не на кого надеяться. Не лениться, косу точить надо почаще, мой сынок, вот и все.

Она долго и старательно водила бруском по жалу, точила. Но эта трава на бугре и вправду перестояла. Вжикала она под косой со свистом, но осталась целой, лишь маковку потеряв. Потому и звали эту траву свистухой.

Степан молча глядел. Мать уже сплеча била проклятую свистуху. Но та лишь кланялась косе, да и только.

— Отец-то всегда этот бугор пораньше выкашивал, — сказала наконец мать, сдаваясь, — по-хозяйски делал. А без хозяина все гибнет, — вздохнула она тяжело.

— Ладно, мама, — успокоил ее Степан. — Сена в этом году много.

— Да тебе все ладно, — отвернулась мать. — Рази тебе жалко... У тебя в городе всего много.

Ругаться с матерью не хотелось. Но и слушать ее было тошно. Хоть и знал Степан, что мать всю жизнь такая бурчливая, а после смерти отца ей вовсе несладко, понимал он все это, но в душе все же досадовал.

А на другой день, к вечеру, случилась неприятная история. В обед на обережье мать прокосила межу, там где их земля с соседом Аникеем граничила. Мать, видно, нетвердо эту границу знала, потому что загодя они с бабкой много об этом говорили. Про какие-то канавки вспоминали, тропки и вязки, от которых наискось нужно брать. И вот в обед мать прокосила эту межу (Степан на нее и глядеть не ходил), а к вечеру пришел Аникуша.

Сначала Степан голос его услышал: в мать-перемать, в бога и прочее. А потом и сам Аникей появился. Спешил он по тропке к Степану, руками размахивал и рта не закрывал.

— Чего ты, дядя Аникей? — еще издали спросил его Степан недоуменно.

— Не знаешь! Да! Ворюги! Все не нахапаетесь! — страшным было черное от поступившей крови лицо Аникея; на губах, в уголках рта белели комочки пены. — Последнюю траву отымаете! Я за каждой травиночкой по лесу бегаю! Добываю!..

Степан, кажется, понял, в чем дело, но все же спросил:

— Не кричи, дядя Аникей... Скажи, чего шумишь?

— Пошли! — зло бросил Аникей и зашагал вперед, маленький, сухой, кривоногий. — Пошли, я тебя мордой ткну! Не знает! — не переставал он ругаться. — Весь в свою породу! А еще городской! Приехал обкрадывать!

Степанова догадка была верной: мать закосила у Аникуши землю. От вязков, Степан смутно помнил по прошлым годам, почти напрямую шла межа к старой вербине, что у самой воды стояла. А мать залезла как-то странно, углом, явно чужого прихватила. Немного, но все-таки прихватила.

— Забери это сено, дядя Аникей, — сказал Степан, — и не шуми. Ну ошиблись...

— А-а-а! — торжествующе крикнул Аникуша. — Испортили траву, а теперь забери! Испоганили всю по-свински! Когда вы подавитесь! Жрете, жрете и никак не нажретесь!

Степан знал, что Аникея ему не переслушать, молча повернулся и ушел. А сосед все кричал, там, у закошенного места, всю Степанову родню до седьмого колена перебирая. Людей каких-то призывал, жаловался им. И все это в голос, чуть не в крик.

Степану до того тошно стало, что он бросил косить и пошел домой. На пути ему мать встретилась.

— Ты чего так рано? — спросила она. — Либо заболел?

— С тобой заболеешь, — зло ответил Степан. — Ты зачем у Аникея закосила? Из-за клочка сена такой скандал. Да лишнего бы ему оставила. Вон как орет.

Мать прислушалась.

— Пусть разоряется. Я в своем праве, — уверенно сказала она. — Он вечно недовольный. А как отец умер, готов нас прям сгрызть. Счас я пойду ему укажу. Еще бабка Маша жива была, она мне все межи переказала.

— Не ругайся ты с ним Христа ради, — попросил ее Степан, — уступи ему. Ну его к черту! Из-за навильника кровь портить.

— И-и-и, иди! — зло бросила мать. — Тоже мне, хозяин! Все готов раздать! — И решительно пошла к саду, навстречу Аникеевой ругне.

Бой продолжался до позднего вечера. Уже из сада вернулись и мать, и Аникей, и теперь переругивались через улицу, от двора ко двору. Приустали, поохрипли и все уже рассказали друг другу о прошлой жизни и будущей, всю грязь вылили, но не сдавались.

— Кобель! Кобелина проклятый ненасытный! — кричала мать, вытягивая шею, а сама тем временем картошку чистила.

— Свиньи, свиные рыла! — доносился тенорок Аникея.

Это прозвища хуторские были: Аникееву фамилию кобелями спокон века звали, а их — свиньями. Редко, конечно, по такой вот жестокой ругне. Вроде бы за породу, за брови. У всей родни по матери бровки были редкие, белые, как щетинки. Вот и звали по злобе свиньями.

Степан сидел в доме. Он уже несколько раз во двор выходил, пытался мать утихомирить.

— Мама, ну хватит, хватит. Весь хутор слышит.

— Нехай! Нехай все знают, как он, кобелюка, ежеминутно загрызает нас! Горло хочет перервать!

— Ты сама своим рылом свиным под всех подрываешь! — не остался в долгу Аникей.

— Кобелюка! Жену извел, кобелюка! Дочерю тоже извел! — бросив и нож, и картошку, побежала к забору мать.

Степан ушел в дом, радио погромче включил. Пытался журнал какой-то листать. И поеживался, морщился при каждом новом крике.

3

В пятницу, к обеду, Степан обсмотрелся и увидел: дело движется к концу. Сегодня, если хорошо поработать, можно дойти до верб. А там останется ерунда. Правда, еще на огороде люцерна стоит да ячменя кулига. В один день не возь-

мешь. Но главная работа была позади, останутся доделки. Степан даже отдыхать после обеда не стал. Перекурил и пошел в сад.

И теперь, когда глазами можно было охватить нескошенное, теперь косить стало легче. А тут еще на взлобье место пошло доброе: аржанец стоял густой, колос к колосу, и чистый, без худой травинки. И коса его брала хорошо, с хрустом. Легко шла коса, оставляя после себя низкую ровную щетину. И вот здесь, впервые за эти дни, Степан косил с удовольствием. Рядок пошире брал — рука просила — и проходил его быстро. Один, другой, третий... Будто и жара стояла такая же душная, парило уж какой день, и пот досаждал. Но этот легкий полет косы и звучный ясный хруст срезаемых стеблей словно завораживали, не давали остановиться.

— Ты, парень, к-кончай! — раздался вдруг сзади голос. — Р-разошелся, как т-трактор. К-капитально!

Степан оглянулся. Конечно, это свои пришли: Алешка и Володя-киномеханик.

— А-а, помощнички! — обрадованно воскликнул Степан. — Лексей, вон коса лежит, бери.

— Вставь ее себе з-знаешь куда... — спокойно ответил Алексей. — Давай лучше выпьем.

— К-капитально!

Уселись здесь же, на бережку, возле омута. На огороде луку нарвали.

— А стакан? — огорченно сказал Володя.

— Б-барбосы, — сплюнул Алешка. — Ч-чего бы бе-без меня делали!

Он встал и пошел в глубь сада, туда, где терны непролазной стеной стояли. И скоро вернулся со стаканом.

— П-па всему х-хутору инструмент рассредоточен. К-капитально!

Выпили понемногу.

Степан на Володю пристальней поглядел и присвистнул.

— Чего это у тебя с носом?

Володя потрогал нос. Он у него в шрамах был, в свежих, еще розоватых.

— К-кобель ему, — встрял Алешка. — По пьянке.

— Какой кобель? — изумился Степан.

— А-абыкновенный. Он с ним а-абъясняться стал. По пьянке. Па-пацеловать хотел или в морду п-плюнуть. Неясно. Ну, тот его и цапнул. К-капитально.

Володя вздохнул, недовольно поморщился, сказал:

— Давай, выпьем.

— Эта скотина, — окончательно овладел разговором Алешка (он после второй чарки вроде и заикаться меньше стал), — скотина всякая ненавидит пьяных. К-ка-питально вам говорю. Я вот индюков водил в прошлом году. Приду пьяный, они по-своему бельмечут, бегут и на меня к-кидаются. Щиплют, гады, к-капитально! А на следующий день, — торжествующе оглядел он собеседников, — дохнут. К-капитально! Щиплют и дохнут! Все перевелись.

Одной бутылкой, конечно, не обошлось. Степан за второй смотался. Тут уж совсем хорошо стало. Правда, говорил все больше Алешка. Ну, это всю жизнь так было: если он в компании, остальные могут рот завязывать.

— Н-ну, вот. Работаю я, значит, на ферме. М-молоковозом. К-капитально работаю, не придерешься. День животноводов пришел. Всем п-премии дали, грамоты. А мне не обломилось. Ну, грамоты, хрен с ними. Пе-переживем. А где премия? Зажали. К-капитально! Я сразу к бригадиру...

Хороший был мужик Алексей. Когда-то первый парень на хуторе. И учился хорошо. Техникум сельскохозяйственный кончил. Женился, работал зоотехником, две дочки у него. А потом стал выпивать. Крепче и крепче. И пошло все наперекосяк.

— Н-на разных работах теперь. Это лучше. Скотина эта вся мне н-надоела. Вонючая. К-капитально!

Володя-киномеханик — тот больше на жену да на тещу жаловался:

— Пристали: коси да коси. Всю шею переели. Вроде не успею.

— Трава может перестояться, — сказал Степан.

— Сожрут, — убежденно ответил Володя. — Давай лучше выпьем.

— К-капитально!

Потом среди разговора Алешка вдруг замер.

— Ш-ша, — произнес он. — М-молчок, — и прислушался. — Фа-фашисты приближаются, — вскочил он на ноги. — К-капитально! Скрываемся.

— Какие фашисты? — спросил Степан.

— Ху-хуже настоящих... Я их з-за километр чую. Про нас м-молчок. Мы в па-пар-тизаны...

Алексей с Володькой подались вдоль берега по садам, к плотине. А через минуту-другую — Степан только за косу взялся — появились бабы, Алешкина и Володькина.

— Наших не видал? — спросили они.

— Нет, — сказал Степан.

— Где же их черти носят? Трава стоит.

— Мой нынче и на работу не пошел. Говорит, с утра зачну.

— Выходит, не сбрехал, зачал с ранья. А вот когда кончит?

— Как упадут под забором, так и кончат.

Постояли бабы, пожаловались и ушли.

А Степан в речке поплавал, охладился и косил до самого вечера, пока к вербам не подобрался. Алешка с Володей-киномехаником больше не приходили.

За ужином мать радовалась, места себе не находила. Не раз переспрашивала:

— До верьбов? Это против огорода какие?

— Ну, до них... а то до каких, — отвечал Степан.

— Да прям не верится. Это какую страсть божию помог Господь одолеть. Теперь бы он, милостивец, дождя не наслал. Я завтра на работу не пойду. За два дня мы бы управились. Скопнили бы. Ешь, мой сынок, ешь. Свежих щей наварила. Такие расхорошие получились, — мать и за самогонкой в чулан сбегала. — Выпей с устатку.

Степан принес из кухни стаканчики, бабке налил и матери. Мать с трудом половину выпила, крутила головой. А бабка хоть и старше ее чуть не вдвое была, выпить любила. Щами захлебав, она сказала:

— А дождю быть. У меня какой день коленку — как кошка лапкой дерет.

— Да может, зашибла просто, мама? — испуганно проговорила мать, оставляя еду. — Неужто Господь в такое время допустит!

— С Богом судиться не будешь, — назидательно сказала бабка. А потом успокоила: — Ничего, без дождя сена не бывает. А може, он нас не заденет, стороной обойдет.

— Вот так-то бы лучше, — вздохнула мать. — Я вот планую за субботу-воскресенье все добрать, копны скласть. А на той неделе, мой сынок, еще можно бы покосить в степи или по лесу. У прудов, говорят, трава добрая.

Степан опешил:

— Да ты чего... Куда тебе еще... Возов семь-восемь будет.

— И-и, — отмахнулась мать. — Насчитал, считака... Точно. Меньше семи не будет. Хороших возов. Да у тебя еще с того года сколько осталось.

— Мой сынок! — всплеснула руками мать. — Ты погляди на людей! Каждый старается поболе запасти. Убиваются люди с утра до ночи. Ты у Тарасовых погляди. Они в прошлом году такую страсть божию наворотили — до небес! А в этом году... Да они по этому лету... Огрузются.

— Ну зачем тебе столько? На всю жизнь не запасешь. Мыши поточат, и выкинешь. Давай, бабушка, еще маленько выпьем с тобой.

— Ты погляди, какой он у нас, — сокрушалась мать. — Ну, прям какой-то Егор-наперекор. Ты ему одно, он другое. Сено, говорит, зачем. А скотину чем кормить?

— О-ох, у тебя скотины! Корова да козы. Сколько? Семь штук. Да три овцы. За глаза хватит. А вообще-то вы с бабушкой вдвоем. Пора все переводить. Оставь корову, пару коз на пух — и всё. Поросенок на мясо есть. Гусей полно. Куры. Куда тебе все эти телки, овцы...

Мать ошеломленно, через силу улыбнулась.

— Какой ты у меня все же простоватый! Ты погляди, как люди живут. По скольку чего держат. Кабанов сколько. Коз да овечков до полусотни доводят. Про птицу уж не говорю. Каждый старается расширить хозяйству до невозможностей. Все ж это денежки! Пух — денежка, овечки — забей — денежка! Ты знаешь, мой сынок, по скольку люди за утей да за гусей берут?! А за платки! Такие сейчас цены хорошие пошли, только не ленись.

— Да зачем тебе деньги! О себе подумай, руки пожалей!

Мать даже с лавки приподнялась.

— И-и-и... Нет, все же ты чуток глуповатый. Да деньги же это... С деньгами я... Люди каждую зиму в Москву едут. Напривозят всего. Скатертя какие, накидки, покрывала, шторы, тюль... По скольку всего у людей в сундуках лежит. Холодильники у всех, мотоциклы, машины. Жив был бы отец... Мы б с ним развернулись. Обязательно б машину купили. Не отстали б от людей!

— Зачем тебе машина?

— Снова-здорова! Да сели б и поехали тебя, например, со станции встренуть.

— Я раз в год приезжаю.

— Сели б и в гости поехали в Назмищу к братьям да сестрам, — не сдавалась мать.

— Тебя туда трактором не вытянешь. Помнишь, как приедут за вами, а ты ни в какую? И сама не едешь, и отца не пускаешь.

— Конечно. Чего я туда поеду? Чтоб отец напился.

Степан расхохотался.

— И-и-и, — покачала мать головой, — я тебе откровенно, мой сынок, скажу: ты где умный, а где Ванюшка-дурачок. Ну чистый Ванюшка. Аки наг, аки благ. В кого ты уродился? Мама, были у нас такие в породе, а?

Бабка ответила не сразу. Подумала, ртом беззубым пожевала.

— Ефимка был... Нюрин сын. Это из Сокаревки, из Авдеевых. Не упомню, кем он нам доводился. Этот Ефимка все на гармошке играл. Где какая гулянка, он работу кидает и бегом туда.

Мать обрадовалась.

— Во-во-во! И нашему ничего не нужно. Корову продай, козов не держи, овец переводи, телок тоже лишний. Так, живи абы-абы. Чистый Ефимка. Вот он лучше бы в дядю свово, — завистливо вздохнула она, — в дядю пошел, в назмищенского, в Алексея Михалыча. Вот тот — хозяин. Тот копеечку не проточит. Это ж надо такую домину выстроить! — со сладким ужасом проговорила мать. — Такую страсть божию! И все по ночам доставал да за самогоночку. Вот бы в кого тебе уродиться. Это б счастье...

— Да-а, — мягко рассмеялся Степан.

— Ты над нами не смеись, — сказала мать. — Для тебя ж, мой сынок, стараемся. Ты теперь хозяин и дому, и всему. Девки улетели. Это теперь все равно что чужие. А ты — хозяин. Вот мы с бабушкой как-то сидели, говорили: вот бы Степушка наш перебирался сюда жить. На внучку хоть порадоваться. Думаешь, я не скучаю за ней, — всхлипнула мать. — Вас жалела не знаю как, убивалась. Вроде уж куда больше... А вот внуков, их, чертей, еще жальчей, — рассмеялась она. — Как бы расхорошо зажили, мой сынок... На тебя ведь все удивляются, какой ты смысленый.

— У магазина нады за хлебом сидим, — поддержала ее бабка, — а Матрена, бригадирова теща, говорит: либо у вас Степан колдун или слово какое знает. Энти телевизоры наскрось все чисто видит.

— Чего зря грешить, Господь не обидел, — с гордостью сказала мать. — Вот он еще бы его надоумил сюда перебраться. Дом просторный, хозяйство неплохое. Рук вот не хватает. Они с Олюшкой молодые, здоровые. Я бы им подказывала, и пошло бы дело. Так бы развернули хозяйству. А одна я разве управлю? Бабушка уже старенькая, ничего она не могёт.

Опершись руками на костыль, бабка согласно кивала головой.

— Нету мочи... За гусями пойду... Иду, иду, и мочи нету. Хлеба куплю. Буханков возьму поболе, и руки отымаются. Иду, иду, и хучь бросай посередь дороги. Нету мочи. Хучь кричи. А одна она куды ж... И туды кидается, и там хочет сделать... А руки одне.

— Вот то-то и оно — одне, много не растопоришься, — поддержала ее мать. — Кабы отец-то живой был, мы б с ним катухи́ переделали. Он уж и заготовил все. Хату бы ошелевали шифером, дорожки бы по двору поделали. Да вот не дал Господь... Прогневался, — дрогнул ее голос.

Но тут во двор соседка вошла, Полина.

— Здорово, невеста, — поднялся навстречу ей Степан. — Садись.

— Да некогда, жених. Здравствуйте, — ответила Полина, но на лавку все же присела. — Бабаня, у тебя кулинки нет? У Витьки голова запаршивела. Чешется и чешется.

Сегодня глянула, а там какие-то лишаи. Кулинка, говорят, помогает.

— Счас погляжу, Полюшка, — сказала бабка и пошла в дом.

— Вареничков покушай, — предложила мать.

— Не хочу...

— Ешь, невеста, поправляйся...

— Ну, раз жених велит, — сдалась Полина.

Они в школе вместе учились. До восьмого класса. А жили-то рядом. Вот и звали их жених и невеста. И, если честно сказать... Впрочем, зачем о былом... Теперь-то Степан видел Полину редко. И если мать с бабкой, встречи с которыми были не чаще, оставались для него почти такими же, как год, два, как пять и более лет назад, то Полина старела на глазах. В девках миловидная, пышненькая, даже чуть тяжеловатая не по годам (может, тем и брала), после замужества и родов она похудела, стала костлявой, жилистая шея казалась длинной, темное лицо всегда шелушилось, резкие морщины объявились. И в свои двадцать восемь гляделась она не моложе матери.

— Может, выпьешь? — предложил Степан.

— Только и осталось, — засмеялась Полина, прикрывая рукою рот.

Но Степан успел заметить: зубов у нее не было — внизу, сбоку.

— Нашла, Полюшка, — принесла бабка пучок травы. — Только не ополаскивай, когда головку-то помоешь.

Полина ушла. И когда стихли ее шаги, мать со вздохом сказала:

— Какую ты счастью, мой сынок, упустил. До чего делучая девка. Горит все в руках. Из хозяйков хозяйка. Что в колхозе, что дома — везде успеет. Вот за такой-то женой ты б горя не знал.

— А Ольга плохая, выходит?

— Да нет, мой сынок, я Олюшку не хулю. Но она для города. Чтоб под ручку пройтиться, в клуб сходить. Это я говорю, если б ты в колхозе, положим, остался, то лучше Полины не найти. Делучая... Уж эта минуты без дела не посидит.

— Вот и заездилась, — сказал Степан. Он мысленно сравнил Полину со своей Ольгой и усмехнулся этому срав-

нению, а ведь не хуже была, добавил: — Чего же хорошего. Лет-то сколько, а уж старуха.

— Мой сынок, ты на это не гляди, — возразила мать. — Главное, хозяйка. Делучая. А красивые... оне... Красотой жив не будешь. Вот у нас фельшерица... Ты ее видел? Ничего не скажешь, девка хоть куды, все при ней. А вот второй год уже, и никто ее не берет. Против нее все матери восстают. Все как одна заявляют: газетница она, и более никто.

— Какая еще газетница?

— Газетов много читает.

— И чего... чего вам газеты помешали?

— А то, — решительно подбоченилась мать. — Ишо как приехала, сразу заметили, газетница. Федотыча, почтальона, сто раз выглядает. Увидит, бегёт к нему. Ну, сначала люди думали, скучает, письмов ждет. А она кидается: газеты ей, газеты. Вот так да! И на работе книжки читает, домой придет, у Москалевых она стоит на квартире, поист — и снова за эту чтению. Это как?..

— А чего ж ей делать? — спросил Степан. — Водку, что ль, пить?

— Ты не смеись... Хорошая девушка, деловая — найдет работу. За книжками цельный день не будет сидеть.

— Ну чего ж ей делать?! — громче спросил Степан, злиться он уже начинал. — Она, может, и читает-то по специальности, чтобы вас лучше лечить! А вы!

— Ты на меня, мой сынок, не шуми. Можно чуток и почитать. Но и делу ведь надо делать. Можно пуху купить и платки вязать. По ее работе по два платка за месяц можно вывязывать. А это денежка. Вышивать можно салфетки, шить чего-нибудь. Приданое готовить. А как же! Хорошая девушка, она...

— Салфе-етки... — покачал головой Степан.

— Дражни матарю, дражни, а вот помяни мое слово, никто ее не возьмет. Из себя она хорошая, чистая. Испортить могут, а взять не возьмут. Все родители против нее восстают. Так в девках и останется, газетницей! — выкрикнула мать.

Придремавшая бабка вскинулась, головой закивала.

— Газетная, газетная... Нады у магазина сидим, за хлебом. Москалиха говорит: наша ныне до утра свет жгла, читает и смеится все сама с собой, либо умом трогается...

— Ладно, — со вздохом поднялся Степан. — Вас разве переговоришь. Пойду-ка я спать.

— Правильно, мой сынок. Ложись отдыхай, устал. Завтра тоже работа трудная нам с тобой предстоит.

Степан улегся в постель. За стеной бабка начала свою молитву.

— Помяни, Господи, раба твоего... Пошли ему блаженство вечное-бесконечное...

В комнате было душно. Степан хотел подняться, форточку отворить, но вспомнил, что никаких форточек в доме нет и окна не отворяются.

За глухой стеной, на базу, тревожились гуси. Гоготали, гоготали, потом успокоились. А через несколько минут снова переполох. Потом короткий покой, и опять гогот. «Кто их там?» — подумал Степан. Он полежал, послушал, а потом сигареты взял и пошел во двор. Темно во дворе было, безлунно. Степан осторожно к плетневому забору подобрался, глянул: гуси лежали посреди база белыми валунами. Двое старых, как всегда, на страже стояли, вытянув шеи. Остальные покойно дремали. Вдруг одна из коз — они здесь же, на базу, ночевали — решительно направилась к гусиному стаду. Тревожно закричали сторожа, а коза спокойно прошла и стала посреди гусиного лежбища. Встала и стояла, рогатой головой вертела, поглядывала. Переполошились гуси, поднялись и, гневливо гогоча, пошли вперевалочку прочь, к самому плетню. Там и устроились. Погоготали, поволновались и улеглись. И как только покой наступил, коза вперед двинулась. Неторопливо прошла она и снова замерла посреди гусиного стада. И опять поднялся гвалт.

Степан засмеялся, закурил и пошел от база. Баловалась коза, дьяволово племя. Покуривая, вышел он за двор. Прямо перед усадьбой, через дорогу, темнел крутой холм, не очень высокий — в две хаты, не более. Он стоял здесь всегда. Кое-кто из хуторских — любопытных или жадных — пытался по ночам копать его, искали золото. При свете стыдились, а по темноте копали. Несколько канав бороздили чело холма.

Степан поднялся наверх. Хутор лежал в ночи тихий, ни огонька, ни собачьего бреха. Но и во тьме, коротко обре-

завшей взгляд, Степан видел все, что хотел видеть. От амбаров и кузницы до садов на берегу Паники, от школы до усадьбы кума Петра. И дальше: кладбище, Лебедевскую гору, колки за речкой... И еще дальше...

Да, никакой тьме не скрыть от глаз человека ту пядь земли, что родилась вместе с ним и держала его на руках чаще матери; подставляла свою мягкую ладонь, когда он падал, не удержавшись на нетвердых еще ножонках; лечила его мальчишеские ссадины — без всяких лекарей, травой своей, лопушком ли, подорожником или просто легкой пылью; кормила во всякие годы купырем, козелком, калачиками, чередой, кислым щавелем, сладким солодком, березовыми и тополевыми сережками, грибами да ягодами, безотказно кормила и в лихие годы, и в добрые, поила чистой водой — и подняла на ноги.

Никакая тьма, кроме смертной, не скроет от глаз человека ту пядь земли, что зовется его родиной.

Но, Боже, как мала эта спящая родная земля: горстка домиков на темной ладони поля... Как мала и темна... Когда вокруг — не над головой, а вокруг, — размахнул немереные свои крылья светлый и торжественный звездный мир.

Степан постоял на холме, покурил и опять, как тогда, в степи, подумал: «Девок бы моих сюда. Вот бы радости было!» И засмеялся, представляя. Как-то в прошлом году, в августе, ездили за грибами, все втроем, на автобусе, с ночевкой. Такая же ночь была. Ольга его просвещала: Лебедь, Рак — целый зоопарк... Плеяды. Он поднял голову: старый друг, Большая Медведица, была на месте.

Пора было спать. Осторожно прошел Степан по тихому дому, но мать услышала его, сонно спросила:

— Чего бродишь, мой сынок?

— Спи, спи, — прошептал он ей.

А сам не сразу уснул. Гуси за стеной волновались. Все шутковала коза, черт неуемный. Но главное, тревожил Степана нынешний разговор со своими. Да и только ли нынешний... Возвращение... Переезд... Вот что не давало покоя. Если бы он возвращался на хутор один, все было бы проще. Хоть и надолго уходил, но словно в гостях побывал, а теперь домой вернулся. Но вот Ольга... Она спокойный человек,

добрый. С женой ему очень повезло. Она лишнего не скажет, она лучше перетерпит, смолчит. И это, наверное, плохо. Дочь — малышка. Дочь обвыкнется. А вот Ольга... Слишком легко она соглашается. Может быть, из-за тесноты в квартире... А может, не хочет перечить. Но она не понимает, нет, не понимает всего. Была несколько раз, наездами на день-два, в отпуске жила. Но все это гостьей. А навсегда, хозяйкой... В чужой мир, в чужой... Да и хозяйкой ли, вот еще что... Хозяйкой ли?

Степан лежал, думал и одним лишь успокаивал себя: что не торопился, не высказал матери своих планов о переезде. Наконец его сморили усталость и сон.

4

Ольга приехала неожиданно и очень вовремя. Степан с матерью поругался. Докосили они быстро и ладно. И скопнить успели. А потом началась маета. Короткие дожди стали перепадать, и почему-то всегда ночью или на заре. Пройдет дождик, мать кричит: «Мой сынок, раскидывай сену, пусть провенется!» А раскидывать не одну копну, а десяток, да все копны серьезные, чуть ли не в воз.

В первый раз Степан и слова не сказал, посбивал макушки и с боков, где подмокло. Но тут же мать появилась с проверкой, и уж она-то, следом, разворочала копны так, что от них ничего и не осталось.

— Для чего? — опешил Степан. — Они же внутри сухие.

— И-и-и, тебе абы не делать, — ответила мать, — на людей погляди, люди не дурей нас, а все разорили.

Степан только вздохнул. Вечером копны сложили вновь. А поутру, уже по свету, дождик прошел. Степан в постели еще слышал, как он тарабанил.

И снова мать подгоняла:

— Не приленивайся, мой сынок, не приленивайся. Пусть провенется, невелика работа.

Но вчера наконец сено свезли. С утра начали и к темноте лишь успели, вывершили. Степан так за день наломался, что ложку за ужином поднять не мог. Мать заложила скирд не по сену (ей все казалось, что мало, мало накосили),

и пришлось выводить его высоко. А вилы с длинной ручкой были тяжеленные, их пустыми-то поднять труда стоит. И так Степан за день натаскался и наподнимался этого сенца, что последние навильники чуть не с криком подавал. И руки уже черен не держали, разжимались.

Обмылся он кое-как, за стол сел и заметил, что пальцы на руках, да и вся кисть, отекли, напухли. А в локтях горело, в самых суставах; обхватишь их ладонью — горячо. Похлебал Степан через силу кислого молока, лег, и только глаза закрыл, как закружилось все: и кровать, и земля, и навильники сена поплыли куда-то вверх и вверх. Затошнило, нехорошо стало.

И утром он встал вареным. На крыльцо вышел, плюхнулся на ступеньки, глаза продирал. И тут заметил — мокро. На гусинке — траве, что по двору росла, — капли посверкивали. Лужица стояла возле кухни, на низком месте. Степан поднял голову и охнул: стог, что вчера высился за базом, срезан был наполовину. В сердцах он закурил. И глядя на мать, которая из огорода шла, начал головой качать горестно и губы поджал.

— Выспался, мой сынок, — подошла мать, — а матаря твоя...

— Вижу, — перебил ее Степан. — Моя матаря, — передразнил он, — за ней не соскучишься. Работу всегда придумает. Нет ее, так она ее создаст. Для чего ты... — поднялся он на ноги. — Ну чего ты его разорила? Чешется, да?!

— Не шуми, мой сынок, послал Бог дождя.

— Тьфу, — плюнул Степан.

— Плюй не плюй, а сено не улежонное. Нам бы накрыть его вчера. Матаря забыла, а ты нет чтобы подсказать! Ты все же мужчина, хозяин...

— Да оно же не промокло ничуть!.. Дождь-то какой был!.. А ты все разворочала.

— Люди не дурней нас... Вон Тарасовы тоже разорили. Аникей чуть свет поднялся, все перетрясает. По-хозяйски... А как же, мой сынок, — со слезой проговорила она, — вдруг зачнет преть! Погубим такую сену. И будем зимой с коровкой вдвох реветь. Она на базу, а я в доме.

— Сама будешь класть. У меня уж руки не поднимаются.

— Матаря складет, — вздохнула мать. — Матаре не на кого надеяться. Был бы отец живой...

— При нем бы не раскидала, — перебил ее Степан. — Спросилась бы. А без него дюже хозяйственной стала.

Так, слово за слово, они и поругались. Мать обиделась, надулась, носом пошмыгивала, бурчала: «На матарю теперь все шумят... А матаре шуметь не на кого... Она кругом виноватая...»

Вот тут-то, совсем неожиданно, но очень вовремя, и приехала Ольга с Аннушкой. Степан возле дома сидел, на лавке, мать поросенка кормила, а тут калитка скрипнула, отворяясь, и Аннушка, словно с неба свалившись, во двор вошла осторожно, с опаской. Отца увидела, бросилась к нему.

— Ты откуда? — проговорил он, обнимая ее. — А мама где?

— Она бегом не хочет.

Степан пошел встречать. Ольга в обеих руках несла — сумку и чемодан. Увидев мужа, она остановилась и ношу свою на землю поставила.

— Ты чего как снег на голову? — смеясь, подошел к ней Степан.

— Ой, — сморщилась она, шевеля пальцами рук. — Еле донесла.

— Это ты с автобуса, с грейдера?

— Ну да, на автобусе. Ты, может, ругаться будешь, я путевки взяла, — быстро-быстро начала она объяснять, потому что уже близко к дому подходили. — В завкоме путевка оказалась в наш пансионат, на море, семейная, ехать всем троим, на две недели. Я подумала-подумала, позвонила тебе в цех, Леонтьев говорит — бери. У тебя там какие-то отгулы есть. Ну, я и взяла. Может, думаю, не будет такого случая... А с тобой посоветоваться как? Сюда не дозвонишься! Ехать надо на этой неделе.

— Правильно сделала, — сказал Степан. — Сено уже покосили и свезли. До среды почистим базы и поедем. Покупаемся!.. — счастливо рассмеялся он. — Это хорошо. Я на море ведь ни разу не был. И Аннушка посмотрит. Хорошо.

Мать встречала их у ворот. Бабка стояла рядом, на костыль обеими руками опершись.

— Моя доченька, — жалостливо пропела мать, — да чего же ты не упредила! Степушка бы встренул. Да к нашим не зашла, они бы привезли. Умучалась, моя хорошая.

Тут начались ахи да охи, расспросы да рассказы, и утренняя ругня, конечно, забылась.

Аннушка освоилась быстро. К бабке прилипла, вернее, к прабабке. Та с ней за горохом сходила; и теперь они шелушили зеленые стручки, сидя рядышком на лавке.

— Бабушка, а у тебя зубы тоже от конфет отпали?

— От конфетов, моя хорошая, — засмеялась бабка, — осталось вот, куснуть нечем.

— И у меня от конфет два отпало.

— Кыш, проклятые, — шумнула бабка на кур, которые к самым ногам подобрались.

— Бабушка, можно я их тоже прогоню? — попросила Аннушка.

— Гоняй их дюжей, моя сладкая, весь двор позасрали.

Степан, услыхав эти слова, усмехнулся и на Ольгу глянул.

Та виду не подала. Аннушка, с бабкиным батожком наперевес, пошла вперед.

— Ш-ш-ш, — шипела она, а потом, остановясь, спросила: — Бабушка, а они не кусают?

— Не боись, моя сладкая, не тронут.

— Пойдем-ка в сад, искупаемся, — предложил Степан жене.

— Правильно, сходите. Обмоешься с дороги, моя доча. И Анюшку возьмите, пройдитесь семейно.

Бабка поднялась, сказала:

— Мне надо итить гусей глядеть. Кабы в ячмень не зашли.

— Бабушка, можно я с тобой пойду?

— Пойдем, моя помощница, — довольно улыбнулась бабка. — Собралися стар да млад...

Они пошли через улицу, у холма остановились.

— А она не кусает?! — о чем-то звонко спросила Аннушка.

— Не боись, моя хорошая, не тронет.

Степан с грустью смотрел им вслед. Ах, как стара была бабушка! Согнутая, с каким-то горбом за плечами — отку-

да он взялся и когда! Голова ее клонилась к земле, хорошо, хоть батожок помогал.

Мать поняла Степана.

— Старенькая у нас бабушка становится, — вздохнула она, — прям никудышная.

Тут на крыльцо вышла Ольга. Она переоделась в легонький открытый сарафан, полотенце взяла. Степан поглядел на жену, улыбнулся. Они жили пять лет. А Ольга вроде не менялась. Даже хорошела. После родов как-то налилось ее тело, чуть располнев. Стало по-настоящему женским. Округлились плечи, руки. Бедра и грудь потяжелели и стали волновать Степана как когда-то, в первые дни.

Ну, пошли, — сказал он, коротко хохотнув, потому что Ольга поняла его взгляд, да и мать, кажется.

— Идите, мои детки. Не грех на люди показаться.

А Степан вдруг вспомнил Полину. Вспомнил — и снова хохотнул, снисходительно, на мгновение поставив ее рядом с Ольгой. Такое сравнение, конечно, было смешным и жалким.

После купания и обеда спали. Долго, часов до четырех. А когда поднялись, то увидели: мать с бабкой картошку моют. Порядочно намыли. Картошка была крупная, ровная, без чернинки. Аннушка тоже старалась, возле нее тазик стоял.

— Ой, сколько, — удивилась Ольга. — Да хорошая какая... — нагнулась она. — У нас, считай, сейчас никакой. Гниль одна. А на базаре по пятьдесят копеек.

— По пятьдесят! — ужаснулась мать. — Вот люди деньги гребут! Вот бы набрали да на базар, как умные люди делают. Вот и копеечка б была.

— А зачем ее моете?

— Спроси у Анюшки, — засмеялась мать. — Расскажи, внучка, папке с мамкой. Они же в крестьянстве не понимают.

— Будем киселек варить, — серьезно объяснила Аннушка. Она картофелину мыла старательно. Платье было мокрым.

Ольга к дочери подошла, присела и, будто помогая, тронула рукой воду. И тут же потянула Аннушку к себе.

— Не мешай, — вывернулась Аннушка.

Степан понял Ольгу и спросил:

— А вода не холодная, ты не простынешь, дочь?

— И-и, — сказала мать, — жара невозможная, а ты... простынешь.

Степан все же воду потрогал. Вода была из колонки, холодная.

— Подожди, — сказал он и, забрав таз, выплеснул из него и пошел к бочонку, который возле база стоял. Там вода с утра наливалась.

За Степаном следили. И мать, и Аннушка, и Ольга.

— Горячая, — засмеялась Аннушка, когда он с гретой водой таз принес.

Мать промолчала.

— Какой кисель? — спросил Степан. — На крахмал, что ли?

— На крахмал. Завтра хотим Гришу попросить. Он перегонит. А то чего такая страсть божия погибнет!

Степан к погребу подошел, заглянул в него и охнул.

— О-ой, вот это да... Это вы накопали?

— У матари, — довольно улыбнулась мать, — у матари всего много. Матаря твоя... Осенью надорвалася — таскала.

— Откуда таскала?

— С полей. Работали на картошке. Каждый день и в обед несешь, и вечером. Надорвалася. Бригадир ничего не говорил. Молодец. Огрузилася картошкой. Уже весной в колхоз сдавала, на ячмень меняли. Немного продала. И все равно пропадает.

— Больше тащи, — сказал Степан. — У тебя же своей не хватает. Две деляны всего. — Он даже закурил с досады. — Ну вот, правда, зачем ты ее брала? Или для чего ты горбатишься, здесь ее садишь? Теперь вот пропадает.

— У матари не пропадет. Крахмалу намоем, — ответила мать. — Люди, мой сынок, помногу крахмалу делают. Вот Тарасовы в тот выходной на подводе привезли. Мешков двадцать, наверное, перегоняли. Во какая страсть...

— У тебя этого крахмала фляга, по-моему, стоит, гниет. Он тебе нужен, этот кисель... Скажи уж, привыкла: надо не надо, а можно, значит — тяни. Пожалела б себя.

— А как же, мой сынок, я не понесу! Люди поглядят, скажут: не хозяйка, ничего ей не нужно, не заботливая. Люди, мой сынок, все примечают. А у матари ничего не пропадает, матаря все обработает.

— Цыганов больше Бог не пошлет, — подняла голову бабка. — Надысь приезжали. Приходют и просют, подай им. А она: чего я вам подам? Хлеба нам не везут. Картошки берите. Они рази откажутся.

Мать не выдержала, перебила бабку:

— Я говорю, надо, так лезьте в погреб, сами и берите, я не полезу. А они: сколько дашь, сестра? Я им: сколько утянете. Они не верют. Мешок, говорят, возьмем. Я говорю — берите, Христа ради, хоть два.

— Они ей потом, — встряла бабка, — счастья тебе будет, сестра, счастья... Поглядишь, вот скоро будет счастья... какая счастья? Загалдели одно: счастья да счастья.

— И ты гляди! — всплеснула руками мать. — Ведь не обманули! Вот мой сынок приехал! И моя доча! И Анюшку привезли... — всхлипнула мать. — Выходит, правду сказали. Вот и пригодилась картошечка.

— Хватит тебе еще из-за этого слезы лить, — подошел Степан к матери.

— Как же, мой сынок, не плакать... Отец был бы живой, поглядел бы на вас, порадовался... Не привел Господь.

— Ладно, ладно... Давай-ка сено начнем складывать. Бросай свою картошку. А то до ночи не управимся.

— И правда, мой сынок, — поднялась мать, и тут же глаза ее обсохли. — Надо складать. Я его уже перетрухнула. Оно хорошо провенулось. А то как бы дождя нам Господь не послал.

Ольга присела возле корыта, начала картошку мыть. Она всегда была молодцом.

— Не грязнись, моя доча, — сказала ей мать. — Пойдите с Анюшкой в сад. Там ягода спеть начинает.

— Не-ет, — отвечала Ольга. — Мы сейчас втроем. Да? — Поглядела она на дочь и на бабку.

— Ну гляди, моя хорошая, — в голосе матери слышалось удовлетворение, угодила невестка.

А Ольга не угождала (Степан-то знал), она была такой.

5

Вот и пришел последний день. Проснувшись, Степан долго лежал в постели. И Ольги не было, и Аннушка поднялась. Никого. Он поворочался, заохал. Поясница ныла, и почему-то шея и ноги побаливали. Три база почистить — не шутка. Кобыла, на которой навоз в огороды вывозили, и та, сердечная, к концу второго дня на передние ноги припадать стала, уработалась. Два года базы не чистились.

Он все же поднялся, кряхтя и постанывая.

Ольга возле дома стирала, мать на кухне хозяйничала. Степан по двору прошелся, у ворот козьего база стояк пошатал — надо бы сменить. И конек на сарае собирался сделать — не успел. Крышу на кухне возле трубы поправить, нижнюю ступеньку у крыльца... Не вышло. Взял он кувалду и пошел к погребу. Там крючок навеса выпал, на земле валялся, и дверь перекосило. Дело было нехитрое, но возвращался Степан во двор бодро: какую-никакую, а заботу справил.

— Ты чего стучал, мой сынок? — спросила мать.

Степан объяснил.

— Молодец, — похвалила она. — Это по-хозяйски. А то уж какой месяц шлындает дверь. Давайте, мои дети, завтракать.

— А где Аннушка?

— С бабкой гусей погнала, на луг, за плотину.

— Да я, может, потом, — попросила Ольга. — Дополощу.

— Бросай, моя доча. Садись. В последний разочек уж семейно позавтракаем.

Степан опустил глаза. Он знал, что не в стирке дело, да и стирку Ольга затеяла не случайно. Не любила она на хуторе за столом сидеть. Степан сначала посмеивался, но не винил ее. Ольга привыкла к чистоте, особенно за столом. Дома они посуду всегда дважды мыли: сначала с горчицей, потом полоскали. А здесь... Деревня — она и есть деревня, других дел хватает. Посуду мыть — миски да ложки деревянные — бабкина забота. Ополоснет — и ладно. Ольга поначалу, в первый приезд, сама хотела этим заняться. Но бабка не разрешила. «Мне по силам, — сказала она, — ты уж чем другим помоги».

А теперь Степан не смеялся. Вот сейчас он смотрел, как мать ложки принесла, — Ольгиными глазами смотрел: щербатые ложки, сальные; обтерла их красной тряпкой, которой и со стола смахивала, и руки вытирала. Степану-то не привыкать, всегда так было. А Ольга... Чем помочь ей? Сказать матери нельзя, навек обидится. Приходится терпеть.

— Щей похлебаете, хорошие щи, такие вкусные, — похвалила мать. — Маслица много положила.

— Давай, — сказал Степан, он есть хотел.

Щи, конечно, были... Не могла мать варить. Никогда не умела. Да и кто на хуторе умел? Так, абы горячо да густо, да мясца побольше. Вот Ольга варить могла. Любила... Ну, может, и не любила, но готовила вкусно. У матери, видно, своей научилась. Когда Степан с Ольгой поженились, и перед свадьбой, Степан прямо-таки объедался. Никогда он раньше не думал, что простой борщ или суп могут быть такими вкусными. И пекли они хорошо: пирожки, печенье. Не часто, конечно, но если брались, то получалось.

— Вот варенички пока подостынут, — ворковала мать. — А то больно горячие, — и расстелив на столе все ту же красную тряпицу, стала раскладывать на ней вареники.

— Нет, нет, — быстро сказала Ольга. — Мне... лучше горячие. Я горячие люблю...

— Пожгешь всё нутрё, моя доча.

— Нет, я горячие.

— Ну, гляди.

Аннушка, вбежав во двор, закричала:

— Грибы! Грибы! Грибы! Они на говнах растут!

— На чем, на чем? — не донесла ложку до рта и поднялась Ольга.

— На говнах, — безмятежно глядела на мать Аннушка.

Следом бабка шла, придерживая подол фартука.

— Набрали грибов, — сказала она. — На говнах возля плотины. Во где наросли. Вот на говнах, а люди берут, говорят, не змеиные.

Ольга на Степана беспомощно глянула и опустилась на место. А что Степан? Не мог же он бабку на восьмидесятом году переучивать.

— Садись, мама, вареничков отведай.

— Да я завтракала.

— Чего ты ела... Укусила чуток.

— А мне столько и надо.

Бабка высыпала грибы в таз, налила воды и принялась чистить.

— Какую мы с Анюшкой нынче страсть видали, страсть божию, ху-ух, — покачала она головой. — Рассказывать — и то грех.

— Это чего же? — живо заинтересовалась мать.

— Мимо Насти Кулюкиной идем. К ним гости приехали на машине, из города. Это ее брата Федора либо дочь с зятем, либо сын со снохой и еще кто-то — не знаю, брехать не буду. Вечером, как скотину встревать, они приехали. А нынечка мы гусей отогнали, идем, а из двора... Господи прости... две голые бабы бегут.

— Голые... — с ужасом выдохнула мать.

— В одних трусишках да лифчиках. Чисто ничего не прикрытое, тьфу, — сплюнула бабка. — Я как шла, так и стала. Либо, думаю, пьяный кто за ними гонит... Не, не шумят они, и не гонит никто. Вылетели за двор и начали мячик кидать. Каким ребятишки играют. А я вылупилась и с места сойтить не могу. А они скачут, голяком-то, добром своим трясут, лытками сверкают, ржут, и гривы у них по спине прядают, распущенные. Ну прям чистые кобылюки. Я уж быстрей Анюшку уводить, чтоб дите на этот срам не глядело.

Степан засмеялся, и мать ему сказала:

— Смеись, смеись, сам тоже такой. Знаешь, Олюшка, — пожаловалась она, — мы было такого стыду набрались! Приехал он и надел какие-то ритузы, ну, чистые бабские ритузы. Срам господний. Обтянулся как не знаю кто и направился на люди, в магазин. Господи! Я говорю: сыми, не позорься. И бабушка ему говорит. А он смеится, вот как счас, прямой Ванюшка-дурачок. Чисто ничего не понимает. А мы с бабушкой... Это ж нам потом хучь со двора не выходи. Со слезами его просили, чтоб не позорил. Прям со слезами.

Степан, все так же посмеиваясь, рассказывал жене:

— Ну, тот спортивный костюм, из эластика. Пришлось снимать, в чемодан прятать.

— И правильно сделал, — одобрила мать. — Счас ты вот человек. Мужчина, семейный, на людей похожий...

— Слушай, — перебил ее Степан, — ну ладно, не стал я с вами тогда ругаться. А вот если бы я здесь жил, мне так и нельзя было костюм этот носить, да?.. Вот я бы, может, секцию здесь организовал. Городошную.

— Мой сынок, — испуганно зашептала мать, — какую секту! Господь с тобой... Мама, мама! — заполошилась она. — Олюшка... Какая секта, Господи помилуй...

Степан зашелся в тихом, беззвучном смехе. Он даже глаза закрыл.

— Да никакая не секта, — объяснила Ольга. — Секция, секция — понимаете? На стадион он ходит, в городки играет. В заводской команде. Физкультурник.

— Гос-споди, а у меня всё нутрё оборвалось. Секта, говорят, секта. Это в трясуны, значит, поступил. Фу-у... прям так перепугалась. У нас же вон они, в Сокаревке, такая страсть божия, трясуны... Их прям все боятся. А в свою-то, в эту секту, для чего они ходят? По работе, что ль, заставляют?

— Нет, просто спорт. Развивается. Чтоб сильным быть, здоровым.

Мать перевела взгляд со снохи на сына: не смеются ли над ней.

— Куда ж ему еще здоровей? Вон какой бычок поеный, — мать неодобрительно покачала головой.

— У вас же тоже, я видела, в футбол играют возле клуба, — сказала Ольга. — И волейбольная площадка есть.

— Ребятишки балуются, — ответила мать.

— А взрослые?

Мать снисходительно усмехнулась.

— Чего ж у нас, моя доча, умом, что ль, тронутые? Как вон мама рассказывала. Голые... да с мячиком... Не... До этого, слава богу, не дожили. На Красную горку, это, конечно, как положено, яички катают. Особенно по первости. Бабушка наша и то, в позапрошлом, по-моему, годе... Мама, когда это ты пять яиц-то выиграла?

— В позапрошлом, в том-то я уж болела.

— На Красную так положено. Стар и млад. Весело бывает. У нас прям напротив двора катают, У Максимовых

мячик тряпошный есть. Многие собираются, и до самого допоздна.

— Ну вот, сама говоришь — весело. Вот и собирались бы весь год. В городки бы играли, в волейбол.

— Ну да, — согласилась мать. — Игрались бы и игрались. Хозяйству бы всю кинули. Колхозную бы кинули и свою. Сами бы зубы на полку, и вас в городе прищучили. Вы бы в голос закричали: «Иде молочко?! Хлебушек иде?! Яичков давайте, мясца...» А мы вам: мол, некогда, в мячик играем.

— Ну тебя, — отмахнулся Степан. — Тебе про одно, ты про другое.

— Маши на матарю, маши. Матаря у тебя глупая. Ничего не понимает. А матаря все понимает. Наша крестьянская работа, моя доча, невозможная, тяжельше не найдешь. Ты-то, Степушка, ее сам знаешь. От этой работы и наш отец как следует не пожил. То война, потом жизня тяжелая. Ему бы отдохнуть, полечиться. А оно, видишь, одно за другим. Вас надо было подымать. И забрал его Господь, — всхлипнула мать. — Теперя куды прислониться, кому пожалиться? На могилу пойду, а он молчит... Не отвечает... Либо обиду какую держит, либо что не так справили...

Невесело кончился завтрак. А впереди, до отъезда, было еще полдня. Решили по хутору пройтись, попрощаться с кумами, но их дома не оказалось. И пошли Степан с Ольгой по дороге дальше, за хутор, за колхозные сады, к Лебедевской горе.

На нее и подниматься не хотели; но дорога вела нетрудно, полого, и шаг по шагу оказались наверху. Справа от дороги лежало молодое пшеничное поле. Слева, в полусотне метров, — крутой спуск, почти обрыв. К нему и подошли Ольга со Степаном и сели на самом взлобье.

День стоял неяркий, солнце было прикрыто светлой пеленой облаков. И потому легко было глядеть вокруг.

Внизу лежала чистая вода Лебедевского озера. Свежая зелень камыша обходила озеро вокруг, размыкаясь лишь на той стороне. Там белел песчаный берег. Озеро уходило вправо; а налево, за табачной плантацией и садами, расстилалась плоская равнина. Речка текла по ней. Воды ее, конечно, не были видны, скрытые урёмой, но матово серебрились

вершины старых верб на обережье и показывали, как, прихотливо змеясь, описывала Паника огромную дорогу и уходила к дальнему лесу, к Бузулуку. Хутора были видны: сразу за речкой, среди малых озер и бочажинок, — Камышовский, Березовка на светлых песках, за ней — еле видный — Ярыженский. И совсем уж вдали, на самом краю земли, — серебряный столбик станционного элеватора.

Еще один хутор лежал прямо здесь, внизу, под горой, у озера. Бывший хутор Липо-Лебедевский. Еще стояли сады. Нерушимой чередой тянулись они по берегу озера, вдаль, расступаясь лишь в тех местах, где недавно еще дома были, дворы, базы, огороды. Все это было, было... А теперь лишь ямины, да плеши, да старые плетни. Два дома остались на хуторе. Один чернел пустыми проемами окон и дверей. В другом жили, вернее, жила.

— Гляди, человек, женщина, — сказала Ольга, трогая Степана за руку и указывая.

— Сладкая Махора, — ответил Степан.

— Почему сладкая... Какая Махора?

— Ну, Махора — имя, а сладкая... — улыбнулся Степан. — Мужики к ней бегали со всех хуторов. Самогоночка у нее водилась. Одна жила. Всех принимала. Ну, бабы всегда ругались: «Чего она вам сладкая такая, эта Махора!» Сладкая да сладкая, вот и пошло... К кому за самогонкой? К Махоре сладкой. Куда подался? Да к Махоре сладкой.

— О-ой, и как же она здесь одна?

— Да как, — пожал плечами Степан, — да так, куда ж ей... Хутор разбежался. А она куда... Перевозить хату — там перевозить нечего, мазанка. А так... Кто и где ее ждет! Здесь уж и помирать будет, никуда не денешься.

— Ох, нехорошо это, — поежилась Ольга.

Внизу, под горой, возле мазанки своей под черной соломенной крышей, ходила по двору старуха. Из ведра выплеснула и ушла в дом, снова на дворе появилась, в огороде покопалась, к плетню подошла, постояла, принялась поправлять его и замерла. В темном платке, в телогрейке, стояла она и куда-то смотрела, вроде на озеро.

Тягостно и даже жутковато было глядеть на эту единую живую душу среди зеленой пустыни. Так и искал взгляд

какого-то человечьего движения где-то вблизи. Но покойно стояли сады; лебеда, лопухи да крапива ярились на пустошах, и лишь рыбий плеск время от времени живил пустую гладь озера.

— Не-ет, — решительно сказала Ольга. — Какие-то у вас порядки... бездушные. Ну, в дом бы ее престарелых определили, что ли... Надо ж как-то человеку помочь.

— А она туда пойдет?

— Конечно.

— Жди, — шумно выдохнул Степан. — Как же... Здесь же родина ее, всю жизнь прожила. Здесь все ее. Здесь она хозяйка. Никуда она не уйдет.

— Чего хозяйка? — с ужасом спросила Ольга.

— Хата, козы у нее есть, куры, коровы-то, наверно, нет, сена не накосит, поросенок, огород, сад. Все свое.

— Да-а, — только и сказала Ольга.

— Не веришь, пойдем к ней, спросишь, — предложил Степан. — Она нам такой дом престарелых даст, — засмеялся он. — К ней, наверно, еше мужики ездят, если самогонка водится. Пошли? Спросишь?

— Нет, нет, нет... Верю, верю... Верю. Пойдем-ка отсюда, — сказала Ольга. — Пора.

— Подожди, посидим. Хорошо здесь, — ответил Степан, и взгляд его, оставив брошенный хутор и старухин дом, поднялся, чтобы видеть все окрест.

— Послушай, а почему ей колхоз не поможет? Она же колхозница. И помогли бы ей, новую хатенку поставили, возле людей.

— Не-е, они здесь, в Липо-Лебедевском, такие колхознички были, господи прости. Сроду никого на работу не вытянешь. А уж Махора-то... У нее же шалман был. Наоборот, от работы мужики спасались. Соберутся, в карты играют, выпивают. Так что колхоз ей ничего делать не будет.

— Ну пусть люди помогут. Сообща, все вместе, где-нибудь построят мазанку, такую же.

— Никто ничего делать не будет, — поднимаясь, сказал Степан. — Кому она нужна? Куда кто ее будет переселять? Доживет как-нибудь. Пошли.

Ольга поднялась не сразу и, даже пройдя несколько шагов, остановилась и вновь, в последний раз, поглядела на старухин дом. Потом, догнав Степана, она сказала:

— Ты как-то так говоришь об этом, равнодушно, мне даже... не по себе.

Обняв жену, Степан сказал с виноватым смешком:

— Ну слушай, ну что я могу сделать? Я тебе ведь все говорю так, как оно есть. Правду говорю. Ну, от меня б зависело, я ее, ради бога, куда хочешь бы переселил, хоть в Москву, на Красную площадь. Ты же сама все спрашиваешь, а я тебе, выходит, брехать должен, да? Для успокоения. Так лучше? А я тебе правду говорю: никто ее не переселит. Здесь она и будет. И не переживай ты, господи! Там, чуть подальше, километра два — еще дом стоит. Там такое поместье. Кузнец живет. Бочаров. А от него километра два — Бударинский хутор. Здоровый хутор, больше нашего. А три-четыре километра — по-нашему это, считай, нет ничего. Вроде остановка на троллейбусе. Поняла?

— Поняла, поняла...

— Тогда пошагали. Собираться надо...

Они уже к хутору подходили, кончались сады, когда Ольга спросила:

— Ну а что с переездом? Ты матери, я вижу, ничего не сказал, да? Передумал? — Она спросила все это спокойно, без усмешки, и правильно сделала.

Степан сразу же за куревом полез.

— Пока не сказал, — ответил он. — Подождем. О работе я узнавал. Так, вроде шутя, с управляющим разговаривал. Работа есть и тебе, и мне. Ну а ты, вот ты, — останавливаясь посреди дороги, спросил Степан, — ты вот честно мне скажи: хочешь ты переезжать или нет? — он даже сигарету в сторону отнес, чтобы дым ее не мешал жене в глаза глядеть.

— А чего злишься? — спросила Ольга. — Я тебе давно сказала: решишь — значит, переедем.

— Ну а ты-то, сама, у тебя же голова тоже на плечах, — раздраженно сказал Степан, — и глаза у тебя есть, почему я должен решать, а? Почему один?

— Потому что, прежде всего, это твой дом, — ответила Ольга. — Твой, а потом уже наш с Аннушкой. И от тебя,

прежде всего, будет зависеть, будет ли он нашим. Когда мы поженились, я особых разговоров не разводила, сказала: жить будем у наших. Так? Сказала, потому что знала, твердо знала: где мой дом, там и тебе будет хорошо. Вот так. А здесь решать тебе. Вот и решай. Вот сейчас можешь сказать, и я соглашусь. Не из-за того, что я баба, и, мол, нитка за иголкой... Нет. Мне, как говорится, и хочется, и с другой стороны... Не знаю. Дом-то твой, Степа, твоя это родина, пойми. Твоя мать, все твое. Когда-то мое будет, а сейчас твое, мне чужое. И решать тебе.

— Ладно, — примирительно сказал Степан и вздохнул. — Пока подождем. Посмотрим еще, подумаем. Не будем спешить, горячку пороть. Не будем...

С тем и домой вернулись. Там их уже ждали и волновались. Но сборы были недолгими, и достало еще времени сходить к отцу на могилку попрощаться, спокойно за обеденным столом посидеть.

По-прежнему затянуто было небо легкой пеленой облаков, и сиделось во дворе хорошо. Как это всегда бывает в предотъездные минуты, на душе у Степана и радостно было, и горько. Не терпелось быстрее встать из-за стола и уехать. Завтра уже будет город, и сразу же новая дорога, к морю. Он никогда не видел моря. И уже сейчас, вот здесь, за столом, радовался той встрече, что будет через день-другой. И торопился, стараясь приблизить ее. Но в то же время сидел он вот здесь, за столом, и все свои были вокруг, и всё свое. Ровная густая шерстка гусынки покрывала двор. Рядом, почти над головой, склонилась светлая зелень молодых веток вяза. За сараями и базами виднелись деревья сада. И покойно вокруг было, тихо, будто перед дождем. И Степану не хотелось никуда уезжать. Так и сидел бы здесь, и жил. Сейчас бы за грибами сходил...

Петух, подойдя прямо к столу, заорал что есть мочи.

— Ежели ты к добру, так еще кричи, — сказала бабка, — а к худу, так иди отсюда.

Взлетев на забор палисадника, петух еще раз прокричал так же победно. Степан поглядел на него, улыбнулся; петух уже восвояси убрался, а Степан все с той же грустной улыбкой смотрел, куда не зная сам.

— Ты чего заскучал, мой сынок? — спросила мать.

— Не-а, — вскинулся Степан. — Это я... — Хорошо, что на глаза ему капуста попалась, за заборчиком она росла. — Я на капусту гляжу. Хорошая у тебя нынче капуста.

— У нас, мой сынок, — довольно усмехнулась мать, — завсегда капуста первая в хуторе. Не хвалясь скажу. А уж нынче наша капуста как цветик стоит. Все завидуют.

— Ну, давай по последней, бабушка, выпьем, — сказал Степан. — За капусту.

— А не много мне будет?

— Ничего, мама, выпей. Я б и то выпила, да на работу с обеда собираюсь.

— Сиди уж сегодня, отдохни...

— Нам, мой сынок, некогда теперь отдыхать. Самая работа пошла. Надо выхода́ зарабатывать. А то кабы без зерна не остаться. Тем боле... — поглядела она на мать. — Принесу я, мама?

— Неси, чего же... — кивнула ей бабка.

Мать поднялась из-за стола и пошла в дом.

— Ты куда? — спросил ее Степан.

Мать ничего не ответила.

Степан, отодвинувшись на край скамейки, закурил.

— Поели-попили, что Бог послал, теперь закусим, что черт придумал, — отмахиваясь ладонью от дыма, проговорила бабка.

Степан догадывался, куда мать пошла, и посмеивался. Сейчас какие-нибудь подарки принесет. Накупила в своем магазине. И обязательно наберет такого, чего одеть нельзя. Надарит и Ольге, и теще, и тестю — всем. И выкинуть не выкинешь эти платья да рубашки, и носить не будешь. Сколько уж ей Степан говорил, а она по-своему.

Но мать вернулась без свертков. Подошла к столу, не села. Лицо ее, и без того красное, всегда до мяса обгорающее на солнце, загорелось еще более. Нос и брови прямотаки алели.

— Мои детки, — сказала она и всхлипнула. — Мы с бабушкой думали-думали и вот что порешили. Мы все надеялись, что, може, вас Бог научит, и вы сюда переедете на жительство. Здесь бы вам неплохо было. Но, видно, ничего это не

получится. Видно, уж все... Тогда мы порешили: устраивайтесь, мои хорошие, в городе по-хозяйски, по-настоящему. Своим домом живите.

Бабка глаза прикрыла коричневыми веками и кивала головой, будто клевала что-то невидимое.

— И вот мы вам дарим, мои хорошие, на обзаведение квартиры пять тысяч рублей, — вынула мать руку из-под фартука и протянула Степану сверток, обвязанный новым, белым с синими горошками, платком. — Всё, мои детки, и что у бабушки с дедом Колюшей накопленное было, и мы с отцом на строительство собирали да и на черный день. Всё вам дарим. Живите, мои хорошие.

Мать села и принялась передником глаза утирать. Степан, а за ним и Ольга подошли к матери, к бабке, поцеловали их.

— Устраивайтесь. Може, мне придется у вас век доживать. Не приведи господь, а може... Ладно, собирайтесь, а то кабы не опоздать.

— Пойду за Анюшкой, — поднялась бабка. — Заигралась она.

С бабкой прощались у двора. Она осталась стоять, опершись на костыль грузно, всем телом.

Мать, провожая их, лопату взяла, на работу она сразу шла.

— Тока будем обделывать, — сказала она. — Глину возить. Плохая работа. Тяжелая. Ты, Олюшка, деньги ему не давай, — учила она сноху, — дотронуться не давай. Как приедете, сразу на книжку. И глядите у меня, на морю на эту поедете — ни копеечки из этих денег не берите. А то этот ухарь-купец, — погрозила она Степану. — Знаю я, как на эти курорты ездиют и как без штанов приезжают.

«Откуда ты знаешь?» — чуть не спросил Степан, да вовремя спохватился.

— Не гляди, мой сынок, — догадалась мать. — Матаря все знает... Ты, моя доча, може, их лучше за пазуху приберешь, в лифчик? — сказала мать. — А то, не дай бог, кто-нибудь... вырвет сумку — и ищи-свищи. И как приедете — сразу телеграмму отправьте. Все, мол, в порядке, довезли

благополучно. А то мы будем с бабушкой ночей не спать. Все чисто попередумаем. Такую страсть божию везете...

У амбаров простились с матерью. И дальше уже пошли по дороге одни. Шли молча. Аннушка звенела о чем-то своем, не переставая. Но ее не слушали.

За фермами догнала их машина. Степан с каким-то облегчением посадил жену с Аннушкой в кабину, сам же влез в кузов.

Машина побежала вперед. Ветер отбросил со лба волосы, тугие прохладные струи потекли через распахнутый ворот рубахи по телу. Степан оглянулся: хутор, разворачиваясь, уплывал назад.

С гулом пронеслась встречная машина и накрыла Степана облаком густой удушливой пыли. Степан, спасаясь, присел за кабину. Но уже в горле першило, и в носу, и на лице Степан чувствовал эту липкую пыль. Он поглядел, далеко ли грейдер. Грейдер был рядом, за лесополосой. «Ну и слава Богу, — подумал Степан. — Там потверже, пыли поменьше».

А машина, повернув, уже взбегала на дамбу грейдера, к кирпичной конуре автобусной остановки.

«НОЧЬ ПРОХОДИТ...»

На шумном станичном базаре, в субботу, среди бела дня, ходила расхристанная немолодая баба и кричала в голос: «Чакалка подох! Люди добрые, Чакалка подох! — кричала она и плакала. — Да какой же черт его сумел перебороть, Господи...»

Коренные станичные жители не ведали, о каком Чакалке речь, и, бабьим речам внимая, посмеивались. Но выходцы хуторов Вихляевского, Тепленького, Тубы, Рубежного, Большой и Малой Дубовки, Головки тоже, Малой и Большой, Поповки, Ястребовки — словом, всей забузулуцкой стороны, тем было не до смеха. Лишь услышав, спешили они на зов, дотошливо бабу расспрашивали, а потом, в свой черед, дальше весть передавали. И пошла гулять по базару и станице помолвка: «Роман Чакалкин помер».

Весна стояла, апрель, майские праздники подходили, зацветали сады.

А в тридцати километрах от станицы, на хуторе Тепленький, как и всегда в эту пору, беспутный бобыль Шаляпин уходил на летнее житье.

В колхозе отсеялись. Последнюю деляну за Дубовским мостом кончали ночью. Шаляпин уже по-светлому трактор на хутор пригнал, поставил его и пошел домой.

Добрый десяток дней он из трактора не вылезал и спал в нем привычно. А теперь, когда разом обрезался машинный гул и лязг, хуторская жизнь вокруг текла в сказочной тишине. Сладко постанывали голуби у амбаров, петухи орали вразнобой, захлебывались скворцы, и редкие людские голоса медленно плыли над землей в весеннем сизоватом утре. В отвычку идти было, как-то неловко, тянуло сесть. Ноги подгибались и несли тяжелое тело словно вприсядку. Так всегда бывало после долгой осенней пахоты и сева весной.

Перед самым домом встретил Шаляпина старый Кацура. Встретил и долго расспрашивал, что сеяли да как. Шаляпин все толком объяснил. Басок его словно в бочку гудел в разговоре:

— Бу-бу-бу-бу...

Говорил он не больно внятно, в десяти шагах уже и не разберешь, но зато слышалось на весь хутор:

— Бу-бу-бу-бу...

За этот говорок и звали его Шаляпиным. Кацура старик дотошливый и ехидный, в конце разговора подсмеялся.

— Теперь домой? — спросил он. — Хозяйство править? Огород сажать?

— Посадим, — пообещал Шаляпин. — Руки-ноги есть.

И так веско прозвучало его обещание, что старый Кацура на мгновение опешил и проводил Шаляпина удивленным взглядом.

А Шаляпин, последнюю сотню метров до своего дома одолев, прибыл домой. В хату он не пошел, а уселся на крыльце, перекурить и обдумать. Перед домом лежал бурьянистый огород. Новая зеленка и сухой старник сплетались там год от года, от низов наползали терны. Крыша на сараях прохудилась, на базах гулял ветер.

Шаляпин хозяйства не вел. Спасибо, хата была шифером ошелевана и накрыта и потому ничьих рук не просила. Но после ясного дня, высокого неба и солнышка не хотелось в дом. Там было неуютно. И потому из года в год, по весне, бросал Шаляпин свою насквозь прокопченную хату и уносил пожитки на берег речки, в займище. Там он летовал до холодов. И теперь, сидя на крылечке и покуривая, Шаляпин представлял, как обоснуется под старой вербой и хорошо отоспится в тишине и покое. Как порыбалит...

Шаляпин был видом диковат: сивые патлы стриг редко, черную бороду запустил староверскую, из нее лишь глаза глядели да сизоватый нос. Любил он рыбачить. И когда сидел где-нибудь над речкой, в кустах, его можно было за лешего принять и до смерти перепугаться.

Покурив, Шаляпин вошел в дом. Там было сумрачно, тянуло из углов зимней стылостью, приторный запах горелой солярки не выветрился до сей поры. По зиме топил Шаляпин не дровами, а соляркою, удивляя хутор. Ставил в печь чугунок, заливал горючее, и дымила шаляпинская труба не хуже паровозной.

В просторный матрасный мешок сложил он свои пожитки: тюфяк да старое одеяло, котелок да чашку с ложкой — щербу хлебать. Кто-то наведывался в дом без хозяина. Валенки с печи стянули и бросили посреди хаты. Шаляпинское жилье не запиралось. И не считал кое-кто грехом попытать в его углах счастья.

Собрался Шаляпин быстро и зашагал к диким садам, к речке. Правда, к магазину он свернул, купил хлеба, курева, крупы и кое-чего еще.

— Будем щи варить, — пошутил он с продавцом и хохотнул добродушно.

Из года в год летовал он в привычном месте, под старой неохватной вербой, на заречной стороне против хутора. Кладка через речку была ненадежной, и без дела ее не переходили.

К своему логову Шаляпин пришел впору. Солнце уже встало «в дуб» и хорошо нагрело жесткое подножие вербы и землю. Кинув телогрейку, он сел возле дерева, чуя его живую горячую плоть. Мешок не стал разбирать, лишь

вынул буханку хлеба, краюху отломил, намочил в сладкой речной воде, пожевал и заснул.

Он засыпал покойно, откинувшись на просторном подножии вербы. Засыпал, словно погружался в глубокий и светлый речной омут, опускался и слышал, как поют над ним, все тише и тише, лесные птицы, как солнце греет, и ласкает ветер, и шелестит листва. Долгий сон смежил ему очи, обещая покой. Недоеденная краюха осталась в руке, на земле. Старая ежиха, учуяв Шаляпина, вышла из гнезда и занялась хлебом. Ежиха селилась тут пять лет подряд, знала Шаляпина и не боялась его.

Шаляпина знали все в округе: и звери, и люди. Странная это была личность. Родился и вырос он в Тубе, там и теперь жили его братья и сестры, отец с матерью. Но в родном хуторе не бывал он много лет.

«Я — найда, меня отец с дерева снял», — коротко объяснял он холодность родственных отношений. В Тубе его, горемычного, оплакали и уже редко вспоминали. Словно и не было в семье старшего сына.

Тут же, неподалеку, на хуторе Рубежном, много лет «вдовела» жена Шаляпина со взрослой уже дочерью. И туда Шаляпин был не ходок. Он прижился на Тепленьком, бедовал здесь давно. Как пришел с трехлетней отсидки на чужой хутор, так и осел. Привыкли к нему, дали свое прозвище — «Шаляпин», имя забыв.

Он загуливал порой на неделю и тогда из хаты не выходил. Его ругали. Но Шаляпин, отрезвев, падал в ноги управляющему: «Прости». И грехи ему отпускались, потому что работником он был дорогим. В посевную, на пахоте, в уборочную — из машины не вылезал. Садился на бульдозер, на «Кировец», на «Беларусь» — везде его место было. О дурных его заработках сказки рассказывали. Но текли эти денежки вешней водой. Часто его обирали и в хате хозяйничали.

Так и жил Шаляпин. В бороде, волосатый, черноликий, в затерханной одежке — страх посмотреть. На работу он шел, с работы — больше молчком. Порою бродил по хутору, иногда беседовал: «Бу-бу-бу-бу...» Зимой жил в прокуренной хате, летом — на воле.

И здесь, за речкой, в займище, жилось ему не в пример веселее. И долгой зимой мечталось о сегодняшнем часе, когда просыпаешься не в хате, а под зеленой крышей. Как теперь.

Под вечер, проснувшись, Шаляпин не сразу понял, где он: в сладком ли сне или наяву плещет вода, соловей пощелкивает и высится над головой в золотистом сиянии цветущая верба, и райский дух от нее. Он лежал, замерев, боясь спугнуть дорогую минуту счастливого сна, если сон это.

Но то была явь, конец апреля, щедрая весна. И, поверив, Шаляпин встал и принялся за дела.

У подножия вербы, на старом месте, поставил он шалаш, сухим чаканом его устелил и накрыл. Достал из ухоронки удочки и быстро наловил рыбы на уху: жирных сазанчиков, громко чавкающих круглыми ртами, и черных окуней с алыми плавниками. Ловить рыбу Шаляпин умел. Он все лето жил рыбой, неверным деньгам не доверяясь.

Скоро поспела уха.

Текучая вода пошептывала в камышах, плескалась рыба. На хуторе, за рекой, встречали скотину, и коровий мык стоял, людские зовущие голоса. Садилось солнце остылым шаром. И в вечерних сумерках, приглушая зелень, словно вскипала сахарная бель цветущих садов. Топили округу пенистые яблони и терны; могучие храмины груш вставали беломраморными глыбами. Солнце уходило, зажигая редкие высокие облака. А над речкой стояли вербы в полном цветении. Их золотистые главы поднимались все выше, словно уплывали от земли, растворяясь в нежной зелени, в мягкой желтизне весеннего вечернего неба. А на земле наступала ночь.

Шаляпин похлебал уху и мыл котелок в теплой речной воде, когда поодаль, там, где лежала через речку ненадежная кладка из вербовых да тополевых веток, чей-то голос забормотал, словно ругаясь, потом послышались плеск и аханье — кто-то шел через кладку, направляясь, как видно, сюда, к шаляпинскому стану. Гости Шаляпину не были нужны. Он хотел покурить, пригасить костерок и уснуть до утренней зари, до клева. Но кто-то шел теперь берегом, ругаясь в голос:

— Забрался... Сатаново дите... Лешак глупомордый...

По голосу Шаляпин признал Варечку Сисиху, престарелую бабу, которой, видать, крепко приспичило, коли она и сюда добралась. «Не дам, — подумал Шаляпин. — Приважишь, потом не отлепится». На хуторе Сисиха часто навещала шаляпинскую хату. Но то был хутор. А летом Шаляпин старался жить потрезвее.

— Черт безродный... — выбралась наконец на свет, на поляну Варечка. — Чуток не потонула. Оборвалася, а тама глыбь... Кладку бы починил — мосток сделал...

Шаляпин гулко кашлянул, бабьей болтовни не одобряя. Кашлянул и поднял на Сисиху глаза.

Варечка Сисиха была стара и износилась до срока. Смолоду развеселая, с вечной цигаркой в зубах, теперь она гляделась глубокой старухой, с черным ликом, вислыми щеками и носом, с беззубым ртом.

Сисихой прозвали ее смолоду за редкостное даже для деревенской бабы добро, которое она горделиво носила под кофтой.

Но все утекло, а к старому часу так и осталась Сисиха Варечкой, девкой, хоть и рожала, и сына вырастила.

— Ащаул... — подойдя к костерку, Сисиха скинула мокрые чирики и, подол выжав, стала сушить его над огнищем. — Ищу тебя, ищу. Тута такие дела заходят, а он увеялся. Согреться бы? — зябко поеживаясь, спросила она. — Кабы не заболеть.

— Обойдешься, — коротко ответил Шаляпин.

— Ты ничего не знаешь, — посверкивая глазами, продолжала Варечка, будто и не слышала отказа. — Такие дела... — она запнулась и выпалила: — Роман помер, Чакалкин, — и смолкла совсем.

— Не брешешь? — осекшимся голосом спросил Шаляпин. — Роман?

— Да чего... Да разве я такое... Да ты в уме... — замахала руками Сисиха, заохала, засморкалась. — Сам Тарасов сказал, на центральную он ездил. Помер, сказал, завтра хоронить. Измокла вся, — показала она мокрый подол. — Думаю, надо сказать... Как-никак...

— Значит, помер... — проговорил Шаляпин, поднимаясь.

В тернах у него была ухоронка, и он принес оттуда бутылку, налил.

— Помер, помер, — живей заговорила Сисиха. — Три дня всего пролежал, помер. Все же, как ни говори...

Сисиха, получив желанное, приходила в себя, для Шаляпина же столь ошеломляющей была новость, что он не мог ей поверить.

А над землей встала теплая весенняя ночь. Редкие соловьи, словно молодые неуки, щелкали, сбиваясь, и замолкали. Зато согласный хор «водяных быков» гудел по речке, не умолкая. И вверху, и внизу, и поодаль — по теплым разливам Ильмень-озера.

— Значит, помер, — наконец поверил Шаляпин. — Второго веку не взял.

— Помер, помер, — подтвердила Сисиха. — Тарасов говорит, вдарило его. Три дни колодой лежал, чуть дыхал. Но при уме. Глядит и языком вроде варнакает. Недолго лежал. Завтра похоронять. Ты пойдешь?

— Без меня закопают, — ответил Шаляпин.

— Похорон будет богатый. Все же человек... Во славе ходил. Музыку привезут, железные венки из района. Помин...

— Я б его помянул... — процедил Шаляпин. — Да и его помянут люди добрые.

— Гутаришь, не знай чего, — осуждающе протянула Сисиха. — Какой-никакой, а тесть, а ты такие слова...

— А за что его здравствовать? Чего он доброго сделал? Одни вреды.

Хмель уже вошел в Сисихину голову, и она ожила, распрямилась.

— Ты, Шаляпин, несешь околесом... брехни всякие. А я знаю, я на близу была. А такие слова... Бог не свелел так об покойнике, грех. Тем более он тебе не чужой.

Сисиха говорила, торопясь, захлебываясь. Покойного теперь Чакалкина знала вся округа, и стар и млад. Должность у него была немалая, агент по сельхозналогу. Жил он в Рубежном, но под рукой его ходили все забузулуцкие хутора: от Тубы и Вихляевки до Поповки и Ястребовки — все его. Так что был Роман человеком известным. А уж

Сисихе и вовсе родным. Роман приглядел ее смладу и прислонил к себе. От него она двух детишек родила. Дочка умерла в детстве, сыну Евгению сейчас было за тридцать.

Под Чакалкиным Сисиха жила хорошо, колхозной работы сроду не ведала, принимая от хуторян молоко за налог. Правда, замуж ее не взяли, так и осталась девкой до седой косы. Но что замуж? Сколько баб Сисихиной вольной жизни завидовало... И неспроста.

И потому теперь, после смерти друга, не могла, не хотела Варечка о нем худого слыхать.

— Ему государство указывало... Вы лишь об себе, под себя гребли, — внушала она Шаляпину. — Всё об себе, доху на вас нет! А он об государстве, у него об деле душа кровила. Ни ночью, ни днем покоя. Такая война. Фронт требует... Всё для фронта, всё для победы! — гвоздила она кулаком, вспоминая давние слова, от которых и прежде, и даже теперь что-то внутри холодело.

Шаляпин глядел в огонь, Сисиху не слушая и не слыша. Но думалось ему о тех же далеких днях.

Близ огня, в багровом его неверном свете смутно белели терны да неохватный корявый ствол вербы уходил ввысь, пропадая во тьме. Темнота висела низко над огнем, стояла рядом, а на той стороне, в хуторе, словно сбесились собаки. Одна за другой поднимали они тревогу, лаяли взахлеб, не умолкая. Вот и Тарасов кобель зашелся в хриплом лае, за ним соседский — Чурьков, потом визгливая сучка бабки Сладухи. Зверь ли, чужой человек, но кто-то тревожил их.

Шаляпин поднял голову.

— Либо лиса? — подумал он вслух.

Сисиху другое волновало. Она Шаляпину и другим грозила:

— Государство... Вам не понять! Не к рукам цимбалы. Страна напрягается... Кулаческий элемент... Казачество... И тебя за такие слова... Никакой пощады! — горели глаза ее, рубила воздух рука. Молодость, золотая молодость словно вернулась к Варечке, все заслоняя.

Между тем собачий брех на хуторе понемногу стихал, но кто-то шел садом, насвистывая и напевая. Возле речки, на кладке, замолк, а миновав ее, снова засвистел. Шаляпин

все слышал и потому не удивился, когда молодой мужик в костюме и шляпе вынырнул из тернов и гаркнул: «Бросай оружие! Окружены!»

— Женик! Сынок! — охнула Сисиха и замерла. — Ты откель? Среди ночи?

Не отвечая, Женик поднял голову, прислушался к собачьему лаю, который еще не утих там, за речкой, сказал:

— Вот это я им дал. Расшуровал. Теперь все проснулись. А вы неплохо устроились, — оглядел он поляну.

Варечкин Женик, по-хуторскому — Сисёк, из дома ушел давно. Был он уже не первой младости, поистрепался, но кочетился: волосы красил, шляпы и галстуки носил, часто женился. Теперь он жил на станции, в примаках, на хуторе не объявляясь. Это было к лучшему: к матери Сисёк прибегал лишь в пору крушений. Приезжал, отлеживался, Сисиха справляла ему одежонку, деньжат добывала, залезая в долги на несколько пенсий вперед. И отбывал он прочь. И теперь Варечке почудилось горькое.

— Чего приключилось, сынок? — обмирая, спросила она. — Либо с Веркой... — не договорила и смолкла.

— Ха... Ты даешь, мать, — умехнулся Сисёк, закуривая. — Отец помер. Ты хоть знаешь?

— Знаю... — выдохнула Варечка. — А ты при нем был?

— Я еще позавчера приехал, живым застал.

— Ну и как?

— Чего как... Сучки эти косоглазые шипят. А отец, он со мной...

— Он тебя всегда жалел, — потеплела Сисиха.

В законной своей семье Роман Чакалкин несчастливо имел трех дочерей, мальчика так и не дождавшись. И потому, презирая обычай, Женика считал своим родным сыном, особенно смальства. Он привозил его в дом — жена не смела перечить — и баловал. Дочек приучил называть его братом. Правда, когда Женик в года вошел, Роман к нему поостыл. Но признавать признавал, да и домашние уже привыкли.

— Те шипят, змеюки...

— А отец? Он-то как? Рад небось? Ты возле него сидел? Он с тобой гутарил?

— Гутарщик из него... — махнул рукой Женик. — Так... Глядит. Ну, иногда слово молвит, — он вспомнил и усмехнулся. — Талдычит одно: труба да труба.

— Какая труба? Об чем это? — недоуменно спросила Варечка.

— Да кто знает! Вроде капец, кончаеся. До скольких раз явственно так говорил: труба, труба.

— Видно, не в себе... — вздохнула Сисиха.

А Шаляпин поднял свою лешачью голову и сказал:

— Он, може, про деньги, про золото тебе говорил? Дескать, в трубе. Прилюдно он говорил?

— Нет... — растерянно ответил Женик.

— Ну вот... — опустил Шаляпин взгляд и костром занялся.

Первой опомнилась Сисиха.

— Ты чего, Шаляпин? Либо умом рухнулся? Какое золото? Какая труба? — встревоженно говорила она. — У него смерть в глазах, он и гутарил без ума. А ты золото, деньги... — глаза ее испуганно бегали от сына к Шаляпину.

А Шаляпин молчал, в костерок наломал веток, поглядел, как горят они, а потом лишь сказал:

— Да это я так... Подумакиваю... Може, сынку...

— Ничего себе, подумакиваешь, — кипятилась Сисиха. — Нет, ты, Шаляпин...

А Женик сидел, прикусив язык, и сам себе приказывал: «Молчи, молчи... Перемолчать надо». А душа его горела, и в голову ударила кровь.

Шаляпин брякнул сдуру, как с дубу, не ведая. Но дурное слово его так впору пришлось, и Женик корил себя за недогадливость. Ведь это он у отца выпросил, вымолил счастье. Наедине, у постели, взяв отца за руку и низко пригнувшись к нему, он шептал в большое оттопыренное ухо:

— Отец, отец... Ты бы мне чего оставил. Ведь сестрам все. Они хозяйки. Меж собой поделят, а меня — в тычки. Они — в законе, я — найда. А ты бы мне, отец, оставил деньжат. — Женик знал, что деньги были, и немалые, даже золото. Он помнил, как в детстве отец показывал ему монетки с орлом и царем, показывал и смеялся: «Чуешь, чем пахнет?» И потому Женик просил: — Живу-то... Верка меня пилит. Да и мать — старая. Я бы ее к себе взял, докармливал. Я у тебя один сын.

Женик говорил, отец слушал, и рука его была горячей, взгляд добрым, но вот ответить не мог, лишь повторил несколько раз: «Труба... труба...» Явственно повторил.

Там, у постели умирающего, Женик злился, теперь же понял, что отец ему говорил о деле, о деньгах, о наследстве. Сообразить бы раньше и расспросить, о какой трубе речь. Что за труба? Печная? В ней деньги погорят. А может, золото?

Отец лежал пластом, руки не поднимая. Но глядел он вверх. И с каждой минутой все тверже и явственнее представлял Женик красноречивый взгляд отца, указывающий вверх.

Конечно, у отца было накопленное на черный день, об этом все знали, хотя и не видели. Женику иногда перепадало. Отец хоть и прижимист был — особенно в последние годы, — покряхтывал, но помогал. И, умирая, он, конечно, оставил накопленное не этим косоглазым, а сыну, единственному, которого любил. И это справедливо. Дочерям остался дом и много добра в сундуках и комодах, за жизнь не прожить. Сыну он решил оставить деньгами.

И в гудящей от счастья голове Женика начинали гнездиться сладкие мысли о завтрашнем дне.

Как возьмет он деньги. Как купит машину и будет ездить на ней. Новый дом построит, в два этажа. Наконец-то по-хорошему женится, отвязавшись от Верки. Возьмет себе бабу молодую, с образованием. И заживет счастливо, с новой семьей.

Горела, горела душа.

Женик стал довольно откровенно намекать на великие в его жизни перемены, которые произойдут вот-вот. Говорил о машине, о новом доме, о жене-врачихе. Варечка млела от счастья.

Но наконец они собрались и ушли. Время было позднее, а завтра предстояли немалые дела — похороны.

Шаляпин проводил гостей через речку, чтобы не перетонули, и вернулся к себе. Костерок притухал, и он оживил его пламя, повесил на треногу чайник.

Белая весенняя ночь стояла над землею. Светлоликая луна глядела с неба. В спокойной воде чернели прибрежные вербы. В ночной тишине и покое в полный глас пели

соловьи. Казалось, каждый терновый куст звенит, мешая трель и нежный высвист, хрустальный звон, щелканье и звучный раскат — серебряный гром по ясной скляни воды. Каждый терновый куст белым цветом цветет и бьет живым ключом соловьиного пенья.

В этот живой благовест временами врезался долгий протяжный стон. Ночная птица ли, водяной, но кто-то кричал, печально, с надрывом. И тоскою в душе отзывался неведомый плач, тоскою и болью.

Шаляпин чаю заварил и долго хлебал горячее, горькое, железом пахнущее питье. Такою ясною становилась голова, так много в ней помещалось и четко виделось все: от сегодняшнего часа до дней прошлых, далеких. И в дальние поля можно было уходить и жить в них, радуясь, скорбя и плача. Такое бывало нередко.

Как голодному кобелю вечно снится сладкий мосол, так и бедному Шаляпину часто грезилось доброе. О жизни как у людей.

Возле костра лежал красноватый merклый отблеск. Для Шаляпина он был слишком светел, и, словно чего-то боясь, он ушел к берегу и там, в вербной тени, над водою, сел и замер.

И скоро в тишину и соловьиное пенье пришел еще один звук, человечий. Тоненько, осторожно Шаляпин запел:

Ночь проходит, а я — у порога,
Словно тополь у края села.
Милый мой, ой какая дорога
Далеко между нами легла.

Песня была бабья, и пел ее Шаляпин по-бабьи, подголашивая. Да и он ли пел? Мог ли пробиться из луженой и перелуженной глотки этот слабенький ручеек: «Может быть, полюбил ты другую, так скажи, сколько лет тебя ждать...» Он даже не пел, выговаривал, срываясь и глотая слова:

Почему ты мне писем не пишешь?
Или ты позабыл про меня?
Или ты, засыпая, не слышишь,
Как тоскую я здесь без тебя?

И во тьме, в тишине, в безлюдье никто не слышал его. И никто не видел, как, перекашивая волосатый лик, плачет Шаляпин. И как страшен он во слезах.

А в душе было светло и виделось такое далекое. И пел, конечно, не он... Разве мог он петь, разве умел?

Это звенел ясный девичий голос в ночи, в весне. Далекий, дорогой голос из прошлых лет, ушедших, но незабвенных.

Ночь проходит, а я у порога,
Словно тополь у края села...

Много лет назад на хуторе Тубянском эту песню любили девчата. Жалостливо и тонко выводила ее Молька Чигарова, дочка вдовы Чигарихи. В ту пору жил Шаляпин в семье, старшим сыном. В детистой семье Нистратовых, где друг за другом семеро поднимались.

Потом, после всего, Молька уехала, завербовалась в Сибирь, на стройки.

Скоро, скоро я приеду,
А ты, мама, пожалей.
Болят руки от лопаты,
А спина от кирпичей, —

припевали в те времена. Но старая Чигариха померла. Мольке некому было жалиться и не к кому приезжать. След ее затерялся.

А теперь, через годы, Шаляпин звал ее, пел для нее в ночи и плакал:

Или ты, засыпая, не слышишь,
Как тоскую я здесь без тебя?

К костру он не пошел. Ватник бросил возле воды и прилег. В ночи, в безветрии дух цветущей вербы, казалось, густел и чуяли сладость его даже губы. Вскипал и ярился соловьиный бой. Казалось, уже вся округа звенит единую, торжественную, к небесам восходящую песнь. А Шаляпину виделись далекие дни.

Трясучее железное сиденье, лобогрейка, потные, алостью отдающие крупы лошадей и высокие хлеба — уборка.

И Роман Чакалкин коршуном упал, желтоглазый и злой:

— Государственное зерно жрешь?! Пашеничку?! Суслачина... Какое имеешь право?! Привлечь?!

А он и вправду пшеницу жевал. Колос шелушил и жевал сладкую клейковину. Время несытое, и зернышку рад. А тут Роман налетел, Чакалкин.

Как обидно и страшно... Он плакал и запомнил надолго, выходит, на всю жизнь. Потом, в зятьях у Чакалкина, спрашивал: «Чего ты пугал меня, отец?..» Роман посмеивался: «Должность такая...»

А должность у Чакалкина вправду была высокая. Его все в округе боялись — и стар и млад. Им стращали детей от зыбки: «Доорешься, Чакалкину отдам». А он и впрямь был страшноват: высокий, костистый, с желтым зраком из-под нахмуренных бровей — такой заберет.

Помнилось, в детстве, как Чакалкин кудель у матери забирал, прямо с прялки. Мать пряла и недоглядела. Заслышав дверной скрип, охнула — Чакалкин стоял на пороге. Шаг шагнул и уже возле прялки. Сорвал куделю и словно из мертвых рук матери напряденную шерсть вынул.

— Ребятам... Чулочки... Зима находит... — оправдываясь, бормотала мать, а сама, словно ненароком, старалась заслонить изголовье кровати.

Но Чакалкин эти хитрости давно изучил. Он отслонил мать, завернул у изголовья полость и вынул еще два клубочка и шерсть. Мать заплакала, попросила:

— Напряденное бы оставил...

Недоимку сдай, тогда все — твое, — коротко ответил Роман, удаляясь.

Испуганная ребятня провожала его взглядами. Вот мелькнула высокая тень за окном, хлопнули воротца. В голос заплакала, запричитала мать:

— Чтоб тебя, ненасытного... Сладил с бабой...

Но Чакалкин и мужиков не миловал, рога сворачивал самым зубатым.

— Недоимка за сад шестьсот рублей...

— Да там корчевье одно, только название — сад, сенцо косим, — оправдывался хозяин.

— Какая ни вишенка, а есть, сбираешь, — гнул свое Роман. — На тот год переведешь, поглядим. А ныне — плати.

А на другом базу иная беда:

— Картошка, я гляжу, у тебя никудовая...

— Да чем она тебе не поглянулась? — пугался хозяин.

— Никудовая. Козий котях. Не приму. Маслом или мясом заплатишь.

— Господь с тобой!

— Мне не Господь, мне государство указывает, — строжел Чакалкин. — Государство!

Время было несладкое: пять копеек на трудодень да граммов триста зернецом, а сдай, сдай... Масло, мясо, шерсть, картошку, яички да займу рублей на триста...

И как с Романом спорить, когда за спиной его власти и суд...

И, бывало, визжал в мешке поросенок, покидая хозяйский баз; овечки уходили спокойно за Романовой бричкой, швейная машинка «Зингер» — хуторская гордость — уплыла из двора Махоры Скуридиной в крепких Романовых руках. Любил Чакалкин и по сундукам полазить, одно слово — дёр.

Ночь уже клонилась к утренней поре, скрылась луна за деревьями, когда Шаляпин уснул. Но сон его был недолгим.

Прискакал на заре верховой, коня оставил на той стороне реки, у переправы, сам пошел к шаляпинскому логову, оставляя на росной траве темные полосы следов.

— Дядька Василий!! — крикнул он, останавливаясь возле потухшего костра. — Ты где?! Живой?!

Шаляпин проснулся, но полузабытое имя свое не сразу вспомнил и не враз уразумел, что зовут его. Наконец он отозвался:

— Тут я... — встал и пошел к гостю.

Ранний гость был роднёй, племянником он вроде доводился. Правда, видел его Шаляпин давно и, считай, забыл.

— Я к тебе, дядька Василий, с приказом. Дед Роман помер, не передавали? Ныне похороня́ть. В два часа выносить. Тетка Лизавета приказала...

— Приду... — кивнул лохматой голевой Шаляпин. Племянник уехал. Ему нужно было еще на Вихляевский сбегать, с той же вестью.

Шаляпин разжег костер, чайник подвесил, но не успела в нем вода закипеть, как от сада, из-за реки, раздался зовущий голос:

— Нистратыч?! Ты там?!

— Здеся! — резво отозвался Шаляпин, потому что кликал его управляющий, единственный человек на хуторе, который настоящую фамилию ведал и по ней звал.

Управляющий был годами не стар и неплохой мужик, уважительный, считай, родня, с Тубянского хутора.

— Чакалкин помер, — с ходу объявил он. — Ты слыхал?

— Слыхал.

— Поедешь похоронять?

— Да надо бы...

— Поезжай, поезжай. Как ни жили, ни ругались, все ж — не чужой. А смерть, она... Все помрем. От колхоза поедут. А я уж... Некогда, — сказал управляющий, словно извиняясь, хотя, казалось, что ему был шаляпинский тесть, не родня, не начальство. Но...

Романа Чакалкина знали все. И конечно, сам управляющий знал его с малых лет. Старое ушло без возврата, но тягостная Романова власть над округой долго жила несладкой памятью. И по-прежнему, углядев издали журавистую Чакалкина фигуру, добрые люди сворачивали от греха. Побаивались его даже колхозные власти. Длинные руки были у Романа, и сила из них до последних дней не ушла.

Управляющий вышел из дома в легких чириках и по густой росе в саду да на обережье штанины измочил и теперь, выжав их, возле костра пристроился,

— Поезжай, — говорил он. — Возьми моих коней, бричку. Деньги-то есть? — Он от шаляпинской зарплаты всегда прихоранивал на черный день. — На, возьми на похороны. Хотя там похоронят, но все же.

Он вынул полусотку и протянул Шаляпину. Тот взял.

— Лошадей запрягешь, не забудь Сисиху. Нехай с тобой едет. И дюже там не галтайся.

— Схороню и нынче назад, — ответил Шаляпин.

— Вот это правильно. Помяните там, посидите — и приезжай. Сисиху привози. Нечего ей там галтаться. Тут отдохнешь. А с той недели сядешь на бульдозер. Пока то да се, дороги почистишь, за ямы надо браться. Сенаж подойдет. Начнутся дела.

Управляющий говорил, говорил, а потом сбился, внимательно поглядел на Шаляпина, спросил:

— А может, там останешься? Лизавета теперь одна. Люди вы немолодые, а без мужика...

— Схороню и вернусь, — коротко ответил Шаляпин.

— Ну, гляди, — вздохнул управляющий и поднялся. — Ты зайди к Солоничу, у него ножницы, машинка. Пускай тебя постригет. Все пообразней будешь. А то покойника перепугаешь, — засмеялся управ, уходя.

Шаляпин все сделал честь по чести: подстригся у Солонича, в речке обмылся, новую рубаху надел, запряг лошадей.

Варечка Сисиха пораньше убралась, вместе с Жеником, на доме их висел замок. Шаляпин об их ничуть не пожалел, спокойнее будет, без галды.

Протарахтела телега по кочкастой хуторской улице, перебралась через плотину, а за речкою дорога пошла торная. Займищем трактора да машины не ходили — глухая колея. Кони сами пошли наметом, проминаясь, потом легкой рысью бежали и бежали не спеша. Возница их не торопил. Он сидел развалясь, опустив вожжи, и ничуть не тревожил его мягкий постук копыт и колесный бег. Он ехал, словно плыл, просторным логом среди зелени и желтого разлива лютиков. Потом пошли тополя в багряном дожде тяжелых сережек и светлая зелень берез, тоже в сережках, но невесомых. По низинам золотые ивовые кусты сияли под солнцем, сзывая медовым духом жужжащую тварь. По лужкам цвели желтый одуванчик и куриная слепота, тюльпаны и синеглазая мята, пахучая кашка и полные сладкого сока красные сосунки — отрада ребятишек. Куковала кукушка, удоды долдонили вразнобой. Малый жаворонок поднялся с дороги и зазвенел, и стоголосое небесное эхо повторяло песню его вновь и вновь — весенняя благодать.

И разомлевший Шаляпин забыл, куда едет он и для какой нужды. Забыл и будто задремал под ясным солнцем

и небом, среди зелени. Но так явственно вдруг привиделся ему покойный Роман Чакалкин, желтоглазый тестюшка дорогой. Так ясно привиделся, даже испугал. Сами собой дернулись руки, останавливая коней: «Тпр-р-у...»

Кони встали.

Куда, зачем и для какой нужды едет он? Зачем нужен этот тесть, даже покойник? Зачем все нужны?

Другая весна, давнишняя, заставила отступить день нынешний, его святую благодать.

Женился Шаляпин неожиданно и довольно странно. Свою будущую жену, Лизавету, младшую дочь Чакалкина, знал он еще в школе. Девка была задавучая, хоть и косенькая, в сестер, да вдобавок хромая.

— Моя мамка все лежит. У нее врачи ожирение сердца признают, — хвалилась она.

И ребятня завидовала барской болезни. Свои-то матери были черны и худы, словно галки. Где уж им...

А женился Шаляпин нечаянно. Они уже в возраст вошли, и Лизавета зазвала его как-то в дом. Она такой же и осталась — хвалюшей. В дом зазвала и стала приданым гордиться. У Чакалкиных гардероб стоял кроме сундуков. Зеркальный гардероб, лакированный. И оттуда, из таинственных недр его, вынула Лизавета костюм: черный, жуковый, суконный.

Шаляпин остолбенел. Он, в своей семье, из гуней не вылезал, из крашеной мешковины да пятнистых немецких плащ-палаток. А тут костюм, шерстяной... Бедная голова его закружилась. Он гладил осторожно рукой мохнатый ворс, вдыхал горький запах нафталина. А Лизавета, разойдясь, накинула оторопевшему парню пиджак на плечи:

— Это жениховский костюм... для жениха.

Накинула словно не пиджак, а колдовскую сеть. Шаляпин глянул в зеркало, увидел себя в черном сукне и занемог. Он во сне видел себя в черной суконной паре и наяву. Соседскую Мольку Чигарову словно забыл, и она издали следила за ним заплаканными глазами.

Сговорили и поженили молодых быстро. Роман заехал к новым сватам, пообещал: «До веку будет счастливой, и вас не забуду». Отец с матерью от радости потеряли себя, забыв

о дурной славе невесты и о соседской Мольке, какую с малых лет сношенькой величали. Так ушел Шаляпин в зятья.

А поместье Романа Чакалкина велось просторно и богато. Две коровы да летошники, свиньи, овечек полсотни, добрый табун гусей, даже редкостные по тем временам индюшки курлыкали на подворье. Зерна у хозяина хватало на всех, и о пастьбе не нужно было тревожиться, о сене — за все Чакалкин расплачивался спасибом.

Из двух колодцев, что выкопал сельсовет на хуторе, один оказался на Романовом подворье, туда даже ближним соседям был путь заказан. И цвел огород Чакалкина на вольной воде.

В родном шаляпинском дому снятым молочком забеляли пустые щи, хлебушку радовались. На Романовом столе любили баранину с острым гардалом, пухлые каймаки с ведерных казанов, докрасна томленные каймаки с пышками, блинцами, варениками — слаженое да соложеное не переводилось.

На таком дворе грех было сидеть сложа руки. И Шаляпин впрягся. Никто его не понуждал. Он лез в работу, словно могутной борозденый бык.

За год-другой поставил он новые базы и летнюю кухню — просторный флигель; прихватив соседскую пустую деляну, посадил Шаляпин сад всей округе на зависть, да не абы какой, а в добрую сотню корней, с яблонями, грушами, желтомясыми и черными сливами, сладким калеградским терном. И даже виноградом.

И потекла, покатилась молодая жизнь, и казалось, и вправду будет до смерти счастливой. Но недаром старые люди говорят: не хвались в три дня, хвались в три года.

Романа Чакалкина, а теперь и молодых, приглашали на все гулянки в округе. Роман везде не поспевал, но нередко оказывал честь. Молодые веселились чаще.

Шаляпин не жаловал пьянства, вина, но испытывал прежнюю страсть к своему жениховскому шерстяному костюму... На гулянках, в костюме, он был строгим и красивым. Синеглазый, бровастый. И словно городской.

На хуторе Мало-Головском в апреле месяце, по весне, «подымали кашу» у бригадира, обмывая новорожденного

сына. «Каша» была тороватая, съели двух овец и самогону попили немало. И под конец гулянки пьяненькая Настя Рабунова сошла с ума. Сбесилась и кинулась на Шаляпина.

— Отдай костюм! Сыми! — кричала она. — Васянин костюм! Васянин! Чакалка забрал ненасытный, утянул из сундука, а ты хорошишься, гоголушка! Сыми! Сыми, поганое племя! Хвороба чтоб тебя поломала и лека не взяла! Васянин костюм!

Она кричала и плакала, безумны были глаза ее, а руки сильны. Ее тащили, пальцы ей выворачивали, а она не отпускала: «Отдай!..»

На другой день Настена, отрезвев, до свету прибежала к Чакалкину и чуть не в ногах валялась, просила прощения.

Но прошлое разве вернуть?

Что-то помутилось и тронулось в голове Шаляпина. Он стал задумчив и тих и вдруг однажды ни с того ни с сего, в трезвом виде, спросил тестя:

— Отец, помнишь, я пацаном еще был, пшеницу косил у Митякиной балки, а ты налетел: «Зерно ишь... Привлеку...» Зачем? Ведь кужонок еще... да голодный...

Чакалкин усмехнулся, плечами пожал:

— Должность такая. Государство требует. А как же? Вам дай потачку.

Шаляпин отступился. Но неделю спустя снова старое помянул.

— Отец, — спросил он, — ты для чего у матери куделю рвал? Там шерсти-то было — нам на чулочки. А ты...

— Должность такая, — гулко откашливаясь, произнес Роман. — Для государства. Одного пожалей, другого, а государство...

— А у тебя на подловке тридцать тюков, это чья? — осмелился Шаляпин.

— Моя, сукин сын! — не выдержал Роман. — Я сколь овечек держу, не видишь!

Овечек Чакалкин держал по многу. Но Шаляпину все казалось, что там, в тюках, и та, слезная, мамкина шерсть.

А однажды придумал Шаляпин и вовсе несуразное. Вошел он в дом и сказал:

— Там, отец, плотники гвоздей принесли, ведро. Бутылку просят, похмелиться.

— Конечно, забирай.

Бутылку Шаляпин унес. А ведра гвоздей Роман не мог найти. А когда спросил, то пьяненький Шаляпин ответил ему:

— Это государственные были гвозди. Я их государству. А то вы у государства, — погрозил он пальцем.

Что с пьяным толковать.

А выпивать Шаляпин стал чаще и чаще, к домашней работе охладел, дичился семьи и, пьяный, то и дело к Роману приставал с разговорами.

— Скажи, отец, почему...

Роман поглядел-поглядел, а потом решил: «Не к шубе рукав». И посадил Шаляпина в один мах. Сел с ним как-то вечером выпивать, потом, когда кончилось питье, вроде шутейно сказал:

— Возьми в магазине, делов-то. Завтра рассчитаемся, баба своя.

Продавщица Зинаида была и вправду для Романа своей. Пьяный Шаляпин пошел, словно бычок, и сломал в магазине запор, забрав пять бутылок водки.

Дали ему три года.

Ах как страшно там было, в неволе, в северной стороне. Среди чужих, одному... Как горько, как скверно, как тягостно... Шаляпин пытался бежать и хотел удавиться, но Бог его сохранил и вывел живым.

Он вернулся на хутор, пришел к тестю и спросил:

— За что ты меня? Такую казню...

Роман был спокоен, холоден, и глаза его желто светились. И ответил он коротко:

— Неука учить надо. — И добавил пространнее, уже порешенному: — На моем базу тебе места нет. Я обговорил, иди на хутор Тепленький, живи и работай. Алименты хорошие плати. И не рыпайся. Тронешься с места, упеку — не вылезешь.

Шаляпин поверил. Поверил, перепугался и ушел куда велено. Ушел, словно в тину засел. И лишь о том молил Бога, чтобы не тронул его Чакалкин.

А вот теперь Роман помер.

Шаляпин слез с телеги, в раздумье подошел к старому тополю, прислонился к стволу его и замер.

Вокруг, в тишине, по желтой полеглой осоке, по сухой траве и листам что-то шуршало и щелкало, словно невидимый дождь сыпал и сыпал, не торопясь. Но то был не дождь. Это снизу, от земли, поднималась молодая трава, с хрустом пробивая старые былки и палый лист; это сверху, с тополей падали легкие чешуйки почек, открывая молодые листы, клейкие, пахучие. И сладкий, усыпляющий запах тленья уже перебивал острый дух молодой зеленки. Хотелось нюхать его, им дышать.

Шаляпин решил ехать назад. Что эти похороны, горький помин, когда пришла весна, а он столько ждал ее, целую зиму. Сидеть сейчас на берегу, слушать и думать, глядеть на бегучую воду, на цветенье садов. А про Чакалкина забыть, пусть его хоронят другие.

Он уже решился и пошел к лошадям, когда сверху, из-за бугра показались вдруг Варечка Сисиха с Жеником. Вылезли на бугор, увидели Шаляпина, лошадей, загалдели разом и кинулись к нему.

И теперь втроем покатили прямой дорогой к хутору Рубежному, к покойнику Роману. Ехали, а Варечка, не переставая, ругалась:

— Ну, Шаляпин... Вот ты какой человек, Шаляпин, выкаморный да забурунный, прям полоумственный. Ишь, не поеду... Рассалуда ты, боле никто. Мы идем-идем, да каким околесом, все ноги побили, перебродили сколь разов, а ты...

Варечка ругалась и ругалась, слова сыпались из нее горохом, словно из дырявого мешка. Сыпались, и конца им не было. Шаляпин молчал. Нагнулся, насупился и молчал. А Варечка свое толковала:

— Гляжу я, ты в детский разум превзошел, а мы должны — ей нужно было кого-то ругать, искать виноватого и ругать, потому что кто-то виноват был перед нею в этом мире.

Нынешнюю ночь она, считай, не спала. Сына успокаивала думала о покойном Романе. Он умер и разом все оборвал и смешал в жизни Варечки. Словно упала с глаз пелена,

и жизнь человеческая и своя собственная оказалась короткой и очень ясной.

Роман помер, и теперь как было жить? Они не видались давно, но нить, связующая их судьбы, была крепка. Она ведь долго вилась, и как без нее теперь...

Весь век, от молодости и до последнего часа, Варечка жила ожиданьем. Еще в девках, слюбившись с Романом, она ждала. Верила в слова его: «Со мной до веку будешь счастливой, до веку...» Она была молодой, красивой и настолько верила в счастье, что даже не торопила его. Что Романова жена?.. Разве она преграда? Романа можно было одним махом забрать, но Варечка любила не только мужика, но человека, под которым округа ходила. Она Чакалкина любила, которого знали все. А районное начальство разводов не хвалило. Могли забрать партийный билет. И Варечка ждала своего часа. Купалась в Романовой любви и заботе, горделиво понимая, что ее дом — теплее. Здесь Роман дневал и ночевал, сюда нес и вез, больших людей принимал, районное начальство. Чего еще надо? Варечка ждала, тем более что законная Романова супруга вечно охала и плакалась на здоровье, таскалась по врачам и должна была в конце концов помереть.

Шли годы. Сисиха старела, так и не узнав семьи. А ничего не менялось. Но и потом, уже старою, до последнего дня верила Варечка, мечтала, как в конце концов все же войдет она хозяйкою на Романов двор. Переживет законную супругу и войдет.

А Роман взял да сам умер. И разом все оборвалось. И остались на руках, словно при плохом гаданье, пустые хлопоты да разбитые надежды. И больше ничего впереди, кроме близкой смерти.

А тут еще Женик, словно с ума сошел, галдел про какие-то деньги, богатство. Засыпал и вскакивал, снова ложился. Ночь была длинной и тягостной, насилу Варечка дождалась ее конца.

На рассвете они ушли, торопясь, напрямую, а прямая дорога, как всегда, обманула, и пришлось брести через залитые луга, измокли, устали. И потому теперь Варечка ругала Шаляпина, благо, он молчал. Женик дремал, свернувшись калачиком в задке телеги.

Кони легко несли телегу и седоков, и к полудню замаячили маковки высоких рубеженских тополей-раин, а потом открылся и сам хутор.

У околицы, возле плотины, остановились — отрясти дорожную пыль, Варечка умылась и заглянула в зеркальце. Но что было глядеть? Надвинув на лоб черный плат и затянув его потуже, она решительно уселась в телегу. Зато Женик долго оттирал брюки, разглаживал шляпу, редеющие кудри муслил — хорошился, словно жених.

Ко двору Чакалкиных подъехали шагом. Много лет не бывал здесь Шаляпин, а без него соседи отстроились, и когда-то первый на хуторе высокий Чакалкина дом словно присел, сделался ниже.

Во дворе, под жидкой сенью еще голого, просторного вяза стоял гроб. Он был вроде мелковат для Романа, и Чакалкин лежал на виду, в кителе с петлицами, носатый, нахмуренный, но без привычной фуражки с лакированным козырьком. Вокруг сидели бабы, родня в черных платках.

Просторный двор был пуст, и потому приехавшие оказались на виду. Женика это не смутило. На правах своего он подошел к покойному, что-то даже поправил в гробу, с бабами перемолвился. Шаляпин, как во двор вошел, увидел дочь и поспешил к ней. Дочь была бровастa и голубоглаза, в отца. Теперь она сидела на крыльце, нянчила ребенка, белоголового мальчика. Шаляпин, смущенно улыбаясь, тронул атласную детскую ручонку своим толстым жестким пальцем. Дочь не заругалась, и мальчишка не испугался Шаляпина, а что-то залепетал, засмеялся, цепко ухватил палец деда.

— Толомонит, — удивленно проговорил Шаляпин. — Хорошее дите, круглое, прям бурсачка.

Дочь улыбнулась ребенку и шаляпинскому удивлению. И теперь, до самой поры, Шаляпин держался подле дочери и внука.

А Варечка Сисиха к гробу подойти решилась не сразу. Всю жизнь они с Полиной, законной женой, друг другу желали горького. При встречах, бывало, дрались. И приходила Полина с батожком под Варечкины окна. Но все это было, было... Сегодняшний день помирил их легко и про-

сто, как умеет мирить только человечья смерть. Варечка людям поклонилась, и ей ответили, дали место возле покойного. И теперь, по законному праву, Сисиха заплакала и заголосила:

Заборона ты моя нецененая!
Ты заступа моя нешатомая!
Да закрылись твои вострые глазочки!
Не гутарят сладимые губочки!
Заколели твои теплые рученьки!
О да, с кем теперь говорить, кому гориться!
Кому жалкие слова понесу!..

Резкий голос ее был слышен далеко, считай, на весь хутор. А когда она захлебнулась в плаче, запричитала Полина, обголашивая родненького:

Два денечка без тебя, словно год, тякут!
День идет-идет, а ночь не загибается!

И вся родня, весь хутор слушали, как прощаются с Романом вечные соперницы: полюбовница и жена.

Выносить покойного должны были в два часа. Но приподзали из райцентра оркестр и тамошнее начальство.

Стоял хороший весенний полудень. Облака тянулись одно за другим, пушистые и высокие. Романа на хуторе не любили, но хоронить, по обычаю, собрались все. Мужики за двором курили. Чакалкина баз не привечал чужих, и теперь на него входить не хотели. Лишь бабы мыкались из кухни да в дом, готовились к выносу, и стряпня немалая шла для поминок. Толстые, косоглазые дочери Романа возле отца, считай, не сидели, доглядывая и охраняя дом от чужих. Среди баб суетился и Женик Сисёк, крепко похмеленный. Он хозяйничал, командовал вслух, а Романовы дочери, глядя на него, меж собою злились.

— Шабоня... приблудный шабоня... Чтоб тебя каламутная вода унесла... Доглядать за ним надо, девки, доглядать, а то...

Недоговаривали, но знали, о чем речь. Где-то лежало, должно было лежать у отца потаенное: деньги, золото.

В разные годы, но видели и Раиса, и Маня, и Лизавета, и мать Полина видели большой кожаный кисет, который не зря отец хоронил. Кисет искали с того дня, как Роман слег. Искали в открытую и друг от друга таясь, мать и дочери.

Сладкую жизнь тот кисет обещал, и взять его в свои руки было бы счастьем до веку. Но где он? Перекопали сундуки и комоды. Перевернули всякий хлам в сараях и катухах, но тщетно. Роман ничего не успел сказать и теперь уже не скажет. «Похоронные» триста рублей да еще тысячу сразу Полина взяла. А остальные... Об остальных думали все. И уж какую ночь, считай, и не спали, боясь проглядеть друг друга. Рая и Маня Лизавету подозревали. Она при отце жила. Да и мать найдет — не скажет.

Глядели, день и ночь друг за дружкой глядели, а уж поганого Сиська ненавидели всей душой и ждали лишь конца похорон, чтобы выставить его с треском. А пока он шнырял — и нужен был за ним глаз да глаз.

Прибыл автобус из районного центра с медными трубами и людьми.

— Налить, налить музыкантам, — засуетился Женик. — Так положено.

Налили музыкантам, с ними, за компанию, выпил и Сисёк. Выпил для храбрости, потому что наступало его время. Он выпил и словно отрезвел. Голова стала работать четко, заглядывая наперед.

Покойника подняли на полотенцах и понесли.

— Куды! Куды понесли?! — закричала Чакалиха и заголосила. — Ой, да зачалась твоя последняя дороженька. Ой, да уносят тебя на чужих руках!

И, обрывая ее истошный глас, у ворот разом ударил оркестр, оглушая и забирая власть. Теперь приказывал он: как идти и когда голосить и отдавать прощание.

А Женик Сисёк в это время оттянул в сторону мать и прошептал ей твердо и горячо:

— Из хутора выйдем — в обморок упади. 3-запомни.

Варечка глянула в его бешеные глаза и обмерла.

— Гляди... не пр-рощу... — прошептал он, отходя.

И Варечка со страхом поняла, что надо делать веленое, иначе беда. Последнее у нее оставалось, последний в жизни

дар — Женик. Она любила его без памяти и боялась. Сразу как-то ушла в сторону Романова смерть и собственная жизнь, в голове лишь одно вертелось: «А где конец хутора? Где? Возле Архипа? Или у амбаров?» Она оглянулась на сына, но тот уже был поодаль.

На полотенцах, в мелковатом гробу покойный Чакалкин плыл над глинистой прибитой дорогой, сложив руки. Густые брови его грозно топорщились, словно сердился он и кому-то грозил. Но грех ему было серчать, грех. Все делали как положено: красную подушечку несли впереди с двумя медалями, два железных венка из района, громко, на всю округу, играл оркестр. Четыре трубы да еще барабан с тарелками словно гром громыхали: бум! бум! бум!

Варечка, как Женик велел ей, до амбара дошла и с криком пала на землю. Пала и обмерла. Побрызгали на нее водой, в тень унесли. Похоронное шествие двинулось дальше, оставляя несчастную Сисиху, а с ней и Женика.

Недолго посидев возле матери и убедившись, что люди ушли, Женик проговорил:

— Ладно, полежи здесь, а потом за плотину уходи.

— А помин? — спросила Варечка.

— Помянем без них. Уходи скорее.

И Женик помчался назад, к хутору. Все уже было обдумано и решено. Конечно, о печной трубе говорил ему отец и показывал глазами вверх. Там он схоронил наследство и отдал ему, единственному сыну, а не этим дурам косоглазым, которые с деньгами и обойтись-то не смогут, спрячут в чулок — и все дела.

Нужно было успеть сделать все до той поры, пока вернутся с кладбища. Ведь потом — Женик это точно знал, — потом его выгонят и на порог никогда не пустят.

Рая, Маня и Лизавета, дочери Романа, как и положено, вместе с матерью шли впереди других, за гробом. Сисихин обморок они видели, косясь неприязненно на ненавистную бабу, которая и здесь показывает себя. Варечку унесли, и о ней забыли, и лишь потом, когда свернули на кладбищенскую дорогу, а до кладбища было уже рукой подать, Лизавете пришло на ум нехорошее. Она оглянулась, поис-

кала глазами Женика и не нашла. А ведь он здесь, все время здесь, на глазах крутился.

— Сиська нету, — негромко сказала она сестрам. — Это Варечка придурилась.

Рая и Маня тоже стали оглядываться, но Женика нигде не было.

Лизавету жаром осыпало, и виделось ей, как поганый Сисёк хозяйничает сейчас в доме, ищет. И вдруг найдет? Докажи потом. Нельзя, конечно, нельзя было сейчас уходить от покойного. Нельзя, и люди осудят. Но разве отдавать кровное свое, свое счастье в поганые руки можно? Можно ли?

Сквозь зубы проговорив сестрам: «Я за Жеником догляжу... А то он там...» — Лизавета отошла от гроба и, повернув, быстро, почти бегом направилась назад, в хутор. Она уходила и чуяла на себе недоуменные, осуждающие взгляды. И дочерин голос услышала: «Мама, куда?» Она все слышала, и чуяла, и кипела злобой: «Ну да... А там этот хорек... Не знай чего... Хозяйничает...»

Рая и Маня поняли Лизавету и меж собой понимающе переглянулись. Но спустя минуту-другую иное им в голову пришло. «Поделят», — разом шепнули они друг другу, понимая, что Женик и Лизка могут вдвоем поделить отцовскую захоронку. Найдут, а им ни слова, и в воду концы. Рая и Маня почувствовали себя обойденными и обманутыми: они здесь вышагивают, а там...

Разом, не сговариваясь, они отошли от матери, оставляя ее, и припустили к хутору. Немолодые, толстые, они бежали неловко и неуклюже, словно две барсучихи, но вперед и вперед к хутору, к дому.

Похороны остановились.

Сама Чакалиха, ничего не понимая, недоуменным взглядом обвела толпу и, дочерей не сыскав, ошалела. Что-то ударило ей в голову, и, все смешав, она закричала:

— Ой, не стучите, не стучите! Ой, да чего же вы так колотите! Да большими гвоздями его забиваете! Ой, да землю глудками не валите! Мою кунушку болезную не будите!

А покойник был рядом.

— Не валите, больно ему! — прокричала Чакалиха, тяжело оседая на дорогу.

Кинулись к ней.

Шаляпин стоял оторопев, когда к нему дочь подбежала и, плача, проговорила:

— Папа... Ступай их призови... Ступай, папа... Стыду...

Слезы дочери комом стали в горле у Шаляпина. Насупленный, злой, он быстро пошел по дороге вослед своей родне.

А у кладбища не знали, что делать, гроб с покойником стоял одиноко. В беспамятстве лежала вдова. И тишина, такая недобрая тишина легла, что всем сделалось нехорошо. И приезжий, из района, махнул рукой музыкантам: «Играй».

Хрипло запели трубы, ударил барабан: бум! бум! бум!

Испуганное воронье поднялось с близкого обережья и сада и с криком закружилось над кладбищем, над музыкой, над оркестром.

Лишь к вечеру собрался Шаляпин домой. Все поминки пришлось провести: дочь не отпускала, да и сам он понимал, что не время уезжать. Вина он не пил, лишь цигарку смолил да ходил проведывать внука, безмятежно спавшего во флигеле, в зыбке.

Лишь вечером, когда разошлась и разъехалась последняя родня, Шаляпин тронулся в путь.

Дочь проводила Шаляпина до пруда. А за хутором Шаляпин крикнул коням:

— А ну, добрые!

Лошади взяли дружно. И катились колеса, мерный перестук копыт отдавался в душе радостью, будоражил и словно пьянил.

Встречный ветер холодил, разгоняя вечернюю духоту. День отгорел, а с утренней стороны наползала какая-то хмарь ли, туча, обещая ненастье.

Шаляпин успел приехать, когда подошла к хутору вечерняя гроза. Она была первой и собралась не вдруг. Сначала потемнело вдали — и оттуда, из черной хмари, выплыла огромная туча.

Молнии беззвучно вспыхивали, потом стал доходить гром. Туча шла медленно, словно нехотя, какая-то необычная, страшная: с исподу синяя, а сверху багрово-седая, она тащилась коршуниным крылом через весь небосвод, волоча за собой сизое марево дождя.

Откаркало, нахохлилось вороньё; порывы ветра раз за разом пробегали по обережью, словно упреждая.

Потемнело.

Все ярче полыхали тихие сполохи во чреве тучи, на короткий миг освещая угрюмое недро. И ветвистые молнии, словно дразня, коротко вспыхивали там и здесь. И наконец пришла туча.

Высокий тугой смерч, вихляясь, шел от далеких полей с пылью и свистом. По хутору он пронесся грохоча, что-то вздымая, и тихие сады склонились перед ним, осыпая бель лепестков. По обережью смерч закружил, ломая сухие вершины; и старый тополь в тарасовском саду рухнул вдруг с тяжелым треском, запружая речку.

И, словно взамен ему, встало над миром огромное живое древо белого огня. От темной земли и до седой тучи оно на глазах ветвилось и множилось — и встало во всей красе, освещая обмершую землю и далекую глубину небес из края в край. А потом рухнуло, словно старый тополь. И треснула пополам земля, открывая неведомое, и небесная хлябь ринулась с воем и ревом. Одна за другой вставали высокие ветвистые молнии, словно сухие дерева, трепеща и разламываясь с треском и громовым рокотом. Но страшное было позади.

Шаляпинскую крышу не промочило, и он сидел под легким кровом, глядел, и слушал, и думал, что эту грозу не одна Душа помянет нынче вместе с Романовым именем и нечистой силой. А что до самого Шаляпина, то он в нечистую силу не верил.

А сейчас, когда гроза утихла и ровный весенний дождь шумел над землей, Шаляпину думалось доброе. Ему думалось, что теперь можно будет ездить к дочери, на Рубежный, ездить, внука глядеть. А потом, через время, когда пацан подрастет, он посадит его в трактор и прокатит. Мальчишки охочи до техники. И он научит внука водить машину, а сам будет рядом сидеть, поглядывая.

А потом мысли его ушли еще дальше. Стало думаться вовсе далекое: Молька Чигарова, но бабою, в теперешней поре. Шаляпин думал о ней светло, представляя Молькину семью, дом и детей вокруг. Конечно, она жила хорошо, дай ей Бог. Она хорошо жила, но казалось Шаляпину, хотелось ему, чтобы в глубине Молькиной души, на донышке, теплая память о нем, Шаляпине, не уходила. И порою вздымалась, печаля душу.

О чем печаль? Да просто о днях жизни. О светлых часах ее, о людях, которые прошли мимо, но тронули душу. И как ее вытравить, эту память? Да и зачем? Пусть живет, пусть светит, пусть греет порою озябшую душу своим теплом ныне и до веку.

Ночь проходит, а я у порога,
Словно тополь, у края села.
Милый мой, ох какая дорога
Далеко между нами легла.

МАЛЬЧИК НА ВЕЛОСИПЕДЕ

Утренний автобус на Большую Головку давно ушел, до вечернего было далеко, а тащиться к грейдеру, на попутку, с чемоданом да объемистой сумкой не хотелось. Оставалось одно — ждать.

Стеклянный теремок автовокзала лежал на отшибе от станции, считай, посреди степи. Июльский солнечный день наливался жаром, в тесном зальчике становилось душно, и выбирался народ на волю, на ветерок, располагаясь под навесами и в соседней лесополосе, под сенью пыльных вязов.

Хурдин ожиданием не томился. Он не был на родине целых пять лет, а последние три года и вовсе за границей работал, и потому теперь все казалось ему таким милым для души: степь и горячий тугой ветер, просторное небо с его чистой синью, и люди вокруг, их голоса и речи, от которых отвык, а теперь слушал с жадностью.

Людно было на вокзале и говорливо. Хурдин бродил и бродил, бродил и людей разглядывал, останавливался, слушал.

— Ты со своей папиросой, как грех с душой, не расстанешься. Другая бабка Надюрка. Та оденет чистый платок, цигарку завернет в локоть — и гайда в контору, — прилюдно выговаривала своему мужику могучая рукастая баба.

А рядом сухонькая старушка изливала свою беду:

— Изболелась внучарка моя, такая господня страсть. С лица спала, желтая, как стернь, и все тело красными товрами пошло. Бывало, дишканит, по всему хутору слыхать, а теперь чуть пекает.

Под кустами, за вокзалом, гармошка пиликала, и голос старательно выводил припевки:

Моя милка черноброва,
Канафеты есть здорова!

Темные лица, кипенно-белые платки, лопатистые, корявые руки.

Не вари кашу крутую, вари жиденькую,
Не люби девку сухую, люби сытенькую.

Старые женщины были чем-то похожи на мать. Может быть, просто годами.

Вспомнив о матери, Хурдин сразу же забеспокоился и невольно поглядел в ту сторону, где лежал его хутор и где мать ждала. О своем приезде он не писал, но мать должна была почуять. Она всегда угадывала наперед. Да и знала она, что сын возвращается и, конечно, приедет.

На хуторе, в родном доме, Хурдин не был пять лет. В последний раз он гостил там зимой, на Крещенье. Холодно было на дворе и в дому. Хурдин уже привык к иному и мерз. Мерзли ноги от ледяных полов, по ночам зябко было спать, он чувствовал, что простывает. Мать топила днем и ночью, дров не жалела, но дуло из-под пола, и окна тепла не держали.

— Гляди ты какой стал, прям блин пашаничный... — говорила мать. — А мы, бывало, вот молодые-то были, в старом дому, утром встанешь, а ведрушка с водой замерзла. А ныне чего...

Хурдин четыре дня лишь выдержал, отговорился делами и уехал.

Потом он жалел. Конечно, нужно было потерпеть. Потерпеть и пожить. И ничего бы не случилось. Но разве предполагал он в ту пору, что не увидится с матерью целых пять лет.

Гармонист в лесополосе припевал и припевал:

Милый мой Игнат Кривой,
Правый глаз шатается.
Давай выколем другой,
Он табе мешается.

Игнат Кривой в свое время был личностью знаменитой. Он объезжал хутора, собирал тряпье и кости и взамен одаривал ребятню свистульками и рыболовными крючками, баб — пудрой да мазью «жировкой» для белизны лица. В те послевоенные годы Игнат, несмотря на стеклянный глаз, был завидным кавалером и любил погулять. И потому его всегда ждали и встречали с радостью.

Вспоминая те давние годы, Хурдин забылся, и потому не сразу вернул его к яви чей-то голос:

— Хурдин! Хурдин! Ты не оглох часом?!

Иван Ломтев, школьный товарищ из Вихляевки, звал его и дозваться не мог.

Был Ломтев на машине и ехал домой. Хурдин погрузил в багажник свою поклажу, уселся рядом с Иваном, и покатили они сначала асфальтом, а потом добрым грейдером, мимо Первой Березовки и Второй, к дому.

С Ломтевым после школы встречались редко, и потому поговорить было о чем: о прошлом, о школьных друзьях, их судьбах.

Доехали незаметно. И нужно было сворачивать с грейдера за дубовским мостом, а Иван проскочил дальше.

— Ты куда? — не понял Хурдин.

— Там дорога плохая. Козинкой объеду.

Прошла Малая Дубовка, и Малголовское кладбище открылось. Сам хутор Малголовский пропал давно, и теперь лишь одичавшие терны и груши-дулины указывали место. А кладбище было целым. Светили кресты и памятники све-

жей краскою, венками и разноцветной пестрядью ленточек: на Пасху украшали яркими тряпочками ветки и ставили их на могилах.

— Живое кладбище... — удивился Хурдин.

— Хоронят, — ответил Иван. — Старики умирают, приказывают там хоронить, вот и хоронят. Да и родные у кого лежат. Не бросишь.

Через Козинку — зеленую падь, в которой всегда сено косили, выехали к вихляевскому пруду, а от него через поле и вниз. Пшеница уже поднялась высоко и колосилась, и машина бежала по узкой дороге куропаткою, чуть не прячась. На взлобье хлеб пошел жиже, и открылся впереди хутор, а справа Ильмень и займище. Машина понеслась вниз, и засвистел воздух. И мчалась навстречу земля, и зелень, и сирень цветов, и синь неба — все летело навстречу, и сердце замирало в сладком обмороке.

— На велосипедах, помнишь, здесь? — спросил Иван потом, внизу.

— Помню... — выдохнул Хурдин и удивился, сколь одинакова у всех память. Ему-то казалось, что только он да Виктор помнят этот бешеный лет с Вихляевской горы на велосипеде в детстве. Когда мчишься, и захватывает дух, и кажется, вот-вот взлетишь.

В последнее время Хурдин часто вспоминал о Вихляевской горе, о велосипеде и, думая о поездке к матери, загадывал починить старый велосипедишко и съездить на Вихляевскую гору.

До самого дома больше не обмолвились словом. И чем ближе подъезжали, тем острее понимал Хурдин, какими долгими были эти пять лет разлуки. Такими долгими... И в какое-то мгновение вдруг показалось: матери уже нет, она умерла, а ему просто не сказали. Да, вдруг почудилось такое.

Мама была жива. На гул и сигнал машины, на голоса она отворила ворота и вышла. Вышла и кинулась к сыну.

— Привел Господь, привел... Сохранил и привел... живого... — беспамятно бормотала она. — Господи... Какую я игу снесла!.. Уехал и материну сердцу вынул... — бормотала мать, пригибая к себе и ощупывая сыновью голову,

плечи, лицо оглаживая, волосы, лаская и словно проверяя, все ли при нем.

И, поняв, поверив, что живой перед ней сынок и целый, она ослабела, и разом, одним разом хлынули так долго копленные слезы. Мать уже не могла говорить, она лишь в исступлении колотилась легкой седой головой о сыновью грудь.

Хурдин тоже плакал. Молча, глотая слезы, он плакал и ждал, когда мать успокоится.

Давно уехала машина, вещи стояли во дворе, а мать все не могла поверить.

— Какой год во слезах ничего не вижу... Все об тебе да об тебе. Войны боюся. Телевизор кажедённо гляжу, а там всё недоброе гутарят: война да война. А у меня об вас сердце кровит. Начнется — и враз тебя... Мы спасемся да и помрем так возля друг дружки, а мое дите вдале одна-одиноя... Сделалась бы гулюшкой и полетела...

Хурдин слушал и все более понимал, что пять лет — такой долгий срок, бесконечный. Пять лет — это почти десятая часть всей жизни, а если в силе и разуме взрослого бытия ее брать, то вдвое больше. А для разлуки и вовсе немереный срок, бесконечный.

Ведь сколько помнил себя Хурдин, всегда он был перед матерью мальчонкой, даже взрослым уже. А теперь сидел возле нее большой, широкоплечий, а мать малым воробушком жалась к нему. И, обнимая мать, чуял он птичьи ее косточки и легкую плоть. Да что там мать, когда даже хата начинала в землю уходить.

Хурдин рассказывал о жене и детях, слушал материнскую повесть о хуторской родне. В округе лишь родных братьев да сестер было четверо, теток и дядьев столько же, а уж двоюродные — самосевом росли. И все жили неплохо, грех жаловаться. И не единожды звали мать к себе средний сын Василий, дочь Раиса. Но мать жила одна. И как когда-то при покойном отце и большой семье, держала корову, коз, птицу, кабана выкармливала. Мать хозяйством гордилась и потому очень довольна была, когда Хурдин сказал:

— Пойдем поглядим, как ты тут хозяинуешь. Либо одни мыши на базу?

— Да чего, сынок, глядеть, — с притворной скромностью ответила мать. — Бабьи руки одни. Да и скотина вся на попасе.

Но поднялась она с охотою и с гордостью показала новый большой катух под шиферной крышей, где помещалась корова, козы и поросенку место нашлось.

— Триста рублей, золотая копеечка... Да спасибо еще ребятам, приехали, поставили. В один день... А как же, сынок, без катуха?

Старые катухи, которые ставил еще отец, плетневые, мазаные, на дубовых рассохах, — старые катухи уже свое отжили. Крыша на них там и здесь провалилась, пьяно хилились стены, и теперь лишь ласточки стремительно ныряли в черные проемы дверей.

— Ломать надо, — вздохнула мать. — Рук не хватает. Сломать да поставить бы тута дровник. Под белым небом дрова лежат и уголь. А надо бы...

— Ничего тебе, мать, не надо, — засмеялся Хурдин. — Бросить тебе все да поселиться на покой. Ко мне бы поехала.

— Нет, — серьезно ответила мать. — Отца не кину. При нем помирать буду.

— Ну, к Василию иди, к Раисе.

— Не в силах, — сказала мать. — Себя едва обрабатываю, а тама хозяйство, детвора. Такую игу поднять. Годы не те... Да и к Раисе я и не пойду. Иван хоть и неплохой зять, да старые люди как говорят: с сынком бранись — за печку держись, с зятьком бранись — за дверь держись. А это правда, истина.

Хурдин посмеялся и сказал:

— Так-то оно так. Но не этого ты, мать, боишься. Ты хочешь всю жизнь хозяйкою быть. «Я — хозяйка...» — передразнил он ее.

— А чего же... — приосанилась мать. — Взаправди, здеся — хозяйка, чего хочу... А тама... — махнула она рукой.

— Вот то-то и оно... — снова рассмеялся Хурдин и добавил серьезно: — Ты бы хоть корову, что ль, перевела. С козами да птицей полегче.

— Переводила, сынок. Не от добра, а переводила. Я ж болела, чуть не померла. Тебе уж не сообщали. Месяц в боль-

нице провела. Кто же с коровкой?.. Сдали ее. А очнелася, пришла и без коровки слезьми закричала. Невозможно жить в попросях. Спасибо, Василий помог добыть. И неплохая коровка, все при ней...

Разговоры текли бесконечные. И не могла мать от сына оторваться, хотя, позвякивая подойниками, бежали бабы на стойло коров доить и окликали, звали ее. И она наконец сдалась.

— Сиди не сиди, а никто не подоит, — вздохнула она. — Пойди, койку разбери да ложись отдохни.

— Чего отдыхать, — ответил Хурдин. — Пройдусь, погляжу на хутор.

— Пройдись, погляди, и на тебя люди поглядят, — довольная, ответила мать.

— Может, в магазин зайти, взять? Вечером, наверно, придут? — спросил Хурдин, разумея хуторскую родню.

— Туча черная налетит, — ответила мать. — Как же, на тебя поглядеть. Ты возьми в магазине две бутылки на стол поставить. Боле не бери, не траться. Да хлеба возьми, если привезли.

Из ворот они вышли вместе и пошли улицей. Но недолго. Дед Архип стоял у колонки с полными ведрами и, поджидая нового человека, скручивал цигарку.

— Я побегу, — ответила мать. — А то тебя перестревать будут.

— Беги.

Мать свернула с улицы к выгону и ускорила шаг. Отойдя, она обернулась. И снова, как в тот, первый миг, когда увидела нынче сына, сердце у нее заколотилось и кровь ударила в лицо. И ноги сами собой, легко понесли вперед и вперед, по-молодому нагоняя ушедших баб.

Хурдин же попал в тенеты долгой беседы. Дед Архип новых людей любил. Для начала разговора он о здоровье справлялся, о семье, полюбопытствовал, вправду ли Хурдин за границей жил и так далеко. Поудивлялся, а потом вспомнил:

— Ныне такое вывелось, а раньше деды соберутся: твой дед, Афанас Чигаров, Халамея отец, Митрофан Сальников, соберутся на улице деды, на колодке, и брешут. Круг них ребятишки ухи развесят. И был такой дед Хомич из Юда-

нов. Он букву «р» не выговаривал. Как сейчас помню, разгладит бороду и начнет: «В Амелике воевал, во Фланции воевал, в Гелмании воевал... Чисточко везде... Лучше нас живут...» А вполне возможно, и не брехал он? Казаков везде пхали. Мог и в Америку попасть, вполне возможно. Как считаешь? Ведь казаки в те времена...

Архиповым речам не было конца. Скучал он подле суровой бабки своей и теперь новости хуторские выкладывал за много лет.

И Хурдину было хорошо. Сам он был не больно речист. А вот стоять, покуривать, слушать посреди родного хутора, возле дома, после долгой разлуки...

День был ясный, с сухим солнечным жаром, с горячим ветром. С отвычки, ветер был удивительно пахуч: сладкий и терпкий дух приносил он с полей, дух зеленой пшеницы и сроду не кошенной целины.

— С женой не развелся? — спросил Архип.

— Не-ет, — удивленно ответил Хурдин.

— Видишь, какой ты, одна жена — и навек. А у нас Юрка Силяев шестую привел. Не хочешь?

И шел рассказ о Юрке Силяеве. На хуторе было тихо. В жарком полудне дремали дома, смежив ставнями очи. Высоко над головой, где-то в синей глуби, слышался перезвон щуров, золотистых, невидимых в золотом же солнечном свете.

Дребезжа подкрылками, прокатил мимо мальчуган на старом велосипеде, поздоровался. Позади велосипеда катилась тележка с зеленым сеном. Мальчик крутил педалями и урчал негромко, изображая работу мотора. Перед невысоким бугром он замедлил ход, тем же урчанием изобразил переключение передачи на низшую и медленнее пошел в гору. Хурдин улыбнулся.

Несколько минут спустя мальчик появился вновь, теперь уже с пустыми ведрами, которые позванивали в такт велосипедному бегу. Возле колонки, рядом с Архипом и Хурдиным, мальчик остановился, голосом передав еще мгновение работающий и затем смолкший двигатель. Он вновь поздоровался и, сняв с руля ведра, начал набирать их. Двухколесный конь его отдыхал, лежа на боку.

Хурдин глядел на мальчика и ждал: что же будет делать он с полными ведрами, да еще с велосипедом? Велосипед был небольшой, подростковый, а парнишка и вовсе невеликий, лет десяти. В стареньком спортивном костюмчике, в кепочке с синим козырьком, тонкорукий и смуглый, он тоже поглядывал на Хурдина, но коротко, словно невзначай. И так хорош был этот любопытный и диковатый мальчишеский взгляд, что Хурдин улыбнулся. Мальчик опустил глаза.

Ведра были полны. Расставив их на земле друг против друга, парнишка велосипед меж ними провел и, ловко подняв, подвесил ведра на рогульке руля. И, не забыв натужным урчанием завести мотор, тронулся с места. Он покатил, а ведра покойно висели на руле, не качаясь.

— Ловко!.. — вслух удивился Хурдин.

— Чего? — не понял Архип.

— Воду везет.

— А-а, Сережка... это парень еще тот. Он и спит с этим велосипедом в обнимку.

— Чей он? — спросил Хурдин, ожидая услышать знакомую фамилию.

— Не наши, приблудные. Переселенцы. Отец у него сидит. Мать с четырьмя осталась. А вот Райка Кривошеина летось чего отчудила. Муж ее пил...

Хурдин проводил глазами мальчика. Тот неподалеку жил, в единственном на весь хутор казенном дому.

Когда-то поставили щитовой домик для детского сада. Всех детишек туда записали, навезли харчей, воспитательниц наняли, заведующую, поваров. Открывали садик торжественно. А хуторская малышня, отзавтракав в новом дому, разбежалась. И никакими силами нельзя их было удержать. Да и как втолковать хуторской ребятне, справедливо считавшей всю округу родным своим домом, чем привлечь их к четырем дощатым стенам да тесному дворику? Не было такой узды. И, неделю промучившись, детский садик благополучно закрыли. А в щитовом домике время от времени стал проживать всякий приблудный люд.

Речам деда Архипа дала укорот бабка. Не выходя из ворот, она вопросила:

— Я воды ныне дождуся, цимбала моя медовучая?

Дед Архип, ведра ухватив, затрусил домой. Хурдин пошел к магазину и клубу.

Отсюда, со взгорья, хутор был виден весь. Три десятка домов его лежали почти кольцом, повторяя прихотливый изгиб речки Ворчунки. К воде спускались огороды, сады, дома поднимались выше, а на самом взлобье стояли вразброс магазин и клуб, колхозная контора, амбар и кузня, круглый дом бывшей школы. Вечные седые вербы дремали над речкой, затеняя своей куделью воду. Сизая полынь на бугре в жарком полудне источала душную горечь. И тихо было на хуторе, так тихо, что невольно искал глазами живую душу: человека, скотину иль птицу. Искал и находил: телята паслись там и здесь, меж дворов; за речкою, в теплом ерике, белели гусиные стада; оттуда же, от летнего стойла, шли бабы с сияющими в солнце подойниками.

Хурдин купил, что надо, дождался мать.

— От Архипа ослобонился? — с усмешкой спросила она.

— Он мне рассказал...

Домой шли не прямиком, а улицей, мимо дворов, любой из которых вроде еще недавно был своим: родня здесь жила и друзья-товарищи — все знакомые. А теперь вот...

— Зрянины? Живут старики... Макарьевна одна осталась, — рассказывала мать. — Виктор Тарасов на станции. Настя в городе.

Казалось, еще вчера все здесь было свое: просторные базы на подворье Тарасовых, где в кулюкалки так хорошо играть; веселый дом Калимановых, там путали своих ребятишек и чужих; щедрый сад Чигаров, откуда детвора не выводилась; теплые воды Холюшинского плеса; сеновал Кривошеевых, где допоздна слушали сказки и басни всякие про чертей и ведьм — так, что боялись уходить и иногда засыпали там. Весь хутор был родным гнездом. А теперь?.. Как запустел он... Старая кровь текла в его жилах, утишая и утишая бег.

— А здесь пришлые? — спросил Хурдин, указывая на дом, куда мальчик заезжал на велосипеде.

— Здесь беда живет, — ответила мать.

— Какая беда?

— Горькая... — вздохнула она.

Оно и видно было, что в доме не великая радость кукует: пустой двор, газетами закрытые окна, копешка сенца.

— Переселенцы, — сказала мать. — Летось приехали. Детей четверо, мал мала. Сережке, старшему, десять или одиннадцать. А отец пьет. Вроде и дельце у него неплохое в руках: кузнец и на комбайне, а запился, земли и неба не чует. С зерном попался — и посадили его, там и лечат. Уж чего будет... А баба осталась. Малые двойнята у нее болеют, все в больнице лежат. Дома Сережка хозяинует с девочкой. Девочка такая хорошая, кудрявенькая, три годика, теперь вот месяц без матери живут.

— Одни? — изумился Хурдин.

— Одни, — подтвердила мать. — Сережка — он неплохой. За девочкой доглядает, стирает на нее и себя. Газ у них есть, варит.

Во дворе на веревке сушилось какое-то цветное тряпье. Двери хаты были отворены, а ничего не видно.

— Зимой матери не было, сам управлял, печку топил. Хороший мальчишка...

Хурдин с недоумением глядел на мать: правду ли говорит она, да еще так спокойно?

— Десятилетний мальчик один? Да еще девочка? — переспросил он.

— Не знаю, сколь ему. В какую он группу ходит. А мальчик неглупой. Козы у них есть, сено, гляжу, косит и возит. Косёнку ему отбили. К велосипеду тележку он приспособил, сам. Возит помаленьку сенцо, молодец.

И, словно подтверждая ее слова, выехал из двора мальчик на велосипеде, тележка погромыхивала сзади, а в ней — коса. Тележка погромыхивала голыми железными ободьями, а мальчик, заглушая ее громыхание, порыкивал, изображая голос мотора, и переключал рукою невидимую скорость. Переключил, нажал на педали и покатил.

До самого дома Хурдин молчал. На базу мать принялась молоко цедить, а Хурдин закурил, уселся на лавку, в тени.

— Ты бы погодил чадить-то, я тебе парного налью.

— А? — не понял ее Хурдин.

— Молочка, говорю, волью, попей.

— Спасибо.

Хурдин принял от матери кружку молока, и поднес ее к губам, и вдруг отставил.

— Мама, — сказал он. — А почему их не заберут, ребятишек? В детдом бы забрали, что ли?

— Откуда я знаю?..

— Ну, вы бы заявили... Управляющий позвонил... И заберут их.

— Не удумай. Этот черт зевлоротый нас тогда спалит.

— Какой черт?

— Да отец ихний. Придет и спалит, — убежденно сказала мать. — Это такой, от черта отрывок. Лучше их не трогать. Ты гляди не удумай. Да они ничего, — успокоила сына мать. — Сережка — он неглупой, он все могёт. И люди им приносят, кто щей, кто молочка. Надысь посылку они получали, бабка прислала.

— У них бабка есть?

— Значит, есть.

— А чего же она глядит? Взяла бы...

— Кто ее видал, эту бабку? Може, она еще хужей живет.

Хурдин выпил молоко, не почуяв вкуса его.

— Сладкое? — спросила мать.

— Сладкое, — послушно повторил Хурдин.

— Хорошая коровка, нечего сказать. Конечно, молодая, первым телком, а молочко...

Мать говорила что-то еще, но Хурдин ее не слышал: мальчик стоял перед глазами. Хурдин пытался вспомнить черты его лица, но они смывались. И виделся лишь мальчишка на велосипеде. Синий бумажный костюмчик, кепочка с целлулоидным козырьком, тонкие руки на руле.

— Ты меня не слухаешь?! — вернул его к яви оклик матери. — Либо уснул?

— Нет-нет, я слушаю.

— Шурку, говорю, на стойле видала и Лексевну. Петрову дочку, куму Василису — всем пересказывала тебя проведать прийти. Мишки Харитонова жена тоже спрашивала. В кухне истоплю тебе побаниться с дороги. А я петушков зарублю. Как же, люди придут...

Вечером, готовясь встретить гостей, Хурдин переоделся и вышел из дома в сером костюме, при галстуке. Мать

в первый миг обмерла, а потом заплакала. Она кинулась к сыну, но обнять его не посмела и вернулась к столу и, опершись на руку, стала глядеть и плакать с открытыми глазами и причитать:

— Да какой ты у меня хороший... Неужто я тебя родила да вскормила? Отец бы поглядел... Не привел Господь...

В хорошем костюме, при галстуке, Хурдин и впрямь был чужим на подворье, словно из другой жизни, из телевизора вышел.

И родня и гости, что пришли на Хурдина посмотреть, чувствовали себя неловко, церемонились, беспрестанно извинялись. Осторожно расспрашивали о загранице, о видах на войну. Бабы, потаясь, шпыняли мужиков, не давая им выпить. Тем более что хозяин водки не пил.

Посидели и разошлись. Мать убирала со стола. Хурдин на крыльце курил и глядел на остывающее небо. А хутор уже засыпал. Гасли огни. Но в доме переселенцев, так хорошо видимом отсюда, с крыльца, горел свет. Хурдин смотрел туда и думал о мальчике. Чем он занят сейчас, в эту пору? Почему не спит? Собственное детство Хурдина уплыло далеко; малые годы сыновей стояли рядом, но неприложимы были они к теперешним дням мальчика, не могли помочь. И Хурдин глядел на лучистые окна домика и мог представить себе лишь телевизор да поздний ужин. И всё.

Мать на кухне убралась, и пошли в дом. На воле комары одолевали, да и пора было спать. От горницы, от парадной кровати Хурдин наотрез отказался.

— Стели в боковушке, — сказал он. — Что я, гость?..

— А кто же?.. Да какой дорогой... — проговорила мать, но сына послушалась.

Хурдин включил телевизор, непривычно малый, с крошечным экраном.

Ложились спать. Хурдин подошел к окну и поглядел в темноту. Весь хутор уже уснул, но дом переселенцев попрежнему светил в ночи желтыми окнами.

— Мама, — спросил Хурдин, — а чего они не спят? Мальчишка этот, без матери?

— Переселенцы, что ль? Не знаю. Кажедённо свет жгут.

— Может, чего случилось у них?

— Да чего случится! Сережка, он... — мать не договорила и зевнула сладко. — Ныне лишь до подушки — и в сон покачуся. Сердце на покое. Ложись, сынок.

Мать легла, но, против обещания, не сразу заснула. Она полежала, вспомнила и через тьму двух комнат громко сказала:

— А мы, сынок, Витю похоронили... Здесь, у нас.

— Какого Витю?

— Твоего дружка. Такой хороший похорон был. Музыку привезли. А почему его не в городе схоронили? Либо они с женой не жили?

До Хурдина доходило медленно. Медленно, но неотвратимо.

— Какой Витя? Ты что, мама? — пытался сопротивляться он.

— Ну какой... — еще не понимая, легко ответила мать. — Твой дружок.

— Виктор?!

Хурдин встал и пошел в комнату матери. И она навстречу ему поднялась и свет зажгла, все поняв.

— Виктор умер? Когда?

— Тот год еще. А тебе не передали? Какая беда... и я, на ночь глядя... — Но, понимая, что теперь таить уже нечего, мать рассказала все. — Он далеко погиб. Издаля его везли, в железном гробу. И никому не показали. Жена тоже хоронила, с сыном. А вот почему не возля себя, а здесь? Видать, они не жили, сынок. Такая беда. Боле десяти человек разом побилось. Вот и я всегда горюю, летаешь ты на этих самолетах, не дай бог. Конь о четырех ногах, и тот... А тамотка... — поглядела мать вверх. — Как вы не боитесь? А Витю...

С Виктором Хурдин учился. Сначала в Вихляевке, потом на центральную усадьбу вместе ездили. И уже смальства вместе начали думать они о будущем. Виктор хотел стать летчиком, а Хурдин — инженером. Так и остались они каждый в своей вере: после школы Виктор поступил в летное училище, Хурдин — в институт.

С той поры дороги их нечасто скрещивались. Но все же видеться случалось, особенно в последние годы, когда Виктор стал испытателем. И каждая встреча была такой радо-

стью: говорили и наговориться не могли, вспоминали, на будущее загадывали.

Но последняя встреча была иной. Три года назад, как раз перед самым отъездом Хурдина за границу, Виктор прилетел в Москву. И сейчас так отчетливо помнилась эта встреча. Особенно в ночи, в тишине.

Мать давно уснула.

И тогда была ночь. Вечером при жене и детях говорили о другом. А потом одни за шахматами сидели, и возник этот разговор.

Виктор как раз вернулся от матери, почти месяц у нее прожил и теперь нет-нет да и объявлял какие-либо новости.

— Камагорова встретил, — сказал он. — Помнишь?

— А как же... Лесотехнический он кончал?

— Да. Вот наворочал мужик!

— Чего? Натворил что-нибудь?

— Нет, я о хорошем. Поговорили, он рассказал, да и я сам потом глядел. Решил он все пески, что от Ильменя идут, от Вихляевки, все пески сосной засадить.

Хурдин даже присвистнул.

— Ну и ну!..

— Вот тебе и ну. Ты там давно бывал?

— Давно.

— А вот поедешь — погляди. Там уже больше половины засажено. От Ильменя до Летника сосна стоит. Трехметровая. Лес. Маслята растут, да много.

— Вот тебе и Камагор, — удивляясь, сказал Хурдин. — А мы смеялись: лесник...

В те далекие теперь школьные годы над Камагором смеялись. Тогда все десятиклассники техникой бредили, авиацией, заводами, ну, педагогический девчатам прощали, медицинский или сельхоз, кому по душе. Но лесной...

— Смеялись, смеялись... и досмеялись, — вздохнул Виктор, оставляя шахматы: партия была закончена. — Досмеялись.

Какая-то горечь была в его голосе, и Хурдин спросил:

— Ты чего?

— Да так... Просто подумалось. Послухай, дружба, — присел он возле Хурдина и положил ему руку на плечо. —

А не проиграли мы свою жизнь, а? Ты только не полохайся. Я это, может, в шутку. А может, всерьез, — добавил он.

— Почему проиграли? Ты о чем, парень?

Виктор подумал, хмыкнул, потом сказал:

— Да я тут кое о чем все размышляю. И неутешительные итоги, знаешь ли. Камагор лес посадил, помог ему вырасти. На голых песках, какие хутор засыпали. Теперь там лес, грибы. И тут любого спроси, от черта до бога — всяк скажет: хорошо. И что главное и самое завидное, что Камагорову самому нравилось этот лес сажать, глядеть за ним, растить. А мы с тобой в технику играемся.

— Как это играемся? — не понял Хурдин.

— Да очень просто. Нам ведь уже по сорок. Юный оптимизм испарился. И что-то сдается мне, что вся наша так называемая работа — пустая игра, — хохотнул Виктор, глядя на изумленного Хурдина. — Ведь сколько бы мы с тобой не пыжились, ты в своем деле, я в — авиации, а получаются лишь громоздкие коробки с грохотом и вонью. Да и не могло быть по-иному. Ты же не самонадеянный хлыщ, подумай: природа — тысячи лет ее трудов, миллионы. А тут выскочил некто, я или ты, и решил все по-другому устроить. Устроил... Летаем. Грохочем. Воняем. А рядом — стрекоза, — легко повел рукою Виктор. — И муха. Я, знаешь, муху люблю за посадку. А оса? Чудо. Коршун. Сорока. Какой прекрасный лёт. А все наши поделки — глупость.

Хурдин глядел на Виктора, слушал, понимая, что это не шутка. Товарищ его не болтал пустого.

— Конечно, — согласился Хурдин. — Ты прав. Но мы же не обольщаемся. Мы это понимаем. И в этом залог нашего движения. Ты сравни, как далеки хотя бы ваши машины от первых. Конечно, это не середина, но...

— Боже! — перебил его Виктор. — Какая самонадеянность. О какой середине речь! Мы в миллиметре от начала пути, а впереди бесконечность. И бесконечность, незримо для нас летящая вперед. Ведь человек — брат птицы и насекомого. На каплю мудрее, но бесконечно самонадеяннее. Но то, что природа создает лишь дыханием, естественно, человек лепит огромным трудом. Он землю уродует... тратит столько сил, а для чего? Машины, машины... А где им

предел? Где разумный предел? Пока на земле места хватит? Пока в небе места хватит? А не в беличьем ли мы колесе? Может, мы уже сейчас не для людей стараемся, а для машин? Это им нужна новая и новая нефть, металл, уголь. Все больше и больше, а человеку что... Человеку, в общем-то, нужен кусок хлеба и кружка воды. Остальное — лишнее. Хлеб и вода. Вот он и живет. И душу живую. И мудрость, чтобы понять: не обжираться и не опиваться он приходит на землю, не собирать побрякушки. Но жить. Единственный раз. На прекрасной земле, устроенной чудно: с зеленым лесом и травой, с синей водой и небом, с людьми-братьями, дорогими, любимыми. И вся мудрость мира, все лучшие люди его из века в век твердят: живите проще. Высшая мудрость в том, чтобы не мудрить. Главное вам дано — жизнь. Иначе собой будете обмануты. В мире бе и мира не позна — это о нас, дружба...

— Но ведь ты мечтал с детства об этом, — сказал Хурдин. — Ты стремился к этому. К авиации, к самолетам.

— Не попрекай меня детскими глупостями. Мы же стали, черт возьми, мудрее или нет? Я вот о наших матерях думаю, — заговорил он спокойнее, — об отцах, обо всех хуторских. Нужны ли им наши игрушки-самолетики? А ведь делаются они их потом и кровью. Мы на их шее сидим, их не спрося, что-то мастерим. А ведь матери моей не нужны самолеты, они ей ни к чему. И твоей тоже. Всему хутору будет спокойнее, если они не будут гудеть в небе. Так ведь?

— Ну почему?.. — ответил Хурдин. — И там нужна авиация. Полететь куда-нибудь.

— Никуда они не летали и не полетят. Это мадама моя летает на субботу-воскресенье в Самарканд. Или на море. А для всех, и для самих мадамов тоже, будет лучше, если они дома посидят.

Спорить с Виктором Хурдин не хотел, он видел, что товарищ его встревожен и болен душой, и нужно было хоть чем-нибудь да успокоить его, и потому он сказал:

— Предположим, ты прав. Но взгляни по-иному. Вся наша работа — это наш хлеб. Хлеб насущный. Без него не прожить ни нам, ни детям. Так же, как отцы и матери, зарабатываем мы свой хлеб, но иным трудом.

Виктор улыбнулся и помахал рукой.

— Нет, не на хлеб мы работаем. Матери наши на честный хлеб, а мы — на дьявола. Разве мебельные гарнитуры, японские, — это хлеб? А немецкие ванные? Столовое серебро, золотые побрякушки? Да и даже в еде: паштеты, оливки, дурь всякая — какой уж там хлеб... И наша работа тоже. Если завтра по волшебству исчезнут все наши самолеты, мир остановится? Нет. Поохают и забудут. Единственная беда: мадама моя в Испанию не улетит. У нее путевка. А представь, что завтра наши мамки не станут свою работу делать. Уж тут, без хлеба, мир взвоет, а потом помрет. Значит, там — хлеб насущный, а у нас — баловство.

Виктор подошел к Хурдину, положил руки ему на плечи и пристально поглядел в глаза.

— Боже мой, дружба... На что мы жизнь свою тратим, что мы с ней делаем... Ведь ее больше не будет. А мы ее — впустую. Я пробыл пятнадцать дней дома. И это равно пятнадцати годам жизни. Да, да... Долгие дни, мудрые, счастливые. Пойти на Вихляевскую гору и сидеть, глядеть, думать. Как травы растут. Как облака плывут. Как живет озеро. Вот она, жизнь человеческая. Работать в огороде, плетень плести во дворе. И жить. Слушать ласточек, ветер. Солнце для тебя встает, роса падает, дождь — все доброе, сладкое. Зарабатывать на хлеб чем-нибудь и жить. Жить долго и мудро, чтобы потом, на самом краю, не проклинать себя, не скрипеть зубами. Второй жизни не дано, и об этом жалеть — пустое. Но упустить свою единственную... Какая беда.

Просидели с Виктором далеко за полночь. А утром нужно было расставаться. Хурдин все дела бросил и поехал провожать. О ночном больше не говорили, но, конечно, думали, временами пытливо вглядываясь друг другу в глаза. И уже на аэродроме Хурдин спросил, называя Виктора их любимым словом:

— Послушай, дружба, это все у тебя серьезно?

— Да, — ответил Виктор. — И надо бы уже сейчас все бросить и уйти. Но я слаб. Одно да другое. Все, конечно, глупости: всякие цели, выслуги, пенсии. А давай вместе, — вдруг заговорил он, — давай бросим все. Зачем ты едешь

туда? Целых три года. Что тебе это даст? Ну, «Волгу» привезешь, японской аппаратуры натащишь, тряпья, денег. Зачем это? Давай все бросим и уедем домой. Будем работать, к Камагору в помощники пойдем или еще чего. Будем жить, построим дома, семьи приедут. И попробуем сочинить что-нибудь. От этого ведь не уйдешь, привыкли. Но что-нибудь вроде велосипеда. Велосипед — это так естественно и прекрасно. Я преклоняюсь перед ним. Давай, дружба...

Хурдин опустил глаза, и Виктор все понял, потух. А на прощание сказал:

— Запомни: ровно через три года я уйду. Я тебе говорю это точно. Уйду, уеду на хутор и буду там жить. Насовсем.

Сколько не дожил он месяцев или дней? Разговор был осенью, под зиму. А погиб в августе, считай, за месяц до срока, который назначил себе.

Потом, позднее, Хурдин не единожды возвращался к ночному разговору. И корил себя за телефонный звонок и беседу с женой Виктора. Это случилось в день проводов, вечером. Хурдин неспокоен был и позвонил Виктору домой, жене.

— Он сходит с ума, — ответила жена. — Его лечить надо. Дурь всякую собирает. Старик какой-то к нему ходит, сумасшедший.

Она говорила зло и много. Не надо было звонить и с ней разговаривать, потому что она, видимо, все выложила Виктору. И неизвестно как.

Из-за границы Хурдин дважды писал другу, но не получил ответа.

А теперь вот смерть. И отчетливо вспомнилась мысль, которую Виктор повторил дважды:

— Сейчас я смотрю на жизнь и спрашиваю: где я был счастлив? И твердо знаю: дома. Помнишь, когда мы ездили из школы на велосипедах? Утром всегда спешили, а потом, когда уж домой, ехали свободные. То низом, Тубой, а еще лучше — горою. Что осенью, что весной — как хорошо было. Счастливее не было дней. Все остальное, так называемые успехи, все это пустое. А вот тогда...

И теперь, в ночи, перед глазами Хурдина всплывали картины того далекого бега. От школы — в седла, и айда! Напе-

регонки, в гору, словно в небо. Позади, на земле, оставались Вихляевка, Туба и окрестные хутора, Ильмень — все далекое земное отрывалось. И как-то странно было глядеть на крохотный дом свой за плантацией, за садами. Маковое зерно на огромной земле, под немереным небом.

А потом с горы — лётом, насколько смелости и духу хватало. Сердце замирало в счастливом задохе. И мчалась навстречу земля.

И лица, веселые лица друзей так явственно проступали из тьмы ночи и времени. Пухлощекий Камагор крутил педали дамского, невесть как попавшего на хутор велосипеда. Вася Фалалеев... Румянки на щеках — хоть вырежь. И Витек... Дружба... Цыганок, бровастый и черноглазый. Девки по нему умирали. Витек... Дружба... Как живой!

И возвращение в явь, к ночи и неудобной, с периною, постели было горестным. Раздумья о смерти друга, а потом, так естественно, о смерти вообще и о своей собственной порождали страх. И ни единого звука вокруг, в тиши старого дома, в гибельной хуторской тишине. Что-то вовсе жуткое стало мерещиться, и Хурдин поднялся, взял сигареты и пошел на двор. У порога он нарочно долго и шумно искал башмаки. Мать проснулась и спросила:

— Ты, сынок? Зажги свет, не боись.

Но ему хватило и материнского голоса. Тягостная ночная немота раздалась и отступила. Теперь он был в живом доме, в живом хуторе, на этом свете.

Во дворе было звездно, на небе светлей, чем на земле. Но и земная тьма дышала жизнью: кошка подошла неслышно, замурлыкала и стала тереться об ногу. Корова шумно вздыхала. Слышно ворочался на насесте петух, готовясь петь. Ветер с шелестом плутал в листве вязков, и что-то шуршало в старых катухах. А за плетнем, наискосок, поодаль, ярко светил незатворенными окнами дом мальчика.

Удивленный Хурдин даже из ворот вышел. В самом деле, не управляющего дом и не чей-то еще, а дом мальчика не спал в ночи, и огонь его был лучист и ярок. Даже дзыбастые мальвы с круглыми цветами видны были в палисаднике. И от земного желтого света веяло таким покоем, что отступила горечь и страх. Закурив, Хурдин стал раздумывать:

что же делает мальчик, почему не спит? Он думал разное, и тянуло его пойти и посмотреть. Но он не решился.

Утром Хурдин поднялся поздно. Возле хаты, в тени, мать сидела с платком, вязала, а рядом — соседка Митревна. Смерть Виктора уже приняла душа, словно камень в глубокую воду: упал — шум и волны пошли, но минуло время — и опять все спокойно: камень там, в глубине, он есть, но и только. Такова жизнь.

Но после ночного, сейчас, поутру, Хурдин как-то особенно остро чуял жизнь, красоту ее и сладость. Босым прошел по двору, с удовольствием ощущая мягкость травы гусынки и холодок ее. Воробьи ссорились на вязке, их нехитрую перебранку Хурдин слушал с улыбкой; и на ласточек долго глядел: какой крутой и мягкий вираж они делали, влетая в растворенные двери катуха.

Завтрак уже был на столе, а стол возле кухни, на солнышке. В миске салат стоял, словно солнцем зажженный костер из алых помидоров и красного перца; он пылал, и сиял, и плавился в тяжелом блеске горчичного масла. А рядом в тарелку сыпнула мать горку снежной, крупчатой, в лопинах развара картошки, пар и жар ее притушив укропной невесомой зеленью. Каймак желто светил, плавясь в росяных подтеках тяжелых топленых сливок. Кислое молоко мраморными отвалами дрожало в миске.

Хурдин глядел и боялся что-либо тронуть из этого солнцем осиянного, волшебного стола.

— Либо не нравится? — обеспокоилась мать. — Може, колбасы твоей или консервов? Я-то по-простому думала...

Хурдин успокоил мать, и она вновь уселась рядом с Митревной, принялась за вязанье, поглядывая на сына.

— Эти консервы, прости Господи, — толковала Митревна, — чего они на них помешанные? К Раисе приехала, консервы да консервы, живой еды нет. Консервы из банков да суп из кулечиков. Ширь-пырь — и готово. А желудку оно не отвечает.

— Избаловалися, — сказала мать. — И без мясца можно прохарчиться, если по-умному. Бывало, каши варили. Просяная, и с тыквой да молочком. И пашаничную кутьей варили. Наполечная с сузьмой. А уж рисовая... Бабка

Надюрка, бывало, скажет: рисовую атаманы да лавошники едят. А молодежь к каше косвенно относится.

— А муки, муки ныне сколь, — встряла Митревна. — Я у Раисы приладилась к духовке да как зачала каждённо печь каныши, да вертухи, да резунцов наделаю, лестничков, пирожков с капустой да картошкой. Ребята набузуются. Пеки, баба, еще...

Сидели соседки рядом, орудовали спицами и говорили. И ласточный щебет их радовал слух. Хурдин позавтракал и сидел, слушал и слушал.

— Василий уже звонил, — вспомнила мать. — Чудок не на белой заре. Я корову прогнала, а Феня летит из конторы, шумит: «По телефону тебя сын требовант». Уже знает, что ты приехал. Прям касатушка ему донесла. В субботу приедет. А нам с тобой к отцу надо сходить, — сказала она, — попроведать. Може, и до него весть донесли про сынка. Он ждет.

Неспешно тянулся день, солнечный, ясный, с таким разлитым в мире покоем, что Хурдину все время казалось — это сон, забытье. Протарахтят по затравевшей дороге колеса. Кто там поехал: почтальон Фокич или Иван Кривошеев в бригаду воду повез? — простучат и стихнут. И снова тишина. Лишь ласточка на лету прощебечет, да в займище, за речкою, прокукует кукушка — и всё. И чуял, осязаемо чувствовал Хурдин, как душа его, словно сосуд опустошенный, пьет и пьет забытый, но сладкий хмель покоя и благодати.

Собрались на кладбище. Невеликое, уютное, оно лежало среди светлой пшеничной зелени, за дощатым забором. Яркие ленточки на ветках, новомодные жестяные венки, столики и лавочки, желтый песок. Даже цыганская могилка была аккуратно прибрана. Тишина и покой.

Над отцом мать покричала, поплакала, потом сказала:

— А Витя вон там.

Но Хурдин раньше слов ее углядел памятник, блестящий самолетик над ним и портрет. Фотокарточка была строгой, при форме, в фуражке. Виктор неласково глядел на мир, сдвинув разлатые брови. И под суровым взглядом его Хурдин чувствовал себя неуютно.

Мать снова рассказывала о похоронах и плакала.

— Пойдем, — обнял ее за плечи Хурдин. — Пойдем, мама.

Вместе они вышли на дорогу, Хурдин оглянулся. Кладбище осталось там, посреди хлебной зелени. Высокое солнце стояло над полуденным миром, серебря молодую пшеницу. Высоко, в слепящей солнечной желтизне, звенел жаворонок. А справа, за темной зеленью сада, высилась Вихляевская гора. И, внезапно надумав, Хурдин сказал:

— Ты, мама, иди. А я в сад схожу, посмотрю.

— Сходи, сынок, сходи. Тама смородина. Сладкая...

Изо всех холмов, что лежали окрест, — а называли их уважительно горами: Ярыженская, Дубовская, Мартыновская — изо всех выделялась Вихляевская. Могуче вздымалась она над округою, обрываясь к Ильмень-озеру яром. И с вершины ее далеко было видать.

Родина... Вдали от нее каждый помнит клочок земли, с детства прикипевший к сердцу. Там небо просторней и голубей, там солнце глядит ласковым материнским оком, там ветер — прикрой глаза — снова унесет тебя в далекую, невозвратную пору.

Для Хурдина такою землею была Вихляевская гора. Многое с нее виделось, еще больше вспоминалось. И Виктор любил ее.

Сегодня, поднявшись на вершину, Хурдин стал думать о покойном товарище. Где он сидел в последний раз? На маковке? Или поближе к яру, откуда так озеро хорошо видать? О чем думал?

Над Вихляевской горою всегда, даже в самую покойную пору, понизывал свежий ветер. И это высокое, уже небесное дыхание, и замерший на полмира простор завораживали. И словно иное, вечное время считало шаги. И светлые, щемящие печалью, но светлые мысли томили душу.

Когда-то здесь, на Вихляевской горе, мальчишками мечтали они с Виктором о небе, завидуя птицам. Глядели, как коршун свободно плавает в небесной выси, уходя и утопая в ее глуби. Не жаворонку завидовали, не ласточке — быстрым, но малым птахам, — а тяжелому коршуну. Казалось, могучим крылам его под силу вознести мальчишечью плоть туда, в небеса. Мечталось и снилось... Покойный лёт — грудью на

ветер, — и омывают тебя воздушные струи и солнце, и безмолвно плывет внизу земля: замереть и парить золотою пушинкою, лишь кровь свою чуя да гулкое от счастья сердце.

Мечтали, и многое будто сложилось. И Виктор летал. Но как? Ревущий мотор и железо. Не полет, а движение, наперекор и во зло земному притяжению.

Конечно, иное грезилось. И прав был Виктор: не более чем игрушка все их дела. А жизнь? Сколько золотых дней уплыло. И вот уже нужно считать остатние. Уходят товарищи, уходят и зовут. И прав, наверное, Виктор: все золото дней истрачено зазря. И те, что впереди, — не слаже. Как льстили ему в Москве слова министра: «Ваш новый опыт... ваша энергия... воплотятся и помогут... многого ждем...» — льстили и обещали многое. Теперь же Хурдин с тоскою понимал, что ожидает его лишь новый необмятый хомут.

Дерзкая мысль, подсказанная Виктором: все бросить и уйти — мелькнула в голове. Вспыхнула и сразу погасла. Хурдин знал, что никогда не сможет уйти. Его не поняли бы ни жена, ни дети, ни товарищи, ни родная мать. А сеть человеческая с ее теплыми узами была необходима для Хурдина.

Внизу, под горой, к Вихляевке катила повозка с бочкою. Легкой рысью спешили кони, возница развалился на передке. И, провожая его взглядом, Хурдин почувствовал зависть. Вот так бы ему все долгое лето катить на повозке полями. Катить и катить по нескончаемому лету.

Он проводил глазами повозку, поднялся и побрел под гору, к садам и хутору.

К смородине он все же свернул и пошел от куста к кусту, от сладкой ягоды к той, что еще слаже.

В одной из прогалин наткнулся Хурдин на велосипед с тележкою. Это был велосипед мальчика. Хурдин огляделся, прислушался и пошел на звук.

Мальчик косил. Полоска, что лежала меж придорожными березами и смородиной, заросла травой. Косилось нелегко. Тяжеловата была косенка, хоть и малая, и вязовое косье не охватывала рука. И потому мальчик тянул косу резко, ударом, так что качалась голова на темном стебельке шеи. Трава была жилистой — перестой.

Хурдин решил помочь. Он подошел сзади и сказал:

— Здравствуй, работник. Как дела?

Мальчик обернулся, и в темных глазах мелькнул испуг.

— Да ничего... — ответил он, опуская взгляд.

— Для коровы?

— Козам, — ответил мальчик.

— Мать велела тебе косить?

— Чего велеть, я и сам неглупой, — ответил мальчик сдержанно, но с досадою.

Хурдин это понял.

— А я и забыл, когда косил, — сказал он. — Давно-о... Не дашь попробовать? Любопытно: забыл или нет?

— Попробуйте, — ответил мальчик.

Опустившись на колено, он подправил косу бруском и подал ее Хурдину, добавив:

— Она вам не с руки.

Конечно, косье было коротко, и Хурдину пришлось чуть не к земле присесть. Мальчик не выдержал, прыснул в кулак и отвернулся.

Хурдин маханул косенкой высоко, по маковке. Второй замах взял ниже и вонзил носок в землю. Вытянул его, очистил и снова косу поднял. Но ничего не получилось. Одно дело — забыл, другое — косенка игрушечная. В две минуты упарившись, Хурдин сдался.

— Нет, — сказал он. — Не могу.

Честное признание смягчило мальчика.

— Конечно... привычку надо. Надо держать ее вот так. — Он косу взял и махнул ею, подправил испорченное. И после двух-трех взмахов его ровная кошенина осталась да валок травы.

— А много у тебя коз?

— Три.

— Ну и накосишь?

— Накошу помаленьку. Кто за мной гонит? Мамка вот придет, с Ленкой будет сидеть, так запросто.

Мальчик махнул рукой. А рука была детская, хоть и темная, но еще с детской нежной кожею. Стертые и засохшие волдыри мозолей светлели на ней. Хурдин стоял и глядел, а мальчик на него. Но пора было уходить, не мешаться. И Хурдин ушел.

Ягоды его больше не занимали. Он шел, порою оглядывался, и за кустами смородины, а потом за березовой зеленью виделся ему мальчик, мужичок с ноготок.

Хорошо было сидеть возле кухни, под грушею. Зыбилось по земле пестрое рядно теней и солнечных пятен. Белые капустницы в палисаднике присаживались и вновь устремлялись в ныряющий полет. Большая стрекоза, скрежетнув жесткими крыльями, села на высокую былку и замерла, сияя под солнцем переливами золотого, зеленого и алого цвета. Молодая гусыня с поздним выводком, гагакая, вошла во двор. Поперек клюва у нее стрельчатым усом торчало большое перо. Хурдин позвал:

— Мам, мам...

— Чего, сынок? — вышла из кухни мать.

— Зачем у гусыни перо в носу?

— Где? — посмотрела мать и засмеялась. — Какой-то ты, вроде и не я тебя родила. Все перезабыл. Бьет она гусяток, дура глупая. Вот перо и вставили, чтоб не могла тронуть.

— А-а-а... — понимающе протянул Хурдин и оправдался на материн упрек: — Откуда мне помнить, сто лет не видал. А цыплят... Мама, я уж цыплят и забыл, какие они есть.

— Раньше вы их от коршунов стерегли. Ныне-то коршуны перевелися, а бывало...

Но иная мысль пришла к Хурдину, и он сказал:

— Я-то еще что, а вот Герка с Володей и не видели сроду цыплят. Только в кино.

— Они бабку-то родную лишь в кино видали, — осуждающе сказала мать, — не токмо что цыплят.

Хурдин опустил глаза, вздохнул, и мать его пожалела:

— Да чего ж, раз жизнь такая пошла... — и перевела разговор на другое: — Я, сынок, ныне на работу хочу с обеда. Управляющий просил. А как же... не могу я отказать. Из его рук живем. А ты, сынок, мне окажи помочь. На картошке жуков поморить надо. Сумеешь?

— Конечно, — ответил Хурдин.

В ту пору, позванивая ведрами, к колонке подкатил мальчик на велосипеде, и мать крикнула ему:

— Сережа! Ты ныне сбирался жуков морить?!

— Поеду, — ответил мальчик.

— Дядю с собой возьми. Подкажешь ему! Хлорофос у нас есть! А ты ему подкажешь, он не могет!

— Ладно, — отозвался мальчик. — Заеду.

— Он заедет за тобой, — передала мать Хурдину, словно тот не рядом сидел. — Заедет и тебе помогет. Надо картошку спасать.

Мать ушла на работу, и скоро на улице послышалось велосипедное звяканье и дребезжанье. И голос мальчика позвал:

— Дядя, поехали!

Хурдин взял велосипед и вышел за двор. Мальчик ожидал его не один: в тележке, прицепленной к велосипеду, сидела девочка, обняв руками цинковое ведро.

— Помощница? — спросил Хурдин.

— Помогать Сеёже, помогать буду, — быстро и довольно понятно выговорила девочка.

— Орет. Не хочет одна, — объяснил мальчик.

— Помогать буду. Лена будет помогать.

Она удобно сидела на старой телогрейке, обняв руками ведро, и езды не боялась.

Проехали хутор и солонцовую пустошь, где телята паслись.

— Маенькие теята! — оборачиваясь к Хурдину, закричала девочка. — Маенькие гуята! — обрадованно возвестила она, когда проезжали плотину и пруд с птицей.

У садов, огороженных не столько плетнями, сколь завалами сухих веток, у перелаза спешились. На земле девочка оказалась совсем крошечной, в длинном бордовом платье.

— Ты сними с нее, а то жарко, — предложил Хурдин.

— Да, снимешь... — усмехнулся мальчик.

— Касивое платье... Касивое... — горделиво сказала девочка, поняв, о чем речь. — Мое...

— Очень красивое, — подтвердил Хурдин, пересаживая ее через ограду, в сад.

Эти сады лишь по старой памяти назывались садами. Вербы тут росли, тополя, огороды сажали, косили сено. Хурдин свой огород угадал. Картошка на нем стояла в колено. И на сочных листах ее, там и здесь, гнездились полосатые колорадские жуки, а уж личинок было и вовсе пропасть.

— Сейчас я с Ленкой... Пусть она поливает, — сказал мальчик.

— Поивать буду, — подтвердила сестренка, горделиво задрав нос. — Мой капуста... Мой люк!.. — и заспешила за братом.

В малую «копанку» возле берега мальчик налил воды, вручил сестре игрушечное ведерко и наказал:

— Гляди в речку не лезь. Там глубоко...

— Губо-око... — покашиваясь на воду, подтвердила девочка. — Поивать буду. Мой капуста. Мой люк.

— Да, поливай. Молодец.

Зачерпнув из «копанки», девочка заспешила к огороду, косолапенькая, в длинном, тяжелом платье.

Хурдин с мальчиком развели хлорофос и, помахивая вениками, принялись кропить картофельные кусты пахучей отравой. А девочка топотила по дорожке, от «копанки» к огороду, подавая о себе весть:

— Поиваю! Мой капуста!

— Молодец! Хорошо Лена поливает, — усердно хвалил ее мальчик. — Хозяйка!

— Хозяка! — звенел в ответ веселый голосок.

— Хозяйка, хозяйка!

Хурдину картофельные кусты были по колено. Он кропил их не спеша, курил, стараясь дымом перебить хлорофосовую вонь, порою останавливался, поглядывая вокруг. Огородные деляны лежали вправо и влево.

— Чья это? — спросил он, указывая на сорный, бурьяном поросший участок.

— Фалалеевых, — ответил мальчик и добавил осуждающе: — Будут жалиться: семена плохие, не уродилася.

— А помногу накапываете?

— Мы с мамкой в том году тридцать мешков нарыли.

— Хорошо.

От хлорофосового духа начинало подташнивать, и Хурдин, оставив ведро и веник, к берегу пошел, чтобы отдышаться.

Сады и огороды лежали по обе сторону речки. Пруженая и перепруженная, она, считай, не текла. Местами, где еще

били со дна ледяные ключи, речка раздвигала камыши омутами с белыми лилиями и кувшинками.

Мальчик подошел незаметно и сел рядом.

Сестренка подле брата пристроилась, расправляя намокший подол.

— Уста-а. Потом снова буду поивать.

— Скупнуться... — сказал мальчик и, быстро сбросив легкую свою одежду, с разбегу кинулся в воду.

— Он па-авать умеет, — горделиво заявила сестренка. — Па-авает.

Мальчик плавал. В желтоватой воде вьюном вилось тростиночное тело.

Ухнул в воду Хурдин. Плеснула на берег волна, и камыши зашуршали. Даже сейчас, за полдень, студеной была вода, и Хурдин быстро полез на берег. За ним и мальчик.

И снова принялись они за свое дело. В горячем воздухе, перебивая пресный запах воды и полынкового сена, поплыл тяжкий хлорофосовый дух.

Вечером мать Хурдина хвалила:

— Молодец, сынок. Помочь мне оказал. А я выход заработала — може, мне зернеца поболе уделят.

Темнело медленно, и вроде менялась погода. В закатной стороне низкие пепельные облака шли на юг, а над ними летучий небесный дым багряными клубами мчался к северу, к северу. А над хутором стояло чистое небо, с ясной вечерней зеленью.

Хурдин собирался в гости. Из привезенного, московского, набрал он конфет, печенья, пачку халвы, коробку фломастеров взял, детскую книжку и попросил мать:

— Ты бы собрала чего-нибудь. К мальчику я хочу сходить, к Сереже. Сметаны, что ль, молочка... вареники там остались, давай отнесу. Только подогреть надо.

— Сами они подогреют, у них газ. А чего ты к ним?

— Да поглядеть. Одни живут... И вы к ним как-то относитесь... Не по-людски.

— А мы чего... Мы ничего...

— Вот то-то и оно, что ничего, — попенял Хурдин сдержанно.

Но мать его поняла.

— Сынок, сынок... Нас самих бы кто пожалел. А уж об них нехай начальство горится.

— Что начальство. Вы бы сами, пока отца-матери нет...

— Такого отца век бы не было. Они хоть вздохнули без него. Пропил их вплоть до подушек. Подушками по хутору торговал.

— И брали?

— Люди на все идут.

— Да... — покачал головой Хурдин.

Гостинцы сложил он в сумку и пошел. Улица хутора была пуста. Хаты светились вечерними огнями. Дом мальчика сиял незатворенными окошками. Хурдин вошел в распахнутые ворота, поднялся на крыльцо, постучал.

— Кто там?! Входите, открыто! — крикнул мальчик и сам выскочил в коридор. — Это вы? — в растерянности замер он в светлом дверном проеме, а затем отступил. — Заходите.

Пузатая лампочка сияла под потолком, освещая пустую комнату. Глаза Хурдина, так привыкшие к иному убранству, шарили по голым стенам, словно чего-то искали. Но что найти он мог?.. Стол да две табуретки, кровать-раскладушка с выгоревшим брезентом.

— В гости к вам решил зайти, — объяснил Хурдин. — Одному скучно, знакомых нет.

— Проходите.

Мальчик был в том же застиранном костюмчике, зато сестренка его разгуливала босая и, считай, голышом.

— Платье с нее еле стянул, — объяснил мальчик. — Постирать.

— Мой патье, — указала сестренка на бордовую свою гордость, что сушилась здесь же. — Ка-асивое.

— Красивое, — подтвердил Хурдин.

Сев посреди комнаты на табурет, он поставил сумку и сказал мальчику:

— Я тут принес... Вареников поешьте. Хорошие.

— Мы ужинали, — ответил мальчик.

— Ну, потом, завтра... — Хурдину было неловко. Он сумку раскрыл. — Тут вот... Тут конфеты, книжку, может, почитаешь.

— Ки-ижка? — бросилась девочка к Хурдину и замерла, увидев в руках его красивую книжку с картинкою на обложке. — Мой ки-ижка? — подняла она молящие глаза.

И Хурдин ее успокоил:

— Тебе, тебе!

Девочка, прижав книгу к груди, на мгновение замерла, а потом затопотила вокруг стола:

— Мой ки-ижка, мой.

— Так книжки любит, — оправдал ее брат, провожая взглядом.

Кастрюльку с варениками он убрал за печку, к сладостям отнесся сдержанно, сказав: «Ленка погрызет», на яркую коробку с фломастерами глядел недоуменно, потом спросил:

— Карандаши?

— Фломастеры, — объяснил Хурдин. — Тоже рисовать. Давай бумагу.

И на принесенном листе почеркал фломастером.

Мальчик заметно крепился, но сдержать своего волнения не мог. Он провел синюю линию, а рядом зеленую, потом быстро нарисовал красный трактор и в небе солнце и синие облака. С трудом остановился и глянул на Хурдина с такой откровенной радостью, что Хурдину стало не по себе.

— Здорово! Лучше карандашей, — проговорил мальчик. — Спасибо. Дорогие, наверно.

— Да ничего, что ты... В городе сейчас все такими рисуют.

— У нас нет.

Между тем девочка, положив на кровать книжку, осторожно листала ее, негромко бормоча:

— Ехали медведи, на ве-исипеде. А за ними кот, задом напе-ёт.

— Она что, читает? — удивился Хурдин.

— Да нет, это так... — усмехнулся мальчик.

— Читаю ки-ижку, — услыхав его, снова сказала сестра. — Мой ки-ижка.

— Читаешь, читаешь, молодец!

Мальчик с фломастерами не мог расстаться, он перебирал их, яркую коробку трогал и говорил:

— Я буду не всегда ими. А когда чего-нибудь хорошее, чего-нибудь главное нарисовать. В школе. А может, и так. Школа ведь не скоро.

Увидев, что мальчик оттаял и уже не дичится его, Хурдин сказал:

— Вы, может, поедите вареники, они еще теплые? Пока свежие, а?

— Поедим, — улыбнулся мальчик. — Ленка! Вареники будем есть?

— Ва-еники будем... — согласно повторила девочка.

— Сейчас разогрею на сковороде.

Оставив фломастеры и бумагу, мальчик метнулся к печке, а потом в коридор, где газовая плита стояла, и через пять минут уже шкворчали на столе вареники, тонущие в масляной и каймачной жиже.

Ели ребята хорошо.

— Мы кашу все варим, — рассказывал мальчик.

— Са-адкую, — прижмурилась сестренка.

— Вареники, конечно, лучше, — похвалил он и, подумав, добавил: — Вот мамка придет, напишет заявление, колхоз нам корову продаст, в рассрочку.

— А прокормите?

— Прокормим. Косить еще долго можно, все лето. Будем кормить. Нам молоко нужное. — объяснил он. — Малышам. С молоком они не будут болеть.

Ребята ели, а Хурдин понемногу оглядывал их жилье. Хотя глядеть было особо не на что. Комната совсем пуста. В кухонке, за печкой, лишь кровать с ватным одеялом да какая-то одежонка на вешалке. Не на что было глядеть. Пододвинув к себе лист бумаги, Хурдин стал рисовать единственное, что умел, — самолеты. Они у него ловко получались. Один, а потом другой. Мальчик взглянул на рисованное и похвалил:

— Красиво.

А потом, убирая со стола, словно ненароком обмолвился:

— Я тоже самолет делаю.

— Самолет? — удивился Хурдин.

— Ну, не самолет, а такое... Буду летать. Такую штуку я делаю.

— Какую?

Хурдину стало любопытно. Что мог придумать этот мальчуган?

Мальчик включил свет в кухонке, за печкою. Хурдин пошел туда и тут же посмеялся над собой. Конечно же мальчик ничего не придумал. Это были обычные крылья, большие крылья из белых гусиных перьев.

Слажены они были неважно: каркас из велосипедных спиц и сетки. Но, взяв одно крыло в руки, Хурдин понял, какую долгую работу делал мальчик. Каждое перо было подобрано и аккуратно прилажено на свое место тонкими капроновыми нитями. Крылья были готовы. Взмахнув одним из них, Хурдин почуял его непрочность.

Взяв оба крыла, Хурдин понес их в комнату. Мальчик, следуя за ним, покорно ждал.

— Я их давно делаю, — сказал он. — Придумал и делаю.

— А как же ты хочешь полететь? С крыши?

— Нет, с велосипеда. Я давно придумал. На Вихляевской горе есть такое место. Когда из школы едешь домой, к хутору, там есть такой прыжок. На половине. Там на велосипеде-то подлетаешь, — вскинул мальчик руки, — прямо вверх. А если с крыльями... Разогнаться с самого верха, а на прыжке крылья раскрыть, велосипед бросить, и запросто...

Глаза мальчика широко раскрылись, и в них было такое ожидание радости, что Хурдин не смог его огорчить.

— Да, да, — подтвердил он. — Хорошие крылья, должен полететь.

Сияющий и такой благодарный взгляд был ему наградой, что Хурдин почуял подступающие слезы и опустил глаза. Скрывая волнение, он крылья разложил на столе и стал рассматривать их, прикидывая, глядел и говорил:

— Так, так... Вообще-то надо бы увеличить...

— У меня еще перья есть, — с готовностью ответил мальчик.

— Это хорошо... Но жесткость надо увеличивать, и крепления посерьезней... Иначе...

— Но я полечу?! — почуяв недоверие, спросил мальчик, и голос его дрогнул.

— Полетишь, полетишь, — успокоил его Хурдин, потому что иного говорить было нельзя.

Они просидели допоздна, так и эдак прикидывая и соображая. Нужно было каркас изменить, размер крыльев и крепления.

Хурдин спохватился чуть не в полночь. Девочка уже спала на раскладушке, обняв книжку. Она спала, несмотря на яркий свет, и Хурдин сказал:

— Надо бы ее туда перенести, в кухню.

— Нельзя, — ответил мальчик. — Она боится.

— Чего боится?

— Без света. Папка напугал. Так и жгем всю ночь.

От крыльев, от волшебной мечты, от полета одним разом вернулся Хурдин на эту землю. Вернулся и сказать ничего не мог. Лишь вздохнул и безотчетным движением опустил на плечо мальчика руку. Мальчик его ласку принял.

И потом, в летней рассеянной тьме, на улице, всласть накурившись после долгого воздержания, и дома, в постели, Хурдин думал и думал о мальчике. О мальчике и о крыльях его. О крыльях и о Викторе. О Викторе и о себе.

Мальчик пусть полетит, пусть попробует, раз хочется. Не много у него в жизни радости, пусть будет хоть эта. Упадет — не беда. Но в коротком мгновении почует сладость полета. И это будет надолго, на всю жизнь. Пусть летит.

И жаль, что Виктора нет теперь, он бы понял и загорелся, он бы помог. И мальчик бы ему помог. Вернуться в далекое детство, в горечь жизни, усталость ее — всю растопить, в капле живой воды, в капле радости, принесенной оттуда. И снова жить.

Думалось и о себе. Нынешнем и в далеком детстве.

И все виделось, как мчались они наперегонки по Вихляевской горе и вниз. Камагор на дамском своем велосипеде, Витек... и почему-то мальчик, Сережа. Но это уже во сне.

С крыльями колдовали день, и другой, и неделю. Мать начала коситься и ворчать. Незаметно подходило время отъезда, а еще не были у сестры, у дядьев. Хурдин увлекся, ездил на центральную усадьбу и даже в райцентр, добывая материалы. Давно уж он не работал с таким азартом. О мальчике что говорить...

И наконец все было готово.

Вечером Хурдин ушел от Сережи, сговорившись отоспаться как следует, а уж потом ехать на Вихляевскую гору.

Он проснулся чуть свет. Мать встала корову доить, чем-то громыхнула, и Хурдин проснулся.

Утро было росное. На дворе по седой траве гусынке тянулись темные полосы материнских следов. Солнце еще не поднялось, и алый пожар его полыхал на полнеба.

— Сынок? — позвала мать. — Иди, парного попей.

Опорожнив банку теплого пенистого молока, Хурдин решил больше не ложиться. Когда-то еще он поднимется рано, да и поднимется ли? Он вышел на забазье и глядел, как тухнет заря и встает солнце. Как тает золотистый туман над речкою.

Мать прогнала в стадо корову и коз. А Хурдин, не дожидаясь завтрака, сел на велосипед и покатил к Вихляевской горе. «Я быстро», — сказал он матери. Он решил еще раз поглядеть на то место, откуда полетит мальчик.

От колхозного сада, вдоль светлой березовой лесополосы Хурдин набирал и набирал скорость, чтобы выскочить на гору повыше. И поднялся почти до «прыжка», до бугра на склоне. И снова убедился, что ничего страшного не случится. Если и упадет мальчик, то в густую пшеницу. А такое ли видала Вихляевская гора?

Дорога звала выше, и Хурдин стал подниматься, ведя велосипед, чтобы катануть с маковки во весь дух и лететь потом до самого хутора.

Он поднялся наверх, пошел к яру, минуя пшеничное поле, и сел там, на краю.

Утро уже набирало силу. На том берегу Ильменя, на птичнике, выпустили кур, и они хлынули белой лавою, затопляя округу.

О Викторе, о покойном друге своем, вспомнил Хурдин. Вспомнил и поглядел на далекое кладбище. Там, на кладбищенском пятаке, среди пшеничной зелени, что-то вдруг сверкнуло и засияло, словно лучистая звезда. Какая-то жестянка или стекло? А может, это светил самолетик над могилой Виктора? Никелированный самолет? Да, наверное, он.

И снова, в который раз уже за эти дни, стало думаться о Викторе, о жизни его, и о смерти, и о собственной жизни — обо всем разом. Клоками наплывало то одно, то другое. И казалось, что прав Виктор, нужно все бросить и уйти, покойно и счастливо доживая свой век на родине. Счастье... Но разве обошло Виктора счастье в молодости и потом? Пусть, он говорит, призрачное, обманное, но было же. А где истинное? Во вчерашнем дне или в нынешнем? Кто скажет правду? Как жить?.. Отец... Сколько на его долю досталось... И разве сладкого? Оттого и ушел он до срока. И мать всю жизнь врастопырку: колхозное надо делать и свое, а руки одни. Ни дня, ни ночи... Высыпались ли когда, даже сейчас? А братья и сестры, тетки, дядья, родня вся, вся округа?.. Так ли сладко у них? Виктор, Виктор... Добрая душа, умная голова... Был бы живой, тогда...

И вдруг иное обожгло душу: был бы живой! Был бы жив — вот счастье! — приехал бы с края света, посидели бы вот так на Вихляевской горе и долго помнили. Уехали, а помнили тихий Ильмень, и черную лодку на нем, камыши, займище над речкою, и поля до края, и дорогу в хлебах, что бежит с горы к садам...

Повернув голову вслед за дорогою, Хурдин вдруг увидел мальчика. Да, это был Сережа. Он уже забрался на гору, повернул велосипед и стоял.

Хурдин хотел подняться и позвать, но вдруг все понял и замер. Мальчик приехал сюда ранним утром один, потому что не хотел ничьих глаз. Даже Хурдина. Он хотел взлететь или упасть один. А уж потом...

Мальчик стоял минуту, другую, поправляя крепления крыльев, потом решительно повернул кепочку козырьком назад и, толкнувшись, помчался вниз. Он катил и катил, набирая скорость. Пригнувшись к рулю, он крутил и крутил педали, убыстряя бег. Он был смелым, этот мальчик.

Он мчался с горы, каждую пядь которой Хурдин знал на память. Вот осталось полсотни метров. Вот совсем рядом... Вот прыжок!

Два белых крыла, такие ясные на синем утреннем небесном полотне, вдруг раскрылись, словно вспыхнули, за спиной мальчика, и он взлетел. Хурдин зажмурился и почуял,

как сердце его замерло в сладком обмороке, а сам он не сидел на твердой земле, а тоже летел над зеленым пшеничным полем, над Вихляевской горою, над Ильменем. А земля медленно и косо разворачивалась под ним зеленым блюдцем и уплывала вниз.

ПУТЕВКА НА ЮГ

1

На хуторе Ветютнев по-хорошему откосились. И, словно грибы-зеленухи, полезли на свет божий по дворам и забазьям копны и стожки, скирды и прикладки, веселя хозяйский глаз. Сено клали по-разному. Солонич и управ Арсентьич — высоким шеломистым стогом. Тарасовы за красотой не гнались, их квадратный тяжелый скирд был неуклюж, но мощен, как и сам хозяин, Гаврила Тарасов. Каждый клал сено по-своему. Приблудный цыган Мишка тоже в этом году косил, и кривоватый стожок его красовался посреди расхлебененного цыганского двора.

Откосились. И посветлели, будто проредились сады, просторнее сделались поляны займища и обережная над Ворчункой полоса. И только зеленые тропы втолоченных в землю трав тянулись по светлой еще кошенине.

Откосились, и по утрам в бригадной конторе, на утреннем наряде сделалось людно: собирались пораньше и не спешили уходить, перебирая хуторские сплетни да новости.

Николай Скуридин на наряд не ходил. Он пас молодняк и без указов знал, что ему делать. Нынче с утра он подле конюшни лошадей запрягал. А тут наряд кончился, народ повалил из конторы, и управляющий Арсентьич вышел на крыльцо. Вышел, огляделся, увидел Скуридина и крикнул:

— Николай! Скуридин! Иди-ка сюда!

— Чего? — издали отозвался Николай.

— Иди, иди...

Николай особо с начальством разговаривать не любил и потому к крыльцу пришел не сразу.

— Ты чего нынче не пасешь? — спросил управляющий.

— Зеленку буду подвозить.

Арсентьич глядел, глядел на Николая, а потом широко улыбнулся и сказал:

— Пляши.

— Чего? — недоуменно ответил Николай.

— Пляши, говорю! — в голос повторил управляющий.

И все люди, что вокруг находились, по тону его поняли: дело идет о добром. Поняли и притихли, слушая.

Николай ничего не понимал. Ему было неловко, и он повторил, досадуя:

— Ну чего?

— Чего-чего... Расчевокался... — влез в разговор дружок его Алешка. — Пляши, а там разберемся.

Кто-то засмеялся, и управляющий решил не тянуть. Он откашлялся, построжел и заговорил громко, чтобы все слышали:

— Правление колхоза награждает Скуридина Николая путевкой в санаторий для лечения и отдыха! Путевкой на юг! Бесплатно! — добавил он.

Народ, что у крыльца толпился, и даже бабы, которые к домам поспешали, чтобы перед работой кое-что на скорую руку доделать, — весь народ разом смолк и замер и стоял, замерев, минуту-другую, стараясь понять, не шутит ли управляющий.

Управляющий не шутил. И тогда, тоже разом, прошло остолбененье и развязались языки.

— На курорты...

— Задарма...

— Вот это везет!

— Я ж говорил, пляши...

Лишь управляющий да Николай стояли по-прежнему молча. Арсентьич улыбался, довольный. Эту путевку добыл он, и, надо сказать, совершенно случайно. Вчера ездил он в правление и к свояку зашел, тот главбухом работал. Свояк и сказал ему о путевке, которую для себя добывал. Но теперь она ему разонравилась.

— Желудочный санаторий... — жаловался он. — Будут какой-нибудь отравой кормить. Может, ты поедешь?

Арсентьич рассмеялся.

— Чего я поеду? Да в такое время. Кто отпустит? — И тут совершенно случайно вспомнил он про Николая Скуридина, который по весне месяц в больнице отвалялся. У него язва желудка была, и ее уже резали, а теперь она снова начиналась. Он вспомнил о Николае и сказал свояку: — Отдай мне путевку, на отделение. Скуридину Николаю, скотнику. Хороший мужик, язвенник. Пусть подлечится. Да от жены отдохнет, от тещи.

— Скуридин? Николай? Это Лёнка его жена? — вспомнил свояк.

— Ну да...

— Такому надо... — посочувствовал свояк. — Забирай. Только чтоб втихаря. Договорись с профсоюзом.

С профсоюзом Арсентьич договорился. И вот теперь стоял на крыльце довольный произведенным впечатлением. Удивленный народ гудел.

Лишь Николай не радовался и не удивлялся. Он поглядел на Арсентьича, поглядел и проговорил с досадою:

— Так... Брехни тачают... Курорты... — и, повернувшись, пошел к арбе и коням.

И большого труда стоило Николая вернуть. И только лишь в кабинете управляющего, когда под нос Николаю сунули розовую, лощеной бумаги путевку, лишь тогда он поверил. Поверил, но не особо обрадовался:

— Чего это я... — сказал он. — Чего поеду?.. Людей смешить.

— А чего их смешить? Поедешь, подлечишься.

— Нет, — решительно отказался Николай. — Нечего там делать. Людей смешить.

— Что ты заладил? — разозлился управляющий. — Людей смешить, людей смешить... Вроде тебя черти куда посылают. Курорт, понимаешь, курорт. Юг, море, врачи там собрались. Люди за такую путевку знаешь что отдают? А тебе бесплатно. У нас их сроду и не было, таких путевок. Раз в жизни попала, хватай и поезжай.

— Один съездил, — отводя глаза в сторону, сказал Николай.

Это был тонкий намек. В прошлом году тракторист Митька Тегелешкин ездил по городам-героям. Тоже бесплатно путевку дали, в правлении. А пока он ездил, его жена Фрося управляющего принимала.

Арсентьич намек понял, но виду не подал.

— То туристическая, а здесь лечить тебя будут. Ты весной в больнице лежал?

— Ну лежал...

— Вот доктора об тебе и побеспокоились, — соврал управляющий. — Да еще бесплатно. Ты же больной человек, кожа да кости остались... Спасибо надо говорить, что об тебе заботятся. А ты еще... — в сердцах выругался Арсентьич и вытащил папиросы.

Задымили вместе. Задымили, и Николай закашлялся. Кашель его был тяжелый, и что-то клокотало там, внутри.

— Застудился, — пожаловался он.

— Застудился... — головой качая, повторил управляющий и отвернулся, не хотел глядеть.

Смотреть на Николая и вправду было несладко. Сорокалетний мужик, он гляделся престарело: черноликий, худой, почти беззубый, какой-то сгорбленный, с по-старчески усыхающим телом.

— Да я, Арсентьич, чего... — начал сдаваться Николай. — Я говорю, страшно. В отпуске-то никогда не был, а тут курорты. Да у нас никто и не ездил на эти курорты. Люди смеяться будут, скажут...

— Ну да... Сутки в райцентре сидеть — это ничего. А вот на курорт поехать, подлечиться... В общем, чего тебя уговаривать. Не хочешь — верну путевку. Сейчас вот позвоню по телефону, — потянулся он к трубке.

Николай вздохнул.

— Чего вздыхаешь? Сено накосил?

— Накосил. В копнах.

— Вот свози и собирайся. Поедешь, там профессора, сразу тебя возьмут в оборот. Поглядят, пощупают, назначат лечение. Будешь режим соблюдать, принимать лекарства. Питание усиленное, ванны, уколы, новейшие методы лечения. Не то что в наших больницах. Поселят тебя во дворце, мрамор вокруг, кипарисы, море синее.

Управляющий умел говорить. Он нарисовал такую сказочную картину, что Николай поневоле заслушался. А дослушав, снова тяжко вздохнул.

— Мне оно, конечно, и манится, — сказал он, — край надо бы подлечиться. Да как же скотина, скотину не кинешь?

— Найдем кого-нибудь на подмену.

— Кого найдешь?.. Да и теперь чего же... Снова переваживать. А потом снова здорово. И привесы сейчас пойдут, и заработок терять.

Управляющий задумался.

— Хрен с ними, с привесами. Об себе надо подумать. Хотя постой... — вдруг нашелся он. — Зятек твой, зятек преподобный. Пускай он твой гурт берет и пасет. Вот и деньги не потеряете. Он же пас скотину? Сможет?

— Смогет-то смогет... — сказал Николай.

Управляющий понял его правильно и враз построжал.

— А вот пусть попробует откажется. Никакого дома не дам, — пригрозил он. — Не получит. Скажи, пусть зайдет. Будет пасти, никуда не денется.

— Ладно, — ответил Николай. — Поглядим.

— И глядеть нечего, давай собирайся. Поезжай, лечись. Бесплатная путевка.

— А дорога?

— Ну, ты больно много хочешь. И так за путевку колхоз сто пятьдесят платит. Так что на дорогу разорись. Туда рублей пятнадцать да обратно.

— С собой немного взять, — добавил Николай.

— Ну и с собой возьмешь рублей двадцать. Больше зачем? Кормить будут, на всем готовом. Ты же не пьянствовать едешь, не гулять? Тебе ж лечиться надо?

— Неплохо бы подлечиться, — потирая впалый живот и морщась, сказал Николай.

— Болит?

— Не каждённо, а как схватит...

— Вот пить надо меньше да курить и вылечиться по-настоящему. Ты не перебирай, а езжай и лечись, коли лафа подвалила. Много у нас на курорты посылают? Вот то-то и оно. Там тебя на ноги поставят. Приедешь во какой... — надул щеки и плечи расправил управляющий.

Николай на него поглядел, засмеялся.

И так нехороша и даже жутковата была эта улыбка, ощерившая темные, прокуренные зубы на высохшем в кулачок лице, так нехороша была, что управляющий отвел глаза и сказал твердо:

— Дурака не валяй, собирайся. А зятя пришли, если кобызиться начнет.

Николай вышел из конторы, управляющий через окно проводил его взглядом и решил твердо: «Поедет. Не я буду, поедет. Саму Лёнку заставлю стеречь, Лёнку вместе с тещей. Но Николай в санатории будет».

А скорая на помин Лёнка, жена Николая, уже спешила к конторе. И как всегда, с матерью. Лёнке было сорок лет, матери подпирало к шестидесяти, но с годами они становились похожими друг на друга, словно сестры. Обе красные, налитые, грудастые, толстоногие; и ходили-то они одинаково, по-солдатски махая руками, словно маршировали. В хуторе поговаривали, что Николай путал их по ночам, и Лёнка, угождая матери, молчала.

Мать осталась сторожить на крыльце, Лёнка вошла к Арсентьичу и затрубила:

— Здорово живешь, куманек? Не болеешь?

— Да слава Богу, — ответил Арсентьич, удивляясь, как быстро по хутору вести несутся.

— А кума Лелька? Чего-то я ее не вижу.

Ни родством, ни свойством управляющий с Лёнкой не был связан. Но она откуда-то выискала седьмую воду на киселе и упорно звала Арсентьича кумом.

— А я к тебе, кум, с бедой. Не прогонишь?

— Жалься, — коротко ответил Арсентьич.

— Люди говорят, моему дураку курорты дали. Взаправди?

— Не сбрехали. А ты, значит, поблагодарить пришла?

— Не смеись, кум, — обиженно прогудела Лёнка.

— Я не смеюсь. Мужик у тебя занужоный. Маклаки торчат, хоть торбу вешай.

— Нехай водки помене жрет, — строго сказала Лёнка.

— Вот и съездит, пить там не будет, подлечат его.

— Он не доедет, — уверенно сказала Лёнка. — На станции напьется и под поезд попадет. Детву осиротит. А вот мы

так раскладаем, ежли начальство об нем горится: нехай эти деньги наличностью отдадут, прямо в руки. Вот мы его и подлечим. Лекарствия какие прикажут — возьмем. Будет лечиться при нас, при своей домачности. Так-то лучше, чем в какую-то турунду ехать. Он здеся вназирку живет и то пьяный кажный божий день. А тама... Так что деньгами нехай дадут.

— Какими деньгами? — удивился Арсентьич. — Вы что? Это же путевка, понимаешь? Путевка. Ее уже оплатили.

— Нехай назад деньги возвернут.

— Кто их вернет, в банк перечислили за путевку. Понимаешь? На путевку. На лечение. Профсоюз дал.

— А ты бы, кум, подсказал, — с обидой сказала Лёнка. — Деньгами, мол, им. У них детва мальначкая, сколь расходов.

— На работу надо ходить, — сказал управляющий. — На работу. А ты со своей матерью уж забыла, в какой стороне у нас поля.

— Ты меня, кум, не упрекай, — обиженно засопатилась Лёнка. — Сколь забот у меня, сколь детвы...

— На детей не вали, — отмахнулся Арсентьич. — Детей у тебя было и есть на кого кинуть. Баба Феша, Царствие Небесное... Да вы вдвоем с матерью сидели, кого высиживали? А теперь уж вовсе полон двор хозяев. Ты, да мать, да Нюська, да зятек ваш преподобный. Вот на других баб погляди. У Шурки Масеихи — четверо, Пелагея Чертихина пятерых подняла и всю жизнь на ферме. Скажи уж, не привыкла работать, вот и всё.

— А кто же, куманек, тружается? — деланно всхлипывала Лёнка. — На ком дом стоит?

— На Николае, — твердо ответил управ.

— На пьянчуге на этом, на капеле?

— Да не такой уж он и пьянчуга, — заступился Арсентьич. — А работник золотой. Скотина у него завсегда на первом месте. Кормленая и поеная. Привесы у него самые высокие. Вас всех этим и содержит.

— Содержатель... — желчно процедила Лёнка.

— А что? Може, поглядим, сколь он в дом приносит, а? И ведь он их не пропивает, домой несет. Летом по триста,

по четыреста рублей заколачивает. Кормит вас и поит, — наставительно произнес Арсентьич. — А вы ему цены не знаете, не содержите как надо. Вот у него и язва, и высох на балык. Не дай бог, что случится, тогда запоете: заборона ты наша неоцененная. Тогда будет пост — прижимай хвост.

— Скажешь, куманек... Да мы, може, поболе него... — хитро прижмурилась Лёнка. — Руки от платков не владают. Как на точиле сидим.

— Платки... Я вот прикручу вас скоро с платками да с козами с вашими. И вот что, ты мне голову не забивай. А собирай мужика и спасибо говори. Пусть едет лечиться. А зять нехай пасет, а то он у вас устроился, как сом на икре. Нехай пасет, иначе никакой квартиры он не получит. Баглай чертов... Попасет, и привесы делить не надо, все по-родственному, в один карман. Поняла?

— Да я тебя, кум, поняла, а вот ты моему горю... — пустила слезу Лёнка. — Злуешь... А я — мать-герой. Шестерых родила да на ноги поставила. А вы прислухаться ко мне не хотите. Придется Теряшковой отписать, нехай заступится. Я в своем праве.

Это была вечная Лёнкина песня, когда ее прижимали. «Теряшковой отпишу...» — грозилась она.

С тем она и нынче поднялась, с тем и ушла. И зашагали они с матерью прочь от конторы. Глядя им вслед, Арсентьич проговорил, досадуя:

— Лукавая сила... Ох, лукавая сила.

Так в давние теперь времена звал Лёнку и мать ее покойный отец Николая. Николай был последним, младшим сыном в семье. Он неплохо учился в школе, в сельхозтехникум поступил и закончил его и стал работать в соседнем районе. Отец, старея, позвал его к родному дому. Николай послушался и приехал. И скоро спознался с Лёнкой. В ту, уже не первую свою весну цвела Лёнка лазоревым цветом. И не девичьей родниковой свежестью привлекала, а молодым бабьим медом. Круглолицая, белозубая, со всех сторон налитая, шла она по хутору, посверкивая икрами.

Жила Лёнка с матерью, бабкой и сестрой Шурой. И семья эта была странная: словно две чужие воды сливались, но не смешивались в тесной мазанке на краю хутора. Бабка Феша

была золотым человеком. Работящая, совестливая, она тянула на себе всю семью. Под ее рукой и младшая Шура росла вся в бабку. А рядом в веселой свадьбе кружилась Лёнка с матерью, что ни день затевали гулянки, ночных гостей принимали — словом, жили по-царски.

Тихомолом, не поднимая совестливых глаз на хуторян, тянула свою лямку баба Феша. Подросток Шура как могла помогала ей. Мать же с другой дочерью жили весело. И под веселую руку нередко бивали бабу Фешу, прогоняя ее. И молчальницу Шуру тож. Бабка с внучкой день-другой спасались в катухах или по соседям, потом возвращались в гнездо, кормить кукушат. Так и текла жизнь.

В эту пору и появился на хуторе Николай. Появился и чуть не в первый день познался с Лёнкой. И хоть был он уже не мальчиком, но такого жгучего бабьего зелья откушал впервые. Отпробовал и не мог оторваться. И закружилась бедная Николаева голова. И теперь лишь утренняя заря прогоняла его на отцовский баз.

Отец с матерью и родня почуяли неладное. Лёнка всему хутору хвалилась предбудущей свадьбой. И каково это было слышать отцу? Разве такую судьбу готовил он своему младшенькому, светлой голове? И, почуяв недоброе, родные на все лады принялись ругать Николая, славить и срамить Лёнку.

— Она враз растопырилась, а ты и рад! — шумел отец.

— Чему радоваться, баба-то мятая! — вторила мать.

И вся остальная родня в голос принималась считать и сочесть не могла Лёнкиных полюбовников.

Николай слушал и молчал, но делал по-своему. Как знать, может, в свое время он и отвалился бы от Лёнки. Но отец был крутехонек. Он сказал раз, другой, а потом взял да не пустил Николая в дом.

Нашла коса на камень. Николай из того же был теста леплен, и горького казачьего перца в нем было не занимать. Он взбеленился, плюнул и ушел жить в Лёнкину семью.

Лёнка была баба не промах. Она тут же Николаю первого сына родила, за ним — другого. И пошла узелок за узлом и теперь уж довеку вязаться новая жизнь. Отец Николая

вроде простил. И уже с первенцем иногда приходили молодые в родительский дом. Но ничего не заплывало: ни прежнее Лёнкино развеселое житье, ни нынешние не больно тайные прегрешенья, навкосяк потянувшие жизненную борозду сына. Да и Николаева память была не в овечий хвост. Не забыл он, как телешом уходил с родного база.

И та лопина в скуридинском гурту, что с первых дней обошла семью младшего сына, та первая трещина не зарастала, а, напротив, ширилась; и Николая с Лёнкой, словно отколотую ледяную крыгу, все дальше и дальше от родни отжимал тягучий быстряк жизни.

И жил Николай Скуридин хоть и в родном хуторе, но одиноко. И теперь, когда свалилась ему на голову эта путевка, потолковать и посоветоваться было не с кем.

Домой он воротился к обеду. Воротился домой, а Лёнка с матерью его издали углядели и встречали посеред двора.

— Курортник прибыл, — объявила теща. — Встревай желанного.

Лёнка сразу принялась мужу вычитывать:

— Гляди не удумай... Свово ума нет, слухай добрых людей. Не удумай эти курорты брать, откажись. Это все неспроста, это они дурака нашли, а потом денежку все одно вытащат. Абы на кукан посадить, потом не сорвешься. Скажут, ездил, прокатал, плати...

— И возьмут, — подтвердила теща. — Вычтут, и не отопрешься. На что жить будем?

— Чего ему... Его на побег потянуло. Об семье голова не болит. Абы увеяться. А здеся такие дела заходят... С одним сеном... — поднялась Лёнка.

— Чего тебе сено? В копнах, говори — в руках. Долга его свезть?

— А дрова? Ты об дровах подумал? А уголь... Кизяками сбираешься топить? А базы стоят разоренные, назьмом заросли. Погреб нечищеный. Картошку ты думаешь подбивать?

Лёнка пошла и пошла читать, а теща ей помогала. Тут вбежали на баз младшенькие двойнята Ваняшка и Маняшка и стали отца теребить:

— Папка, а папк... Тебя паровоз задавит, да? Пьянова?

Николай осуждающе головой покачал, сказал тихо:

— Чего же вы делаете? Детей-то зачем научаете?

— Нехай!.. Нехай правду знают! — входила в раж Лёнка, наливаясь свекольной кровью. — Нехай знают, как отец их кидает, гулюшкой на гульбу летит, об них не думает.

Переспорить, а тем более перекричать и даже переслушать баб было невозможно. И Николай ушел в летнюю кухню и заперся в ней. Эта кухонька была для него доброй крепостью.

Лёнка с матерью были скоры на расправу. В прежние времена, теперь уже давние, когда жили они в своей мазанке, бабе Феше да Шуре не раз приходилось угла искать. Потом пришел в семью Николай.

Из двух вод, что текли в Лёнкиной семье, Николай посередке был. Он полюбил гульбу, но скуридинская добрая кровь не позволяла ему забывать о работе. Правда, в вольной упряжи зоотехника он недолго потянул, выгнали. Но в скотниках работал и работал. Работал, и поставили новый дом. Купили его в колхозе, в рассрочку. Хороший дом поставили, просторный. А во дворе, из всяких остатков, слепили летнюю стряпку. В этой кухоньке и спасался Николай.

Бабы лишь первое время Николая не трогали. Потом обгалтались друг возле друга, пообвыклись, дошел и его черед. Спасибо кухоньке, ее добрым стенам, которые берегли хозяина зимой и летом. Тут и хлебец у него сохранялся, сухарики на всякий случай, соличка да шмат сала.

Баба Феша живая была, она Николая любила. Она всегда ему, потаись, щей приносила и картошки, когда его выгоняли. Но теперь баба Феша умерла.

Николай и нынче от бабьей ругани в кухне заперся, хлеба пожевал, попил воды и прилег отдохнуть. За стеной, на базу, всё шумели бабы. А у него болел нынче с утра желудок, тягуче болел, не переставая. Николай на койке прилег, распрямился и только было задремал, как застучали в окно. Он не отозвался на стук, думая, что это бабам неймется. Но то были не жена с тещей, а Петро, напарник, с которым они скотину стерегли.

Николай вышел во двор.

— Ты не попасешься с обеда один? — попросил Петро. — Кум с кумой приехали, от Василия возвертаются. Надо ж посидеть...

— Погоню, — сразу же согласился Николай. — Ты на Ваське прибег? Ну, оставляй его. Как скотина? Не бзыкалась? Хуторские вон не углядели...

Они недолго поговорили, и Петро ушел. Николай вернулся в кухню и начал собираться.

День стоял хоть и жаркий, но белые облака лениво шли по небу, раз за разом заслоняя солнце. И малый ветерок тянул. И хоть по нынешнему июньскому дню бзыкала скотина, овод ее донимал, хуторское стадо уже к одиннадцати пригнали, удержать не могли, но то пастухи были виноваты. А Николай знал, что скотина будет пастись, только нужно не в низине ее держать, не в лугах, а гнать против ветра, по-над Ворчункой, краем Батякина кургана и туда, дальше и дальше, к Дуванной балке, к Россоши.

Перед уходом не грех было и горячего похлебать, да после всей этой ругани не хотелось идти в дом и просить еды. Да могли и не дать — вернее всего, а послать подальше. И Николай отрезал черствого хлеба да сала, в бутылку воды нацедил и пошел.

Болезненно худой, он сутуло горбился, по земле ходил, приволакивая тяжелые рыжие сапоги; старый пиджак висел на нем просторно. Но на коня Николай взлетал легко и сидел в седле ловко. И в рыси ли, в галопе, шаге горбатое сухое тело его роднилось с конем. «Доброго казака и под дерюжкой видать», — говаривали старые люди, глядя на Николая.

От базов к плотине Николай гнал скотину почти наметом.

— Геть, геть! — покрикивал он. — Геть, геть!

И две доярки, Клавдия да Настюха Чепурины, попавшие в гурт, принялись ругать его:

— Чертяка ошеломленный!

— Добрые люди полуднуют, а ему бзык напал...

Иные добрые люди и вправду любили пополудновать. Уж бывало солнце к вечеру, а колхозная скотина на стойле дурняком орет. Пасли и так. Но Николай скотину жалел и зимой ли, летом ходил за нею по-доброму.

Теперь стояло лето, июнь. За речкой Ворчункой, в ее займище, лежали выпасы. Когда-то, в давние теперь времена, весь этот луг по весне заливался, и вода слитком стояла до самой Ярыженской горы. И трава здесь была богатая. В такую вот пору не земля лежала, а высокая цветистая зыбь. Теперь былое ушло. Большая часть луга ходила в запашке. А на оставшемся куске теснились четыре шайки колхозного скота, стадо хозяйских коров, да отдельно телята, да козья орда. И еще соседнего Ярыженского хутора скотина кормилась. Не попас получался, а чистая ярмарка.

Сейчас луговина была свободна, но Николай не стал на нее заворачивать. Там, в низине, в парном июньском затишке, звенели желтокрылые оводы. И, чуя их, скотина задирала хвосты, тревожно помыкивала, готовясь к безудержному побегу. Николай свернул влево, к Батякину кургану, и повел бычков против слабого, но ветерка.

Скотина успокаивалась, начинала пастись. Николай распустил поводья и закурил, расслабляясь в седле. Гурт понемногу растягивался пестрой лентой по склону кургана. Два красных бычка, отбившись в сторону, лезли вверх и вверх. Бычки поднимались вверх, на пастуха покашиваясь. Они были мудрые и знали, что за Батякиным курганом уже наливается сладким молоком молодой ячмень. Они были мудрые, да не очень, потому что ячмень рос с сурепкой, от которой губилась скотина.

Бычки упрямо тянули в сторону и вверх, а за ними другие пошли. Николай поскакал заворачивать.

— Геть! Геть! Петро с Митром! — зашумел он. — Счас на мясо сдам!

И, заслышав эту самую страшную для себя угрозу, бычки повернули, даже трусцой поддали, смешно закидывая в сторону задние ноги.

Снова ровно пошел гурт, вполкургана, против ветра; ровно пошел, но нужно было глядеть да глядеть. Справа за музгой заманчиво зеленела люцерна. А в самой музге куриная слепота желтела. Молодняк был дурной, жрал что ни попадя. И каждый год, особенно в эту пору, губилась молодая животина.

Черная туча скворцов шумно пронеслась, сделав круг, и опустилась среди стада. Скворцы прилетели на легкий корм: из-под ног скотины взлетали кузнечики и прочая шимара, и птицы не зевали.

Правда, времена сейчас пошли не больно укормистые. Июньская степь лежала обморочно-тихой. Лишь потревоженный лунь кружил над пересохшей музгой да жаворонок звенел — и все. А когда-то, в далеком детстве, в дневную ли, в ночную пору неумолчно стрекотала степь звонкоголосым оркестром малых своих жильцов: кузнечиков, сверчков, кобылок. И от людских шагов яркая радуга вспыхивала над травой — радуга разноцветных крыл. А сколько птиц было... Ребятишками скобчиков из гнезда вынимали и выкармливали. Кузнечиками, потом ящерками. Сколько ящерок было... Грелись они на солнышке, прикрыв пленкою глаза. Теперь нет совсем. Ни ящерок, ни кузнечиков, ни птиц.

И глухо, пусто в полуденной степи. А в детстве...

Почему так сладко поминать о детстве? О всяком, даже голодном и босом, с заплатами на штанах. Ну что, что было в нем? И хлеба не вволю, а ложка черного паточного меда — какая сладость! Пастушество с малых лет, огромный огород и картошка, и колхозная работа смальства, и пот, и желудко́вые лепешки, и недетская усталость.

Но как сладко поминать дым костра, теплый бархат дорожной пыли, светлые воды Ворчунки. И вечерний сон, в который падаешь, словно в омут, и летишь, летишь... Светлый омут мальчишеских лет, как сладко поминать тебя!

Николай всегда с какой-то затаенной болью, но, радуясь, думал о детстве. Может быть, потому, что жизнь его шла не очень-то ладно: забурунная семья, потом болезнь, выпивки — все не очень по-доброму. И потому детство виделось таким вот белым облачком, что висело сейчас в синеве над Батякиным курганом.

Нынче думалось об ином. На легкое облачко глядя, на его белизну среди летней сини, Николай думал об утреннем, о путевке на юг. Он думал о курорте с усмешкой, не веря в него. Да и как всерьез поверить, если за долгую жизнь он и в отпуске раза два побывал, давным-давно. А потом все работал. Брал осенью, на Октябрьские праздники неделю,

чтобы погулять вволю, не оглядываясь. А отгуляв, снова выходил на работу. Семью нужно было кормить.

А теперь вот курорт. Он думал о нем с усмешкой, как о баловстве, думал и представлял ту картину, что рисовал управ: белый дворец с колоннами, зелень и синее море. Сказочным веяло от таких мыслей, неправдашним, но думать хотелось. И к тому же, путевка лежала в кармане. Николай не вынимал ее, но легко трогал через ткань пиджака и слышал, как нежно хрустит лощеная бумага. И тотчас в мыслях еще ясней виделся белый дворец и почему-то веранда с плетеными креслами-качалками. Непонятно почему, но Николай ясно увидел эти белые, легкие, плетеные креслица. И в одном из них развалясь сидел он, Николай Скуридин, собственной персоной. Сытенький, белокожий и при соломенной шляпе. Он был не похож на себя всегдашнего, но это был он.

Целый месяц ничего не делать, даже по домашности. Ешь да спи. Тут и без лечения поправишься. А еще доктора, лекарства. И Николай здоровым на хутор вернется. А тогда...

А уж тогда вся жизнь потечет по-иному. Он бросит пьянствовать. Зачем это? Для чего? Пьянка ведь губит людей. Ведь он, Николай, когда-то зоотехником работал. Правда, давно это было, но было же. А водочка, она губит... Вот Петро Солоничев, молодой парень, институт кончил, главным механиком колхоза был. А теперь... Лешка Растокин тоже техникум кончал. Михаил Инякин. Теперь все в скотниках.

А тот человек, который виделся Николаю на просторной курортной веранде, он, конечно, не будет и не может пьянствовать. Он поведет добрую жизнь. И тогда можно вынуть из сундука диплом и снова пойти зоотехником или фермой заведовать. На своем хуторе или в Большую Головку перейти. Там комплекс куриный строят, на три тысячи голов, и специалисты там нужны будут. Наверно, лучше туда перейти, на новое место. Здесь все друзья, вместе жили и пили — как с них спросить? А там — новые люди. И квартиру в Головке дадут, колхозный дом. Этот можно Нюське оставить с зятем, а в Головку переехать. Так будет лучше.

Шайка бычков, отбившись в сторону, вдруг резко свернула вниз. Николай наперехват им коня направил, а бычки,

то ли играя, а может, бзыкая, задрав хвосты, кинулись вскачь. Они неслись к зеленой, чаканом поросшей мочажине, топкому месту, и нужно было их перехватить. Николай понаддал коня, а бычки, словно одумавшись, к хутору повернули.

— Геть! Геть! — закричал Николай и засвистел, заворачивая скотину, и кнутом ожег коня.

Бычков он достал почти под хутором, а пока гнал их назад, остальная скотина, перейдя теклину, залезла в люцерну. Хорошо хоть ненадолго. И начальство за потраву не хвалит, и тяжела люцерна, скотина ею быстро объедается. Бывает и гибнет, особенно молодняк.

Выправив гурт, Николай наконец закурил. Тяжело было одному пасти, особенно теперь, в начале лета. Конь Васька тоже взмок.

Июньский полудень, всклень налитый солнечным жаром, томил духотой. Над краем земли величавыми соборами поднимались светлые облака. А над хутором Ветютнев и окрест чистое небо лежало.

Николай сидел на лошади, как всегда, в рубахе и пиджаке. Сухое тело его солнца не боялось. Лишь пересыхали губы. Но воды он не пил, знал, что без толку. Когда жива была баба Феша, она Николаю взвар варила из терна и кислиц. Такое питье помогало. И для желудка легче. А умерла баба Феша, и некому взвару налить да положить в сумку пирожков. А пирожки, они...

Николай пожевал хлебца и тронул коня. Пора было подворачивать скотину к Дуванной балке. Там, на выходе ее, под деревьями, но на ветерке бычки полежат, и попоить их там можно. И тогда уже гнать их ериком и пасти до ночи.

Пить особо не хотелось, но сохла глотка, и Николай наметом спустился в низину, поискал там и нашел кислицу, несколько листиков сорвал и начал жевать. Скулы свело, но стало легче. Пить не очень хотелось, но голова начинала гудеть от полуденного жара. И резало глаза, особенно если далеко глядеть.

А там, вдали, над молодым хлебным полем, зыбилось и трепетало марево; и желтоватая плоть его обманно казала глазу какие-то сказочные дворцы. Хотелось глядеть на

них и глядеть. Глядеть и думать о санатории, о лечении, о будущей доброй жизни.

2

Жена управляющего Лелька, невидная, худенькая, с легкой рябиной на лице, в делах житейских управляла мудрее мужа. Арсентьич пришел в зятья из Дурновки, а Лелька была коренная ветютневская из Калимановых, чью фамилию половина хутора носила. Старший брат Калимановых, Василий, работал в колхозе главбухом — тоже дело не последнее. И Лельку на хуторе уважали, даже побаивались. Лисий ум был у бабы.

И потому к Николаевым жене да теще, которые уперлись и никак не хотели мужика на курорт отпускать, отправилась Лелька. Она любила такие походы, с дипломатией.

Подворье Николая Скуридина лежало на краю хутора, у дороги, против кладбища. И Лелька все сделала по-умному: черным тюлевым платком голову покрыла, недорогих конфет да пряников в узелок завернула и пошла.

На кладбище она пробыла недолго, лишь для прилику, и прямым ходом направилась к Скуридиным. Скуридинские бабы, как всегда, дома находились. Лёнка платок вязала в тени возле хаты; мать стирала.

— Здорово живете... Можно к вам зайтить? — от калитки задишканила Лелька.

И в тон ей, но нутряным трубным басом Лёнка, поднимаясь навстречу, завела:

— Да дорогой у нас гостечек в кои веки... кума Елена Матвеевна... Мама, поглянь, кто пришел! Кого привел Господь...

Они расцеловались посреди двора, припевая и любуясь друг другом, словно век не виделись и сильно наскучали.

— К папе на могилку ходила, — скорбно поджимая губы, рассказывала Лелька. — Нынечка уж семь лет, а вроде вчера...

— Не видя, не видя жизнь летит... — вторила Лёнка со слезой, — Да как скоро, да как быстро — не углядишь.

А мать ее в ту пору, оставив корыто, суетилась — и скоро чай был готов.

— Сами тут помянете. И ребятишки... конфеты тут, пряники... Нехай помянут папу, — развязывая узелок, говорила Лелька.

Из дома вышла старшая дочь, Нюська, с малым дитем. Вышла, поздоровалась и ушла, потому что ребенок кричал беспрерывно.

— Некудовое дите, — пожаловалась Лёнка. — Ревет и ревет. Може, у него криксы? Чуриху либо позвать?

Поговорили о старшем хозяйском сыне, который в армии служил. Вот тут-то Лелька свое не упустила.

— И замстило мне, кума, — завела она. — Не спрошу, когда ваш Николай-то едет. Вишь, какое вам уважение, на курорты, да бесплатно. Мой Арсентьич какой год подает заявление, край надо ехать, радикулит замучил, а не дают. На тот день Василий наш надъезжал и опять, говорит, ничего не будет. В первую очередь решили многодетные семьи поддерживать. В первую очередь им путевки. Многодетным семьям, какие здоровье себе с детьми подорвали...

Лёнка с матерью сидели рядом на одной лавке; и при этих словах они обе замерли, как по команде, потом, тоже разом, переглянулись и снова застыли, не сводя с гостьи глаз.

— А люди-то, люди... Глякося до чего обесстыдились! — и, как всегда это у женщин бывает в особо доверительных беседах, Лелька нагнулась к столу и заговорила свистящим шепотом: — Раиса-то Тарасова давеча прибегла в контору, к моему... и присучилась, и присучилась, прям на приступ идет... Почему Скуридину Николаю курорты дали, а моему нет. Сулится жалобу подать, почему обошли. Гаврила — механизатор, мол, заслуженный, ударник, а Скуридин, говорит, выпивает. Прям на ломок идет, отдайте курорты моему Гавриле... Он здоровье на технике потерял.

Лёнка не выдержала, всплеснула руками и, еще слушая Лельку, принялась подпевать ей вначале негромко и тоненько:

— А-а-а... Вскопошилися... Мимо ручеек протек, не на тарасовский баз. А кум бы ее по глазам стебанул! — набирала Лёнка голос, заглушая гостью. — Стебанул бы ее по глазам: живете, мол, как у царя за дверями, да еще на чужом

добре расцвесть хотите. У вас сундуки коленом набитые, а у Скуридиных одна детва. Да и самого Николая, его в дураки не поставишь. Може, он и погрешимый — и кто, кума, без греха? — но Гавриле не уступит. У него всегда привесы наибольшие, тоже ударник. Сколь раз ему благодарности выносили.

— Тарасовы, они ащаульные, — поддержала Лёнку мать, — любят нахалтай проехаться. И бабка Мотька такая была, и Никанор. У них весь природ такой.

— А мой-то, мой... — с трудом влезла в разговор Лелька. — Мой-то Арсентьич, он ей напрямки выложил, говорит, правление Николая уважило в первую очередь, как больного... И многодетную семью поддержать в первую очередь. Они сколь детей подняли, а вы — одну...

— Одну-разъединую! — радостно воскликнула Лёнка. — Да и ту худую худорбу, чапуру длинногачую, будылистую... станишный журавец, прости Господи. А круги нас — шестеро. Внучарка — седьмой. И за всеми догляд. Вчерася Ваняшка вдарился с разбежка, чудок не окалечился — и цельный день возле него. Все дела прочь. А Витька вон на пруду. А тама такой глыб. Сидишь вяжешь, а сердце кровит. Амором летишь доглядать. То мама, то я. Мыслимое дело, шестерых родить да выкормить. Платьенки да рубашки гормя горят. Мама ныне стирать начала, хотела чудок...

— Наше корыто завсегда счастливое, — подтвердила мать. — Возьмешь одну тряпку, а за ней другая ползет. Глядишь — и гора.

— А у них на наше горевское житье слюнки текут... Бессовестные... — все более распалялась Лёнка, забыв, что и вчера, и сегодня она и слышать не хотела ни о каких курортах. Но теперь, когда пытались ей перейти дорожку хуторские богатеи Тарасовы, Лёнка поднялась на дыбы. — Я их за чичер возьму! Все ихние слова потопчу ногами. Моему, моему мужику курорты определили! А не этому черту ожерелистому. Я в своих правах. Я Теряшковой могу отписать!

Лелька поняла, что теперь дело пойдет на лад. Но золотому правилу следуя: каши маслом не испортишь, она еще добавила:

— Василий наш надъезжал, говорит, в первую очередь многодетные семьи. Какие здоровье с детями подорвали. Отцов, говорит, а также матерей, по возможности. Ныне вот путевка желудочная — для Николая! А как по женскому делу придет, по внутренним болезням, сразу, говорит, жену его отправим на юг, в лучший курорт, нехай отдыхает, заслужила.

Лёнка с матерью разом дернулись. А пока они в память входили, Лелька тачала свое:

— А там, кума, на курортах, магазинов страсть какая-то. Прям один возле одного наставлены. И полны магазины всего. Люди привозят и скатертя, и накидки бархатные с кистями, тюль, матерьялы какие расхорошие. Мужикам ничего не нужно у них волочай в голове. А ты, кума, поедешь, по-хозяйски всего наберешь и подлечишься. Здоровье ведь некудовое, как и у меня...

— И не говори, кума, — радостно подтвердила Лёнка. И пошли тут разговоры, вовсе для сердца медовые.

А воротясь во двор, Лёнка с матерью еще раз все обсудили. И решили накрепко: Тарасовым не уступать. И когда Николай вечером воротился, встретили его чуть не с песнями. Встретили, накормили, стакашек поднесли и за компанию сами выпили, и тогда уж все вместе песню заиграли, заветную.

Коля, Коля, Николаша,
Как мы встретились с тобой!

И все кончилось миром. Ночевал Николай в доме, с Лёнкой, на мягкой перине. Переночевал и начал готовиться к отъезду.

3

С последним возом Николай возвращался к вечеру. За клубом, на выгоне, топотили и блеяли козы, и багровые клубы пыли вздымались над хутором.

Воз был остатний, маленький, в две копны. Управились с ним быстро. Николай, отогнав лошадей, домой не пошел,

а к магазину направился. Но не выпивка ему требовалась, а иное. Дело в том, что жена и теща денег выделили в обрез. Заказали на станции билет, столько же на обратную дорогу дали. Десятку накинули на курево и остальные расходы. Спорить было опасно. И Николай промолчал. Денег он решил подзанять.

И после того как распряг лошадей и прогнал их на попас, идти-то нужно было не в магазин, а в иное место. Но он в магазин пошел, с пустой, но такой понятной всякому человеку надеждой на счастливый случай. Может, что-нибудь подвернется, и тогда не нужно будет идти и просить.

У магазина сидел Алешка, конечно, выпивши. Денег у него не было да и не могло быть, но Николай все равно спросил:

— У тебя денег нет? Четвертную, а? Мне на курорт ехать, а мои... — он подробно объяснил положение.

Алешка выслушал и с пьяной флегматичностью сказал:

— Дурак... Какие деньги... А были б — не дал. Лучше пропить. — И вдруг в его голове проснулась мысль. — Ты скоро едешь? — спросил он.

— На той неделе.

— Давай сделаем так: поедем на станцию и загоним твою путевку. Ныне дураков много развелось, какие по курортам любят шалаться. Денежки возьмем и гульнем. У меня кореш есть, на станции, возле базара живет. А там в семь утра бендежка открывается.

Николай не перебивал его, а потом сказал:

— Иди ты... Мне лечиться надо.

И пошел от магазина. Он вдруг единым разом понял, что никто ему денег не даст. А идти надо, куда он сразу думал, — к матери. Пойти и попросить.

— Николай! — крикнул ему сзади Алешка. — Николай! — Ну чего тебе?

— Иди... Иди сюда, говорю.

Николай вернулся нехотя.

— Чего?

— Ты трезвый, что ль?

— А то какой...

— Ну и дурак. Кто ж тебе трезвому денег-то даст? Давай выпьем.

У Алешки «огнетушитель» был, выпили его. И Алешка приказал Николаю:

— Теперь иди.

И Николай пошел. Путь его был недалек. От магазина и клуба виден был огромный тополь старой скуридинской усадьбы. Этот тополь стоял всегда, возвышаясь главою сначала над куренем деда Петра, потом над новым домом, который ставили Скуридины, отец и старший брат Михаил, и он, Николай, им помогал. Нижние ветви тополя отжили свое, и кудлатой главой тополь шумел в вышине. Даже в безветрие слышался сверху его легкий ропот.

Сейчас в просторном доме под тополем жили бабы: Николаева мать-старуха да старшая сноха ее — Шурка. Дом построили с размахом, на два входа, хотели большой семьей в нем жить. Да не вышло. Друг за другом ушли на уютное Ветютневское кладбище отец и Михаил. Дети старшего брата по сторонам разлетелись. И теперь аукались в просторном доме две женщины: бабке Нюське давно перевалило за восемьдесят, и она теперь путала свои годы, то убавляя, то набавляя их; Шурка же свои помнила твердо: через год она на пенсию уходила.

Тополь за скуридинским домом заметен был издали. В погожем вечернем сумраке он долго светил над хутором закатным багрянцем. Когда ко двору подходил Николай, тополь уже притухал. А на базу было темно, но еще не спали, разговаривали.

— Здорово дневали! — с наигранной легкостью приветствовал родню Николай. — Живые еще?

— Здорово, полуношный гостечек, — ответила невестка.

— О-о, ты вечно недовольная, — уселся на скамью Николай и полез за куревом. — Здорово, мать, не болеешь?

Мать сидела на той же скамье, сухонькая, согбенная. Платок ее белел в вечерней мгле, а черное лицо скрадывала тьма.

— Да чего... Годы выжила. То там засвербить, то тута. Ныне вот в руку вступило, нудит, спасу нет. Да жаром всю осыпает.

— Чего ей... — поддержала сноха. — Ее годы... Лежи да полеживай. Сынок вот проведывает, — усмехнулась она, — в том месяцу был, ноне опять пришел.

— Ну, зачала...

— А либо брешу? Косились, ты чего не зашел? Косы отбить некому. Спасибо Зырянин, а то хоть реви.

— Чего ж не переказала?

— А то ты не знаешь, что косить. Ладно, — вздохнула она, — без тебя обошлись. Скосила и свезла. А ты выпить зашел, добавить?

— Ты прям аред какой-то, — подосадовал Николай. — Точишь да точишь. Другой раз и зашел бы, не захочешь слухать тебя.

— Ты заходи, — спокойно ответила невестка. — Заходи, да по-доброму. А как энтот раз вы с Алешкой... тот черт зевлоротый, и ты не лучше. Пришли. Дай да дай. Я ж вам влила, по-людски, по два стаканика. Так вам цебарку надо. А твои потом на меня плетут-плетут, не знают, чего и навешать.

— Ну ладно, ладно, — вспомнил о цели своего прихода Николай, — что было, то утекло. Сейчас-то, гляди, тверезый.

— Тверезый ты не придешь, — по-доброму засмеялась невестка. — Ты и ноне хоть чуток, но выпитый. Но это ничего, такой-то бы всегда.

— Раздиктовала, — усмехнулся Николай.

Шурка отцедила молоко и спросила:

— Мама, може, выпьешь молочка, тепленького?

— Не хочу.

— А ты, кум? Влить тебе? Оно же пользительное тебе, для твоей болезни. Мои вон приезжают, они завсегда: мама, мама, парного. Оно, говорят, очень пользительное. И снохи пьют, прям из-под коровы, не гребают.

— Ну, влей...

Николай выпил кружку парного. Давно он не пробовал парного молочка.

— Как там твои? — негромко спросила мать. — Никто не болеет?

— Чего с ними сделается! Дите у Нюськи кричит. Бабка Чуриха приходила. А он кричит и кричит.

— Ты, може, Николай, поешь? — спросила Шурка. — Щи я ныне варила, еще теплые.

Николай вспомнил, что не ужинал, и не отказался. Миску щей смолотил и полбуханки хлеба.

— Може, картошку будешь?

— Не, — отказался Николай. — Налупился, хвост не прижму.

Шурка понесла молоко в сарай. А мать спросила:

— Люди говорят, куда-то посылают тебя, в какую-то лечбу? Взаправди?

— Да, мать, еду подлечиться. Решил подправить здоровье. А то кабы... — Он подробно рассказал о своей путевке, о том, как узнал о ней, как не верил и какие надежды теперь с нею связывал. Он рассказывал долго — кума подошла и слушала, — а он говорил, говорил, потому что много думал в последние дни о болезни своей, о лечении, о жизни, а рассказать было некому. А этот дом и эти люди...

Дом матери и кумы-невестки был для Николая на хуторе единственным теплым углом, куда он мог прийти, и поесть, и выпить да еще покуражиться, коли дурь в голову войдет. Но он ходил сюда редко, лишь когда уж очень подпирало; похмелиться или выпить недопитое. Ходил редко, потому что слишком много того, чего не хотел бы он слышать, слышал он здесь. Все горькие слова матери и кумы были правдой. Но правду он знал и без них и лишний раз не хотел ее слышать. И как в давние времена ушел он с этого подворья, от отцовских укоров, так и не возвращался. Его тут жалели всегда, над горькой жизнью его здесь плакали. Николай же хотел иного.

Душе его, уязвленной много лет назад, хотелось отрады. Хотелось прийти в отцовский дом счастливым. Да все не получалось. И теперь уж не получится, верно. И горько было лишний раз слышать материнские вздохи.

Да что мать... Эта горбатая старуха с черными зубами уже давно отмерла, отлепилась от сердца. Слишком долго они жили порознь. И в собственной Николаевой судьбе столько горечи было и забот, что для матери там места не оставалось. Где-то далеко, в светлой памяти детства, иная

мама виделась. Но не эта... А уж кума Шурка и подавно. Разным они жили, о разном думали.

Особенно остро понял это Николай прошлой зимой. Он тогда выпил день и другой, поругался со своими и жил бобылем в кухне. Вернее, лишь ночевал, потому что с темна до темна находился у скотины. Разом двести голов он кормил, один, без напарника. Петро болел, а подмены не находилось. А зимняя работа, она нелегкая. Еще темно, еще добрые люди зорюют, а уж за силосом ехать, кормить скотину, а потом песня на весь день пойдет: дробленка, солома, и снова силос, и опять дробленка. И почистить у быков — тоже дело нелегкое. Тем более что работал Николай в старом коровнике, навоз в вагонетках возил. В новом, конечно, полегче, но туда всем хотелось. А глотку драть Николай не умел. К тому же старый коровник был привычнее, вроде родного дома, где каждый сучок и трещина в половице памятны. Много скотины здесь побывало. Иные имена остались, написанные и не стертые на старых станках. Лимонка, Буря, Ерка, Синичка, Дворянка... И многих Николай помнил. Забудешь ли Ерку? Давно уж ее перевели. Но какого лиха с ней принял. В первотел Ерка отелилась внезапно. Пас Николай скотину, а Ерка вдруг пропала. Была, была, а вечером ее не оказалось. Поехали искать. И места, где он пас, Первые да Вторые Городбища, не больно укромные: несколько березовых с осиной колков.

Николай с напарником искали Ерку неделю. Всю округу обшарили, голосов лишились. А преподобная Ерка отелилась под носом и хоронилась с теленком в займищных вербах. Случайно ее увидел, как прячется она за куст, услышав зов: «Ерка, Ерка!»

Да одна ли она такая была... Сколь их прошло через Николаевы руки. Кто сочтет...

Та зима, прошлогодняя, выдалась нелегкой. Силос был никудышный, кислый, и рано его скосили, без початков. И хоть старался Николай, перебивая силос соломой, но скотина ела плохо. И оттого настроение было поганое.

Стоял студеный январь, такой студеный, что лошадиные катяхи на дороге оглушительно лопались, пугая людей. А Николай целый день был у скотины; работал, понемногу

выпивал, то для сугрева, то с расстройства. Выпивал вроде понемногу, но к вечеру оказывался пьян. Пьяным он шел домой, в свою кухню, и валился спать.

Ночью Николай просыпался от холода, приходилось подниматься и бежать за дровами. В ночном небе мохнатые индевелые звезды дрожали. В доме было темно и тихо — все спали. Николай набирал дров и топил, накаляя чугунную плиту до алости, и сидел возле нее, отогреваясь. А отогревшись, снова шел за дровами, но теперь уже не торопясь. Теперь он долго стоял во дворе, курил, надсадно кашлял. Он кашлял громче, чем надо бы, в надежде, что жена или теща, выйдя в холодный чулан по нужде, услышат и позовут его в дом.

Но никто не выходил, никто не звал Николая. Он стоял и курил, раздумывая о какой-то странной своей жизни, в которой вроде все есть: семья, жена, дети и мать рядом. Но и никого нет. И даже закричи он сейчас — не отзовутся.

Жива была баба Феша, она Николая жалела. В такие вот ночи она словно чуяла и отпирала ему дверь и потихоньку впускала в дом, на печи прятала. Но баба Феша умерла и теперь тоже зябла в зачугунелой кладбищенской земле, а без нее нечего было ждать. И Николай снова уходил к себе, в кухню. Топил и смолил махорку. И думал о жизни своей. Она была длинная, в целых сорок лет. Была молодость. Он уезжал в техникум пацаном, а вернулся женихом в клешах, вельветовой «бобочке», с пышной копною чуба. Потом Лёнка...

Николай ни о чем не жалел. Что проку в пустых слезах о прожитом?.. Тем более, даже теперь, вспоминал Николай свою жену в девках — и сразу его кидало в жар. Все хорошо... Можно было жить. Но вот где-то и что-то сломалось в жизни. Может, Лёнка и мать ее становились злее с годами и ничего не прощали. А ведь сам Николай им отпускал многое. Болел душою, но прощал Лёнке ее немалые грехи. Прощал не потому, что был слаб, а потому, что любил всю свою домашность: детей, хату, подворье, скотину и Лёнку любил; он гордился ее красотой, бабьей статью и никому не позволял хулить жену. Лёнка смладу и до теперешних дней на колхозную работу не ходила, а Николай ее не ругал. Он

даже гордился, что работает в семье один и всех кормит. Дружок его, Алешка, давно плюнул на все и пьянствовал, работая от случая к случаю, и даже из дому тащил на пропой. Да и один ли Алешка? Николай помнил, что, кроме него, в семье нет работников. Он и от скотины не уходил, несмотря на болезнь, потому что кормить нужно было семью.

Вот уже внучата пошли, и болезнь одолевала, дело катилось к старости. И довести жизнь хотелось по-хорошему, да вот не получалось.

В печке догорало, Николай снова за дровами пошел. Хутор Ветютнев спал в глухой полуночи, словно в глубоком колодце. И майским цветущим лугом светило над ним праздничное небо. Алые клевера там цвели, желтые купавки и лютики, зорник голубел; и серебряные пчелы летели от цветка к цветку. А Млечный Путь, словно залитая ромашками полевая дорога, уводил к далеким небесным хуторам.

Тихо было, в доме спали. И Николаю вдруг захо́телось избяного тепла, солодкого от ребячьего и бабьего дыхания. Щей захотелось, горячих щей. Который уж день не ел горяченького. И сразу засосало внутри, затомилось, голова пошла кругом. И уже не только желудок, но душа просила горячих щей.

Забыв о дровах, Николай шагнул было к дому, но вдруг передумал. В дом его могут не пустить. Заорут, взбулгачат детей, напугают. Лучше сейчас пойти к матери и куме Шурке. Те поймут и накормят его, и ночевать он попросится, хоть никогда и не ночевал по людям. Он переночует там, а утром побреется. От брата должна где-то остаться бритва. Николай утром побреется и пойдет на работу и выпивать не будет. А вечером помирится с Лёнкой. Придет домой трезвым, побритым и помирится. Хватит в этой кухне бирючить.

Николай разом все сообразил и чуть не бегом кинулся со двора. Путь его был недалеким, особенно напрямик, через бугор. Да и время не такое уж позднее. Телевизор, бывает, поздней глядят.

Николай быстро дошел. Кума с матерью уже спали: темно было за окнами. Глухо стукнули промерзшие воротца. В окошко с белеющей изнутри занавеской Николай

постучал осторожно. У окошка кума спала, а мать — через две комнаты, в боковухе. Надо было куму разбудить, а мать не тревожить.

Он постучал в окошко и к дверям пошел, к крыльцу. Кума Шурка, конечно, проснулась. Она вышла в коридор, зажгла свет и спросила.

— Кто это? Федор? Олянька? Таиса? — перебирала она детей своих.

— Это я, кума, открой.

— Кто такой? — не узнала со сна Шурка.

— Да Николай, открой.

— Чего тебе серед ночи?

— Открой.

— Какого черта тебе? Недопил, что ли? Серед ночи булгачишь, поблуда. Либо дома у тебя нет? Иди с богом.

В чулане хлопнула дверь, а Николай не поверил и вновь застучал, заколотился.

— Открой, кума. Впусти...

Кума Шурка снова вышла, теперь уже, видно, одетая, и голосом спокойным сказала:

— Уходи, Николай. Ночь на дворе. Дай спокою. Мать спит, не тревожь.

— Кума, кума... — просил Николай и, боясь, что уйдет она сейчас, сразу все выкладывал: — Пусти, кума. Щей хочу горячих. Какой уж день горяченького не ел, залубенело нутро. Пусти меня, кума, я у порога, на половичке пересплю. До утра. Щей хочу, кума, пусти... У порога пересплю...

Шурка в молящем голосе Николая почуяла неладное, но стала еще тверже.

— Уходи, кум, — сказала она. — Какие серед ночи щи? Ступай домой. Там тебя накормят.

— Не пустят они...

— А здеся я не пущу, — отрезала Шурка. — Меня поедом съедят, натолочут всякого. Ступай, кум, с богом.

И снова хлопнула дверь, теперь уже насовсем. Николай понял это умом, но душа не хотела верить. И он еще говорил, говорил:

— Щей хочу, кума... Залубенело нутро... На половичке пересплю. Пусти меня, кума, Христа ради... Пусти...

Дом молчал.

Холодное сияющее небо стояло над головой и вокруг. Оно горело живым огнем и манило к себе. И горько было жить, и хотелось умереть среди этой праздничной ледяной пустыни, сияющей и безлюдной.

Николай обессилел и сел где-то у амбаров, в затишке, на дровах. В хуторе было по-прежнему тихо, собаки свое отбрехали. Безмолвный небесный луг так же цвел и сиял, играя серебряными росами, и, казалось, звал к себе Николая. Казалось, говорил, что земному пастуху нечего на земле жалеть и пора уже, пора уйти в небесные пастыри, в эти вечные поля, где покой и ничего не тревожит. И лишь сыплет и сыплет искристой белью медвяная роса или пыль небесных цветов, а может, льдистый иней.

Николая спасла дочка Маняшка. В последнем забытьи его она вдруг привиделась и закричала: «Папка! Я ногу убила до крови!» — кинулась к нему, светлоголовая, со слезами на глазах.

И Николай очнулся. Очнулся и пошел домой, в свою кухню.

Это было прошлой зимой. И теперь уже забывалось. Кума Шурка иногда рассказывала, смеясь:

— Серед ночи пришел. Щей захотел... Отвори, кума. У-у, ащаул...

Это помнилось. Вроде и забывалось, но не уходило вовсе. Словно льдистый осколок той крещенской ослепительной ночи лег на сердце. Лежал и не таял...

Николай докурил цигарку. Кума Шурка запирала скотину. Мать сидела рядом, вздыхая. Над Николаевой ли, а может, над своей долгой и тоже нелегкой жизнью.

— Мать, а мать, — осмелился наконец Николай, — ты мне не дашь взаймы четвертак? А то с десяткой, на цельный месяц... В попросях ходить...

— Какие у меня деньги, Николай! Пенсию я Шурке отдаю. Она меня кормит. А деньги откель? Либо ты не знаешь?

Николай, конечно, все это знал.

— Ладно, мать, — сказал он. — Где-нибудь подзайму. У Шурки не хочу просить.

— Погоди... — вскинулась мать. — Погоди, я погляжу.

Она поднялась и пошла в дом, не зажигая света, миновала кухню, горницу, а в своей боковушке открыла сундук, встала перед ним на колени и полезла к самому дну, отворачивая легкие пласты праздничной одежды, которую так и не сумела износить за долгую жизнь. Две кофты — тирас, одна батистовая, да две юбки, да ритонда еще мамина. А деньги лежали внизу, на твердом дне, в гаманке и платочке. Да и денег-то было: пятерка всего, трояк да два рубля. В редкие приезды дочери ей уделяли немного. Но все рубли уходили на гостинцы внукам и правнукам. Кабы раньше знать...

Старуха потеребила гаманок, словно надеясь найти что-то. Потеребила, вздохнула и тут же начала класть на место поднятые пласты нарядов. Поверх всего лежала самая нужная, смертная одежда и заветная полусотка на батюшку. Чтобы батюшку привезли из станицы, чтобы отпел по-хорошему. На свои деньги Щурка не привезет, пожалеет копеечку. А хотелось помереть по-хорошему. Ну, да Бог простит... Старуха взяла деньги и понесла сыну.

4

Перед обедом Арсентьич в контору забежал.

— Василий Федотич звонил, — сказала бухгалтерша Катя. — Вас искал.

Арсентьич номер набрал и, услышав голос Василия, спросил:

— Чего там случилось?

— Такое дело, — начал объяснять Василий, — надо путевку назад отдать. Понял?

— Какую путевку?

— Какую... желудочную, какую я тебе отдал, курортную. Звонил я Кузнецову, он говорит, ту отдай, тогда на сентябрь получишь, добрую какую-то обещал. Так что забери и пришли с кем-нибудь. Я отошлю.

— Да ты чего? — даже растерялся Арсентьич. — Как же я заберу? — он беспомощно огляделся, увидел внимательный взгляд бухгалтерши и махнул ей рукой: уйди! Катерина вышла за дверь, и тогда Арсентьич сердито сказал:

— Да ты чего, Василий? Мы же человеку ее отдали. Он собирался, всё. Ты соображаешь? Как я ее отниму?

— Фу-у, как... Да скажи — отменяется, вот и все. Курортники... тоже мне. Чего ж ты хочешь, чтобы я из-за него путевку терял, да? Я не виноват, что Кузнецов уперся. В общем, забери. Понятно?

— Ну как же я? Ведь человек...

— Иди ты, знаешь, куда... — холодно сказал Василий. — И не морочь голову. Говорю — значит, делай, — и положил трубку.

Арсентьич на стуле откинулся и выматерился, отводя душу.

— В бога мать... начальники.

Он сидел и чем более думал, тем менее представлял себе, как он сможет пойти и сказать Николаю Скуридину обо всем. А с другой стороны, нельзя было ссориться и со свояком. Родственник и к тому же начальство.

Арсентьич сидел и вполголоса матерился, да так и домой пошел, ничего не придумав.

Пришел домой взбешенный, дорога его не остудила. Уселся на порожках и снова начал курить.

— Я налила все, — выглянула из кухни жена. — Щи налила. А ты уселся, слышишь...

— Ну, налила... Теперь мне рысью, что ли, бечь... к твоим щам? — недобро процедил он.

Лелька очень удивилась.

— Чего ты? Либо дурнины наелся? Я ему по-хорошему.

— По-хорошему... — передразнил ее Арсентьич. — Все вы... порода... В папаню своего.

— Либо с Василием поругался? — вмиг поняла Лелька. — Чего вы с ним?

Арсентьич все жене выложил, сдабривая рассказ нелестными для ее братца присказками. Лелька эти присказки мимо ушей пропускала, схватывая главное. Главное она поняла и сказала твердо:

— Надо забрать. Чего ж будем с Василием ругаться? Сам знаешь, Василий, он об нас завсегда... Василий, он... — наставительно читала Лелька.

И Арсентьич ее не перебивал. Он знал, что и вправду судьба его во многом от Василия зависела. Сам Арсентьич

был пришлым. В зятья его взяли Калимановы. Взяли и помогли во всем: дом поставили, в техникум помогли поступить и выучиться, вывели в люди. И грех было это не помнить, да и грех наперед забывать, ведь жизнь еще не кончилась. Все это понимал Арсентьич. Но Николай, но Николай Скуридин стоял перед глазами.

А жена все убеждала и убеждала.

— Да будя тебе... — наконец оборвал он ее. — Либо я сам не знаю, а вот как? Как забрать-то? — с болью спросил он.

— Э-э-э, мужик, мужик... — покачала головой Лелька. — Управ еще называется. Ладно, не горься. Я все сделаю.

— Как это... Как ты сделаешь? — не поверил Арсентьич.

— Да вот так и сделаю, — усмехнулась Лелька. — По-своему, по-бабьи. Ступай, щи простынут, — подтолкнула она мужа и спросила, понимая его боль: — Тебе влить стакашек? Перед обедом?

— Влей, — с безнадежной обреченностью выдохнул Арсентьич.

Он сразу же поверил жене. Он знал ее.

На следующий день полхутора собиралось на гульбу. Виктор Калиманов из армии в отпуск пришел, и его встречали.

Скуридиным вроде и гулять было не с руки: Николай собирался в дорогу. Но Лёнка скорее бы померла, чем отказалась от приглашенья.

Любила грешная Лёнкина душа погулять. Выпить, и песняка поиграть, и сплясать в доброй компании. Да и как было не любить бедной Лёнке этот светлый час, когда забывалось все: детвора, и ледащий муж, и свое незавидное житье, и чужое счастливое — всё прочь! Как было не любить этот праздник?

И потому к гульбе готовились всерьез. Лёнка с матерью платья перебирали, прикидывая, мылись да чепурились. Старшая дочь Нюська им помогала да подсказывала, качая на руке ревущего сына. А шестиклассница Дуська, которая уже невестилась, под шумок духами надушилась, за что и получила трепку, и ходила теперь по дому надутая. А под

ногами толклись Ваняшка с Маняшкой, довольные колготой, шумом и криком, одеколонным пахучим духом.

Один Николай в этой суете не участвовал. Он на базу чистил. И лишь когда пришла пора, позвали его, он быстро умылся, чистую рубаху надел и костюм. Нейлоновых рубах гору племянник навозил, добрых, до смерти не износить. Костюм был тоже племянников, хороший. Лишь на коленке латка желтела, клееная. Но под столом латку не видать. А плясать Николай не плясал.

А нынче и вовсе ему подняться не давали. То один подходил, то другой, о курорте спрашивая. Продавец магазина Максимов, человек бывалый, рядом сидел, то ли шутейно, то ли всерьез наставлял:

— Ты приедешь, в столовую придешь, там меню...

— Чего?

— Меню. Бумажка такая, там все харчи записаны.

— А-а, — догадывался Николай. — Это как у нас на центральной и на станции.

— Ты слухай, не перебивай. Там все записано. Ты должен заказывать, по желанию.

— Не буду, — решительно отказался Николай. — Чего я буду перебирать. Скажут, приехал. Чего дадут, на том и спасибо. То и буду жрать.

— А раз отказываешься писать, ничего не получишь, — отрезал Максимов. — Другим принесут, а тебе вот, — показал он большой с желтым прокуренным пальцем шиш.

— Ну и хрен с вами, — обиделся Николай. — Не помру. Мне главное — лечение.

Максимов хохотал. Мужики, что рядом сидели, — тоже. Смеялся и Николай.

— Давай тогда выпьем, — наливал Максимов. — Раз такое дело, давай выпьем. Тама не дадут.

— Не дадут, — соглашался Николай. — Да я и сам не буду. Мне лечиться надо.

А пока можно было, в последний раз.

Последний нонешний дене-ечек... —

заводила Лёнка. И песню подхватывали:

Гуляю с вами я, друзья!
А завтра рано, чуть рассвенет,
Заплачет вся моя семья!

Пели все. Продавец Максимов аж кровью наливался, усердствуя. Но Лёнкин низкий, аржаной голосочек перекрыть не мог. И Николай горделиво смотрел на жену.

А за своею женою всю гулянку следил управляющий Арсентьич. Он знал, что именно здесь, сейчас Лелька должна была что-то сделать. Упредить ее хитрости он не хотел, но все равно с какой-то тоской и болью следил и следил.

Гулянка кончилась вечером, когда пришла пора встречать скотину. Поднялись почти все. Николай Скуридин с женой вышли со двора и от ворот затянули:

Коля, Коля, Николаша!
Как мы встретились с тобой!

Николай был выпивши, его водило и покачивало, но рядом был крепкий столбушок — жена. Лёнку трудно напоить, и она шла твердо, распевая:

Ах, Коля, Коля, Николаша!

А Николаша, тоненько и сбивчиво ей подвывая, тащился рядом.

Лёнкина мать во дворе задержалась. Она заговорила с хозяйкой, прощаясь и уже пошла было, когда ее перехватила Лелька, жена управляющего. Она постояла с Николаевой тещей недолго, втолковывала ей что-то горячо, взахлеб. И с каждым Лелькиным словом Николаева теща как бы росла, распрямляясь, и лицо ее каменело. И вот уже она двинулась со двора неторопливой марширующей походочкой, и на лице ее играла зловещая усмешка.

Николай и Лёнка с песней к дому подошли и уселись возле двора. Жаль было уходить от людей, от хутора, от праздника. У Николая кончились сигареты, и он пошел в дом за новой пачкой. В этот момент и подоспела Лёнкина мать. Подоспела и рассказала дочери все без утайки. Она

передавала Лелькины слова горячо, с придышкой. И глаза ее диковато горели, и раздувались ноздри.

Лёнка все поняла. И кровь, тяжелая густая кровь, кинулась в голову, опьяняя пуще вина. И руки вдруг сжались в тяжелые кулаки, наливаясь все той же злою кровью.

А Николай ничего не знал. Он с новой пачкой «Памира» вышел из ворот и направился к лавочке, распечатал пачку и начал прикуривать, когда спросила его Лёнка спокойно. Спокойно, но из последних сил:

— Ты дюже веселый... Може, ты не один на курорты едешь? Може, с кем вдвох?

— С миланей... — дурашливо ответил Николай. — Не с тобой же ехать! С миланей...

— А-а-а!.. — разом завизжали Лёнка и мать ее и в четыре кулака принялись гвоздить неверного.

Теща успела сбегать в дом и теперь рвала и топтала и зятя, и розовую курортную путевку.

— Вот тебе!.. Вот! Вот тебе, кобелюка! Курорты твои! Курорты!

Из двора с ревом начала выкатываться детвора.

Хутор, а особенно соседи, за долгие годы к скуридинским битвам привыкли. И потому не вышел никто даже поглядеть.

Николай уполз в свою кухню и пробыл там до утра. А утром пошел к управляющему.

Арсентьич о побоище, конечно, слышал. Но теперь взглянул на Николая и ахнул. На лице у того распух и закрылся левый глаз, а справа снесено было все ото лба до бороды начисто. Даже ухо и то запеклось кровавой корочкой.

— О-о-ой, — болезненно морщась, охал управляющий. — Вот это дали. Ты съезди на центральную, в больницу. У тебя, может, чего...

— А-а-а, — махнул рукой Николай.

— Ну а путевку-то правда порвали? — спросил управляющий.

Николай молча показал жалкие клочки розовой бумаги.

Управляющий и глядеть на них не стал: дело понятное.

— Ладно. Хреново, конечно. Но в конце концов... — стал запинаться и отводить глаза Арсентьич. — Путевку, навер-

ное, можно восстановить. Хочешь, я позвоню, узнаю? Ну, предположим, восстановят путевку. А как ты поедешь?..

— Куда мне ехать... Людей пугать? Все, съездил, хорош, — хотел улыбнуться Николай, но не смог, больно было.

— О-хо-хо-хо, — качал головой управляющий, а потом спросил: — Ну а отпуск-то будешь гулять?

— Не, какой отпуск. Завтра погоню.

— Чего завтра? Ты хоть... Пару дней... Пусть пройдет.

— Ничего, зарастет, — уверенно сказал Николай. — Завтра погоню. Там вон за песками, — махнул он рукой, — туда к Дурновке, падинка есть. Тама добрая трава. На лугу зеленка лишь поглядчивая, а потолокли всю. На тот год я там был. Там навроде вокруг пески, а вот промеж них теклина. Добрая трава, хорошо скотина ест.

Они поговорили о деле: о скотине, о попасах, о лошадях. Покурили, поговорили. Потом Николай сказал, потише, с оглядкой:

— Ты не дашь мне, Арсентьич, пятерочку, опохмелиться? — И облизал опаленные сухостью губы.

Управляющий рот было раскрыл, чтобы прочитать обычное, какое изо дня в день говорил. Раскрыл он было рот и поперхнулся, лишь рукой махнул и полез за деньгами.

Николай пошел прямиком к магазину. А управляющий стоял и глядел. Николай спешил, а шел как-то странно, прихрамывая и чуть боком. И голова на тонкой шее в такт шагам моталась, словно у заморенной лошади. Маты-маты, маты-маты...

И плеснуло в душу Арсентьича такой острой горечью, что он не выдержал, зажмурился и, круто повернувшись, ушел на кухню, налил из бутылки в стакан и выпил. И закурил. И сел на крыльце.

— Ты сегодня на колхозный не пойдешь, что ль? — спросила жена.

— Пойду, — сквозь зубы процедил Арсентьич и остался сидеть.

СОЛОНИЧ

1

Дом Солонича стоит посреди хутора, у кургана. Он виден издалека — веселый, в резных наличниках, ставнях, железная крыша под свежим суриком пламенеет, словно рыжее вечернее солнце.

Самого Василия Солонича трудно на хуторе потерять. Топора ли, молотка его стук, голос пилы днем доносится от колхозной плотницкой, от амбаров, от фермы; вечерами да ранним утром стучит Солонич у себя во дворе. Работы хватает: один в хуторе плотник и столяр. Тому табуретку, тому скамейку, двери ли, рамы связать, творило для погреба, ворота, вдовам да мужикам поплоше — тем и грабли, косье, черенок ли, топорище — мало ли дел...

Лишь порою сенокосною Солонич заказов не берет. Баб у него в семье много: мать, жена, две дочери, помощник — сын Витька — пока лишь растет. А на подворье коровка, бывает, и две стоят. Хозяин — детистый, коровы должны быть молокастые, значит, сенца им подавай. Да не абы какого, не болотной куги, не бурьяна. Коровы Солонича займищного сена и есть не станут. Подле коров овечки да козы зимуют, а иной раз и бычок-зимнух.

Солонич начинает косить прежде других, в местах укромных. Еще о сене вроде не думают, оно лишь подходит. Выйдут на обережь реки: не цветет трава, рано косить.

Но в степи, на взлобьях, прогретых солнцем, в падинах, глядящих на юг, по склонам балок уже колышет теплый ветер колосок аржанца, издали чует пчела сладкий дух желтоглазого донника и белого буркуна; чилига да вострец, едовый пырей, желтоголовник ждут косы.

В эту пору двор Солонича затихает. По утрам будит детвору петуший крик. Ранним утром, еще во тьме, на старом велосипедишке, с косою у рамы, хозяин исчезает, и вечерами, после работы, нет его.

Нет и нет, день, другой, третий. По хутору пошли разговоры: «Солонич косит...» Где-то видели его: на Ярыженских

буграх, в Батякиной балке и вроде у колхозных садов. Бабы начинают тревожить своих мужиков: «Солонич косит...»

А пока суд да дело, Солонич уже приволок первой ходкой огромный воз зеленого, на весь хутор пахучего, степового сена. Навьючил на тележку копен десять хороших, не менее. «Беларусь» — тракторенок с трудом подтянул воз к Солоничеву подворью, пыхнул дымком облегченно и смолк.

Солоничева баба и мать вдвоем выводили скирд, переходя с угла на угол, середку утаптывала дочь Ольга. Сам хозяин без устали кидал и кидал косматые пласты легкого, неулеглого сена. Ему помогал ли, мешал семилетний сынишка Витька. Трехлетняя Танюшка топотала мужикам вослед. Солоничевы бабы с трудом успевали.

— Папка! — кричала дочь. — Потише вали! Не балуй!

Порою ее и впрямь заваливало, лишь белый платочек торчал из сенного легкого облака.

— Папка! Не балуй! — сердито кричала она.

— Вали, вали! — подзуживал Витька. — Навовсе ее...

Плыл по хутору бередящий дух молодого сена. Бабы и старики, ожидая на выгоне коз да коров, глядели, как весело зачинается стог на подворье Солонича. Солнце садилось большое, каленое, горели на небе высокие облака, а у Солонича клали стог. Смеялся хозяин, жена да мать его поругивали невсерьез, Ольга совестила: «Папк, ты — как маленький...» Семилетний Витек и малая Танюшка кувыркались на упавших с воза пластах. На них шумели сверху: «Сено не толочите! Отец, чего ты их не прогонишь! Нехай идут скотину встречать...»

Сено сложили в сумерках. Стог, не свершенный и потому кургузый, поднялся высоко. Солонич подставил лестницу, помог бабам слезть. Мать он поддерживал осторожно, с женой побаловал, дочку поймал за руки, она без лестницы ящеркой скользнула со стога.

— Молодец, хорошо топчешь, — похвалил Солонич. — На тот год на углы станешь, сделаем из тебя стогоправа.

У него на душе было празднично, словно не лежал позади длинный день от белой зари до нынешнего, сумеречного, часа. Было хорошо, как всегда, когда начнешь сено возить. Что ни говори, а позади большая работа. Как вспомнишь:

ездил, места удобные приглядывал да опасался, не опередили бы... Как, считай, не спал всю неделю, косил и косил, с серых утренних сумерек до работы и потом, вечером, до темной ночи. Косил, переворачивал, копнил и все торопился, поглядывая на небо. Хоть и говорят старые люди, что сена без дождя не бывает, но это присловье лишь на худой конец, для утешенья. Нынче, слава богу, обошлось без дождя. Первый воз — зеленый, пахучий — на месте. Второй — уже в копнах. И душа — на покое. Завтра привезти, стог завершить, закрыть его — и голова не боли.

Настроение было доброе, и он повторил:

— Витьку на тот год середку топтать, а тебя — стогоправом. На всю жизнь специальность...

Он засмеялся, обнимая дочь за узкие плечи, а Ольга вдруг заплакала и кинулась бежать. Солонич не мог ничего понять.

— Доча! — окликнул он.

Но Ольга убежала.

— Она целый день ревет, — доложил Витька.

— Со школой, с отметками, — объяснила жена. — Отметку по математике не поставили.

— Как не поставили? Почему? Она ж вроде... Никто не жалился.

— Всему классу не вывели. По математике весь год... Одна учительница уехала, а другая — вовсе убегла. Вот им и не вывели. Она ревет.

Солонич жены объяснение не больно понял. Дочка с первого класса хорошо училась, не ругали ее учителя. Он недоуменно повертел головой, повздыхал, полез за куревом.

— В бане вода горячая, — сказала жена. — А я пойду доить, ты иди, а то остынет.

— Иду, — ответил Солонич, но никуда не ушел.

Витька успел за сестрою сбегать и, подлетев к отцу, сообщил:

— Разведка докладывает, она на курганике сидит.

— Понятно, — отозвался Солонич. — Ты, Витек, давай к бабке, пускай вечерять собирает.

— Есть! — четко ответил сын, отдавая честь. Он где-то раздобыл военную фуражку и какой уже день щеголял в ней.

Задами обойдя весь свой двор, Солонич вышел на курганик. Дочка и впрямь сидела там, наверху.

— Доча... — позвал он. — Олянька!

Дочь не ответила, пришлось к ней подниматься.

Курган этот, не больно высокий, кликали ласково кургаником. Старая родительская хата стояла к нему прислоненная, теперь новая — на том же месте. С курганика зимой каталась детвора на лыжах да санках. Летом — молодежь собиралась, по старому обычаю. Правда, теперь молодые переводились. А еще недавно гомонили до зари.

Дочка сидела наверху, обняв руками коленки. Белый платочек светил в полутьме.

— Доча... — подошел к ней Солонич и присел. — Чего ты, дочь? Ты скажи, я ж ничего не знаю толком.

— Я не виноватая... — глотая слезы, проговорила Ольга. — Я все задачки порешала. С Амочаевой Таисой все порешали, нам Таиса Николаевна помогала. Весь задачник. Мы разве виноваты, что нет учителей? И по немецкому, а теперь математика. Из районо приехали — и всем черточки. Оценок не ставить. Вроде мы весь год не учились. Кто нас теперь куда примет? Ни в какое училище... Правда что скирдоправом... Или к мамке на ферму...

Ольга заплакала, ткнувшись головою в коленки. Солонич начал вроде понимать, а дочкины слезы так были ему горьки, хотелось остановить их. Он гладил ей голову, плечи, спину. Как было раньше просто: «У собачки — бoли́, у кошки — бoли́, у Оляньки — заживи...» — и подуть на болючее. Теперь — выросла, и так незаметно.

— Доча, ну не реви... Давай обдумаем. Не реви, а то и я сейчас закричу, да в голос, весь хутор сбежится.

На западе, там, где солнце зашло, было еще светло. Четко виднелись темная зелень колхозных садов, поля с пшеницею, кладбище с могилками. Небо не остывало, ему светить по-летнему долго.

А за спиною, от займищного леса, уже пришла ночь со звездами, редкими голосами птиц, тягучим звоном водяных быков. Странно было глядеть, как борются свет и тьма в небесах, на земле.

Ночь перебарывала. Уже часом спустя на хуторе потухли огни. Стал засыпать и Солонича дом. Первыми забылись ребята. Танюшка, Витек, за ними — Ольга. Хоть и казалось, ее огорченной душе не до сна, но коснулась подушки головой, смежила ресницы — и все отлетело, обида и боль. Уснула и жена. Мать еще брякала посудой у стола, домывала, потом прошла по двору, постанывая и охая.

— Ноги нудят? — спросил Солонич. Он помылся, отужинал и теперь курил перед сном на крылечке, невидимый в тени.

— Руки, ноги... Все мосолики... Либо к дождю.

— Нарекешь еще, — недовольно проговорил Солонич. — Сено свозить надо.

Мать всю жизнь провела на ферме, при коровах, в сырости да резиновой обувке. Теперь у нее суставы ломили и пухли зимой и летом, про осень да весну не говоря.

В ночной тиши звучно топотал по дорожке ежик. Давно водились ежи на подворье, из года в год. От флигеля, где жила мать на покое, потянуло едучим.

— Натираешь, что ль? — спросил Солонич, не видя, но зная, что мать сидит на крыльце.

— Натираюсь, хоть чуток отпустит.

— Как ты его терпишь, вонючий...

— А твои папиросы слаже...

Солонич засмеялся.

— Ты дюже не горься, мой сынок, — сказала мать. — Господь с ней, с учебой. Была бы здоровая да счастливый замуж. Уже невеста, невидя поднялась...

Это она об Ольге говорила, о сегодняшнем, успокаивая.

— Тут горься не горься, — вздохнул Солонич, — а надо в школу. Поеду, попытаю, чего они там.

— Гляди там не ругайся, по-культурному.

— Ружье возьму с волчиной дробью.

— Никто не говорит. Но все же не колхозная контора, а школа.

— Хуже там, видать, нашей конторы, — сказал Солонич.

Мать поохала, повздыхала и ушла.

За речкою, над займищем вставала краснобокая луна. Солонич докурил. Спать хотелось, тяжелела голова после

долгого дня. Но саднила душа, дочку было жаль. Солонич теперь точно знал, о чем слезы.

Учителя математики в школе, считай, весь год не было. Вот и поставили в дневниках вместо отметок лишь черточки. Учителя не было, про это Солонич слыхал, но Ольга математику все равно решала вместе с подружкой. Иногда ходили они к кому-то в соседний хутор, к старшеклассникам, к старым учителям. Когда как. У девчат были намерения серьезные, педагогический институт или педучилище, на худой конец. Математика была нужна. Теперь же оборачивалось дело нехорошим. Надо было ехать в школу, за дочь заступиться.

2

В школу он собрался в обед, надеясь за час обернуться. Управляющего предупредил на всякий случай. Хотел он ехать один, а домой пришел, Витек его ждет в новой одежке, аж светится, словно мытая репа, и Ольга крутится тут же.

— Со мной, что ли? — спросил он детей.

— Мамка ж тебе велела мои документы отвезть? — напомнил Витек.

— Про документы она говорила, — подтвердил Солонич. — А ты разве документ? И ты наскучала? — спросил он у дочери.

— Я заходить в школу не буду, в машине тебя подожду.

— Ну коли так — поехали.

Хоть и брился Солонич по утрам, но на всякий случай еще бритвой пожужжал, вроде красоту подновляя. Шел ему уже четвертый десяток годков, все школьное забылось давно, а вот какой-то холодок страха остался. Пожужжал он бритвой, в зеркало поглядел — вроде нормально.

Как всегда, детишки заспорили, кому рядом с отцом сидеть, возле руля. По пока мать наказывала, что купить в вихляевском магазине — свой плохо торговал: то и дело замок на нем, — пока с матерью говорил, ребята уже помирились, вдвоем устроясь на переднем сиденье. Светлые их головенки торчали из окошка.

Когда-то, в молодости, и сам Солонич гляделся кудрявым, белокурым. Сейчас посивел, потемнел, под вечной

кепкой ничего не видать. Откудрявился. А на ребятишек глянул и вспомнил. Они в него пошли. У Ольги — коса, а все равно тугие колечки выбиваются, у Витьки и вовсе — гребенкой не раздерешь.

— В школу едешь, а непричесанный, — попенял Солонич сыну.

— Мне Олянька расчесывала.

— А почему ж как у барана? — показал Солонич на завитушки.

Витек в автомобильное зеркальце заглянул, потом сказал отцу:

— У тебя тоже такие, — и потрогал под кепкою, на затылке.

Солонич покосился в зеркало — и в самом деле завитки торчат, — ухмыльнулся довольный.

— Мы все же родня. Одного заводу.

До Вихляевского хутора, где находилась восьмилетка, на машине было рукой подать. Мелькнули колхозные сады, плантации, справа Вихляевская гора началась, слева, в зеленом камыше, озеро. Здесь когда-то над озерком стоял хутор Туба. Теперь от него не осталось даже развалин, лишь старые деревья на месте левад.

Садами, сливами, вишней да грушами всегда славились Тубянский и Вихляевский хутора. Возили в станицу, на базар. Теперь Тубянского нет. Вихляевский, как и прежде, в садах. Домов не видно. Зеленая гущина слив да вишен, а над ними — могучие старые груши: стволы необъятные, просторный шатер листвы.

Подъехали к школе. Когда-то она казалась Солоничу большой, с крыльцом высоченным, теперь съежилась, усохла, словно человек в старости. Серые дощатые стены, сто лет не крашенные, ржавая крыша.

Витек из машины вылез прежде отца, а Ольга осталась:

— Я не пойду, папа. Но ты им скажи, что все задачки порешала и всё учила. Пусть проверят, если хотят. А без математики нас никуда не примут, как мы будем... Пусть хоть тройки поставят, но чтоб оценка, а не прочерк. А то — немецкого нет, математики нет, на наши свидетельства и глядеть не станут.

Солонич смотрел на дочь и словно не узнавал ее: глазенки строгие и тонкая морщинка лобик сечет... Это лишь на

виду. А в душе у нее что? Господи... И лет-то кот наплакал, от горшка два вершка, а уже об жизни загад, горькие заботы.

Солоничу сделалось нехорошо. Себя он почуял виноватым. А что мог сделать? Лишь разгладить морщинку на лобике. Он ее разгладил: большим пальцем, словно рубанком, осторожно провел, убирая, и пошел. На крыльцо поднялся суровый, решительный, разжигая в себе злость: «Сидят тут... Зарплаты получают...»

Сына он оставил на крыльце.

— Побудь здесь, — сказал ему.

А сам прямым ходом направился в директорский кабинет. Одним разом он постучал и дверь открыл.

Директор школы, бессменный Макар Алексеевич, по кличке Мичман Макар, был на месте. Мичманом его звали за пристрастие к морскому прошлому. Он когда-то на флоте служил сверхсрочную и потом, в школе, носил брюки клеш и тельняшку. Все это прошло давно, износились и тельняшки, и клеши, осталось лишь прозвище, намертво прикипев.

— Во, еще один прибыл! — завидев Солонича, воскликнул директор. — Математика, да?

— Она самая, — ответил Солонич. — В школу посылаем, надеемся, а дите с пустым дневником приходит. Выходит, год зря шалалась?

— Ну, так уж зря... — охладил его пыл директор.

— Но математика, она же основная считается, — не сдавался Солонич. — И девка моя не ленивая, сами знаете, желает продолжить образование. А теперь как?

Директор сочувственно покивал и сказал:

— Правильный вопрос родитель задает. Вот вы ему и отвечайте. Лично ответь, в глаза.

В кабинете, в углу, возле окна, сидела молодая женщина. Солонич ее теперь лишь увидел.

— Это учительница, какая нас бросила, — объяснил директор. — Кинула и уехала. Вот и спрашивай с нее. Пусть ответит. Ответишь?

— Федор Алексеевич, как вам не надоело...

— Тебе надоело? А мне? Ты убежала — нам расхлебывать. Ты — документы заберешь, а ко мне люди идут. Я глазами моргаю. Это дети! Живые души! — накалялся директор.

— Конечно! — поддержал его Солонич. — Мы думаем, они учатся. Надеемся. Дочка другой день ревет. У нас — душа кропит...

— Душа, душа... — поднялась учительница. — У всех душа появилась. А вы знаете, как я здесь жила? — подступила она к Солоничу. — Сколько я здесь слез пролила? Кто их видел? Я сюда ехала, летела, сама, дура, напросилась, институт не кончила, бросила... Все мне обещали: квартиру, питание. А вы меня как встретили? А? Как вы меня встретили?

Солонич перед горячностью и пристальным взглядом учительницы оробел:

— Да я... Я вас и не знал.

— Вот как... не знали. А ведь я к вам приехала, в ваш колхоз. Ваших детей учить. А меня затолкали в какую-то халабуду вместо квартиры. Крыша течет, холодно. В пальто сидела. А я, дура, забрала себе в голову, думаю, обоснуюсь, маму заберу. Заберешь... А вы знаете, что ваш председатель мне ответил, когда я о колхозной квартире попросила? Дома-то вон стоят. «В доярки, говорит, иди. Тогда поселю». И вот так ключами позвенел, — потрясла она рукой. — «Мне доярки нужны». Что? Не так это было? — спросила она директора. — Может, придумываю? А чем я кормилась? Все тухлые консервы в магазине поела. Колхоз называется. Молока литр пожалели. «Государству сдаем...» — передразнила она.

— Я тебе предлагал на квартиру к женщине встать, была бы накормлена. А ты отказалась, — напомнил директор.

— Не нужны мне чужие углы и чужие щи. И вы меня не упрекайте. — Снова подняла она глаза на Солонича. — Не может колхоз учителей держать, учите детей сами. Председатель ваш, бригадир ваш, каланча носатая... «Го-су-дарству»... — снова вспомнила она. — Вот так. И ваши бумажки мне не нужны. Обойдусь без них.

Учительница вышла из кабинета, и были слышны ее шаги в коридоре, а потом на ступенях крыльца.

— Вот так, — развел руками директор. — Ты все понял?

Солонич, конечно, не все, но кое-что понял.

— Пацана еще надо бы записать, в первый класс.

— А это там, в учительской, — облегченно сказал директор, у него не было охоты разговор продолжать.

Вышел Солонич в коридор, постоял недолго, потом учительскую сыскал. Ее двери были открыты, и сидели там две женщины. После коридорного сумрака Солонич не сразу их разглядел. А привыкли глаза, узнал свою старую учительницу, самую первую, до четырех классов.

— Полина Ефимовна, — обрадовался Солонич, — здорово живете...

Встречались с учительницей и прежде редко. А теперь — и вовсе. Солонич в Вихляевском раз в год бывал, а Полина Ефимовна, постарев и уйдя на пенсию, редко из дома отлучалась. Когда последний раз виделись, не упомнить.

— Вася-Василек... — засмеявшись, припомнила Полина Ефимовна.

Назвала его учительница по-старому, по-давнему, и снова что-то вернулось из детства. Солонич спрятал за спину кепку и стоял оробело, потом опамятовал.

— Сына в школу хочу определить, — сказал он.

— У тебя дочка, Оля? А это — второй?

— Наследник. Казак, — подтвердил Солонич. — Отгулял. Теперь давайте ему налыгач.

Другая женщина, помоложе, взяла документы, сказала Полине Ефимовне:

— Вот и все ученики. Можете заниматься.

— Вы опять будете работать? — обрадовался Солонич.

— Нет, нет... Это упросили меня подготовительную группу вести, сейчас, летом.

— Витек! — выглянув в коридор, позвал Солонич. — Иди сюда.

Сын вошел, поздоровался.

— Вот он, — сказал Солонич. — Примете такого?

— Возьмем, возьмем, хороший парень, — похвалила Полина Ефимовна. — Еще веди. А то двое всего.

— Вдвоем будут? — не поверил Солонич.

— Вдвоем.

— Из двух хуторов? Не тесно будет за партами сидеть? Мы когда-то по трое, — вспомнил он. — А тута... Гуляй, батюшка...

— Просторно, — подтвердила Полина Ефимовна. Записали Витька в школу, сказали, когда приходить. Солонич распрощался, но вместе с ним поднялась и Полина Ефимовна.

Из школы выходили вместе. С крыльца Солонич поглядел на свою машину, дочку увидел и сник: «Что ей сказать?» Полина Ефимовна по ступенькам спускалась осторожно. Солонич поддерживал ее.

— Святая душа на костылях, — посмеялась учительница. А у Солонича сердце сжалось, когда почуял он немощную, невесомую плоть и на солнце, на ярком свету увидал Полину Ефимовну.

— Я вас подвезу, — сказал он, — до дому подвезу.

— Мне еще в магазин, за хлебом.

— Доедем. Какие дела...

Солонич подогнал машину, на дочерин вопрошающий взгляд никак не ответил, посадил Полину Ефимовну, подъехал к магазину.

— Ты отвозить пока будешь, — сказала дочь, — я к Таисе зайду. Ты потом посигналишь.

Подруга дочери жила рядом с магазином, а Полина Ефимовна на дальнем краю, в Заольховке.

Хутор лежал просторно, от горы и озера протянувшись до Старицы, до леса. Когда-то он был чуть не станицею: сельсовет и почта, школа и Дом культуры с библиотекой, медпункт, четыре магазина. Жили неплохо, дома ставили под железом. Они и теперь стояли: магазины, дома, подворья, сады. Но торговали хлебом, водкою да кое-чем, по мелочи, лишь в одном магазине, остальные — давно под замком.

Машина проехала по хутору из конца в конец, не встретив живой души.

— Какой-то хутор у вас немой... — сказал Солонич.

— Он как мы, — ответила Полина Ефимовна, — слепой, глухой и немой, в общем, едва дышит.

Остановились у дома учительницы. Солонич вышел проводить ее. Витек резво пересел на отцово место и взялся за руль, подвывая вместо мотора.

Солонич вошел во двор. Глаза его быстро обежали стариковское хозяйство. Дом учительницы обветшал, словно спе-

шил в годах за хозяйкою. Просила починки крыша, конек вовсе развалился, перекосилась дверь, подались в сторону ступени крыльца, к ставням были приставлены жерди. Огород же гляделся хорошо: картошка росла, плелись огурцы, дыбился лук, чеснок, редиска распускала листы, по краям огорода, сторожуя, поднимались подсолнухи да кукуруза — все как у людей.

— Хороший огород, — похвалил Солонич. — По вашим годам очень хороший.

— Копаюсь, — вздохнула Полина Ефимовна. — Куда денешься.

— Огород хороший, — повторил Солонич. — А дому надо ремонт.

— Тут уж не совладаю, — развела руками учительница. Солонич возил в машине плотницкий ящик, на всякий случай. Теперь он его принес, сказал:

— Пока мы толкуем, я вам подлатаю кой-чего. А то двери скоро уж не откроются.

Нижний крюк из косяка выпал. Пришлось двери снять, крюк и навес в новом месте ставить, хотя, по-доброму, все полотно двери просило замены, и косяки тоже.

— Ваша дочка, — вспомнил Солонич, — она же учительница. Сюда не собирается, заместо матери бы? Она как?.. Детная?

— Двое уж внуков у меня. На севере живут. На каникулы прилетают. Побудут месяц — и нет их. Как во сне, — пожаловалась учительница.

— Далеко забрались, — посочувствовал Солонич.

— Пусть живут. Там хоть и север, а все условия — и тепло, и светло, и молоко тебе, и мясо. А я вот корову сдала, нет сил, не совладаю с сеном. Сдала свою Розу — и теперь зубы на полку. Щи нечем забелить.

— С фермы не дают для учителей?

— Кому мы, Вася, нужны. Постановление было в газете, мы обрадовались, пошли к Чапурину, к председателю, в райком писали! Не положено — и всё. Один ответ.

— У нас так... — согласился Солонич. — Работаешь — нужен, на пенсию вышел — никому не нужон. Ни дров, ни соломы.

Наружную дверь он подвесил, укрепил замочную накладку и теперь на крылечко глядел, на его ступени, повторяя:

— У нас — так... та-ак...

— Спасибо, Вася... Не надо больше, поезжай.

Осмотрев крылечко, Солонич решительно взялся за него, отрывая прогнившие боковины. Походив по двору, он сыскал мало-мальски подходящие бруски, стал их резать и меж делом пожаловался:

— А у меня с дочерью беда, Полина Ефимовна, вот получилось...

И он рассказал все, закончив словами:

— Теперь чего? Жалиться куда или как? Жалко девку. Она смышленая и к учебе стремится. Как вы посоветуете?

— Мой совет, Вася, простой: забирай ее отсюда, пока не поздно. Никакого толку тут не будет. Кончилась Вихляевская школа. И тут кому хочешь жалуйся. Старые учителя свое отработали. А других не будет, добрых. Нынче молодым условия нужны. Квартиру им с теплом, а не наши... — со вздохом кивнула на свою хату. — Требуют условия. А у нас — сам себя корми. Так что добрых не жди, какие-нибудь пьяницы или от жены сбежал. Химика вот прислали, он каждый день поперек улицы лежит. И ты Олю не губи, у ней светлая головка. Отдай хоть на центральную усадьбу, в интернат. Или, может, к родне. На станции нет никого? Там школы, конечно, лучше. И этого малыша, — с улыбкой показала она на Витю, который из машины не вылез, а все гудел там, уцепившись за баранку, — и его бы сюда не стоило. Учителя начальных классов опять нет. Значит, пришлют какую-нибудь десятиклассницу. Протянет он три года, и на центральную. Школу здесь закроют.

— Почему закроют? — не понял Солонич.

— Учеников нет. Ты же слышал? В первом — двое, во втором — трое, в третьем — не знаю, но столько же. Учителей нет, здание разваливается. Через год закроют.

— Да-а-а... — только мог протянуть Солонич, потому что открывалось такое, что не сразу и сообразишь.

Крылечко Солонич поправил, прошелся по нему, топнул, засмеялся:

— Можно плясать...

— Только и осталось, — ответила учительница.

Для ставен крючки и петельки он стал делать из проволоки. Легко молотком постукивал, плоскогубцами гнул, и получалось не хуже фабричных. Приладил, и ставням подпорки стали не нужны. А без подпорок и дом гляделся по-иному.

— Ремонт нужен, ремонт... — сказал Солонич, задирая голову к трубе и крыше. — Сказали б в правлении. Тут на два дня работы и материалов чуток.

— Милый ты мой... — даже прослезилась старая учительница. — Милый ты мой... Спасибо тебе, спасибо за помощь. А детишек своих пожалей.

Обратной дорогою к магазину ехали медленно, и вновь никто им не встретился. Остановились возле магазинного крыльца, посигналили. Ольга из гостей не торопилась. Солонич вышел из машины, дожидаясь ее.

Хутор лежал в сонном забытьи. Дом культуры под высокою крышею, почта, магазин, медпункт, школа — все было рядом. Глаз и слух искали людей, их шагов, дверного стука, детского крика, громыханья ведра, наконец, — искали напрасно. Дремали за плетнями дома, притворив ставнями окна, садовая гущина, конопля да крапива тянулись выше плетней, могучие вековые груши высоко вздымали над землей просторное бремя листвы и ветвей. Казалось, это не груши, не деревья, но древние богатыри в черных латах корья берегут свое недвижимое, сонное царство.

Вышла наконец Ольга, села в машину. Она ничего не спросила. Солонич, встретив дочери взгляд, промолчал.

Когда хутор остался позади, Солонич вздохнул облегченно, словно из больницы вышел на волю и здесь вздохнул. Впереди виделось глазу веселое: плантация колхозная, бабы на ней — пестрым горохом, потом — сады и родной хутор.

Повернувшись к детям, Солонич хотел им сказать что-то веселое и обмер.

Ольга сидела, чуть голову закинув, и полны были ее глаза слез.

— Дочь, доча... — испуганно проговорил Солонич.

И вдруг болью резануло по сердцу, так резануло, что нечем стало дышать. Солонич, ничего не видя, остановил

машину, дверцу отворил, сунулся к вольному воздуху и так сидел минуту-другую. Лицо его сделалось серым, а дышать было по-прежнему трудно.

Потом боль ушла. Солонич закурил. Ничего не понимающая Ольга выбралась из машины и подошла к отцу:

— Что с тобой, папка?

— Ничего, ничего... Сейчас поедем. И ты, доча, не горься. Все будет хорошо. Вот поглядишь.

Он докурил и поглядел через открытую дверцу на волю: озеро синело, а дальше темнел лес, поля, плантации, сады — ласкали глаз свежей зеленью. Он глядел, и таким пригожим виделось ему все. Пригожим, дорогим. Солонич уже все знал.

Пока курил, отдыхивался — все понял. Он знал уже, что в этих местах ему не жить. Отжился...

Теперь предстояло жене и матери объявить. Им будет тяжелее, они — бабы.

Витьке надоело сидеть, и он спросил:

— Чего стоим? Поехали.

Поехали. И путь был недалек. А после Вихляевского родной хутор гляделся городом, чуть не столицею. От кузни шел дымок, рядом вспыхивала и горела синим огнем электросварка, катил на телеге Мишка-конюх, — словом, жизнь текла.

3

К вечеру Солонич привез второй ходкой остатнее сено. Клали его невесело. Даже малые ребятишки, Витек с Татьянкою, бродили вокруг неприкаянно. Татьянка упала, ногу зашибла, горько плакала.

Клали невесело, но сложили. Сверху натянули брезент от дождя.

По обычаю, за ужином бабы поставили хозяину вина. «Такую страсть одолел, — как всегда, говорила мать. — Теперь наша скотина глядит и радуется».

По обычаю, такой ужин за вечерним столом тянулся допоздна. Солонич, рюмку-другую выпив, подробно рассказывал, как косилось, да где, да что, да какие случаи. Вспо-

минали былое мать и жена. В общем, говорили о сенокосном.

Нынче поужинали молча. Вина Солонич не стал пить, поглядел на него, шумно понюхал, поморщился и отставил, сказав:

— Без него голова кругом идет.

Это было принято как знак недобрый.

Поужинали. Солонич закурил. Мать с Ольгой посуду убрали, жена Витьку да Танюшку уложила. Солонич все курил, не поднимаясь от стола, потом попросил дочку:

— Ольга, дневник принеси.

Дочь удивилась, но принесла, встала напротив и глядела, как листает отец дневник, разглядывая его словно впервые. Мать и жена снова сели за стол. Ольга стояла.

Солонич и сам не знал, зачем он дневник листает, разглядывает пятерки да четверки дочерины. Все это видел он. А нынче ныла душа ли, сердце. И этот дневник, отметки его словно утишали боль. Наконец Солонич поднял глаза на родных.

— Так что будем делать? — спросил. — Садись, Олянька. А то вырастешь, как колодезный журавец, жениха не найдем.

Он обнял ее за плечи, спросил:

— Чего будем делать? А?

Ольга к отцовской редкой ласке не больно привычная, и, оттого что глядели на нее бабушка и мать, Ольге сделалось зябко.

— Я не знаю, — ответила она. — Я старалась. Мы весь задачник прорешали.

— Ладно с задачником, — сказал Солонич. — Так что же будем делать? — спросил он у жены и матери.

Те сидели друг подле дружки и были, казалось, кровной родней. Не в пример худому Солоничу, обе невысокие, телом статные, круглолицые, и глаза, и темный волос — одно в одно, словно у дочери с матерью. Они и характерами были схожи, до поры вместе на ферме работали, вместе Солонича ругали, когда он вином грешил или в рыбалку ударялся — водилось за ним такое.

— Ты обскажи, — осторожно сказала мать. — Мы же не ведаем. Ты к директору ездил, прибыл тихомолом.

— Сказ тут короткий. В Вихляевке учебы не будет. Едва дышит. Не ныне завтра прикроют навовсе. Полину Ефимовну перевстрел... (Мать с женой закивали, они помнили ее.) Перевстрел, погутарили. Она напрямки заявила: губить детей в этой школе — и все. Не советует там учить.

Заговорили разом и мать, и жена, вспоминая знамое и слышимое об вихляевских учителях и школе, все недоброе: откуда взялись, да как учены, да как мужчины, с директором во главе, в кочегарке, с истопниками вино пьют на переменах, а потом их оттуда не вытянешь. Они говорили взахлеб, со злостью, пока Солонич их не остановил.

— Об чем и речь, — сказал он. — Так чего будем делать?

— Жалиться надо, — твердо ответила мать. — В колхоз и в район, всем миром.

— Мертвому припарки, — махнул рукой Солонич. — Об детях речь. Еще год — и загубится девка. Потом не поправишь.

— Я, папка, может, в интернат пойду, на центральную? — спросила Ольга.

— С таких-то лет, моя внуча, — охнула бабка.

— Бабанечка, другие-то живут. Там и моложе живут, с четвертого класса. Там кормят, кровати есть, белье меняют, телевизор глядят.

— Хвали тюрьму крепкую, — усмехнулась мать.

Подступала ночь. Рядом, в поле, во хлебах, кричал одинокий перепел: «Пить-пити! Пить-пити!» Закатная сторона светила зеленью, желтизной и алостью. Потревоженное воронье в далекой лесополосе поднялось и кружило, ясно видимое: черные птицы на алом небе. Подходила тихая ночь, с низов, от речки, полоняя хутор. Звезды уже светили кротким небесным светом. По воде, по речке до самого озера, по старице, по лесным протокам хором гудели водяные быки.

За столом задумались, сидели молча. Солонич нетерпеливо постучал кулаком.

— Так чего?..

— Не стукоти, — сказала мать, — не за поллитрой бечь. Господи, Царица Небесная, помоги нам, — перекрестилась она.

— Ты чего молчишь? — спросил у жены Солонич. — Тоже «царица небесная»?

— В интернат — не хочу, — ответила жена. — От своих рук, от своих глаз дите отпускать. Так и будет сердце кровить. Это вы, мужики, каменные.

— Ну да, — покривился Солонич, — железные. А вы — доброхоты, языком.

— Папа.. — тронула его за плечо Ольга. — Не надо. Не пойду я в интернат, буду на центральную ездить. Грейдер недалеко, а там — машины. А зимой наши механизаторы будут на ремонт ездить. Я — с ними.

— Вовсе хорошо придумала, — осуждая, сказала бабка. — Нынче с цыганами на кобыле, завтра еще с кем. А осень, грязюка — по шейку, зимой переметет.

Ольга было вскинулась, но не стала перечить. В полутьме белело ее лицо — и все. Не видно было, как она до крови закусила губу, но бисерная слезинка все же скользнула по щеке.

И Солонич этого не видел. Но чуял. Вчерашние горькие слезы, нынешние, та морщина, какую разгладил он на дочкином лбу, — все это пугало его, но чем-то и радовало, взрослеет дочь. И теперь он повернулся к ней, спросил серьезно, словно у ровни:

— Доча, дело нешутейное. Жизню ломаем. Подумай. Витькина учеба терпит. Танюшкина — вовсе за горами, твоя — криком кричит. Скажи нам: будешь учиться, желаешь? Или абы переходить, время провести? И без учебы люди живут. Мы вот с твоей матерью, бабаня на медные деньги учены, а неплохо живем. И тебя, годы подойдут, пристроим. Даст Бог счастья, будешь жить. Скажи как на духу: есть желание учиться, продолжить образование? Не будешь лодыря гонять? А то мы взбулгачимся, тронемся с места... — Он невольно выдал еще нерешенное, то, что было пока лишь в нем, и появилось оно нынче. Появилось и не ушло. Потому что другого пути он не видал. — Думай, дочка. Ты уже не дите. Думай и говори нам.

— Буду, папка. Изо всех сил буду стараться. Вот увидишь... Я выучусь, все одно. И математику догоню, и немецкий. Вот поглядите...

Она заплакала, прильнув к отцовскому плечу. Солонич ее не успокаивал, ждал, потом сказал:

— Иди, ложись, спи.

Ольга послушно встала и ушла. Теперь заплакала мать, уронив голову на грудь. Качаясь из стороны в сторону, чуть слышимо, она стала причитать:

— Господи, да чего же я раньше не померла... Похоронили бы возле отца, лежали б мы вместе, а теперь... Господи, сколько сил поклали, такую страсть подымали... Дом, хозяйство...

— Завели детей, — сказал Солонич, — надо их до ума доводить, в интернаты не распихивать. Хоть и грешите на мое сердце, что оно — ледяное, а в интернат я их не пущу. На станцию будем переезжать.

— Може, на центральную, к правлению, там родни много... — перебила его мать.

— Нет, давайте уж доразу. Центральная... на нее тоже надежда плохая. Завтра она, може, хуже Вихляевки будет. А станция, она при железной дороге, навек. Туда и будем править. Как говорится, мило не мило, а вези, кобыла.

Заплакала жена. Она не причитала, слезы молча лила, но думалось — горше некуда: обо всем нажитом и обжитом, о всем новом, которое ждет.

Солонич не плакал. Он сидел, курил, приговаривал:

— Ничего, пока в силах, устроимся, обвыкнемся, еще, може, лучше...

Жена вскинулась, спросила:

— А куда все это? — и обвела рукой хату, базы, все подворье. — Куда это?

— За пазуху покладем, — зло ответил Солонич.

Жена заплакала в голос. Солонич курил. Хотя изо всех троих горше его никто бы не смог сейчас плакать, было бы можно, так заревел кровавыми слезами. Но он лишь курил.

Той порою возвращался с центральной усадьбы Чапурин, колхозный бригадир и управ — главное хуторское начальство. Он заседал на правлении колхоза, потом у замужней дочери погостил, теперь возвращался.

На хуторе уже спали. Даже синих огней, телевизорных, и тех в окнах не было видать — пора сенокосная, всякий

час дорог. Но у Солонича горела во дворе яркая лампа под колпаком. Солонич вечерами работал и пристроил светильник над верстаком. Сейчас он горел.

Чапурин ехал на машине. Солонич был нужен ему, а поутру можно не застать, укатит косить. Машину заглушив у двора, Чапурин прислушался. Во дворе говорили. Тогда он смело отворил калитку.

— Здорово дневали. Чего не спите? Либо от сена? Или гости приехали?

За столом, у летней кухни, от фонарного света в стороне, сидели хозяин да бабы его: мать, жена. И не было гостей.

— Да так... — нехотя ответил Солонич. — И сено, и тарыбары.

— Я к тебе чего заглянул... Утром давай телятам для лагеря все заготовь. Поставим его возле коров, на старом месте. Я с наряда тебе помогальщиков пришлю. И надо начинать об коровниках беспокоиться. Сходи обгляди. Давай делать по теплу. А то — сено, уборка, а там — зима.

— Я завтра заявление напишу, — сказал Солонич.

— На утят. Решили брать?

— На себя. Переезжаем мы с хутора. Подпишешь заявление?

— Куда собрался? — не понял и потому легко спросил Чапурин.

— Куда, куда... На станцию жить.

— Чего тебе на станцию?

— Ты прям как дите... Или придуриваешься. Переходим мы с хутора, переезжаем в район, на станцию.

С другим человеком говоря, Чапурин бы понял все давно. А здесь глазами моргал и не мог в толк взять, о чем речь: какое заявление, какая станция?

Солонич был трезв, и сам Чапурин вина нынче даже не видал, но словно пьяный шел разговор — каждый себе.

— Рассчитываюсь из колхоза, понимаешь? Уезжаю.

— Кто рассчитывается? Кто уезжает?

— Да я, я... — стучал себя в грудь Солонич.

— Не бреши, — отмахнулся Чапурин. — Плетешь...

— Вот и плетешь, — злился Солонич. — Уезжаем. На станцию. Навовсе. Заявление, говорю, сразу подпишешь или держать будешь?

Крепкого, центнеров на семь, быка бьют обухом по лбу, ошеломляя, чтобы он, в беспамятстве, осел на колени, а там уж — нож ему.

Рослого, тяжелого Чапурина тоже словно обухом стукнуло, когда он все понял наконец. Коленки подогнулись, он сел на скамейку рядом с бабами. У тех слезы уж высохли, а теперь они снова заплакали, не таясь. Бабьи слезы убедили Чапурина лучше слов. Он поверил.

— Почему? Что приключилось? Я утром рано уехал, не слыхал.

Казалось Чапурину: случилось что-то необычное, страшное. Ведь только оно могло Солонича, самого Солонича, не кого-нибудь, а Солонича с хутора поднять.

Хозяин нехотя начал говорить о школе, о дочери, о математике, о других детях. Чапурин перебил его.

— Ты с ума сошел... — проговорил он. — Правда, что ль? Да нет, это ты с ума сошел... Какая школа? Сошел с ума!

— А ты не сошел?! — взъярился Солонич. Ему нынче некому было высказать, теперь нашелся человек. — Ты был в своем уме?! У тебя — одна дочь. Ты припомни, какой ты муки принял, когда она в городе науки брала. До скольких разов она в институт поступала? А ведь то еще были добрые времена, на школу не жалились. Ты сколь овечек, гусей, индюков, курочек, меду сколь в город отвез? Сколь денег издержал — на городских учителей? Считай, вновь переучивал. Пойми, я это не в укор тебе вспоминаю. На то ты и отец. Не в укор, но в быль. У тебя, значит, дочь? Ты об ней сердцем болел? А мои — разве на иды? В поле обсевки? Я их что, с дерева снял или с чужой телеги? Я об них тоже горюсь. И, може, дюжей тебя. Тоже хочу им дать образование, чтоб они в люди вышли и меня потом не упрекали. У тебя одна, у меня — трое. Твоя хоть три зимы, а на хуторе училась, а потом — на близу. Моим — сразу бечь в чужие края. И достатков твоих у меня нет. Ты — при власти. А я — лишь при руках, — показал он руки свои. — А боле ничего нет.

Чапурин слушал, нагнув голову. Сказать было нечего, лишь одно он промолвил:

— Да с твоими руками...

— И я на них надежу имею, — твердо сказал Солонич. — Пока крепкие, надежа на них.

— Солонич, Солонич... — качая головой, проговорил Чапурин. Он все понял, всему поверил, но представить не мог воочию: как это Солонич уедет и не будет его.

— Не сам ухожу, Тимофеич, — мягко проговорил Солонич, величая управа теплее обыкновенного, по покойному отцу. Обычно-то Чапурин да Чапурин. А тут само легло на язык. — Не сам, Тимофеич, ухожу, пойми. Дети уводят.

Снова заплакали бабы. Чапурин поднялся, хозяин его проводил до ворот.

— А как же все это, — показал управляющий рукой на подворье, повторяя вопрос Солоничевых баб.

— Об этом лучше в голову не брать, — честно ответил Солонич. — Пьяным до смерти напьюсь, нехай меня увозят. Чтоб не видать.

— Ты завтра с утра косить? — спросил Чапурин.

— Нет, откосился, привез.

Чапурин поглядел на задворье. Даже сейчас, в ночи, темной тучею, заслоняя половину звездного неба, высился сена стог и пахло сенцом легким, степовым, какое всегда было у Солонича.

— Ладно, пойду.

— Ты заявление подпишешь? — напомнил хозяин.

— Подпишу, о чем разговор... Ох, Солонич, Солонич... — шептал сам себе Чапурин, шагая в темноте.

— Машина-то! — уже издали окликнул его хозяин.

О машине Чапурин забыл. Пришлось возвращаться. Он сел в нее, доехал до дома, поставил во двор. Как доехал, как поставил — не помнил. Словно и впрямь ударили его обухом по широкому бычьему лбу. Вот он теперь не то отходил, не то совсем умом рушился.

Жена услышала голос мотора, стук отворяемых ворот, а шагов на крылечке долго не было. Она подождала, подождала и вышла.

Чапурин сидел в машине, дверца была открыта.

— Либо пьяный? — спросила жена.

Чапурин в ответ лишь вздохнул.

— Точно пьяный. На правлении набрались? Или с зятем? А ведь за рулем сидишь. Задавишь кого, посадят. Вставай! Или тянуть тебя за виски?

Чапурин будто опамятовал, вышел, хлопнул дверцей.

— Откидного принеси. Ирянцу попить.

— На похмел повело, — укорила жена, но принесла молока, развела в большой кружке.

Сидя на крыльце, Чапурин запаленно выглотал кружку, усмешливо глядя на жену. Она принюхивалась, но не могла ничего учуять.

— Либо загрыз?

— Загрыз, загрыз... — подтвердил Чапурин.

По тону, по голосу она поняла, что муж — трезвый, и испугалась еще больше.

— Заболел? Сердце иль чего?

— Солонич уезжает. Поняла?

— Куда он на ночь глядя, сбесился. Либо пьяный.

— Вот вам, бабам, хорошо, — позавидовал Чапурин. — На все один ответ: пьяный — и шабаш. На станцию переезжает, совсем. Дети, говорят, увозят. Вот так...

Чапурину казалось: расскажи он сейчас жене, пожалуйся, она посочувствует — и будет легче. Но жена не поверила.

— Не пьяный, значит, с кем поругался, — твердо сказала она. — Никуда он не уедет.

На том и кончился разговор. Чапурин плюнул со зла и улегся спать. Полежал, поворочался, потом вспомнил, что машину не замкнул, ключи оставил, а нынче на хуторе всяких зятьев да ахарей больше чем надо. Он поднялся.

— Чего ты? — сонно спросила жена.

— Машина незамкнутая.

Чапурин вышел из дому, машину замкнул и вдруг почувствовал голод. Обедал он нынче наскоро, спешил, а ужинать не довелось. Ехал — в животе посасывало, а потом — Солонич, отъезд его, забыл о еде. Теперь вот вспомнил.

Он кухню отомкнул, нашел в холодильнике мясо, взял яичек сырых, хлеба, сел перекусывать. Жена вышла на крыльцо, увидела в кухне свет.

— Ты чего там потерял?

— Да вот, закусить решил.

— Люди добрые, он всю ночь будет шалаться...

Она накинула халат и пришла.

— Вареники я нынче лепила. Будешь?

— Давай покушаю.

— Разогреть?

— Конечно.

— Матерь Божия... Люди поглядят, управ либо колдует по ночам, либо деньги считает. Уж спать некогда, скоро корову доить.

Ворчать она ворчала, но разогрела вареники, они зашипели в горячем масле и сметане. Чапурин поел и вареничков.

— Правда, что ль, Солонич надумал уезжать?

— Правда.

— Из-за детей?

— Из-за них. Учеба...

— Завтра надо его попросить, чтоб сделал скамеечки две невысокенькие. И табуретки. Стулья скрипят да ломаются. А табуретки — до веку. И как мы теперь без плотника будем? — спросила она. — Ты думаешь об этом?

Вот об этом как раз Чапурин не думал. Солонич из головы не уходил. Не колхозник, не плотник, а просто человек, какого знал давно, всю жизнь, считай. Прямо стояли перед глазами: Солонич, дом его, подворье, бaзы́ да сараи, сенник, огород с поливом, с движком. Другие всё собирались, а Солонич поливал какой год. Картошка у него была в кулак. На семена брали.

— Хату он продавать будет? — спросила жена.

— Конечно.

— Кому-то повезет. Правда, заломит цену. Тысяч пять будет просить.

— И пятьдесят стоит, и сто.

— Сто тысяч... — усмехнулась жена. — Где такие деньги? В банке. Тысячи за три, может, продаст.

— Там одни базы.

— Ладно, пошла я спать. Не булгачь меня, Христа ради.

Чапурин вспомнил, как Солонич базы свои ладил, и забыл про вареники. Они остывали.

Скотьи базы у Солонича и впрямь были редкостные. Что дубовые стояны, сохи, лаги — это ладно, это у многих. Стены

и потолок чаканом проложены для тепла, окна двойные, шелевка. Это все можно где-то увидать. Но полы... Сначала это был просто настил, конечно, настоящий: не дощечки, не горбыль, а дюймовые плахи. Потом ему этот пол разонравился. Стал он резать пилой дубовые чурбаки. День, другой, неделю — режет и режет. Целая гора чурбаков, выше дома. Режет и обтесывает их в квадрат. Приходили люди глядеть, Солонич посмеивался. Чурбаки приготовил, выкинул полы из коровника, срезал пласт земли и начал ставить дубовые чурки друг подле друга впритык, подгоняя и расклинивая, чтобы вплотную, без щелочки. Такие вот полы. Это не паркет, это выше. Паркет — дощечки. Каблуком его хорошенько — и душа вон. Это — Красная площадь, ее брусчатка, где сверху булыжника квадрат невеликий, а вниз идет чуть не метровым стеблем. Мощь. Такие вот полы Солонич в коровнике сладил. Не из гранита, конечно. Из дуба. В ту пору и сейчас сохли дубравы на Бузулуке. Вози — кому не лень. Вот Солонич и сделал. Люди удивлялись:

— Господи... Какой труд.

Солонич посмеивался:

— Скотина — она тоже... Зато голова не боли. На век.

Сейчас вот Чапурин раздумался. Не-ет, тут не веком пахнет. Тут и через тысячу лет раскопают ученые, будут в затылке чесать. И вряд ли поймут, что это Солонич для скотины своей такие полы сладил. Месяца два работал в упор. Утром, вечером, по выходным. Для всей скотины: для коров, овечек, коз; телятам, поросятам тоже — чтобы уж без обиды. И птице.

Чапурин кухню прикрыл, подергал ручки машины, пошел в дом, но на крыльце остановился.

Высокая луна стояла над спящим хутором. Дом Солонича подле кургана виден был ясно. Он сиял словно игрушечка: крыша на четыре ската, труба с узорчатым дымником, резные ставни, витые столбики крыльца, ворота, скамеечка со спинкой, колодец, тоже с шеломистым навесом и резьбой, рядом качели для детей: качи-качи, качи-качи.

В лунном обманчивом свете подворье Солонича стояло словно сказочный дворец или сон колдовской, вздохни поглубже — и нет его.

— Когда тебя угомон возьмет? Ты дашь мне ныне покою? — спросила из хаты жена.

— Иду, иду... — ответил Чапурин.

Голову склонив на подушку и уже засыпая, он подумал, как трудно теперь Солоничу, в ночи, в маете бессонной.

Солонич и вправду не спал, но было ему вовсе не тяжело, а легко и счастливо.

Проводив Чапурина, он уселся письмо брату писать. Старший брат жил на станции, уже давно. Солонич написал коротко, чтобы дом приглядел не больно дорогой: за десять — двенадцать тысяч. Были такие деньги. Дом на окраине, чтоб скотину подручней держать, и земли побольше для огорода и сада.

Покончив с письмом, он обошел подворье, проверяя, все ли заперто. Луна поднялась высоко и светила ясно. Не хотелось спать. Курган за двором, молодая полынь на нем — отсвечивали серебром.

Солонич вышел со двора, на курган полез, но добрался лишь вполгоры. На макушке еще углядит кто, скажет, с ума сошел. Он залез вполкургана, сел на траву. О худом не думалось. Вспоминалось детство, молодые годы. Еще отцовская мазанка под курганом стояла. И здесь, вот здесь хороводились до утра. Солонич старенькой гармошкой раздобылся, наладил ее, заклеил. Играл, а девки припевали. Хорошие в ту пору были припевки.

Ох ты, Васенька-Васек,
Ты мне сердце все посек,
И посек, и порубил,
А сам другую полюбил.

Это про него, про Солонича.

Я — любила, ты — отбила,
Так люби облюбочки.
Так целуй после меня
Целованные губочки.

Это тоже не просто так. Это было. Даже сейчас за сердце берет.

Я иду, она колышется,
Зеленая трава.
Я пою, она не слышит,
Жура милая моя.

Разве не хорошо... Впервые за долгий день теплое проснулось в груди. Такое бывало не каждый день. Когда детишкам что-нибудь ладишь: качели, скворечню, какую-нибудь лопатенку, грабельки делаешь, а они глядят, ждут. Не видишь, а чуешь — и хорошо на душе.

Не вставая, Солонич потянулся, поглядел вокруг. Хутор и округу заливал лунный свет. Сияли крыши, поблескивали окна. Дома — словно новенькие, даже старой Чурихи флигелек светил, словно вчера беленный, а тополь-раина серебряным столпом уходил в небо.

Он брату письмо писал и прикидывал: как уезжать, что брать. Хотелось и лодку увезти, мотор бензиновый для полива, трубы, машинку, какой картофель перегонять на крахмал, он ее долго ладил, на весь хутор одна. Сани тоже не бросишь, телега, плужок... Да мало ли... Хотелось целиком поднять и унести все подворье разом.

А теперь, а сейчас об ином думалось. В лунной ночи лежали вокруг поля, тянуло от них хлебной сладостью, дышала пресным теплом речка, над ней пели соловьи. Тореные дороги и тропки бежали во все края. За речку, в займище. А там — колки березовые, дубы... Малые Городбища, Большие — вроде пески, кучугуры да вербовая гущина, а свое. Дальше — лес. На речке плесы: Инякин, Юдаичев, Фетисов, Щучий проран, Лесная Паника, где он рыбачить любил. На Лесной — тишина. Лист на воду упадет, и слышно. А луга... Ярыженская гора, Вихляевская, их балочки, падины: Митякина, Братская, Козинка, Калтуки... Покосы, где он из года в год... На все четыре стороны лежало дорогое, которого не забрать. Родина лежала, где он родился, вырос и хотел умереть. Да не вышло.

Утром Солонич написал объявление: «Продается дом Солонича, Провоторова Василия Аникеевича, на хуторе...» Это прозвище было хуторское — Солонич, еще от дедов. И теперь Солонич да Солонич, а фамилию знали не все.

Объявление получилось короткое, но понятное. Теперь дочка красиво напишет, он развезет и наклеит на магазинах в Дубовке, Борисах, Ярыженском, Дурновке, Мартыновском. Полетит молва.

Месяц спустя Солонич уехал с хутора. Под конец заказов было много, он и ночью работал, не хотелось людей огорчать, все свои. Но всего переделать он не успел. Многие потом горевали.

Бабки Чурихи в ту пору на хуторе не было. Она приехала от детей под осень. Приехала, узнала и всплеснула руками: «Господи! А кто же теперь на Святую нам на гармошке будет играть?» Смеялись над ней до слез. Кому что...

ФЕТИСЫЧ

Время — к полудню, а на дворе — ни свет, ни тьма. В окна глядит сизая наволочь поздней ненастной осени. Целый день светят в домах по хутору электрические огни, разгоняя долгие утренние да вечерние сумерки.

Девятилетний мальчонка Яков, с серьезным прозвищем Фетисыч, обычно уроки готовил в дальней комнате, там, где и спал. Но нынче, скучая, пришел он на кухню. Стол был свободен. Возле него отчим Фетисыча, Федор, маялся с похмелья: то чай заваривал, то наводил в большую кружку иряну — отчаянно кислого «откидного» молока с водой. Тут же топала на крепких ножонках младшая сестра Фетисыча — кудрявая Светланка.

Мальчик пришел с тетрадью и задачником, устроился за столом возле отчима.

— Места не хватило? — спросил его Федор.

— Я вам не буду мешать, — пообещал Фетисыч. — Вроде меня и нет. А за тем столом мне низко. Я наклоняюсь, и осанка у меня портится.

— Чего-чего? — переспросил Федор.

— Осанка. Это учительница говорит. Можешь спросить, если не веришь.

Федор лишь хмыкнул. К причудам пасынка он привык.

Вначале сидели молча. Фетисыч строчил свою арифметику. Федор пил чай и глядел в окно, где сеялся мелкий дождь на серые хуторские дома, на раскисшую землю. Сидели молча. Малая Светланка таскала из ящика за игрушкой игрушку: пластмассовую собаку, мячик, куклу, крокодила — и вручала отцу с коротким: «На!» Федор послушно брал и складывал это добро на столе. Горка росла.

Фетисыч скоро от уроков отвлекся.

— Хочу тебя обрадовать, — для начала сказал он отчиму. — Ты же вчера был пьяный, не знаешь. А я пятерки получил по русскому и по арифметике. По русскому — одну, а по арифметике — две.

Федор лишь вздохнул.

— Ты не думай, это непросто, — продолжал Фетисыч. — Одну пятерку по арифметике — за домашнее задание, а другую — по новой теме. Я ее понял, к доске вышел и решил.

— Заткнись, — остановил его Федор.

Фетисыч смолк. Снова повисла тишина. Светланка, мягко топая, таскала и таскала игрушки отцу. Горой они на столе лежали. Потом, заглянув в ящик, сказала: «Все», — и развела руками. И теперь пошло наоборот: подходила она к столу, говорила отцу: «Дай». Федор молча вручал ей игрушку, которую дочь несла к опустевшему ящику, и возвращалась к столу с требовательным: «Дай!»

Они были похожи, родные дочь и отец: кудрявые волосы — шапкой, черты лица мелковатые, но приятные. Отца старила ранняя седина, мятые подглазья, морщины — пил он в последнее время довольно крепко и быстро сдавал. А малая Светланка, как и положено, была еще ангелочком в темных кудрях, с нежной кожей лица, с легким румянцем — красивая девочка. Мальчишка же, Яков, что по характеру, что по стати был для Федора кровью чужой. Фетисычем его звали за разговорчивость, за стариковскую рассудительность, которая приходилась то кстати, а то и совсем наоборот. Как теперь, например, когда Федору с похмелья и без разговоров свет был не мил. Фетисыч понимал это, даже сочувствовал. Углядев, как отчим косит глазами на жестяную коробку с табаком-самосадом и морщится, он сказал:

— Хочу тебе предложить. Ты вот болеешь сейчас с похмелья. А ты наберись силы воли и брось сразу курить. Помучаешься, зато потом тебе будет хорошо.

— Это ты сам придумал? — спросил Федор.

— Конечно.

— Значит, дурак.

Пришла с работы, с коровника, мать Фетисыча — Анна, женщина молодая, но полная, с одышкой. Через порог шагнув, она присела на табурет, укорила:

— Сидите? Дремлете? А мамка ваша — вся в мыле. Опять на себе тягали солому и силос. Вся техника стоит.

— А бригадир чего же? — живея, спросил Федор.

— От него проку... Ходит — роги в землю, ни на кого не глядит.

— А Мишки Холомина «Беларусь»? Он — гожий.

— Мишкин трактор теперь один на весь хутор. За ним, как за стельной коровой, глядят. Говорят, на случай. Кто заболеет... Или за хлебом. Тетка Маня правду гутарит: надо быков заводить. Бык — скотина беспогрешная. Ни солярки ему не надо, ни запчастей. На соломке попрет.

Анна пришла в себя скоро: недолго посидела, прислонившись к стене, пожаловалась и, поднимаясь, спросила строго:

— А даже из печки не выгребли? Меня ждете? И угля нет?

Фетисыч, не дожидаясь, пока погонят его, резво подался в сарай, за углем. Вернулся он, как всегда, с новостями:

— Набирал уголь... Там глыба такая огромная. Я молоток взял и как ударил ее! Со всех сил! И вдруг — взрыв такой! Все осветилось! — Он вскинул руки. Глаза его сияли восторгом. — Там же темно. И вдруг — огонь! Синий такой!

— Ты, может, спичкой чиркнул? Поджег? — тревожно спросила мать.

— Нет. Я глыбу ударил — и сразу такой взрыв!

Федор молчком сходил в сарай и сразу вернулся.

— Чего там? — спросила жена.

— Как всегда, брешет, — махнул рукой Федор, а пасынку сказал: — Ты на рожу на свою погляди в зеркало, взрывник.

Но Фетисыч еще не все рассказал. Он вынул из кармана телогрейки четыре куриных яйца и сказал матери:

— Ты меня не ругай, ты прости меня. Я одно яйцо разбил нечаянно.

— Это уж как положено. Хорошо, хоть не все кокнул.

— Зато я сделал доброе дело: тетку Шуру обрадовал. Я из гнезда забрал яйца, там их десять было. Пять темных и пять белых. Я сообразил: у нас все куры красные, они темные яйца несут, а у тетки Шуры — белые, значит, ее куры у нас снеслись. Правильно я сообразил? А тетка Шура как раз во дворе была. Я ее и обрадовал, отдал пять яиц и сказал, что всегда буду белые яйца ей отдавать. Правильно я сделал?

Федор ухмыльнулся.

— Тебя кто за язык тянул? — досадуя, спросила у Фетисыча мать. — Тебе кто велел лезть в эти гнезда? Темные, белые... Грамотей. Либо тебе куры докладывают, какие они яйца несут? Знахарь... Она своих кур сроду не кормит. А мы вволю сыплем. Вот они и бегут на чужбинку. А ты ей — яйца. И она взяла, бесстыжая. А ты вечно суешь свой нос куда не просят.

Фетисыч все понял и молча убрался из кухни. Добро, что дом был немалый: три комнаты кроме кухни. Самая дальняя — его. В невеликой этой комнатке стол да кровать помещались, на стене — красочный плакат улыбчивого мускулистого мужика с квадратной челюстью и короткой прической, по фамилии Шварценеггер. Фетисыч когда глядел на него, то напрягался и зубы скалил. Но на Шварценеггера он был не очень похож. Во-первых, девять лет от роду. Во-вторых, стричься было негде. Отчим Федор мудрил порою над ним с машинкой да ножницами, оставляя челку на лбу и голый затылок. Получалось не очень внушительно: челка светлых волос, вздернутый нос, круглый подбородок — далеко до силача. Но Фетисыч тренировался. В школе на турнике подтягивался на пятерки целых шесть раз.

Через комнаты глуховато, но слышно было, как ругается мать:

— Это вы вчера рамы с медпункта пропили? Доумились?

— Разведка доложила?

— Доложила. Вот участковый прищемит — назад потянете. Курочат все подряд. Все на пропой, на пропой. А нам край надо бы возле кухни затишку постановить, как у кумы Таисы. В затишку — печку. Летом так расхорошо, не жарко. И курник стоит раскрытый. Шифера бы листов пять или досок, хоть горбыля. Люди во двор тянут, для дела, а ты...

— Пузырь поставь — и к тебе притянем.

— Да уж все растянули. Свинарник какой расхороший был, сколь шиферу, сколь досок. А в клубе, говорят, и полов уж нет.

— Полов... Вспомнила. Уж потолки снимают.

— Либо Рабуны? Они же кухню строить задумали. Рядом живут. Хозяева. А у нас курник раскрытый.

— Пузырь. И все будет! — оживился Федор.

— Да если в дело, я два поставлю.

— Это уже разговор.

— Бесстыжий... Для дома, для семьи, а ты готов...

— Это не разговор, — перебил ее Федор.

— Разговор, не разговор. Засели, как баглаи. Только и глядите, где бы чего украсть и пропить. Нет чтобы на ферму прийти да женам помочь, — корила Анна. — Бабы — в мыле, а мужики прохладничают.

— Вы задарма горбитесь — и мы пойдем рядом с вами. Коммунистический труд? Пошли они.

— Вот и пошли... А водку каждённо глотать...

Укоры были те же, что и вчера, и позавчера, и всю долгую осень.

А у Фетисыча уроки были сделаны, можно и в школу отправляться. Хоть и рановато, но веселее там.

Через кухонную толкотню, где суматошилась мать, понемногу наливался похмельною злостью отчим, и лишь кудрявая Светланка жила своей детской счастливой жизнью. Через все это Фетисыч пробился быстро и выбрался на волю.

Уже пошел декабрь, но долгая поздняя осень, словно грязная злая старуха, бродила по хуторам. Низкие набухшие тучи, морося, ползли и ползли, а то и висели над хутором, цепляясь сизым провисшим брюхом за маковки старых груш. По теплу, по лету, хутор тонул в садах. Теперь же

через голые ветви все насквозь было видать: от далекого Заольховского кута, который упирался в лесистое займище, до самого озера, с белым песком на берегу, с желтыми камышами. Весь хутор словно на ладони: серые нахохленные дома, сараи, базы, высокие сенники, просторные огороды. И тихо было на хуторе, пустынно: ни людей, ни машин. Одно дело — зябкая слякотная осень; другое — работы нет. Свиней давно на мясокомбинат сдали, овец раньше продали, коров один гурт неполный остался. Тут еще плотницкую да кузницу на зиму закрыли. А дороги развезло, и хлеб печеный не возят. То хоть возле кузни да плотницкой с утра народ толокся, на бригадный наряд в контору ходили, потом у магазина собирались бабы да старики, ожидая хлеб. Нынче все по домам сидят.

От дома Фетисьгча видна была и школа. Она лежала на въезде, вначале длинной, через весь хутор, улицы, по которой стояли бывшие клуб, медпункт, детский садик, почта, баня да магазины. Напрямую, дворами да проулками, до школы можно было добраться в два счета. Но обычно Фетисыч не спешил, выходя на улицу главную, мимо подворья многодетного Капустина, где день и ночь мотались на веревке детские штаны да рубашки. Фетисыч свистел, заложив пальцы в рот. И тут же во всех окошках появлялись расплющенные о стекло ребячьи носы. Шестеро детей было у Капустина. Старшей — девять лет, ребятам-двойняшкам — по восемь, дальше — вовсе горох. Еще один свист раздавался возле дома Башелуковых, для первоклассницы Маринки с прозвищем Кроха. И всё. Башелуковы жили на углу. Отсюда лежала по главной улице прямая дорога до самой школы.

За долгие годы улицу выездили, посередке тянулась глубокая лужа. Старый брехун Архип божился, что в разлив в эту лужу из озера карась заходит и можно его ловить. Лужа и летом не высыхала, зеленея. А уж теперь словно море была, топя заборы. Правда, заборов на главной улице почти не осталось. Дома казенные, брошенные, заборам ли уцелеть.

Всякий день на пути в школу Фетисыч наведывался в эти руины прошлого. Добро, что двери да окна в домах брошенных — настежь, а чаще — чернеют пустыми глазницами.

В бывшем медпункте, где и теперь пахло лекарствами, Фетисыч садился в высокое блестящее кресло. Оно вращалось. Крутнешься раз-другой — и дальше пошел. Клуб еще год назад стоял на запоре. Нынче — все раскрыто. Сцену разобрали, выдрали полы. Дед Архип ободрал дерматин с кресел и шил из него чирики. Красный цвет, он приметный. Полхутора в этих чириках щеголяли. В бывшем магазине можно было залезть в большой холодильник, прикрыть дверцу — и вроде тюрьма. Там же лежал на боку тяжелый запертый сейф. Его курочили, но так и не открыли.

Хуторская школа — длинное дощатое здание на высоком кирпичном фундаменте — когда-то была восьмилеткой. Директор, завуч, завхоз, учителя... Школьники с трех хуторов сходились. Ныне старая учительница Мария Петровна пестовала, кроме главного своего ученика Якова, трех Капустиных да Маринку Башелукову. В просторной школе топили одну печку на две комнаты: класс и еще одну рядом, под названием «спортзал», со шведской стенкой, трапецией да перекладиной. Уроки начинали по-своему, к полудню. Некуда было спешить.

Первым приходил Яков. Забирая ключ у технички, молоденькой тети Вари, которая напротив школы жила, он первым делом спрашивал:

— Натопила?

— Натопила, натопила... Иди проверяй, завхоз.

У школьного крыльца стояло корыто с водой, рядом большой сибирьковый веник, чтобы сапоги отмывать. Хотя потом в школе и разувались, меняя обувь, но на крыльцо грязь не тягали. За этим Яков следил. Он был официально назначен старостой и помощником старой учительницы и в школе чувствовал себя свободней, чем дома.

Пустое длинное здание с длинным коридором встречало тишиной и гулким эхом шагов. Две комнаты с общей печкой были хорошо натоплены, в классе зеленели горшки с цветами, пестрели на стенах рисунки, аппликации да вышивки — детское рукоделье. Три светлых окна глядели на хуторскую улицу.

Яков проверил печку и, усевшись за учительский стол, стал ждать. Голоса Капустиных, как только вываливала орава из дома, звенели без умолку, приближаясь. Школьни-

ков у Капустиных было трое, но обычно прихватывали довеска — шестилетнего Вовика, который ревом ревел, в школу просясь. А коли не брали его, то убегал из дому и приходил самостоятельно.

Шумно прибывали Капустины. Школа оживала. Вслед за ними, опаздывая, медленно поспешала первоклассница Маринка Башелукова — махонькая девчушка с большим красным ранцем за плечами. По теплому времени старые люди выходили глядеть на нее, когда она горделиво несла через хутор белые пышные банты на аккуратной головке. Глядели и вздыхали, вспоминая былое.

Так было и нынче. Яков через отворенную форточку приказывал:

— Сапоги чисто промывайте! Не тягайте грязь!

Собрались. Расселись за партами. Учительница Мария Петровна запаздывала. Как всегда в таких случаях, Яков открыл журнал посещаемости.

— Башелукова.

— Здесь, — тонко пискнула девчушка, поднимаясь. Она всегда была с белыми бантами в косичках, с белым отложным воротничком — словно городская первоклассница.

— Капустина.

— Здесь.

— Капустин Петр... Капустин Андрей.

— И я здесь, — отметился Капустин-младший, довесок.

В журнал его не положено было записывать, а хотелось — как все.

Марии Петровны не было. Яков решил сбегать к ней. Но прежде, чтобы не теряли зря времени, он дал задания: кому примеры, кому упражнения. А малышу Капустину вручил лист бумаги и велел рисовать. Все это было для Якова делом привычным. Старая учительница порой хворала, порой уезжала к дочери в райцентр, оставляя надежного помощника — Фетисыча. Он старался.

А жила учительница недалеко, в старом домишке, в каком жизнь провела. Яков отворил калитку и сразу почуял неладное: настежь были открыты все двери — коридорная, кухонная, сарая.

— Мария Петровна! — заглядывая в дом, позвал Яков.

В доме горел свет. Но никто не ответил.

— Мария Петровна! — окликнул он во дворе.

Старая учительница была в сарае. Она стояла, навалившись на угольный ящик. В полутьме Яков не сразу ее заметил, а потом бросился к ней:

— Мария Петровна...

Учительница была мертва и стала валиться на мальчика, как только он тронул ее. Яков с трудом, но не дал ей упасть. Ледяная рука, окостеневшее тело все сказали ему. Он прислонил мертвое тело к стене сарая и бросился вон.

Потом, когда к учительнице поспешили взрослые, он издали глядел, как ее заносят в дом. Он поглядел и пошел к школе. Он чувствовал, что озяб. Пробирала дрожь. У крыльца, отмывая в корыте грязные сапоги, он решил, что о смерти учительницы в классе говорить сейчас не станет. «Про уроки забудут, — подумалось ему. — День пропал, его не вернешь», — повторил он слова учительницы. И еще что-то, более важное, останавливало его: он не до конца поверил в смерть, какая-то последняя надежда теплилась — может, еще оживет.

В классной комнате было тепло, зелено от цветов и все — за партами, даже Капустин-младший.

Обычно, когда учительница, уезжая, оставляла Якова старшим, ребятишкам под началом его приходилось туго. Старался Фетисыч. Лишний раз не скажи, перемены — короче, точно в срок. Но нынче в тягость была чужая ноша.

Братья Капустины примеры по математике решили, и Яков добавил им еще одно упражнение. Маринка Башелукова, Кроха, тихо окликнула:

— Яша... У меня кончилось.

— Что у тебя кончилось?

— Букварь.

Яков подошел к ней. Все верно. Мария Петровна твердый знак с ней прошла. Хитрые слова «сел» и «съел». И как это бывало ранее: сначала — с ним, в прошлом году — с братьями Капустиными, — Яков сказал громко, повторяя слова учительницы:

— Давайте все вместе поздравим Марину. Она закончила свою первую книжку-букварь. Молодец, Кроха. Поздравляем тебя! Теперь ты человек грамотный.

— Ура-а!.. — вылетели из-за парт братья Капустины — невеликие, крепенькие, горластые.

— Ура! — поддержал их младший Капустин.

— Перемена! — объявил Яков. — Десять минут, — и первым было кинулся в класс соседний — спортзал, чтобы кольца занять и покувыркаться. Но опамятовался, когда старшая Капустина, его одногодка, тоже Марина, спросила:

— Яша, а Мария Петровна не придет?

— Не придет.

— Я к ней схожу. Может, сварить надо. Ладно?

Марина Капустина — старшая дочь в большом семействе — в девять лет уже хозяйкой была, помогая в делах домашних и учительнице, когда та хворала. Добрая девочка, рослая, чуть не на голову выше Якова, ровесника своего.

— Подожди, — остановил ее Яков, — уроки кончатся.

К перемене второй, «большой», как ее называли, на горячую плиту печки ставили чайник, а в жаркий духовой шкаф — блинцы ли, пышки, пироги — кто что из дома принес. Чайник запевал свою нехитрую песнь, закипая, и кончался второй урок. Накрывали клеенкою учительский стол и рассаживались вокруг. Так было всегда. Так было и нынче: пахучий чай с душицей, зверобоем да железняком. Варенье — в баночках. Домовитая Марина Капустина, словно добрая мамка, всем поровну делит:

— Тебе — блин, тебе — блин, тебе — блин, тебе — сладкий пирожок, тебе — пышку с каймаком. Ты же каймак любишь...

— Люблю, — тихо призналась Кроха. — У нас тоже Катька не ныне-завтра отелится.

— Когда отелится, гляди, ничего из дома не давай три дня, — наставительно сказала Марина-старшая. — А то узнает ведьма и загубит корову. Для них коров губить — первое дело.

— А кто у нас ведьма? — так же тихо спросила Кроха, теперь уже пугаясь.

— Раньше Карпиха ведьмачила, — ответил Яков.

— Карпиха, — подтвердила Марина-старшая. — Мамка рассказывала. Летось корова отелилась и мычит, бесится, куда-то рвется. Позвали деда Архипа, он в этом деле пони-

мает. Архип молозиво на сковороду и — на огонь. Помешивает и молитву читает. А мамке приказал: «В окно гляди. Кто пройдет мимо и его будет корежить, это — ведьма». Мамка глядит — точно, идет Карпиха и ее вправду корежит: то остановится, топчется, то кинется назад, то опять ко двору. Как кружёная овца. Значит, точно она.

Кроха слушала, про пышку и каймак забыв; зато братья Капустины под разговоры полбанки варенья опорожнили, накладывая кто больше, пока сестра не пригрозила им.

— Карпиха точно ведьмачила, — подтвердил Яков. — Она и померла по-своему. В самую пургу ушла к ярам. Туда ее черти призывали. Там и померла.

— А теперь кто у нас ведьма? — спросила Кроха.

— Кто-нибудь да есть, — твердо ответил Яков. — Надо приглядывать. Ведьмы грома боятся. Порчу наводят. В свежий след сыплет и приговаривает. И человек ли, скотина сразу на ноги падает. Ведьма в кого хочешь обернется. Вот тут, — показал он на печку, — на загнетке, на ножах перевернется — и в другой облик. Захочет в белого телка, или в рябую свинью, или в зеленую кошку. А через черную кошку, — добавил он, — всякий может невидимым стать. Хоть я, хоть кто другой. Рядом пройду — и ты меня не увидишь.

На него воззрились удивленно.

— Надо поймать черную кошку, но чтобы жуковая была, без подмесу, — учил молодых Яков. — Посеред ночи поставить казан на перекрестке, костер развести и варить ее. Да, кошку. Лишь по сторонам не гляди, а в котел. Вся нечистая сила слетится, будет шуметь, свистеть, кричать по-звериному. Не оглядайся. По имени тебя будет звать, вроде мамка твоя зашумит: «Петя!» А ты не оглядайся. Оглянулся — конец, — предупредил Яков. — А ты вари и помешивай, вари и помешивай. Нечистая сила вокруг воет, ревет, а ты свое дело делай. Останется в казане лишь мала косточка. Ее надо ощупкой, не глядя брать. Берешь и кладешь меж губ. Сразу тихота настанет. Нечистая сила — по сторонам. А ты сделаешься невидимым. Вовсе невидимым. В любой дом заходи, куда хочешь. И тебя не увидят.

— А у деда Архипа черная кошка, — сообщил самый младший Капустин-«довесок».

— Точно! — в один голос подтвердили его братья и переглянулись.

— Это все неправда, — поняв их мысли, сказала Марина-старшая. — Неправда ведь, Яша?

— Старые люди говорят... — пожал плечами Яков. — Перемена кончилась, — объявил он. — Давайте по местам.

Снова пошли уроки. Яков словно забыл о смерти учительницы: непросто было глядеть за ребятами, давать им задания, объяснять да и свое делать. После третьего урока Яков сказал Крохе:

— Марина, можешь домой идти.

Но Кроха, как всегда, отказалась. И стала готовить домашнее задание, на завтра. В школе было веселее, чем дома. В куликалки будут играть, прячась в пустых классах. Может, картошку напекут.

А за окном тянулась поздняя осень. Дождь временами переставал, а потом снова сеялся, и тогда затягивало серой невидью высокий курган за хутором, крутую дорогу через него. Лежала под окнами пустая улица, за ней — вовсе пустое поле на двадцать пять верст до центральной усадьбы, станицы Ендовской. А в край другой, через займище, десять километров до богатого хутора Алешкина, который при асфальтовой дороге стоял. Но те десять километров были длиннее: лежало поперек пути лесистое займище, да две глубокие балки — Катькин ерик и Кутерьма, да еще речка нравная — Бузулук. Будто и рядом хутор Алешкин, но брызнет дождь — на тракторе не проедешь, зимой в снежных переметах утонешь. А тут еще объявились ненашенские, с рыжим подпалом, волки, вроде из Чечни прибежали. Там стреляют, вот они и подались, где потише.

Про чеченских волков говорил не только старый брехун дед Архип, но сам лесничий Двужилов. Он видел этих волков не раз: поджарые, с рыжиной на брюхе.

И когда неделю спустя Яков надумал идти в хутор Алешкин, мать пугала его:

— По такой погоде... Черти тебя поджидают. Тем более — волки. Чеченские... Враз голову отхватят.

Яков стоял на своем:

— Пойду. Десять километров. Обернусь к обеду. Там наша Галина Федоровна, она всех знает, она найдет нам учительницу. А то так и будем сидеть.

— Натурный... — ругалась мать. — Бычок упористый... Потонешь в Катькином ерике... Там вода верхом идет. Переждал бы дождь... Люди поедут, я поспрошаю.

Яков слушал ее, но сделал, как всегда, по-своему: он ушел рано утром, лишь засерело. Поверх пальто от дождя натянул старый материн болоньевый плащ. И пошагал. А от волков отчим Федор дал ему две ракеты. Дернешь за шнурок — она стрельнет.

От хутора, мимо фермы, напрямую до самого займищного леса Яков продвигался вприскочку: пробежит — и пойдет потише, снова пробежит — и опять отдыхает на ходу. Нужно было скорей добраться в Алешкин, поговорить и успеть вернуться в свою школу, к ребятам, которые будут ждать его.

Хоть и умерла Мария Петровна, но каждый день в школу сходились. Выбирался Яков из дома, свистел возле Капустиных и Башелуковых. Техничка тетя Варя топила печь. И уроки шли, как и раньше: по расписанию, с переменами. «Чем по домам сидеть, лучше в школе, — так Яков решил. — А то пропустим, нам же и догонять». Все было как прежде, лишь без Марии Петровны. И нужно было искать ей замену.

Дорога была не раз хоженная и езженная: займищный лес, который то подходил к обочинам, и тогда остро пахло горькой корой и листвой, то отступал, пропадая в серой невиди. Порою вспархивали почти из-под ног куропатки с обрывающим сердце треском. И снова — тихо, угрюмо. Лишь дождевые капли шуршат по плащу. В пору погожую, хоть и колесит дорога, обходя низины да мочажины, хутор Алешкин виден издали на высоком берегу. Теперь — лишь серая мга, короткий окоем. Бурые травы, угрюмая зелень сосняка, раскисшая, налитая водой дорога, скользкие обочины — долгим кажется путь. И грезится всякое: какие-то серые тени в вербовой гущине, колыхнулись — и холодок в груди. Ищет рука картонный кругляш ракеты. Может, волки?..

Опять колесит дорога. Нынче ее не спрямишь, шагай и шагай. То обочиной, то колеей, выбирая, где легче.

Школа в Алешкине стояла посреди хутора, на речном берегу. Поднялся на бугор — и вот она: кирпичная, с высоким строением спортзала. При входе — раздевалка, а возле нее сидит уборщица и платок пуховый вяжет.

— Ты куда? — сразу признала она чужого.

— К Галине Федоровне.

— Она на уроке. Лишь начался урок, — сказала уборщица и воззрилась на сапоги пришедшего.

Но сапоги Яков до блеска отмыл у входа, придраться не к чему. Лишь с плаща капало.

— А вызвать ее можно? Я по делу.

— И она не гуляет. Жди, — постановила уборщица.

Коридор алешкинской школы был просторный и нарядный: много зелени, на стенах большие стенды с фотографиями. Но ждать было не с руки. Урок — чуть не час, а дом Галины Федоровны — рядом. Туда Яков и подался.

Старая баба Ганя признала его и встретила как родного:

— Моя сынушка... Откель? Весь промок. Либо пешки?

— Пешком, баба Ганя, пешком.

Баба Ганя не изменилась, той же живостью светили за стеклами очков глаза.

— Ты либо с матерью пришел, в магазин?

— Один, баба Ганя. Мне Галина Федоровна нужна.

— Скоро надойдет она. Кончится урок, надойдет. Раздевайся. Сушись. Грейся у печки. А я скотине задам, будем завтракать.

— Я помогу, — сказал Яков и, не дожидаясь согласья, снял с вешалки рабочую телогрейку. — Ты лишь говори, баба Ганя, где у вас чего...

— Моя сынушка, да ты прямо хозяин... — поспешая за молодым помощником, нахваливала баба Ганя.

Якову же домашние заботы были в привычку: курам — зерна, корове да козам — сена, свиньям — запаренного корма. Тем более что подворье директорши было устроено: не плетневые катухи, а кирпичные, под шифером стойла в один ряд. Вода — из крана. Сенник, закрома, скотья

кухня — все рядом. И не лужи да грязь на базу, а бетонные дорожки. Так что труды были невеликие. Управились скоро.

Баба Ганя накрывала на стол, а Яков дом успел осмотреть, комнаты его: кабинет с книжными полками во всю стену, горницу с креслами и диваном, с телевизором и видиком.

За завтраком он выкладывал старой женщине хуторское:

— Тетка Варя и бабка Наташа живые. Дед Андрей в больнице лежал, на станции. Но еле ходит. А Мария Петровна наша померла, — сообщил он главную новость.

— Какая беда... Да как же...

К той поре поспела и директорша школы, Галина Федоровна. Услыхав о смерти учительницы, она даже всплакнула:

— Господи... Как мы ее любили... Так вас и пестала до последнего. А схоронили где?

— В райцентре, дочка забрала, — сказал Яков и повернул на свое, ради чего и шел: — Она померла, а мы остались ни с чем. Пятеро учеников: трое Капустиных, Башелукова, я. А учить нас некому. Может, вы нам поможете, найдете учительницу?

Завтракали и слушали Якова.

— Как она померла, сообщили в сельсовет, оттуда в районо. Там велели перевести нас в Ендовку, на центральную усадьбу. Мы и поехали туда с дядей Витей Капустиным. У него трое в школу ходят, и Вовке на тот год идти. Поехали. Трактором едва добрались. Думали в интернат устроиться. Там большой интернат, двухэтажный. А его закрыли.

— Сейчас их везде закрывают, — вздохнула Галина Федоровна.

— Закрыли и там. В школу нас берут, пожалуйста. А как добираться? Колхоз не будет возить. Горючего нет, и вся техника поломана. Говорят, становитесь по квартирам. А квартиры в Ендовке — с ума сойти. Сдурели хозяйки. По сто тысяч требуют. Капустин как услыхал, за голову схватился. Он где такие деньги возьмет? Тем более за троих. Опупеть можно. У него зарплата — сто тысяч не выходит. И тех не дают с лета. Плюнул. Пусть, говорит, дома сидят. А Маринка Башелукова, та и вовсе — кроха. Куда ее отпустят родители? Она у них одна при двух бабках. Те сразу с ума сойдут. Вот и все... И как хочешь... Учительницу бы нам найти, — попросил он.

Галина Федоровна, оставив еду, слушала. Она была еще молодая, но полная, при золотых очках, коса на голове короной — настоящая директорша.

Возле дома затарахтел мотоцикл и смолк.

— Отец наш приехал, — объявила Галина Федоровна. — Завтракать.

— Галина! — раздался из коридора голос. — Я пойду со скотиной управлюсь. Ты не давала им?

— Нет.

— Управились мы, управились в четыре руки с помощником, — горделиво сообщила баба Ганя. — Накормили и напоили.

— Молодцы! Кто у тебя в помощниках?

Муж у Галины Федоровны был тоже нестарый, но при черной бороде — по новой казачьей моде.

— Это чей такой? Либо землячок?

— Угадал.

— Спасибо, земляк. Мне легче жить.

— Предлагаю вам красную лампочку ввернуть в курятник, — сказал Яков. — Я в журнале читал, в «Науке и жизни». Куры лучше несутся при красном свете.

— О! — удивилась Галина Федоровна. — В «Науке и жизни»? Надо попробовать.

— Ввернем, — пообещал ей муж. — Какие еще будут предложения по ведению хозяйства?

— Козам пора гречишной соломы понемногу класть, — шутки не принимая, сказал Яков. — Скоро пух щипать. От гречишной соломы коза пух хорошо отдает.

— В журнале, что ли, прочитал?

— Дед наш всегда так делал. А без гречишной соломы потом трудно пух щипать.

— Правильно гутарит, — поддержала баба Ганя. — Делали так.

— Что ж, привезем гречишной соломы. А то ведь и вправду щипать их несладко.

Отзавтракали. Хозяин присел на корточках возле устья печки, подымить. Якову сварили напоследок кружку пахучего какао, печенья да пряников положили.

— Мария Петровна умерла, — сказала мужу хозяйка. — Школу у них закрывают. Нет учителя. А у нас в Филоновской никого нет? — задумчиво спросила она не столько мужа, сколько себя. — Татьяна Петровна на пенсии, она не пойдет. Надо из молодых. Тамара Максимова в Михайловке в педучилище, на каком курсе? Ее мать как-то спрашивала меня про место. Надо поговорить с ней. У них отца нет, сестренка младшая. На заочное можно перейти и работать.

— Не могла наша Петровна чуток потерпеть, — со вздохом попенял Яков. — Конечно, старая. Но хоть бы до зимних каникул доучила. А не... Неделя прошла. Так и месяц пройдет, и зима. На второй год оставаться?

Так искренне было это мальчишечье, детское огорчение, что баба Ганя пожалела:

— А ты живи у нас. Школа — рядом. И мне будет с кем погутарить.

Предложение было неожиданным. Яков вскинулся и поглядел на Галину Федоровну и мужа ее.

— Живи, — подтвердил приглашение хозяин. — Лампочку красную в курятник ввернем, куры усиленно занесутся, харчей хватит. — Ему понравился этот мальчишка. Свои сыновья этой осенью в город уехали: старший — в институт, младший — в техникум. Стало в доме непривычно пусто. — Живи, — повторил он.

Мальчик не мог ничего ответить, лишь глядел на Галину Федоровну, понимая, что последнее слово за ней. Она поняла его, сказала мягко:

— Живи. Комната свободная есть. С матерью я поговорю.

У Якова сердчишко колыхнулось от неожиданной радости. Поселиться в доме директорши, учиться в настоящей школе со спортзалом, где и зимой в футбол играют. А уж народу там... Школа своя вдруг увиделась в настоящем свете: пустой дряхлый дом со ржавою крышею, один-разъединый класс, Капустины да Кроха. Алешкинская школа — дворец. А дом Галины Федоровны... Это не пьяный да похмельный отчим да мать с ругней: «Замолчи... Прикуси длинный язык...» Здесь — книг полная комната, все стены в полках.

— Я обещал к обеду вернуться, — сказал Яков. — Мамка ждет.

— Конечно, конечно, — одобрила Галина Федоровна. — Сходи. Матери скажи. Я напишу ей записку. — И мужа попросила: — Ты куда едешь? Может, подбросишь его?

— До хутора не пробьюсь. Через ерики не пройдет мотоцикл. Там круто и развезло теперь.

— Не пройдет, — подтвердил Яков.

— Но до ерика довезу. Собирайся.

До Катькиного ерика — глубокой, с крутыми склонами балки с мутным ручьем по дну — могучий мотоцикл «Урал» докатил быстро. А далее, перебравшись через ерик, Яков словно на крыльях летел. Ни дождь, ни грязь не были помехой. Дорога к хутору была уже дорогой к новому, к завтрашнему, дню, когда он уйдет в Алешкин, в тамошнюю школу, к Галине Федоровне.

По-прежнему моросило. В займищном голом лесу было тихо. Даже воронье убралось к жилью человеческому, к теплу. До ночи, до своей поры дремали на лежках сытые кабаны. Рыжий, уже выкуневший лисовин, издали заметив мальчика, замер и не таясь переждал, пока он пройдет. Пара тонконогих косуль легкими скачками ушла от дороги. По мокрой земле и листве скачки были бесшумными. Мелькнули белые подхвостья — и нет их.

Яков по сторонам не глядел. Он на хутор спешил, где ждали его.

Через дом родной он промчался, не успев похвалиться. Мать с отчимом на базах управлялись со скотиной. Ухватив сумку, Яков подался в школу, гадая: как там без него? И если в долгом пути на хутор ничто не омрачало нежданно свалившегося на него счастья, то теперь пришло на ум иное: он уйдет, а Капустины с Крохой останутся. Что будет с ними? И что со школой? Радость гасла. А уж о том, чтобы в школе похвалиться, и вовсе не стоило думать. Молчать надо было до поры. Но до какой?

В классе все были на месте и, будто за делом, ждали, что скажет он.

— С Галиной Федоровной повидался, — доложил Яков. — Обещала найти учительницу. Есть у нее на примете. —

И разом перешел к учебным делам: — Кто должен заполнять настенный календарь природы? Капустины, ваша обязанность? Почему не заполнили? И разом давайте тетрадки по природоведению. Задано было: живая и неживая природа зимой. Жизнь домашних животных, жизнь диких животных, труд людей... Все вопросы страницы пятидесятой и пятьдесят первой. У Маринки погляжу домашнее — и вас буду проверять и спрашивать. Надо учиться, а не сидеть зря. Придет новая учительница, а все отстали. А цветы не политы, — попенял он старшей Маринке. — Совсем свяли. Вон в алешкинской школе сколько цветов... Они не забывают.

Ворчливым упрекам своего старшего ребята даже обрадовались. Без Якова было пусто. А теперь по-прежнему все пошло: класс, уроки, строгий Фетисыч, словно смерть учительницы ничего не изменила в их жизни.

— А что отмечать? — забурчали братья. — Дождь да дождь.

— Вот и отметьте условным знаком дождь и температуру проставьте.

Легко поднялась старшая Капустина, стала поливать цветы. Затаив дыхание дожидалась у раскрытой тетрадки с домашним заданием первоклассница Кроха. Ждала, когда Яков подойдет к ней и сядет рядом. Все пошло по-обычному.

Но гость редкий, нежданный — колхозный хуторской бригадир Каледин — уже обмывал возле крыльца сапоги. Из класса его увидели — и стали ждать.

А бригадир вначале обошел школу, пустые ее комнаты, где стояли столы и скамейки, висели на стенах портреты писателей да ученых, настенные планшеты, стенды: «Наши отличники», «Колхозные ветераны», «Они защищали Родину». Каледин когда-то учился здесь, и дети его через эти стены прошли, а с фотографии глядели лица знакомые. Кто-то теперь повзрослел, постарел, а кто-то и умер. Но жили вместе долго.

Наконец бригадир пришел в класс. Навстречу ему поднялись все разом.

— Сидите, сидите, — махнул он рукой и похвалил: — Тепло у вас, хорошо. Цветки цветут.

Он снял долгополый намокший плащ, телогрейку, оставшись в пуховом, домашней вязки, свитере. Яков было

пошел от учительского стола к своей парте, но бригадир остановил его:

— Сиди. Ты же теперь за старшего. Учитесь? — спросил он.

— Учимся, — ответили нестройно.

Бригадир был человеком суровым, немногословным, его в хуторе боялись.

— А может, вам у Башелуковых собираться? — спросил он. — Хата большая, теплая, и они не против.

У Якова перехватило дыхание.

— А библиотека? — бледнея от волнения, показал он на шкафы с книгами. — А наглядные пособия? А уроки физкультуры? Комиссия какая приедет, и будем не числиться. А беженцы, какие места ищут? Подъехали. Есть школа? Вот она, — убеждал он бригадира. — Значит, можно жить. А увидят замок — и развернутся.

— Верно, верно... — успокоил Якова бригадир. — Это я так, попытал... Будет Варя топить, приглядать. Дров напилим. А там учительницу найдем.

Бригадир и в прежние годы не больно разговорчивым слыл, а ныне, когда все вокруг прахом шло, он и вовсе стал молчуном. На людей не смотрел, ходил — «роги в землю». Но здесь, в школьном классе, глядя на ребятишек, на кипенно-белые банты в косичках крохотной Маринки Башелуковой, он как-то оттаивал, теплело на сердце. И ничего ребятишки от него не требовали, как все иные: ни работы не просили, ни денег, а просто глядели на него. И было приятно.

Карапуз Капустин вылез из-за парты с листом бумаги, не торопясь подошел к бригадиру и показал ему свое художество, сообщив:

— Это я сам нарисовал.

— Здорово... — похвалил бригадир, разглядывая рисунок с цветами, деревьями и красным трактором.

Отогревшись, он стал одеваться. На прощание Якову руку пожал.

— Держись, Фетисыч. Учительницу найдем. А пока на тебя надёжа.

Он ушел. На воле по-прежнему моросил дождь и не было просвета. В окне класса желтел электрический свет. Он помнил, как два года тому назад закрыли детский сад. Но

целых два месяца, пока не настали холода, ребятишки собирались в пустом доме, играли. Они ведь привыкли — гуртом, словно телята.

В школе ребята, как обычно, пробыли четыре урока. потом все вместе ушли, расходясь не сразу. Проходили не улицей, а через разбитые дома, что тянулись вдоль улицы. На воле — дождь. А там, хоть и окон-дверей нет, а потолки еще целы, не каплет. Покрутиться на вращающемся железном кресле в медпункте, залезть в глухую пещеру пустого холодильника, что стоял в магазине. А в клубе поиграть в прятки, хоронясь в будке киномеханика, в библиотечной комнате, в длинном коридоре. Помаленьку, но приближались к хатам своим.

Вернувшись домой, Яков вдруг понял, что день кончается, а все осталось как прежде: ни матери не сказал, ни ребятам, что уходит в Алешкин. С матерью было легче. А вот с ребятами...

Дома все было как обычно: тихая Светланка, не пьяный, но крепко выпивший отчим, потом с фермы вернулась мать.

У Якова позади лежал долгий день, и его морило, тянуло ко сну. Он прилег, чтобы вздремнуть, и разом уснул, мать его с трудом растолкала к ужину. За столом он сидел молча.

— Тебя ныне бригадир видел? — спросила мать.

— Он в школе у нас был.

— Охваливал тебя. На ферму пришел, не ругался. Либо выпил чуток... Мы к нему приступом, а он головой покачал: «Бабы, бабы, — говорит. — Я бы сам закричал по-пожарному и убег не знаю куда...» Тебя до двух раз похвалил... — И вдруг она вспомнила главное: — В Дубовке колхоз распускают. Районное начальство приехало, говорят, все, забудьте про колхозную кассу, расходитесь и сами об себе думайте. Спасайтесь своими средствами.

— И правильно, — одобрил Федор. — Поделить всё.

— Вы уже поделили... Шалаетесь, как бурлаки... Все тянете. Колхоз хоть плохой плетешок, а все — затишка. Обещают овечками выдать зарплату. Может, дадут...

— Куда этих овечек. Сено травить?

— Резать да на базар.

— Сама повезешь.

— А вот Виктор Паранечкин возит. Берет у людей по дешевке и везет, торгует. Паранечка им не нахвалится.

— Перо ему в зад. А мне гребостно на базаре стоять. Мне лучше сутки в тракторе, безвылазно... Чем стоять кланяться всем.

— А шалаться — не гребостно...

Для Якова эти разговоры были известными. Кончались они одним — ругней. От стола он ушел к телевизору, потом возил маленькую сестру на закорках, изображая коня. Ржал он по-настоящему, на всю хату. А потом снова потянуло его ко сну.

Он уснул и проснулся уже ночью, во тьме. Словно ударило его. Он видел во сне день прошедший: школа в Алешкине, директорша Галина Федоровна, бородатый муж ее, баба Ганя. Вроде виделось доброе, а проснулся в испуге. Они ведь ждать его будут, а он не придет. Прийти он не мог, потому что нельзя было оставить свою школу. Тогда там все кончится, рухнет. Не будет уроков, повесят замок, цветы померзнут. А через неделю — это Яков знал точно — школу разгромят. Сначала вынут стекла. Говорят, они дорогие. Потом снимут двери, окна выдерут. И пойдут курочить. Первое время — по ночам, таясь. А потом среди бела дня, наперегонки, кто быстрее успеет. К Новому году от школы останется лишь пустая коробка с черными проемами. Так растаскивали клуб, детский садик, медпункт. Так будет и со школой.

Без него все пойдет прахом. Ни Марина Капустина, ни братья ее, ни тем более Кроха без Якова ничего не смогут. Лишь он знает, как тетради проверять, ставить отметки. Его Мария Петровна учила.

То, что прежде было гордостью мальчика, стало вдруг горем. Потому что нельзя было уйти в Алешкин, к Галине Федоровне. И от бессилья что-либо изменить Яков заплакал. Он плакал редко. «Бычок упористый...» — говорила мать. А теперь хлынули слезы, и казалось, не будет им конца. Горячие, волна за волной, они накатывались из груди. И мальчик плакал и плакал, пока не уснул.

Снова снилась ему школа, теперь своя, но такая похожая на алешкинскую: с просторными светлыми коридорами,

с плетучей зеленью по стенам и потолку, со стеклянной оранжереей. И будто он, Яков, вел по школе и показывал ее своей старой учительнице, Марии Петровне. Учительница ахала, удивлялась и хвалила Якова: «Молодец...» А вокруг шумела детвора. Много ребят. И за стенами школы, на хуторской улице, было людно. Просто кипел народ, как на базаре. Голова от людей кружилась. А Мария Петровна все хвалила Якова и хвалила: «Молодец, молодец...» — и гладила его по голове горячей ладонью. Было сладко на душе от этих похвал, слезы подступали. И Яков не сдержался, заплакал. А горячая ладонь гладила голову мальчика и лицо, вытирала слезы, и добрый голос шептал и шептал: «Ну чего ты, сынок... Ну чего ты плачешь... Ну проснись, не плачь...» И горючие слезы душили слезную влагу.

Это мать, сердцем почуяв тревогу и боль, услышала и пришла, сидела на краю постели сына и не хотела резко будить его, боясь испугать, и шептала:

— Я здесь, мой сынок... Не плачь... Ну не плачь...

А за окном менялась погода. С вечера прежде обычного смерклось. Дождь пошел сильнее, гулко барабаня по крышам. Но с вечера же явственно потянул холодный северный ветер. И вдруг в ночи застучала по окнам ледяная крупа. Не та снежная, белая, словно пшено. А ледяная склянь. Это шел дождь и замерзал на лету. Секло и секло по окнам, словно шрапнелью. А потом пошел густой снег. К утру насыпало его по колено.

К рассвету прояснилось. Заря вставала уже зимняя, розовая. Хутор лежал вовсе тихий, в снегу, как в плену. Несмелые печные дымы поднимались к небу. Один, другой... За ними — третий. Хутор был живой. Он лежал одиноко на белом просторе земли, среди полей и полей.

ХОЛЮШИНО ПОДВОРЬЕ

1

На Рождество с Холюшиного подворья увели двух ярок да большого пухового козла, с него на четыре платка за раз начесать можно было. Козла-то с база забрали, но далеко не повезли, освежевали считай что на месте. Тушку оставили хозяину и на высокий заборный кол надели страшную козлиную голову. Холюша на утро следующего дня обошел свое хозяйство и, не скупясь, по старинному обычаю, оберегая дом и худобу от недоброго глаза, каждую самую малую дверцу и окошечко, каждую щелку меловым крестом оберег. А у него было, было что беречь.

Лежало Холюшино подворье на краю хутора. Приземистый круглый дом под жестью — когда-то лучший в Вихляевском — сейчас одряхлел и понемногу уходил в землю, топорщась рогатой телевизионной антенной. Спереди, от красного крыльца, и сзади, от чуланов, громоздились друг за дружкой базы, сараи, кухни и другие постройки. И, смыкаясь, ровным четырехугольником обступали они просторный двор. А на базах не ветер шумел, а жила и плодилась скотина: добрая корова-ведерница, от нее же телка-двухлетка, летошний бычок зимовал, нагуливал мяса; на козьем базу хрумтели сенцом десяток коз да козел Ерема, а с ними шесть овечек. Мирно похрюкивали подсвинки. Два десятка гусынь днями вперевалку бродили по двору или серыми валунами лежали на грязном снегу. Распускали жесткие хвосты и крылья, чуфырились два индюка, наливались кровью, а временами лениво бились перед добрым табунком сытых, подбористых индюшек. Здесь же галдели утки, греблись куры, которых стерегли два петуха, белый и рыжий. Меж собой петухи ладили — сударок хватало, чужих били в кровь.

На забазье чернели высокие пирамиды друг к дружке прислоненных жердей, по-местному — костры. Там же высился добрый скирд сена. Ниже лежал огород, наверное, самый большой в хуторе. За ним, на обережье, старый сад с покосом. Уж ему-то равных не было во всей округе.

Просторное Холюшино поместье слева и в задах дугой окаймляла невеликая речка. Подле самого дома она разливалась широким плесом. Его так и звали — Холюшин плес. С весны до осени стоял здесь содомский галдеж: сотни птиц, гусей и уток жили тут и кормились.

Еще недавно, лет пять назад, а может, и десять, все долгое лето бродила по мелкому плесу горбатая усохшая старуха с хворостиной, в подвязанной юбке. Это была мать Холюши, она обычно птицей занималась. Но теперь мать умерла, и жил Холюша один. И он уже не поминал, и редко кто на хуторе помнил, что прежде жили в этом подворье Вихлянцевы, крепкая семья: отец, мать, трое сыновей и дочь. Это с тех времен и стоял круглый дом под жестью, остатки тех просторных базов, катухов да сараев. Сад и покос, огород, просторный плес были еще тех времен, далеких-далеких. Но сколь много вмещается в долгую человечью жизнь: две большие войны, скитания вдали от родного дома в гиблых песках и много другого, несладкого, но помельче, которого уже и не держит память.

И сейчас на хуторе, в старом вихлянцевском доме, жил Холюша, по паспорту Варфоломей Вихлянцев, инвалид с деревянной ногой, семидесяти лет от роду.

Теперешняя зима выдалась доброй. После Рождества еще снежку подвалило, а с Крещенья небо разъяснело и встали морозы. По утрам, спозаранку, придавая холоду, стылым светом светил иверень луны. Румяное от мороза солнце поднималось нехотя, высвечивая розовым ровнехонькие и высокие столбы печных дымов. А под вечер оно сдобным колобом валилось в желтый густой морозный туман и пропадало до утра. И всю долгую ночь праздничным царским платом полыхало над стылой землей огнистое небо. Играло и полыхало, словно в единый остатний раз. А поутру, прежде ленивого солнца, поднималась белая ледянка луны, чтобы добрым людям легче было на базу управляться. А чуть позднее у кузни, на огромном жестяном противне, механизаторы зажигали солярку. Большое багровое пламя лениво колыхалось. Черный густой дым тучей висел над округой. Стояли крещенские холода, по закону.

В один из таких морозных дней чистил Холюша коровий баз. Короб на легких деревянных санках доверху нагрузил и потянул его в огород, к навознице. Полдороги прошел и вдруг остановился: путь ему пересекал чужой след. Постоял над ним Холюша, подумал: «Кто же тут шалался?» Потом поспешно санки к навознице отволок, опорожнил их и вернулся назад.

След был человеческий. И недавний. Вчера его тут не было. Холюша пошел по следу. «Может, кто из соседей? Может, Мишка?— лихорадочно думал он, и взгляд его бежал по цепочке следов. — А может, пьяный кто? Заблудился?»

Следы вели прямиком к базу, к городьбе. Не к дому и не к задним, огородным воротцам, а просто к городьбе. Вот постоял человек, потоптался, двинулся дальше. Вот в сторону отошел — это Цыган его пугнул. Холюша поднял голову.

Черный кудлатый кобель Цыган, вскинувшись на плетень, внимательно глядел на хозяина.

— Гости у нас были, — сказал ему Холюша. — Ночью, видать... Кто был? Скажи.

Цыган зевнул, клацнул зубами, ничего не ответил.

— У-ух, глупомордый...

Ночной гость отошел от плетня, Цыгана, видно, напугавшись, и чуть подалее, у козьих катухов, снова подошел ближе. Так, об самую стенку, он и пробрался до угла. А затем вернулся, но не прежним ходом, а напрямую подался, к сеннику, и шаг его был шире. У сенника следы сошлись, здесь было натоптано, словно еще один человек стоял в затишке. И теперь следы явно не одного человека потянулись голубой цепочкой к садам, к речке.

Вот теперь-то Холюша по-настоящему забоялся. Но, отговаривая себя от дурного, чтобы не накликать беду, он пошел рядом со следами, которые тянулись через весь огород, потом уклонились вправо, к старым вербам, возле них речку пересекали и вовсе уж на дурнину потянули через высокие снежные наметы возле колючей терновой городьбы, напрямую.

Напрямую полез и Холюша. В сапог здоровой ноги набился снег. Деревянную Холюша с трудом тащил через сугробы. Через цепучую городьбу не смог пролезть, взял

левее и уже по пояс в снегу, словно в тяжелой воде, медленно прогребался, оставляя после себя широкую борозду. Наконец он выбрался. Здесь, наверху, на луговине, снег лежал мельче, его к речке сдувало. И легче было идти.

Еще издали Холюша увидел то, чего боялся, но и зачем шел.

Когда следы от усадьбы, от сенника потянули к речке, к садам, к нежилым зимой местам, Холюша сразу понял, что не зря оттуда приходили люди и туда ворочались. Не иначе как ждали их.

Так и было. Был санный след с петлей разворота. И яркая на белом снегу желтизна конской мочи. И людские следы. И все это за речкой, на глухой по зимнему времени луговине. И нечего было себя дурить: не пьяный и не сосед, не заблудивший случайный человек приходил ночью. Нынешней ночью приезжали на одноконных санях. Приезжали опять к нему, к Холюше. Конечно, не гостевать приезжали.

И снова, теперь уже по санному следу, пошел Холюша, хотя можно было никуда и не ходить. Санный след, держась вдоль речки, должен был вывести к мосту, к накатанной дороге и там затеряться. Холюша знал это. Но он все равно прошел до моста, потыркался на дороге, силясь разглядеть что-то, и повернул домой. Возвращаясь, он все время оглядывался; на бугре, уже в хуторе, остановился и долго глядел вдаль, в белое поле, где пропадала дорога, и белая земля пропадала, сливаясь с дымчатой белесью зимнего неба.

Холюша не знал, что ему делать. Хотелось бежать куда-то, кому-то говорить, жаловаться, защиты просить. Но у кого? Участковый Парыгин где-нибудь по округе мотается. Его и летом не сыщешь, а уж зимой зальется на какой-нибудь хутор... Бригадир — тоже не помощник. А и позовет милицию, так она не приедет. Мало ли, скажет, каких следов по хуторам. На каждый не насмотришься.

С такими мыслями и подошел Холюша к своему двору. Но идти домой не хотелось. И он, подумав, к магазину решил податься. Там всегда людно.

Но тут, к счастью, разом две бабы к водопроводной колонке пошли: Мишки-соседа и Феклуша Попадейкина. Холюша заспешил к ним.

— Девки! — начал он еще издали. — Ныне опять по мою душу приезжали.

Подойдя к колонке и пристукнув об наледь железным наконечником деревянной ноги, чтобы прочнее стоять, Холюша принялся рассказывать. Бабы раскрыли рты и охали:

— Гос-споди...

— Ты погляди...

Подробно все рассказав, Холюша закончил:

— Во какая беда... И не прибьюсь умом ни к чему... Куды идти, кому жалиться...

— А откель они взялись, дядя Холюша, как ты располагаешь?

— И туды, девки, прикидывал, и сюды... А не возьму в ум... На дорогу убрались, и всё. И знаку об них нет.

— В милицию сообчи, — приказала Феклуша. — Срочно. А то... Так вот чекалдыкнут... И позныку не будет. Где и кто... Срочно сообчи.

Холюша согласно головой кивнул и горестно сказа́л:

— А чего?.. И чекалдыкнут... Зажмурки живем... Не ведаем. Ныне не схотели, завтра придут.

— О-ох, — догадавшись, всплеснула руками Мишкина жена. — Дядя Холюшка, это он был... Он... — шепотом проговорила она и огляделась.

— Как? Кто?..

— Вчерась Мишка угля привез, из районy. Темно уже приехал. С Николаем Инякиным. Привезли угля и уж где-то приложилися. Не дюже, но пьяные. И давай им еще, ставь бутылку. Ну, я им, по-хорошему, нацедила, щей влила, чтобы по-людски. Они выпили и въелись: давай еще да давай. И пристали, и пристали. Я их как шурану, идите, говорю, отседова. Ничего вам не будет. Ну, они пошли, вроде машину отгонять. И помину нет. Ждала своего, ждала... Среди ночи заявляется. Открыла ему, вышла, а с крыльца-то гляжу, от твово база человек показался. Прям по снегу-то, вижу, человек идет. Я как зашумлю: «Николай! Ты где идешь?! Цельный день колобродите! Не напилися! Не нагулевалися! Иди счас домой, спать будем». Это, я думала, Николай Инякин снова пробирается, выпить... А Мишка: «На кого шумишь?» — «Да на дружка на

твово... А то не вижу, хоронится». Он повернулся и побег к нему, да зашумел так резко: «Коля!» А я его догнала, и зачалась у нас ругня. — Она смолкла и уже иным, осторожным голосом сказала: — Должно, он был?.. Прям от забазья... На снегу-то видно явственно.

— Он, — глухо сказал Холюша. — Ты, девка, Мишке перекажи, пускай ружье зарядит. Чуть чего, я зашумлю, пусть прям бегит и стрелит. Перекажи.

Постояли еще, посетовали и разошлись.

Холюша в контору сбегал. Управляющего не было, пришлось обсказать все учетчице, и та обещала в милицию позвонить.

От конторы Холюша повернул было к магазину, встретить еще кого, пожаловаться, но вдруг словно в голову его кто ударил: «Чего я, дурак, мыкаюсь, а на базу недоглядел... Може, уж нет какой козы или овечки... А може, из каморы унесли чего...»

И Холюша заспешил домой. Резко скрипел и хрумкал утоптанный снег, поддаваясь железному наконечнику деревянной ноги. А сама деревяшка, как всегда при быстрой ходьбе, легко порхала в сторону, описывая полукруг и снова со скрипом вонзаясь в укатанное снегово дороги.

Во дворе Холюша сразу кинулся к погребу — там замок целый был, в каморе сало проверил, мясо. Хоть с утра и брал в закроме зерно, но не удержался, поглядел — вроде не тронуто. Тогда он на козий баз пошел, овечек да коз считать. Но все были на месте.

Холюша задержался на базу. Оглядел животину, порадовался: овечки сытые, на спину ложись — не скатишься, густая чистая шерсть кольцами лежит — хорошая волна. И козы неплохие. Холюша Белобокую ухватил, пощупал вымечко. Налилось уже. На днях должна была Белобокая котиться. Заодно и других Холюша проверил. У них ведь как может быть: не ждешь, вроде малое вымечко, а вдруг за день-другой откуда что и возьмется. А по таким холодам чуть проморгаешь, и замерзнет козленок.

Последней проверял Холюша Белоухую. Эту козочку нужно было беречь да беречь. В прошлом году он ее за большого козла выменял, за Фому, да еще додачу дал и магарыч

ставил. Но Белоухая этого стоила. У нее пух был редкостный: темный, но с каким-то, вроде голубым, отливом. А как свяжется платок, да помоется, да растянется, да распушится, словно расцветет. Кинь теперь на руку и погляди: темная дымчатая ворса его мягка и тепла даже на взгляд; темен пух, темен, но светится, отливает голубым, словно ночное крещенское небо. Такой пух не сравнишь с пепельным или белесым. Его с руками по пятнадцать рублей за сто грамм рвут. И год от году он дорожает.

Холюша почухал Белоухую, наказал: «Гляди, берегись. Кабы тебя не пырнули. Котиться я тебя в дом возьму. Хорошо бы козочку принесла. Я бы тебя тогда... — пообещал он. — Постарайся... Ты могешь... Гляди, какая пузатенькая». Была у Холюши мечта. Не зря ведь столько отвалил он за Белоухую. Была мечта: весь козий завод сделать таким, с голубым редкостным пухом. Весь завод, всей округе на зависть. Когда-то, много лет назад, у Макарихи из Ярыженского хутора восемь коз было. Давным-давно пóмерла Макариха, а коз ее люди и поныне вспоминают, завидуя. А сейчас, когда Белоухая стояла на Холюшином базу... Как знать... Но лучше не загадывать, Бог этого не любит.

С козьего база выйдя, Холюша на гусей зашумел:

— А ну, поднимайтеся! Разлеглися! Позажралися! Ходить поразучилися! Нанесете мне жировых, чего я с ними буду делать?

Он шуганул гусей. Гуси на крыло поднялись и понеслись кругом. Заполошилось все дворовое птичье стадо. Вслед за гусями утки, гневливо крякая, лётом пошли. Куры, кудахтая, бросились врассыпную. Взлетел на плетень рыжий Петька, забил крылами тревогу. Ветер прошел по двору, пух и перо закружилось. И лишь невозмутимые индюшки пикали бесстрастно, глядя на этот содом. Да индюки принялись кровью наливаться и топорщить жесткие хвосты и крылья.

Взяв ведра и коромысло, отправился Холюша за водой, скотину поить. Коз с овечками да телку с бычком он холодной поил, для Зорьки готовил теплое пойло, отрубей ей намешивал.

Из всей животины, что на подворье стояла, Зорька была самой родной, к тому же скоро должна была телиться.

Корова жила у Холюши десятый год и еще помнила мать. Но доил ее и ходил за ней всегда Холюша. На плетневом колу коровьего база висела скамейка, на нее садился под Зорьку Холюша, отставляя в сторону деревяшку. На боку у Зорьки была проплешина. Это Холюша при дойке упирался в бок головой, чтобы ловчее сиськи тягать.

Корова была большая, по масти бело-пегая. Такие вот бело-пегие коровы жили у Холюши всегда. И всех звали Зорьками. Славились они на всю округу ведерными надоями, потому что вели свой род от далекой легендарной Звезды Митрони Бочкарева из Назмищи. У Митрониной Звезды была большая, во весь лоб, белая пежина, такие же «чулочки» и хвост. Звезда жила давно, очень давно. Но от плоти ее шли по округе добрые коровки, удоистые, едовые.

Нынешняя Зорька в свой род удалась. И, меняя старых коров или неудоистых, люди старались от Зорьки получить племя. И Холюшина корова, словно на заказ, все годы телилась бело-пежистыми телочками. Всем людям Зорька угождала, а до хозяина дело дошло — подвела. Как ни хороша была корова, но годы свои выживала, и пора было ее менять. Но, словно оттягивая свой неизбежный конец, в последние разы Зорька принесла бычка и телочку, правда, вовсе не ту, какую нужно было, а красную, в быка. И Холюша тревожился. Скрепя сердце красную телочку он оставил, хотя знал, что такого молока, как у матери, от нее не видать: и молочная жила плохая, и ребра частые, и хвост короткий.

И теперь, пока Зорька, сунув морду в ведро, тянула в себя пойло, Холюша ее уговаривал:

— Ты уж не подведи. Чужим людям угождала, телочек приносила, а своему родному не схотела. Другой год уж жду. А переводить тебя все одно надо. Куды денешься, жизня... Матеря вон померла. Сколько уж лежит... Я тоже не вечный. Тоже скоро туды. В ту имению, на бугор... А куда денешься. Положено. Ныне вон ночью, не слыхала, за мной приезжали. Може, по мою душу. А чего, много ли надо? Чекалдыкнут — и конец.

С утробным звуком Зорька дотянула из ведра последнюю жижу, подняла голову, скосив на Холюшу черный глаз с синеватым белком. Подрагивали белесые реснички. Она, каза-

лось, все понимала. А Холюша точно знал, понимала. Он начал почесывать ее. Зорька втянула шею, прижмурилась.

— Я на тебя с надёжей. А уж ныне не принесешь, придется Краснуху оставлять. А нежелательно. Не будет у нее молока. По всему видать. В ум не возьму, почему ты кого нужно перестала носить. Либо устарела? Не перебарывает твое нутрё против бугая. Вон он какой, черт здоровучий...

2

А в ту пору, когда Холюша возле коровы толокся, шел к нему гость. Шел и матерился. И был тот гость не кто иной, как Митька, колхозный электрик и пьяница. Шел Митька по дороге и в голос Холюшу материл и жену свою Клавдию. Речь его была длинная и для постороннего не совсем понятная. Хотя объяснялось все довольно просто.

Была у Митьки дочь, он ее очень любил. Сейчас дочка в городе, в техникуме училась. Подходили каникулы, и выпадала ей возможность поехать в Москву, на экскурсию. Но нужно было доплатить тридцать рублей, остальные профсоюз давал. Да и с собой на всякий случай деньжонок взять. В общем, нужна была сотня. Митькина жена. Клавдия, жадная была — отказывать не отказывала, а руками всплескивала и слезливо кудахтала:

— Да где же ее взять, такую копеечку. Новыми сто рублей, Господи прости... Теми-то тыща... А у меня шесть рублей осталось...

— С книжки сыми, — советовал Митька. — Нечего жмотничать.

— Тебе бы только сымать... Легкая рука... Класть тебя нету. Ты только к Максимову на прилавок кладешь. Вот оттуда поди и сыми. Там много наложено.

Клавдия скорей бы повесилась, чем с книжки на такое дело сняла. Но была она все же матерью и потому решила денег занять. Тем более два готовых пуховых платка у нее лежали, базарного дня дожидаясь.

Мыкнулась Клавдия в один дом — отказали, и в другом не нашлось. Не держали люди при себе больших денег. Лишние старались на книжки класть. Походила, походила

Клавдия и плюнула. «Иди к Холюше, — сказала мужу. — Раз ты такой желанный, иди и кланяйся. А я в его корсачиную нору не пойду. Я еще при живой матери случаем зашла, так досе дурнит».

У Холюши деньги водились. Всякий на хуторе знал, да и по всей округе, что на книжке у него большие тысячи лежат. Ведь продавал он по осени уток, гусей, кур, а теперь и индюшек. Машинами на базар вывозил. Бычков хороших выкармливал, кабанов, овечек. А по скольку пуху начесывал! Так что деньгам Холюшиным люди и счет потеряли.

Держал он денежки и при себе, в доме. На хлеб да на бутылку взаймы не давал, но когда для дела нужна была круглая копеечка и негде ее взять — шли к Холюше. Он не отказывал. Правда, не в одночас давал. Прежде долго жаловался на горевское житье, на тяжкие труды свои, на бессовестного Кольку Калмыкова, который взял пятьдесят рублей, а потом год целый отдавал. К тому же, величать нужно было Холюшу в такие минуты Халамеем Максимовичем.

А Митьке выбирать было не из чего, дочку он очень жалел. Пришлось собираться. Хотел по дороге в магазин завернуть, к Максимову, остаканиться, да побоялся. С пьяного языка всякое может сверзнуться.

Вот и шел он по дороге, трезвый, как дурак. Шел и матерился в голос.

— В бога мать... Миллионщики... Революции на вас нету... Суки... Реформу бы хоть какую... В креста бога.

Но, к Холюшиному двору подойдя, замолк.

На базу, за воротами, слышался тонкий голосок хозяина:

— Ишь взгалчилися! Какие пашаничные! Зобайте, чего дают! А то вон чилята сидят, они враз наведут решку!

— Халамей Максимыч! Халамей Максимыч! — прокричал Митька.

Тот услышал, к воротам подошел.

— Кто это?

— Да я, Митька!

Холюша Митьку не очень привечал, но побаивался. Без электрика не обойдешься.

— А-а, Митрий... Всходи на крылец, счас отворю.

Несмотря на дневное время, окна в Холюшином доме были затворены, лишь одно, возле крыльца, подслеповато щурилось темным оком.

Загремел засов, и показался на свет божий Холюша.

— Здорово живешь, — поприветствовал его Митька. — По делу я к тебе, Халамей Максимыч... Счас докурю.

— Докуривай.

Вроде бы часто, чуть не каждый день встречал Митька Холюшу. Встречать-то встречал, да уж толком не глядел. На кой черт он нужен. А вот сейчас...

Лицо Холюши было каким-то зольным от седой щетины, которую тот соскребал раз в неделю. Телогрейка и ватник затерханы до лоска.

— Проходи, проходи...

И хозяин, войдя в чулан, отворил дверь и первый ступил в единственную из всего дома жилую комнату — кухню. Митька шагнул за ним.

— Ты чего в теми, ощупкой живешь? — спросил Митька.

— Я привычный, — сказал Холюша. — Ну, счас отворю...

Он вышел и с улицы распахнул окно. Лишь одно, от речки. Стало посветлее.

И сейчас, и раньше, при матери, жил Холюша лишь здесь, на кухне. А кухня была, каких нынче не увидишь. Большую часть ее занимала русская печь, которую Холюша топил лишь по весне, выводя на ней гусят. Он умел это делать. По полторы сотни выводил. В остальное холодное время для обогрева служил пригрубок. Он стоял посреди комнаты. Жестяная черная труба коленом отходила от пригрубка и пропадала в печи. Старинная деревянная кровать с валяной шерстяной полстью и ватным лоскутным одеялом. Полати... Настоящие полати, каких теперь и в кино не увидишь, настелены были от печи до стены. А вдоль стенок тянулись широкие старинные лавки, темные от времени.

Вернувшись, Холюша пригласил гостя:

— На стулку садись.

Митька на лавки взглянул, засмеялся:

— А этих чертей нету?

— Нету, рано еще, — успокоил его Холюша.

Когда-то, по весне, зашел Митька к Холюше, и чуть было родимчик его не хватил. В полутьме комнаты вдруг увидел он, что со всех сторон, из-под лавок, с шипом тянутся к нему белые змеи. То были гусыни. Штук двадцать сидело их на яйцах, здесь же, в доме, под лавками.

— Как живешь-можешь, Халамей Максимыч? — с подходом начал Митька разговор.

— Какая наша жизня, — пожаловался Холюша. — Еле чикиляю. Оровое место, — потрогал он поясницу, — нудит и нудит. На попово гумно сбираюся. Пора.

— Не беднись. Ты еще здоровее меня. Такое хозяйство содержишь. Цельный колхоз. Прешь и не кряхтишь.

— Приходится, Митрий... Кто же за меня делать будет? Чужие люди не придут.

— А ты б прижаливал себя. Помене всего держал.

— Да как же... Так уж... — развел руками Холюша.

Митька вдруг рассмеялся.

— Чего дыбишься?

— Мы с тобой, Халамей Максимыч, одной породы.

— Эт какой?

— Алкоголики.

— Это почему?

— Я на водке помешанный, — объяснил Митька, — а ты на скотине. А? Как? — и победно рассмеялся.

— Нас властя призывают... — оправдался Холюша. — Разводитя... Кормитя города...

— Тебя и не призывали. Воспрещали, а ты свое лепил.

И вправду. Были крутые, лихие для хуторян времена, когда и землю отбирали, и не давали травинки косить, то запрещали, другое ограничивали.

Но при любых обстоятельствах никогда никто не сумел низвести Холюшу. Может, потому и терпели его, что всегда и во все времена первым платил он все налоги, страховки, сборы, обложения; по любым поставкам — мясо, молоко ли, яйцо, шерсть — первым на хуторе отчитывался. Облигации выкупал враз и наличными.

Холюша законы уважал, и не то что побаивался, а старался быть с ними в ладу.

— А как же, — не сдавался Холюша. — Призывают властя. Надысь в конторе говорили, новая положения вышла. Там все прописано, про землю и про скотину. Водитя, мол, сколь смогете. Ты не слыхал?

— Да вроде слыхал, — ответил Митька. — Закурю я, Халамей Максимыч. А то у тебя дух какой-то, курями воняет.

— Четыре куренка задристали, — объяснил Холюша, — я их под печь посадил, пускай греются.

— Головы б им посек — и вся недолга...

— Головы отвернуть всякий смогет, а ты вот подыми их. Почему вот у меня все водится, а? Ничего не дохнет?

— Почему водится... Хозяин ты хороший, вот и водится. Гусят умеешь выводить не хуже гусыни...

— Матеря это, матеря меня научила. А колготы сколько, Митрий. Печь топи и топи. Яйца перекладывай да перевертывай. Полазишь по этой печи, ни дня ни ночи не знаешь. Господи... А люди завидуют. А с индюками сколь я беды принимаю... Уж такие квелые... Ты-то их тоже держал?

— Все подохли, — сказал Митька.

— А я из полтора сот четырех всего упустил, — горделиво сказал Холюша. — Люди вот завидуют, говорят, в руку пошли. А сколь я беды с ними принял, ум замрачился. За всем доглядеть надо. За всякой животиной. Вон дох нападает. На коз да овечек, у кого — на курей. Лечить надо, не лениться. Телят понесет, белоголовник оттапливаю и пою. Коз да овечек — крушиной. Всякая трава пользительная. Сбирать надо, не лениться. Тогда и дох не нападет.

— Конечно, Халамей Максимыч, ты из хозяев хозяин. Всю жизнь на этом деле.

А Холюша вдруг вспомнил свою беду и пожаловался:

— Ты не слыхал, Митрий, не передавали?.. Ныне ночью опять ко мне приезжали, ночные гостечки, провались они в тартарары.

И он пересказал все, что было, и что думал, и чего опасался.

Просидев положенное, Митька просьбу свою выложил, о деньгах. В ответ пришлось выслушать долгие жалобы на великие расходы и, конечно, на Кольку Калмыкова, кото-

рый полсотни взял, а потом отдавать не хотел. Этот Колька Калмыков, дед Николай, лет пять уже на кладбище лежал.

Но в конце концов Холюша согласился:

— Ты поди покури. А я счас тут...

Митька с готовностью поднялся и вышел на крыльцо. Усмехнувшись, подумал, что неплохо бы подглядеть, где прячет свои деньги Холюша. Люди разное говорили. И что носит он их на шее, на гайтане. И что в гармошку прячет. Дескать, вся гармошка, полные меха деньгами набиты. Всякое говорили.

Хозяин вышел, вынес деньги, десятками, сказал:

— Перечти...

Митька послушно пересчитал, начал благодарить, прощаться. Холюша сказал:

— Тоже надо бечь. На ферму. Ребят попросить соломки подвезть.

— Зачем тебя солома? Подстилать?

— Не, скотину кормить.

— Сена, что ль, мало?

— Сенцо-то есть, слава богу, должно хватить. Да соломка ныне неплохая, ячменная. Едовая соломка. Я ее с сенцом перебиваю, гормя горит.

Дело было сделано, деньги лежали в кармане. И Митька позволил себе подкузьмить Холюшу.

— У тебя, говорят, гармошка хорошая? Дал бы поиграть.

— Да ты ж не могешь, — не понял или притворился Холюша.

— На твоей гармошке, — многозначительно сказал Митька, — я бы сыграл. Так сыграл, что чертям тошно было бы, — он засмеялся и пошел восвояси.

Нужно было побыстрей деньги отнести да подумать о выпивке.

3

Солому привезли вечером. В темноте Холюша лишь разобрал, что воз хороший, с верхом тележка.

— Ох и добрая солома, — сказал тракторист. — Да много наложили. За нее, Холюша, надо бутылку да еще самогонки влить. Гляди, воз какой.

— Разве я жадаю, — ответил Холюша. — Я всегда говорю, накладайте поболе. А они чудок накидают. Чтоб я скорее опять пришел.

Холюша не пожадничал: бутылку магазинной водки принес и самогонки. Он был доволен.

А утром, когда развиднелось, оказалось, что зря он расщедрился. Солома была почти вся смерзлая. Как с самого верху, со скирда сняли оберемок, так и положили на тележку. Холюша с досады чуть не заплакал. Бросил все дела и захромал в контору. Но бригадир ему раньше встретился, возле клуба. Только Холюша начал свою беду объяснять, жаловаться, как тот его остудил:

— Так тебе и надо. Не будешь бутылки на ферму таскать.

На том и кончился разговор. И поплелся Холюша восвояси. А когда управился на базу со скотиной, снова к оберемку соломы вернулся. Надо было его до ума доводить.

Здесь и застала Холюшу милиция. Подкатил газик, из него двое вышли, в шинелях. Холюша, увидев их, оробел, вилы опустил и глядел, как они подходят.

— Здорово, дед...

— Здравствуйте, — с робостью ответил Холюша.

— Рассказывай, какие к тебе гости приезжали? Чем обидели?

У Холюши тотчас испуг прошел.

— Меня, сынки, всяк обидеть норовит, — начал он жалобно. — Нижут и нижут. Вон солому привезли, радуйся... А на кой она такая сдалася?.. Все руки об нее оборвешь. Для старого человека, для инвалида... И совесть их не мытарит... А к бригадиру не подходи. Он тоже ихнюю руку держит.

— Солома, ладно, — остановили его. — С соломой вы уж как-нибудь сами. Ты нам про ночных гостей расскажи.

Холюша все рассказал. И рассказал, и показал. Битый час милиция с ним ходила. По забазью, по огородам и дальше по следам, на луг, за речку. Дни стояли покойные, и следы нисколечко не замело. Все было видно явственно, как и в первый день.

Милиция не только глядела, но фотографировала, рулеткой замеряла. И Холюша ободрился. «Эти враз сыщут, — думал он. — Добытные ребята. По хватке видать».

Вернувшись с низов ко двору, милиция собралась уезжать.

— Ребяты, — засуматошился Холюша. — Можа, в дом взойдете, обогреетесь... Перекусите. И выпить у меня найдется, с морозцу, с устатку. Как же... Такие гости дорогие...

— Погоди, дед, — остановили его.

Возле заведенной машины милиционеры о чем-то посовещались, затем один из них в кабину залез. Газик, лихо развернувшись, поехал прочь. А второй милиционер остался. Он подошел к Холюше, засмеялся и громко сказал:

— Ну, что, родня, давай знакомиться?

Холюша его не понял, глядел недоуменно. Милиционер, так же посмеиваясь, спросил:

— Фетинью Бирюкову знаешь?

— Да как же... Господи... — всплеснул руками Холюша. — Сеструшка... Да ты кем же ей? Не признаю. Сын, что ли?

— Погоди, какой сын... Марию Куркину, дочь ее, наверно, уже и не знаешь? Родня...

— Ну... это как... Марея... — пытался вспомнить Холюша. — Это какая же?..

— Ладно, — помог милиционер. — Мария — старшая дочь. А у нее дочь — Ирина. А Ирина это и есть моя жена, понял?

Холюша толком ничего не понимал, но закивал головой.

— Значит, сеструшка... А Марея это... ну, да... А это, значит, внука... Ага, Марея, это белявая такая... — все путалось у него в голове, да и не могло проясниться, потому что сестру Фетинью не видел он много лет. Считай, с самой войны. Только раз приезжала она, мать хоронила. Уж Фетинью-то забыл, а про детей ее что говорить. Он про них и не ведал.

— Белявая, чернявая... — остановил его милиционер. — Меня Георгием звать. Тебя... Холюшей... А по-настоящему как? Николай, что ли?

— Не... Крестили-то Халамеем... Нет, Фаламеем... Халамеем меня мать звала. А по святцам... — задумался Холюша, а потом решил: — Зови дед Халамей, так-то правильно. Или дед Холюша.

— Халамей, значит, Халамей.

— А тебя не упомню.

— Егором, — махнул рукой милиционер.

— Егор, Егор, — обрадовался Холюша. — Брат у меня был Егорий. Помладше меня. Помер.

— Ну, Царствие ему Небесное, насилу договорились, — облегченно вздохнул Егор. — Как же вы так живете? Родные брат с сестрой, а друг друга не знаете?

— Она вона где... А я здеся. У нее семья, дела. Я тоже не имею возможности. Хозяйство... Куды денешься... Никак нельзя отлучиться. Да чего мы на дворе стоим? — спохватился Холюша. — Заходи, поглядишь, как живу. Это вы из самого города приехали? — ужаснулся он.

— Нет, — ответил Егор. — Я здесь в райотделе работаю. Два года уже.

— А чего ж не попроведал? С женою бы приехали...

— Да всё дела, — усмехнулся Егор. — Всё дела.

Егор и раньше был наслышан о Холюше, и нынче, на хуторе, ему много наговорили. И потому, в дом войдя, он не очень удивился запустению жилья, тем более что милицейская служба приучила его видеть разное.

Раздеваться он не стал. Холодно было в доме. Пригрубок еле теплился. На нем ведра стояли с каким-то скотиньим пойлом или месивом.

Холюша засуетился. Он набил пригрубок дровами, и огонь ожил. Из кладовки сала принес, мяса отрубил, отыскал сковороду.

В комнате было сумрачно. Хозяин достал большую лампочку и, вкрутив ее, щелкнул выключателем. Освободив часть стола, Холюша бутылку водки достал, нарезал сала, сказал гостю:

— Подвигайся, пока жаренка поспеет, выпьем за встречу. Сальцем закусим, яичками... За солкой я уж не полезу.

Из железного короба, что на лавке стоял, достал он хлеб. Еще несколько таких коробов с дверцами помещались на полу, на печи.

— Это что у тебя? — спросил Егор.

— Мыши одолевают, — объяснил Холюша. — Прям шубой идут. Аж страшно... Сухари висели в суменке. И вроде покрал

кто. Подчистую. Я в магазине духовок набрал, от печек. Все в них сохраняю.

— Кота бы завел...

— Они и его сожрут... Давай выпьем, за знакомство, со свиданьицем.

Выпили, принялись закусывать.

— Сало вкусное, — похвалил Егор. — А хлеб какой-то... С лета у тебя лежит, что ли?

— Хлебушко нам редко возят. На той еще неделе привезли. Вот цвелый и едим. Може, на этой привезут. А сало у меня неплохое. Люди хвалят. Я тебе с собой покладу.

— Как жизнь-то, дед Халамей? — спросил Егор сочувственно.

— Чего жизнь? Жизня неплохая. Хорошо живу, грех жаловаться. Всё есть. Трудюся, вот все и есть. Коровка хорошая, телушка, козочки, птица. Хорошо живу.

— Помногу водишь?

— Да как тебе не соврать. Коз, овечек по сену оставляю. Два десятка, полтора. Гусей, тех... Вон ту весну восемнадцать гусынь сидело. Да сам я на печи сотню вывел. Уж сколь тама... Бог ее знает... Много, — заключил Холюша.

— Ты чего же их, не считаешь? — удивился Егор.

— А чего считать? Рази перечтешь? Индюшек, я знаю, полторы сотни без малого. А гусей да утей... Черт их посчитает. Куры, те самосевом растут. В бурьянах нанесут, на сеннике, в дровах, потом ведут цыплят.

— Ну, ты даешь, — покачал головой Егор. — Иль смеешься?

Холюша говорил правду. Он и в самом деле не знал, сколько у него по лету птицы бывает. Выводили гусят гусыни — на печи в самодельном инкубаторе вылуплялись. Холюша держал их день-другой в хате, потом на базу давал чуток подрасти, а потом гнал с база на волю. Рядом была вода, просторный Холюшин плес. И земли на хуторе хватало. И все долгое лето огромное Холюшино гусиное стадо бродило за дамбой, по выгону, гоготало на своем плесе, перебиралось на чужие, на полях промышляло. Холюша их раз в день, к вечеру, прикармливал зернецом возле двора, чтобы баз не забывали. Здесь, подле база, они и ночевали,

а утром с гоготом отправлялись на добычу. И никто их не трогал.

Утки, которых было поменьше, лето проводили на плесе и речке. Но хозяина и баз они знали.

А осенью начинался торг. Продавал Холюша птицу живьем. Гусей по двенадцать рублей, по пятнадцать. Уток, конечно, дешевле. Хорошо платили за индюков. Немного себе оставлял на зиму, для еды. И, конечно, в завод.

— Жаренка готова, — шумно понюхал Холюша. — Счас яичков туда разобьем. Так и живем, Егор, трудимся... — Он набил в сковороду яиц, готовую еду на стол принес, разлил водку. — Трудимся, Егор... В крестьянстве оно так... Каждённо в работе, беспрерывно... Закусывай, закусывай, мне-то жевать плохо... Надо бы в больницу. Кричи, надо с зубами что-то делать. А нет возможности. Не на кого хозяйство кинуть. Летось так зубы болели, на стенку кидался, а скотину не бросишь. Слава Богу, мать-покойница научила. От зубов дурнопьян помогает. Летом наберешь, точинок нашелушишь, на сковороду их. Они горят, а ты дым ртом глотаешь. Хорошо помогает. Ты ешь, ешь, пока горячее. Не гляди на меня. Вот такая наша жизня, Егор, в крестьянстве...

Холюша замолчал, а потом вдруг спохватился:

— Про себя обскажи... Как живете? Давно ли Фетинью видели? Как она? Не болеет ли?

Егор рассказал о бабке, о своей семье. Разговор шел разговором, но гость никак не мог обвыкнуться в этом жилье. И оглядывал его снова и снова.

Холюша заметил это.

— Живу, слава богу, неплохо, — бодро сказал он. — Здеся по хозяйству управляюсь. А там чистые комнаты, — поднялся он. — Я их зимой не топлю. Дров не напасешься.

Он отворил тугие, прикипевшие двери и позвал за собой Егора.

Тусклый желтый свет озарил мертвую горницу. Все в ней было как у людей. Большая убранная кровать с покрывалом, подушками и накидками. Диван с красным бархатом. Занавески на окнах. Стол под скатертью. Телевизор на полированной тумбочке.

Простучав деревяшкой до середины комнаты, Холюша остановился и горделиво повел рукой:

— У меня все есть. На кровати будешь ныне ночевать. Натопим, расхорошо будет. У меня тута всего много. В сундуках лежит, — указал Холюша на два деревянных, старинной работы сундука. — Там тюли много, одеялов, полотенцев. Костюм добрый. Много всего.

Склепным холодом дышала комната, и Егор поспешил из нее уйти.

— Давай допьем, доедим, — и уже на кухне за столом вспомнил: — А телевизор... Ты чего телевизор не глядишь? Поставил бы сюда...

— Ну его, — махнул рукой Холюша. — Не гляжу. Днем некогда, надо дела управлять. А ночью когда же, ночью спать надо. Нехай стоит. Може, когда-нибудь... Може, вы с женой в гости приедете, поглядите...

— Его уже, наверно, мыши погрызли...

— Да бог ведает, — легко согласился Холюша. — Може, и поточили.

— Ну, спасибо, дед Халамей, — поднялся Егор. — Напоил и накормил, спасибо. Пойду во двор, покурю.

— Кури здеся, ничего...

— Нет, пойду... — Егору не терпелось выйти отсюда. Деда не хотелось обижать, но и сидеть здесь было невмочь. — Может... дров наколоть или еще чего? Мы ж тебя от дела оторвали.

— Да чего дела... Нашим делам счету нет... Пойдем, коли так, — поднялся Холюша. — Попоить скотину надо. Сенца подбросить.

— Ну, вот я и помогу.

Холюша взял с пригрубка ведро. Егор потянулся за ним.

— Не надо... Ты в добром, измажешься. Тута поросенку да корове. Коли хочешь, ведра возьми. Коз да овечек попои, да телка с телушкой.

Едва вышли в чулан, Цыган, почуяв чужого, поднялся на дыбки, натягивая цепь.

— Счас замолчи! — прикрикнул Холюша. — Кому говорю! — И Цыган послушался.

Увидев хозяина, взбулгачилось птичье войско: загоготало, закрякало, закудахтало, хороводом по базу пошло.

— У-ух, прорвы... Жрете и жрете!

— Да-а, — удивился Егор. — Чем же ты кормишь... такую ораву?

— Как чем? Зернецом.

— Сколько же им зерна надо?

— Куды деваться, надо содержать...

— Дают зерно в колхозе?

— Дают, маловато. Приходится подкупать.

Колхоз давал, конечно, каплю того, что нужно было Холюше. Пенсионерские центнер-другой. Но Холюша выворачивался. Осенью, когда раздавали хлеб, Холюша был наготове. В этот день он запасался водкой, самогоном, деньгами. И не отходил от амбаров. Механизаторы получали зерна помногу. И не один, так другой, не другой, так третий, особенно если жены рядом не случалось, оделяли Холюшу, который сдабривал сделку магарычом тут же, на месте.

Холюша в этот день центнеров пятьдесят подкупал.

Егор быстро напоил скотину. Обглядел корову и приплод, козочек посмотрел и вновь удивился:

— Ну, ты даешь, дед Халамей. Ферма целая...

— А чего... Счас призывают, чтобы всего поболе держали. Хлопотно, но куда деваться... Трудюся... Трудюся, Егор. Помочи ждать неоткуда. С утра до ночи. А теперич-ка пора пришла котиться, и ночей не буду знать. Про весну, лето уж не говорю. Тама-а... Делов да делов. Руки обрываются. Одного сена пока накосишь. Такую страсть господню...

Сенокос и вправду был самой тяжкой для Холюши порой. Как-никак, а нога-то одна, другая — деревянная, не больно ловко с ней. И в сенокосный срок Холюша, считай, совсем не спал. Прикорнет иногда на часок. И все. В эту пору он вовсе высыхал и чернел ликом, как головешка. Он свои угодья выкашивал, а потом брал где можно: по лесу, на буграх, за огородами, по степи, в балочках — никакою травой не гребовал, вплоть до осоки. А уж от сена, от запасов своих глядел, сколько в зиму скотины оставить. Кое-кто из молодых, на одну коровенку запасая, жаловался. Холюша косил и косил, днем и ночью.

А оттого что сенцо трудно доставалось, он и берег его. И сейчас, надергав крюком охапку, он не враз его корове

понес, а столько же соломы набрал и принялся тщательно перебивать, мешать солому с сеном, да так, чтобы даже мудрая Зорька не смогла сенцо выбрать, а подряд мела.

Егор помогал. Он разбирал оберемок, что бессовестный тракторист привез. Разбивая корку льда и отбрасывая в сторону глудины, Егор добрую солому копешкой складывал, заледенелую раскидывал. Может, солнце пригреет, так обтается. Оберемок большой все же был. Разобрав его, Егор отряхнулся, закурил.

— Ты, гляжу, парень не городской, — похвалил Холюша.

— Деревенский, — ответил Егор. Он жалел старика и вместе с тем какое-то уважение к нему чувствовал. — Да-а, — протянул он. — Многовато ты все же держишь. Не по годам.

— Чего уж... Всю жизнь так... — Холюша с хитрецой улыбнулся. — Для вас, для городских, стараюся. У вас тама не сеяно, не пахано. Асфальты кругом. Надо вас поддерживать. А то, чего доброго, перемрете.

— Нет, — покачал головой Егор. — Все равно много. Ты старый человек, калеченый. Зря...

— Всю жизню так... — повторил Холюша.

И вдруг Егору мысль пришла.

— Слушай, дед Халамей, — сказал он, — ты на пенсию собираешься?

— Сполохнулся... Уж десять лет получаю...

— Да нет... Не то. На настоящую пенсию, на отдых. Чего ты так живешь? Один, неухоженный, ты уж извини, но в доме-то у тебя... Бросай все, ликвидируй скотину свою. А возле нас недалеко домик продают, огород есть. Просят пять тысяч. Есть у тебя столько денег?

Холюша даже засмеялся от такой наивности.

— Ну, есть? — переспросил Егор.

— У меня поболе есть.

— Вот и хорошо. Купи тот домик. Позови к себе Фетинью с Марией. Они, дед Халамей, плохо сейчас живут. Там дочка вторая с мужем, они им житья не дают. Ты дом купи и позови их. И будете жить себе поживать. Будешь обмытым и обстиранным. С родными людьми. Тебе будет хорошо, и им спокойно. Ну, как? Согласен?

— Ух ты, какой скорый... А чего, взаправди Фетинью притесняют? Внуки?

— Обижают. Неспокойно им там.

— Скажи на милость, какая беда...

— Вот и помоги ей. Родная же сестра. И Мария с ней приедет. Она помоложе. Будет за вами глядеть. Соглашайся.

Холюша помолчал, потом, вздохнув, сказал:

— Дюже ты скорый. Раз-два — и лататы.

А Егору этот только что пришедший на ум замысел все более и более нравился. Жена давно говорила о матери и бабке, что надо бы устроить их как-то, помочь. И вот теперь все могло сложиться по-доброму. И этому старику будет хорошо рядом с сестрой да племянницей. И женщинам он будет подмогой. Правда, теща Мария была с характером. Да как знать... Поживут, притрутся. Но Егор понимал, что настаивать и торопить деда Холюшу нельзя. Не такое это простое дело, чтобы в один час решить. И он лишь сказал:

— Подумай, дед Халамей, подумай хорошенько. Может, и надумаешь. — А про себя Егор решил приехать и раз, и другой, а может, и бабку Фетинью привезти, но добиться своего.

Издали заслышав голос своей машины, Егор начал прощаться.

— Уезжаешь? Да чего ж ты? — всполошился Холюша. — Тута бы и ночевал. Гуся бы сварили, у меня и водочка еще есть, поговорили бы по-родственному.

— Служба, — коротко ответствовал Егор. — Надо ехать.

Машина уже подбегала ко двору. Но Холюша успел-таки добрый ломоть сала принести и мороженую гусиную тушку.

— Зачем? — отнекивался Егор. — Не надо.

— Бери, бери. Отвезешь гостинец. Скажешь, от деда Холюши. Похлебаете гусиной лапши. А то был в гостях и пустой уехал. Так не положено.

Егор уже попрощался, подарки в машину уложил и вдруг вспомнил:

— Вот что, дед Халамей, люди говорят, ты деньги дома в какой-то гармошке держишь. Это дело твое. Но лучше в сберкассу отвези. Сам понимаешь. Нагрянут снова друзья...

— А вы их изловите... А людей не слухайте... Люди наплетут...

— Смотри. Мое дело посоветовать, — сказал Егор, усаживаясь в машину. — Бывай здоров.

Холюша недолго глядел вослед уходящему газику и вернулся на баз, начал в курнике чистить. Чистил, чистил и вдруг услышал, будто коза покряхтывает. Услышал и проверить пошел на козий баз. А пришел — Белобокая уже опросталась.

Холюша козленка забрал, в хату понес. Голова у козленка была большая. «Козел», — с досадой подумал Холюша. Но против ожидания козочка то была. Холюша закутал ее в мешок, к пригрубку положил. Козочка тонко закричала, высовывая длинный узкий язык, и заворочалась, пытаясь освободиться, встать на ноги.

— Полежишь, тогда тебе матерю приведу, пососешь...

И ушел Холюша на баз. Он чистил курник, ломом отбивая толстую кору слегшегося помета. Потом все вывез на огород, снова в курник вернулся, насесты поправил, солому в гнездах сменил. И лишь тогда вернулся в дом.

Козленок уже выпростался из мешковины и топотил по полу. Мекекал жалобно, хватал что ни попадя, пытался сосать. Холюша привел Белобокую. Козленок тут же кинулся к матери, начал вымя искать. Он искал его везде: под бородой, возле шеи, у передних ног, на брюхе и в положенном месте, да не находил. Белобокая лизала его, сдержанно, любовно помекивая, но помочь не могла.

Холюша начал сердиться:

— Чего это ты нецапучий такой, а? Поухватистей надо быть... И ты, — обругал он Белобокую, — крутишься как черт. Молоденькая, что ль...

Дело заходило к вечеру, возиться было некогда. Холюша завалил козу и почти силком всунул козленку сосок вымени в рот. Пососал козленок немного, с тем козу и выпроводили.

— Переморишься, — сказал козленку Холюша. — Будешь поухватистей...

Так оно и случилось. Поздно вечером, обделав все дела, Холюша снова привел Белобокую. Голодный козленок быстро вымя ухватил и до отвалу насосался. А сытый улегся на дерюжку возле пригрубка и заснул.

Готовился ко сну и Холюша. И теперь, перед тем как спать лечь, он вспомнил про Егора. Понравился ему новый внук. Хоть и милиционер, а не гордый и, видать, работящий, не боится руки измазать. И о сестре Фетинье вспомнил Холюша, пожалел ее и подумал, что, может, и вправду уехать ему с хутора, купить тот домик, о котором Егор говорил, вызвать сестру и жить себе поживать, покоя старые кости. «Сидеть будешь на лавочке, — вспомнил он слова Егора, — да семечки грызть». И сразу привиделся Холюше какой-то старый человек, с редкой козлиной бородкой, с батожком в руках. Сидел тот человек на лавочке, неподвижно сидел, и подсолнечная шелуха путалась в его бороде. Наверное, Холюша когда-то видел такого старика, но забыл. Наверняка видел, уж очень явственно он представился: с батожком, с бороденкой, и шелуха в ней. И Холюша засмеялся.

Но следом пришла иная, умная мысль: «Пусть все: сестра, внучка и Егор-милиционер приезжают сюда, на хутор». Эта мысль была так хороша, так правильна и очевидна, что Холюша удивился: почему раньше до нее не додумался ни сам он, ни Егор. Ведь дом и все хозяйство здесь, на хуторе, а там где-то, там ничего нет. И у Фетиньи за душой ничего нет. И у Егора с внучкой одни только гуни. И конечно, глупо, немыслимо глупо было бы бросать такое поместье, такую землю и куда-то идти, на чужую сторону. Последний недоумок такого не сделает, не то что добрый хозяин.

А вот переехать всем сюда было бы славно. Егор стал бы участковым наместо Парыгина, ведь тот совсем уже старый. Бабы по дому бы глядели, управлялись с огородом. И сам Холюша еще в силах. А с Егоровой помощью... И всплыло в памяти далекое-далекое время, когда в этом дому совсем молодой Холюша счастливо жил и работал с отцом-матерью, братьями Петром и Егором, с сеструшкой Фетиньей...

Так сладко было вспоминать об этом и думать о новом житье, которое будет, о новом, но таком же счастливом...

4

Во вторник за полдень привезли Холюше дрова. Привезли и на забазье кучей свалили. Довольный Холюша, кинув все дела, принялся это добро разбирать: ровные дубки-стояны волоком тягал в сарай, слеги тут же костром ставил, корявое да неподъемное на месте оставлял — пилить.

Полегоньку стемнело. Солнце ушло, и слабый примороженный румянец на горизонте выцветал на глазах. Серая дымка наползала с полей на хутор, и первые merклые огоньки уже затеплились в домах.

Закончив возиться с дровами, Холюша зажег фонарь и на баз вошел, не зная, с чего начинать. Птица уже угомонилась на насестах и полу и встречала его сонным квохтаньем, погакиванием, криком. Козленок в дому, конечно, оголодал, и Холюша, ухватив Белобокую за рог, повел ее. Еще в чулане, услышав тонкое мемеканье, коза откликнулась и кинулась вперед, чуть Холюшу на землю не повалила.

— Кормитесь тут сами, разбирайтеся... Некогда с вами, — сказал он, входя в дом, и, прихватив полбуханки хлеба и остатки щей в чугунке, понес еду Цыгану.

Потом он сена задавал всей скотине, запирал ее. К той поре козленок уже насосался, и Холюша Белобокую повел на место. А в это время в катухе начала котиться молодая козочка. Холюша и не думал на нее. Проверял ведь недавно, вымечка, считай, не было, а вот... Котилась она первым, трудно котилась... Козленок неправильно шел, ножками. Холюша фонарь в катухе на столб повесил и стал козе помогать.

На приплод он уже не рассчитывал, бога молил, чтобы коза живой осталась. Но наконец она опросталась мертвеньким, и Холюша вздохнул облегченно.

Дома, поставив фонарь на пол, он начал растапливать пригрубок. Свет не включил, запамятовал. Холодно было в хате, и хотелось есть, горячего.

В железном коробе оказалась жаренка. Он достал ее, пристроил на плите. Туда же, в сковороду, и хлеб положил, чтобы согрелся. От огня и тепла зашевелились в подпечье курята. Холюша вспомнил, что не кормил их с утра, отодви-

нул заслонку и насыпал на пол пшенца и хлеба, может, поклюют. Водички принес.

Тихо было в доме, лишь мороз изредка в стенах потрескивал да шуршали и попискивали мыши. Холюша сидел у пригрубка на скамеечке, втянув вперед и здоровую ногу, и деревянную, морил его сон. Жаренка в сковороде начала потрескивать, разогреваясь.

И тут залаял Цыган. Холюша прислушался: нет, то не кошка была, не чужая собака, а кто-то другой. Цыган злобно, взахлеб лаял и лаял в сторону забазья. Глухой был звук, значит, туда он лаял, в огород.

Не хотелось вставать, и страх понемногу начинал студить душу. «Вот сейчас перестанет, вот сейчас, — гадал Холюша. — Може, лиса забрела, а он чует ее...».

Но то была не лиса. Собака лаяла на человека. Холюша научился понимать Цыгана. Сейчас тот человека чуял, а может, и видел острым глазом во тьме. И звал хозяина. Нужно было вставать.

Холюша поднялся, взял фонарь и потом поискал возле печки какое-нибудь оружье. Но ничего там не было, кроме старых ухватов.

Цыган лаял настойчиво и злобно, призывая хозяина. Холюша вышел из чулана на черное крыльцо и, подняв фонарь над головой, крикнул во тьму:

— Кто там?! Что за человек?!

Если кто-то из хуторских пришел — хотя в забазье им делать нечего, — если хуторские, по нужде, то отзовутся. Но никто не отозвался. И Холюша повторил:

— Кто там?!

Теперь он не ответа ждал. Он голосом хотел сказать, что здесь хозяин, не спит, и потому лучше чужим людям убираться прочь.

Цыган, услышав хозяина, на мгновенье замолк, а потом снова начал лаять. Он уже не бросался, а лишь настойчиво лаял, указывая.

Потянувшись, Холюша поглядел через забор: у Михаила окна светились. И тогда он пошел через двор к Цыгану, к плетню. Собака метнулась к хозяину и, встав возле него, негромко, сдержанно порыкивала, взгляда не отводя от забазья.

— Кто там?! — снова спросил Холюша, поднимая над головой фонарь. — Что за человек?!

Тишина была ему ответом.

Холюша отворил воротца и вышел на баз. Белел снег, темнели костры жердей, а за ними скирд сена. И черной тучей стоял поодаль сад. Холюша двинулся тропкой и здесь, прямо-таки в двух шагах, почти наткнулся на человека. Тот стоял возле костра жердей и потому был раньше не виден. Он стоял неподвижно и молча.

— Ты кто такой? — возвышая голос для смелости, спросил Холюша. — Чего здесь потерял? — Он вперед выдвинул фонарь, но светом незнакомца не достал и опустил его, за спину завел, чтобы себя меньше освещать.

Человек шаг вперед шагнул и забормотал что-то невнятное.

«Пьяный... — подумал Холюша. — Вроде нет». Он не курил и всегда издали чувствовал запах спиртного.

— Не разберу ничего... Латошишь, как незнамо кто. Чего надо, толком скажи?

Человек стоял, угнув голову, шапка его была насунута низко, уши опущены.

Человек бормотал-бормотал и вдруг, повернувшись, кинулся бежать прочь. Бежал он не быстро, спотыкаясь на паханине огорода, вниз, к садам. Холюша заспешил вслед. Человек свернул правее, туда, где на берегу речки густо росли талы.

— Куды тебя черти несут! Там нехоженое!

Холюша остановился. Человек, миновав полосу белого снега, пропал в черной стене талов. И у Холюши от души отлегло. Как-то сразу спокойно стало, и страх прошел. «Пьяный? Вроде не чутко... — думал он. — А бельмечет по-пьяному».

Поглядев еще раз в ту сторону, где пропал незваный гость, Холюша повернул к своему двору. Миновал сенник, возле костра жердей остановился. Негромко, с подвывом, подал голос Цыган, беспокоясь о хозяине.

— Здеся я, здесь, — отозвался Холюша.

Тихо было. Белый снег лежал. А над землей — широкий, мощенный звездами грейдер тянулся незнамо куда. И кто-

то невидимый скакал и скакал по нему, высекая все новые и новые огни звонкими подковами о звездный кремень. И клубы и вихри серебряной пыли вздымались и катились, оседая, по темному небу и до самой земли.

Снова, беспокойно, подал голос Цыган.

— Иду... — сказал Холюша и успел лишь чуть повернуть голову, не услышав, а почуяв какое-то движение рядом.

Но было поздно. От удара он не ушел. Лишь успел закричать пронзительно и страшно, как умеет кричать перед смертью живая душа.

И тут же еще один вопль прорезал тишину. Это Цыган, услышав крик хозяина, рванулся изо всех сил, оборвал звенку цепи и, махнув через плетень, со звериным воем кинулся на помощь. Их услыхали.

Соседа Мишку растолкала жена. И он, сунув ноги в валенки, с ружьем выскочил на крыльцо. Для острастки лупанул с обоих стволов в небо. Потом накинул телогрейку, перезарядил ружье и побежал. Жена бросилась к соседям.

Мишка подбежал к Холюшиному дому. В окне горел свет. Но двери и воротца на баз были заперты.

— Халамей! — закричал Мишка. — Ты живой там?! Но лишь малый козленок жалобно блеял в чулане и дробно стучал копытцами. Да на базу волновались, гогоча, гуси.

Можно было перемахнуть через забор, но мешало ружье, а без него Мишка лезть боялся: мало ли кто там сидит. Наконец подоспели люди, отворили воротца на баз.

Дверь на черном крыльце, ведущем во двор, была растворена; и та, что из чулана на кухню вела, — тоже настежь. А на кухне, в Холюшином жилье, все было вверх дном перевернуто: валялись железные короба, какое-то тряпье с кровати, опрокинуты стулья, распахнуты в горницу двери, и там тоже горел свет. И малый черный козленок мыкался на нетвердых ногах и блеял жалобно.

Холюшу нашли на забазье. Рядом с ним чернел на снегу кобель Цыган. Хозяин был жив. Его лишь оглушили. А когда в дом внесли и побрызгали водой, он пришел в себя. Опамятовался, сел на кровати, диким взглядом обвел родные стены, людей и тот погром, что царил вокруг, потом сполз с кровати и, постанывая, держась за голову, пошел.

— Нельзя тебе! Лежи! — пробовали остановить его люди.

Но он прошел в открытые двери горницы, огляделся: замки на сундуках были целы. Потушив свет, Холюша вернулся на кухню, и беспокойный взгляд его стал бегать из угла в угол.

— Гармошка... Гармошка где?.. — тихо проговорил он. — Вот здеся была.

Гармошки, которая обычно хранилась в красном углу, на лавке, в деревянном коробе, сверху клеенкой прикрытая, знаменитой Холюшиной гармошки не было. И Холюша, вновь потеряв сознание, грохнулся об пол.

Видно, не зря про гармошку говорили и зарились на нее не зря.

Холюшу снова уложили на кровать, водой попрыскали, виски натерли, и он оживел.

Люди помаленьку разошлись. При Холюше остался Мишка-сосед с другом Николаем. Они пригрубок топили, играли в карты, попивая Холюшину самогонку.

А люди пошли по домам и долго еще не спали, прикидывая, сколько денег держал Холюша в мехах гармошки, и ругая его за глупость.

К утру Холюша поднялся. Он долго примеривался, прежде чем с кровати слезть, но все же встал. Из-за печи вытащил давешний, еще материн, но добрый батожок. И зачикилял на двух деревянных и одной живой, нетвердой ноге.

Во дворе было тихо. Не загремел цепью, не встретил его Цыган.

— Где ты! — позвал кобеля Холюша и попенял: — Хозяин на мертвой скамье лежит, а ты зорюешь.

Лишь гуси отозвались гоготом да просяще мыкнул бычок. Встревоженный Холюша поспешил к будке. Цепь была оборвана. А глянул за плетень, и словно наждаковый стылый ветер просек его до сердца.

Тело Цыгана закоченело. И Холюша оттянул его с видного места, соломой прикрыл. А сам вернулся в хату, снова лег и лежал до той поры, пока не засветлело окно.

На полу, возле кровати, давно и жалко причитал козленок. Пора его было кормить. Да и вся скотина уже заждалась. Ведь она не ведала про Холюшино горе. Глупая была.

К полудню приехал Егор, с тем же человеком и на той же машине.

— Живой, что ли? — здороваясь, спросил он.

— Отвел Господь смертушку, — со слезой пожаловался Холюша. — Чуток... и лежали бы на забазье две дохлины. Спасибо, добрые люди...

Милиция Холюшу расспрашивала, он отвечал и плакал не переставая.

— Цыгана порешили... Теперя таких кобелей и в завете нет... С ним я горя не знал. Видать, не дюже вы их на кукан сажаете. В старое время, бывало, поймают, отведут на плесо да головой в студенку. Другие не позарятся. А ныне чего... Пластают добрых людей, толочут их до смерти...

— А про гармошку-то я тебя предупреждал, — сказал Егор, — ты не послушал.

— Чего ты меня упрекаешь? Я — старый человек...

— Та-ак... а в гармошке чего было? Чего ты там хоронил?

Холюша молча переводил глаза с одного милиционера на другого.

— Так что было-то? Деньги были?

Стуча деревяшкой, Холюша кинулся в красный угол.

— Вот тута она лежала... Чтоб им заглонуться. — Он откинул в сторону ненужную теперь клеенку, в короб пустой поглядел и сел рядом.

— Так были там деньги?

Помешкав несколько, Холюша ответил:

— Были.

— Сколько?

— Откель я знаю...

— А кто же знать будет? Не мы же туда складывали.

Холюша засморкался.

— Я старый человек... Замрачается ум... Да такой страх принял, выпужался до смерти... Рази я упомню, ребяты... Да по голове дюбнули... Прям как паралик вдарил...

— Ну, хоть много было денег?

— Много... много... — закивал головой Холюша.

— Ладно, — сказал Егор. — Не горюй. — И шепнул товарищу: — Не будем пока... Я потом сам все узнаю.

Они снова по огороду лазили, по низам, за речкой, потом уехали на машине. А вернулся Егор один, когда Холюша через силу на базу ковылял.

Егор старика от дела отставил, сам скотиной занялся, а ему приказал в хату идти и лежать. Но Холюша остался стоять посреди двора, глядел за Егором, подсказывал. Потом они вместе в дом пошли.

— Могешь хозяиновать, — похвалил Холюша. — Забрал бы свою семью, да Фетинья с дочерью нехай едет. Все бы сгалталися да ко мне, на хутор. Дома у меня большие. Жили б да поживали. Тебе бы здесь работа нашлась, участковым. Нашто Парыгин совсем старый. Неплохо б зажили.

Егор засмеялся.

— А я ведь всурьез, — обиделся Холюша.

— Всерьез? — удивился Егор. — Чего это ты голову себе забиваешь?

— Это почему так?

— А потому... Я — не вольный казак. Служба. Сюда меня не пошлют, и слава богу. Делать здесь нечего, разве что самогон пить. У меня семья, о ней надо думать. У вас на хуторе ни школы, ни больницы. Чего случись, фельдшера и того нет. Так что не забивай себе голову, по-умному рассуди.

— Оно и ты не дюже по-умному раскладаешь, — не согласился Холюша. — Мы век тута прожили. И неглупые люди с нашего гнезда вылетали. Марюши Карагичевой сын, большой военный, чуток не генерал. На машине ездит. А из наших, из репанцев... Достиг. А ежли болезня какая... Меня мать всему обучила, лучше докторов. И скотину могу, и людей. У кого хоть спроси. Малым детям вот от поносу гусынка хорошо помогает, от желудка еще крушина... Колютка белая тоже...

Холюша многое мог бы рассказать, но, поймав безразличный Егоров взгляд, понял, что попусту он льет. Не приедут. И Егор не приедет, и сестра Фетинья, как бы худо ей ни жилось. Они уже обвыклись с другой жизнью, и назад им ходу нет.

А позднее, ночью, когда Егор уехал, Холюша лежал и думал. Уже поздно было, а он — небывалое дело — заснуть

не мог. Может, потому, что целый день почти ничего не делал и праздное тело не просило отдыха.

Он лежал и думал, и как ни раскладывал, а лишь одно выходило: надо Егора слушать и уезжать. Старость подступала, и нечем от нее было заслониться. Приди сейчас лихой человек и бери голыми руками. Цыгана порешили, и некому теперь Холюшу оборонить. Может, сейчас, когда он лежит колодой, уже хозяйничают на базу чужие люди, под гребло все гребут. При мысли о ночных гостях Холюше сделалось страшно. Он прислушался и вроде услышал какие-то звуки на воле, то ли чьи-то шаги, то ли скрип отворяемых ворот. И Холюша сжался под одеялом, дыхание притаил. А минуту спустя, когда отпустил его этот внезапно подступивший ужас, Холюша ясно понял, что надо ему уезжать. Уезжать. И Господа Бога благодарить за то, что он Егора подослал. Великое ему спасибо, что смилостивился и хочет старость его успокоить. И Господу спасибо, и Егору.

Низкая красноватая звезда глядела в мутное, не затворенное ставней оконце. Пригрубок не затухал. Временами, прогорая, там рушился уголь, и багровый отсвет пробивался из поддувала. Мыши ходором ходили, с писком и возней.

Холюша поднимался, задергивал шторку. Но вновь, уже над занавеской, и снова в упор, светила ему низкая звезда. И не было сна. И гнездилось в голове сто раз думанное.

И чтобы не лежать без толку, не маяться, Холюша решил делом заняться. Пошел он с фонарем в сарай, нагреб полный мешок кукурузных початков, а в доме, возле пригрубка, корыто поставил и начал лущить в него ядреное кукурузное зерно. На новое место кукурузу с початками не с руки возить, а чистое зернецо меньше места займет.

На шум и свет козленок глаза продрал. Проснулся, поднялся и начал возле хозяина тереться, мекекать да вымя искать.

— Чего встал, прокуда? — спросил его Холюша. — Спал бы да спал. Ложися.

Но козленок под руки стал лезть, мешаться.

— Какого тебе беса? Ну, на, — сунул он козленку палец. Козленок носом ткнулся, фыркнул. — Не нравится? Середь

ночи тебе козу весть? Да? Гляди, счас... Скоро вот уйдешь на чужой баз, там тебя живо... Это не у меня, в тепле да сытости. А новые хозяева тебя враз на соломку посадят. Вот тогда запоешь матушку-репку. Как? — спросил он козленка, наклоняясь к нему. Тот внимательно глядел на хозяина. — Не веришь? А вот поглядишь. Скоро, брат, скоро ликвидироваю вас всех. А сам на спокойную жизню уйду. Да... Чего глядишь? Не хочешь к другому хозяину итить? Э-э-э, ты, гляжу, не глупова десятку. Смысленый...

Сыпалось и сыпалось из-под пальцев сухое зерно. Терся возле ноги и глядел на хозяина козленок. А Холюша говорил и говорил:

— Куды деваться? За пазухой вас держать не будешь. Вам же сенца надо, травочки по лету. Весна найдет, снег потает, ты и пошел пасться. Вот это жизня. А тама огород. Негде вас пасть, негде. И на зиму сенца не добудешь. Одно слово — город. Я сам на ту весну на базар зерно возил, пять чувалов. Радовался, хорошие какие цены. До сорока копеек за кило. Во как... А ныне слезьми плакать приходится. Как с такими ценами птицу держать? Золотая получается яичка. А ути, прожористые черти, с хозяина и вовсе штаны сымут. Вот тут и гляди... Хошь не хошь, а придется вас в чужие руки отдавать. Не реви... Не тебя одного, всех... Всех попродам... Останусь яко наг, яко благ. Цельный день буду сидеть на лавочке, как мытая репа, да семечки грызть. Во как! — засмеялся Холюша. — Во какая жизня пойдет! Не хотел? А чего, куплю, как Петро Васильич, эту... фуражку, натяну на калган. В руки тростку магазинную. И пошел, — Холюша вновь рассмеялся, представив себя в белой полувоенной фуражке и с красивым фабричным батожком.

Был такой мужик на хуторе. Феклуня на базар ездила и привезла жениха с фуражкой и красивым костыликом. Он голубей водил, фуражку свою мелом чистил да втихую за молодыми девками прихрамывал. Но величали его Петром Васильевичем, не иначе.

— Вот так... — продолжал объяснять Холюша. — В карты зачну играть. А как же... В лото. Одно слово — пенсионер. Хватит, наработался, слава тебе Господи... Руки уж не владают. С младости трудюся. Бывало, ребята в алдан-чика

играют да в генерала, а я все трудюся. Да-а... Вот как ты был, несмысленый, а уж телят пас, гусей... Вот тебя бы счас взять запрячь и воду, например, возить... А-а-а, не нравится? То-то... А я вот с той поры рук не покладаю.

Текло из-под рук легко зерно, козленок, завороженный его шелестом и мерной Холюшиной речью, прижался теплым боком к ноге и, подремывая, слушал.

— Сеструшка со мной будет, Фетинья, и дочеря ее. Та молодая... Доглядать будет за нами. Егор рядом, он все же при власти, милиционер. Не всякий на нас посыкнется. А я, може, кролов зачну водить. Говорят, плодущие...

Так и шла у них беседа. Потом Холюшу ко сну начало клонить, и он свою работу оставил, поднялся. Встревоженный козленок тут же запричитал, начал мыкаться по кухне, ко всему цеплялся, припадая на передние коленки, вымя искал. И Холюша пожалел его.

— Матерю захотел? Ну, ладно, счас приведу. Уж напоследок... Чтоб подоле меня поминал. Такого-то хозяина тебе сроду не видать.

Холюша сходил на баз, привел Белобокую.

Козленок кинулся к матери, с ходу сосок уцепил и чуть было не захлебнулся густым сладким молоком. Коротко перхнув, он приладился к струе, зажмурился от удовольствия, и мало ему показалось молока, мало. И он поддавать начал в нахолодавшее вымя. Он поддавал и пританцовывал, и короткий заячий хвост его ходором ходил от нетерпения.

А Холюша с легкой улыбкой глядел на козленка. Он всегда жалел маленьких. И вдруг пришло в душу какое-то неясное волнение. «А ведь когда-то и я вот так... у матери... Не знал ничего, не ведал... Дудонь да дудонь...» Но эта странная мысль сразу оставила его. Может быть, потому, что Холюша не мог себя представить младенцем. Ему казалось, что он всегда был вот таким: в треухе и телогрейке, с деревянной ногой. Хотя нет... Холюша помнил себя. Да, помнил малым пацаном.

Вот они картошку с матерью окучивают. Мать тянет плужок, а пацан за чапигами. И норовит вырваться, вывернуться плужок. Мать неровно тянет, рывками. Руки немеют, дрожат...

А вот он вместе с отцом, и косенка у него своя. И перепелка, в первый раз так близко увиденная перепелка с выводком... Вот она уходит от него по прокосу. И Холюшка спешит за ней. А птица неловко, боком, раскрылатившись, с жалким клекотом, подпрыгивая, уходит. Как ясно все видится! Голенастые перепелята, красноватая курочка, неловко скачущая по валам травы... И отец смеется...

А дальше... Что же дальше?! Почему там нет ничего. Ах, есть, есть... Вон мужик в защитной, не обмятой еще гимнастерке... Вон он мелькнул: раз — и все... Где это было? Мелькнул и ушел... А потом?.. Ничего больше... Только серая телогрейка да вечный треух. Да нога деревянная... И ничего больше нету. Только мать, старуха с худыми черными ногами, в подоткнутой юбке... Бредет и бредет по мелкому плесу с хворостиной в руках... Птицу гоняет... А еще? Снова треух и телогрейка... А еще?.. Снова мать бредет... А еще? И нога деревянная...

И вся жизнь. Вот она, на один огляд, скупо отмеренная Богом. А может, и хватит?..

— Эй ты, может, хватит? — окликнул Холюша козленка. — Или ты на всю жизнь уцепился? Так-то можно...

Словно усовестясь, козленок отвалился от вымени, и не было даже сил благодарно мекнуть. Нетвердо ступая, он подошел к пригрубку и улегся, аккуратно уложив длинные ломкие ноги. Прижался к теплому печному боку и тут же задремал. И уже во сне он снова сосал, почмокивая, и иногда тельце его вздрагивало...

Холюша улыбнулся, позавидовал: «Ну и жизня у тебя, парень...» — и, ухватив Белобокую за крутой рог, потянул ее на баз.

После этой ночи переезд стал делом решенным, и пришло время иных забот. Первым делом купили дом, который Холюша обсматривать ездил. Прежний хозяин согласен был на рассрочку. Но Холюша, удивив Егора, все разом заплатил, и Егорова жена тут же укатила за Фетиньей и матерью.

Своим чередом шла продажа. Телку забрали хорошие хозяева в Евлампиевку. Трех баранчиков прирезали, на базар свезли. Бычка сдали в кооперацию. Хорошо бычок

вытянул, считай, зимник был. Гадали об овечках: то ли всех сбывать, а может, себе оставить, чтоб доточили сенцо, а уж потом — на мясо. О козах голова не болела: с этих в самый конец пух чесать, а потом в день разберут, только шумни. Птицу изживать тоже трудов не стоило: секи им головы, щипи да морозь, а там — потихоньку на базаре разойдется. Заботила лишь корова: в худые руки Холюша отдавать ее не хотел, но не враз и охотники на нее находились, все ж в годах была. Но Холюша знал, что купят, не нынче, так завтра. Заводу Зорька всей округе известного, а годы что... Зубы еще не сточились, не один и не два года проходит и молока будет давать побольше иных молоденьких. Так что нужно было лишь подождать, пока слух о продаже по хуторам разойдется.

Вот и ждали. А между делом понемногу вывозили к новому месту кое-какое добро: из горницы кровать, стол со стульями, телевизор. Все это Егор делал.

Катился февраль, подходила весна, дело шло к окончательному переезду.

5

В конце недели, в пятницу, подъехала к Холюшиному двору машина. Сидели в ней Егор да жданный покупатель, новый агроном. Холюшину Зорьку он глядел и решил брать ее. Увидев вылезающего из машины Егора, Холюша прямо с крыльца закричал:

— Егор, Егор! Счастья нам какая привалила! Какая счастья! Ты поди, погляди!

Егор ничего не понял.

— Какое еще счастье? — поморщился он. — Вот покупатель приехал, — показал он на агронома. — Бабка Фетинья с Марией поселились и тебя ждут... — начал он, и умолк, и стал глядеть на деда.

Холюша был явно не в себе: шапка у него на сторону сбилась, глаза шалые сделались. И он не слушал Егора, нет, он свое толочил:

— Счастью! Такую счастью Бог послал... — твердил он. — Вчерась-ка в ночь, такая счастья... Пойдем в дом, погля-

дишь, — хватал он Егора за рукав, за полу шинели и тащил за собой.

— Какое еще счастье? — недоуменно переглянулись Егор с агрономом.

А Холюша уже в дом спешил, постукивая деревяшкой.

— Пойдем, поглядишь, пойдем, — радостно бубнил он. — Привалила счастья...

Егор, агроном и даже шофер, заинтересованные, пошли за Холюшей.

В кухне горел яркий свет. В углу, возле дверей горницы, на соломе стоял врастопырку и глядел на вошедших теленок. Холюша кинулся к нему.

— Вот она, счастья! Вот она, какая счастья! Гляди, Звезда народилася! Звезда!

Егор рассмеялся, за ним агроном, шофер их поддержал: «Ну и дед...»

— Отелилась, что ли, Зорька? — спросил Егор. — Ну и слава Богу.

— Отелилась... — недоуменно повторил Холюша и руками всплеснул. Его зло начало разбирать. — Да ты хоть глазами-то видишь, кого она принесла? — в сердцах проговорил он и выкрикнул: — Звезду принесла!

— Ну, Звезда, — тоже начал злиться Егор. — Ну, телок... Не пойму, чего ты прыгаешь. А кого она должна была принести? Козу, что ли? Снесла курочка яичко, не простое, а золотое...

— И-и-и, — укоризненно протянул Холюша. — Доумился... Козу... — но потом вдруг понял, что эти люди — Егор, новый агроном и шофер, — они ведь не знают ничего и потому лишь глазами на него лупают. Он вдруг понял все это и просиял. — Да вы же несмысленые! — счастливо рассмеялся он. — А я перед вами... мечу. Вы же и близочко ничего не знаете. Садитесь, Христа ради, садитеся... Счас перескажу... — Он повернулся к теленку, ласково тронул его. Тот мыкнул и, взбрыкнув задними ногами, подпрыгнул на месте. — Вот ты правильно сказал, Егор, золотая эта яичка, золотая телочка, — наставительно произнес Холюша. — Таких телочек и в свете нет, — говорил он торжественно и серьезно. И слушали его всерьез, насторожась. — Не вложу

в память, говорил я тебе, наверно, говорил, да у тебя скрозь пальцы протекло. Наша Зорька кровя свои ведет от Звезды, — поднял Холюша руку и пальцем в потолок указал. — А та Звезда была даве еще, это еще в войну, в Назмище. У Митрони Бочкарева. Откудова та Звезда взялась, не знаю. Бог дал. Та Звезда была молоком налитая. По цебарке за раз давала. И доилася чуть не весь год. До самых, до самых... Заливала Митроню молоком. Вот как! — победно оглядел всех Холюша. — У нас по хуторам всякие коровы случались. А Митронина Звезда — из всех знаменитая. Сколько лет-годов прошло. Давно уж косточки погнили. А помнят Звезду, все помнят добрые хозяева, какие живы. От той Звезды по хуторам племя пошло. Неплохие коровки. Как наша Зорька. Но вот в Звезду ни одна не удалася. Сколь люди ждали, а вот нет такой, да и все. Не дал Бог. Ни у Бочкаревых, ни у других хозяев. — Холюша замолк, а потом сказал шепотом: — А меня Господь наградил... За труды мои... — всхлипнул он. — Послал... Глядитя... — и указал рукой на телочку. — Масть чистая, светлая... Лобик белый, — тронул он рукой белую пежину. — Чулочки белые, — нагнувшись, указал он. — Хвост до самой репицы белый! — закончил он торжествующе. — Все чисточко при ней, без подмесу!

Слушатели, ошеломленные не столько Холюшиными доводами, сколько тоном, молчали. Первым Егор опамятовался, спросил:

— Погоди... так что, одна она, что ль, такая, со звездой, с чулочками, с хвостом?

— Взошло наконец, — язвительно ответил Холюша. — О чем цельный час талдычу. Вот была Звезда Митронина, а ни от нее, ни посля чисто никто в нее не удавался. А Зорюшка наша постаралася напоследок, хозяина отблагодарила... — снова расчувствовался он и даже заслезился. — Отплатила мне за все мои заботы. За то, что кормил ее и поил. О себе так не заботился, как об ней.

— Понятно, — сказал Егор. — Теперь все понятно. — И к агроному повернулся: — Чувствуешь, чего тебе отдаем? Особый с тебя магарыч?

— Не заржавеет, — смеясь, ответил тот и шагнул к теленку.

— Не отдам! — накрест растопырив руки, встал перед ним Холюша. — Не подходи!

— Ты чего, дед? — удивился Егор. — Он же ее покупает.

— Меня, меня Бог наградил! — выкрикнул Холюша. — Рази я ее в чужие люди отдам?! Сколь я ее у Бога выпрашивал! И послухал меня Господь, на мои слова сжалился. Да неужели я такую золоту в чужие руки отдам?! Да я голодать буду, телешом ходить, а ее взращу! По травиночке, по былиночке буду сбирать, а она сытой будет! А она потом такого молочка нам даст, сладимого из сладимых! Она всех нас прокормит, золотанюшка... Зальет, зальет нас молоком! Не зря старые люди и счас поминают Звездочку! Золотанюшка... — повторил Холюша и повернулся к дорогой своей телочке и глядел на нее глазами, полными слез.

Агроном, с ноги на ногу переступив, откашлялся и пошел из кухни. Следом за ним шофер. А уж за ними Егор выбежал.

— Подожди... Вы куда?

— Да куда... — ответил агроном, разминая и закуривая сигарету. — Куда же... От ворот поворот.

— Брось ты... — сказал Егор. — Это он так, с ума сходит. Сейчас я поговорю.

— Подожди, — остановил его агроном, — покури. На, закуривай. И не суетись. Не продаст он сейчас корову. Не знаю уж, золотая она или серебряная... Но ты же слышал?

— А куда ж он ее денет? В карман, что ль, возьмет? Нам же переезжать... Сейчас я его... — и он снова было шагнул к крыльцу.

И снова его остановил агроном:

— Не сепети... Сейчас не трогай. Скажи, продаст? — спросил он у шофера.

Тот отрицательно головой покачал и сказал:

— Не похоже... Ему втемяшилось. А вообще-то, — добавил он, — про эту Звезду, про назмищенскую, я тоже слыхал. Не упомню, вроде от матери. Но что точно, то точно, была такая корова. Старые люди знают.

— Вот так, — поглядел на Егора агроном.

— Да ерунда все это, — не сдавался Егор. — Какая бы она ни была, дом-то куплен. Деньги он заплатил — десять таких коров можно купить. Стадо целое! Поняли? Дурит

дед. С ума сходит. Никуда не денется. Переезжать все равно надо.

— Ладно, — сказал агроном. — Вы тут меж собой разберитесь. Корову я, конечно, взял бы. Тем более... — засмеялся он, — дыма без огня не бывает. Конечно, когда она еще вырастет и чего... Но интересно. Ладно, мы поехали, а ты с ним толкуй.

Еще долго стоял, провожая взглядом машину, курил и вроде успокоился, а уж потом в дом вернулся.

— Ладно, с коровой-то... — со вздохом сказал Егор, усаживаясь. — Ты чего и себе, и людям головы морочишь. Приехал человек, покупать. Дома тебя сестра ждет, племянница... А ты? Для чего все это затеваешь? Или собираешься корову на новое место переводить? Так я же тебе...

— Не, не, не... — всполошился Холюша. — Ее нельзя с хутора трогать. Она должна добрым молочком выпаиваться. На хорошей травке расть, на нашей воде, на всем невладанном. — Холюша к телочке подошел, тронул ее рукой, и голос его потеплел. — Не ныне завтра снег сойдет, погоним скотину. Сначала старюку погложут, она тоже едовая. А там и зеленка пойдет. Вот и будет наша Звездочка расть, людям на завидки. Да в такую коровку подымется. Я в коровах понимаю, я их видал-перевидал. А таких вот, не даст Господь сбрехать, таких и в завете нет, — горячо говорил Холюша.

И он честно говорил. Верил он, верил, нутром, сердцем чуял, что в последний разок не обманула хозяина Зорька и принесла такую расхорошую телочку, каких не было и не будет. В добрую память о себе, за все добро, за всю ласку, за всю свою счастливую жизнь, что провела на этом базу, у дорогого своего хозяина.

— Выкормим ее, выпоим, а она такого молочка даст, сладимого да жирнючего, чистый каймак. Твои ребяты его пить будут не напьются. На дрожжах будут с него расти. Всех она нас прокормит, всех... И сеструшку, и меня. Нам, старым, молоко за первую еду...

Толковать было не о чем. Ругать Холюшу Егор не стал, жалея его. Он лишь развел руками и сказал:

— Не пойму я тебя. Вот убей, не пойму...

— Ты свою жизню к моей не прикладывай, — ответил Холюша. — У нас так-то вот... Надысь Митревну встретил, она чуток посверстнее меня. Чикиляет, жалится, плачет: «Мои-то уехали... Кинули меня без Христовой памяти... Я ту лету надорвалася с огородом, сажала. Снова весна заходит. Руки не подымаются, ноги не носют, а надо сажать, надо... Не посади огород да картошку — люди осудят...» А я ей: и осудят, говорю, осудят. Терпи, Митревна, такая наша жизня. Понял? А мне чего? Я еще в силах. Да такую телочку мне Господь послал, золотанюшку мою...

А Егор глядел на Холюшу и не знал, плакать ли, смеяться...

— Ладно, дед, — решил он. — Ты сам себе хозяин. Давай выпьем за твою золотую телушку, за новый дом, за все...

— Вот это правильно, — одобрил Холюша, — а мне замстило.

Собрали наскоро стол, разлили по стаканам.

— Твое здоровье, — сказал Егор. — Пусть растет твоя телушка. Дай Бог, молочка от нее попить. И тебе, и всем нам.

— Это правильно! — поддержал Холюша. — Это по-нашему...

А белолобая телочка при этих словах взбрыкнула, коротко мыкнув. Здоровая была телочка, веселая. Белоухая коза своих козлят накормила. Они улеглись подле нее и прикрыли глаза, задремывая. Мать то одного, то другого вылизывала и, чуя вкус родной плоти, сладостно, нутром взмекивала.

6

Молока от дорогой своей Звездочки Холюша не отпробовал. Он умер в ту же весну, в начале апреля. Вышел на черное крыльцо с цебаркой, пошатнулся и рухнул вниз, ткнувшись в землю почернелым лицом. Видно, кинулась в лицо темная жиловая кровь. Пустая цебарка со звоном катилась до самых ворот...

Схоронили Холюшу, и в одночасье опустели базы, и у дома крест-накрест забили досками окна.

На хуторе о Холюше иногда вспоминали. Чаще по-худому. Реже по-доброму. Но что слова человечьи...

А еще месяц спустя, в середине мая, совхозный электрик Митька ехал в пароконной бричке за песком. Клавдия собиралась, как всегда по весне, мазикать.

Время было полуденное, Митька успел не только опохмелиться, но и неплохо выпить. А впереди снова маячила выпивка. Так что жить было можно. Митька курил, лениво по сторонам поглядывал, лошадей не гнал.

В просторном небе гулял один лишь хозяин — солнце. И только на западе, на краю неба, сторожили синий простор высокие башни облаков. И в той стороне, где они недвижимо высились, даль туманилась, будто зрела там непогода.

На земле было зелено. По целине вершковый молочай раскустился, закрывая летошнюю старюку. Прожив свою недолгую зеленую пору, засеребрились, склоняясь под ветром, чубатые ковыли. Вдали тянулись темные поля озимки и светлая зелень яровых. С дороги и обочин вспархивали жаворонки, с треском поднимались куропатиные пары. Цапля пролетела, помахивая черными крылами. А справа, в логу, в тополевой гущине, было и вовсе весело. Кукушка кому-то намаливала годы. То выпевала ласково, то гневно крэкала иволга. Пестрокрылый удод принимался токовать, да все сбивался с голоса. Лишь местами угрюмый лох чернел голыми ветвями, топырил колючки, остерегая себя от ранних соблазнов весны и солнца; и там тихо было, пусто. А далеко в небе плавал шульпек-коршун. Он ходил и ходил кругами, то ли добычи не мог найти, то ли славно ему было парить в тугих воздушных струях.

Митька свернул на летнюю дорогу. Она вся просеклась травой; и высокие куличи муравьиных гнезд на колее говорили, что топчут ее первые копыта. Путь был недолгий, к кургану, что стоял над логом. На склоне его брали песок.

Подъехав к копанкам, Митька остановил лошадей и пошел глядеть, из какой ямы или пещерки легче песок взять. В одной из глубоких пещерок что-то чернело. Митька ближе подошел, любопытствуя. В чистой песчаной пещерке лежала гармошка, целая. И в единый миг Митька понял, что это ничья более, а Холюшина гармошка. Он понял и обмер. Но тут же совладал с собой, воровски огляделся и кинулся в пещерку. На колени пал, прополз, достал гармошку рука-

ми. Голова кругом пошла. Все так же, стоя на карачках, Митька подтянул к себе гармошку, увидел проем оторванной боковины и сунул туда руку. Рука погрузилась в бумажки. И рукой, плотью, Митька ощутил их гладкость и слухом их шелест. Он выдернул из недр гармошки пук бумаг и охнул. То были не деньги, а просто бумаги, какие-то квитанции. Еще не веря в неудачу, Митька потянул гармошку прочь из холода пещерки. Он озяб и полз к свету, к солнцу. И здесь, на просторе, вытряхнул из гармошки все, что было в ней. Вытряхнул, покопался в этой груде бумаг, выматерился и полез за куревом. Он курил, а глазом косил на гору белых, синих, красных — разноцветных бумаг. Курил, успокаивался и наконец ухмыльнулся, проговорил вслух:

— Разбогатеешь с вами, в бога мать...

Докурив первую, Митька вторую сигарету достал и теперь, почти спокойно покуривая, взял из кучи несколько бумажек, начал глядеть их.

«Обязательство на поставку государству мяса и яиц... Вихлянцев Варфоломей... Обязательство на поставку государству молока... Вихлянцев...» Бумажки были всякие: малые и большие, желтые, розовые... Лощеной, гладенькой и простой, затерханной бумаги. «Народный комиссариат... Министерство финансов... Государственный банк... Мяса (в живом весе)... на основании постановления... Вы обязаны... квитанция № 255. Яйцо шт. 432... Масло топленое 1650... Квитанция № 328857 принято от Вихлянцева... в фонд обороны страны на сумму руб. две тысячи пятьсот... 16 августа 1943 года... Приемно-расчетная квитанция. Масло сливочное 2,5 кг...» Годы и годы... 1937... 1950... 1941... 1939... 1952... «Живсырья и пушнины... Козлиные... количество 3... Извещение № 2915/72 на уплату... и сдачу государству в порядке обязательных поставок мяса, молока, яиц, шерсти и картофеля... Центросоюз... Шерсть 12 кг... Зачетный вес мяса 60 кг... Масло топленое 2100...»

Проглядев десяток бумажек, Митька бросил это занятие. Дело было известное. Клавдия тоже такие квитки хранила. Правда, не столько их было. Не такая пропасть.

Митька закурил и вспомнил о той сотне, что занимал у Холюши и не успел отдать. И теперь уже не отдаст. Холю-

ше деньги не нужны. А другие не знают, да и узнают — Клавдия им шиш покажет, этим наследничкам.

Посидел Митька, подумал и решил сжечь всю эту канцелярию. Сначала вспомнил о милиции, которая ищет гармошку с деньгами. Подумав о милиции, Митька тут же решил: «Хрен вам». С милицией у него были свои счеты. К тому же заяви, а потом затягают: скажут, деньги упер.

Снова вывалив Холюшино богатство, Митька поджег его. Горело оно недолго, высоко и жарко. И обратилось в пепел. Гармошку Митька закопал, нагрузил подводу песком и двинулся в обратный путь. Дорога была хорошая, кони тянули ровно, а у Митьки из головы Холюша не выходил. Думалось о нем и думалось.

В хуторе, сгрузив у дома песок, Митька лошадей отогнал, пошел к себе в мастерскую, отмотал десяток метров комнатного провода и тут же продал его, за пятерку. Но в магазине не бутылку взял, а лишь маленькую и, сунув ее в карман, отправился на Холюшино подворье.

Он зашел во двор. Крыльцо черного хода зеленело. Из подернутых землей щелей его и трещин дружно поднялись добрые хлебные всходы. Митька сел на ступеньку, из чекушки хлебнул, закурил.

Ясное солнце глядело на просторный двор, покрытый зеленым рядном гусынки. На коровьем и козьих базах, пока еще редко, несмело, поднималась конопля. Крытые чаканом крыши лежали ровно. Прочно стояли дубовые столбы, и стены сараев, плетни базов не хилились. Все двери, калитки, воротца были затворены, окошки целы. Но тихо было. Не вскудахчется птица, скотина голосу не подаст. Так тихо было на базах. И теперь навсегда. Лишь тихомолом будет расти бурьян. Да будет вечно лежать вот этот камень у крыльца. Ему ни умереть, ни воскреснуть не дано. А за плетнем, в низах, в огородах все было живо и зелено, как и должно быть на тучной, сытой навозом земле. Только не ряды картошки поднимались там, не ровные гряды лука, не помидорная ботва, не огуречная огудина, не белый и розовый цвет гороха, не капустный лист, а пустая трава. И там, где летось лежали мостом помидоры и огурцы, где пучилась земля от ядреной, в кулак, картош-

ки и впокат тыквы желтели, там доспеет по осени лишь черный бурьян, и в землю упадут злые семена, чтобы еще яростней подняться в новом году.

Митька глотнул еще из чекушки, за ласточками стал глядеть. Много их населилось на Холюшиных базах. Так и стригли, так и носились касатушки. Вот одна уселась на ветхий шнур рядом с Митькой. Уселась и принялась щебетать. Она щебетала в голос и щебетала. Звала ли друга или просто радостно ей было глядеть на синюю волю. Она щебетала, что-то выговаривала, а Митька слушал ее, пошевелиться боясь.

ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ

Поздним сентябрьским утром на крыльце колхозной конторы переругивались управляющий отделением Чапурин и всем известный Тимофей Иванович. Долговязый Чапурин стоял внизу, на последней ступеньке. Тимофей Иванович петушился на самом крылечке. Он сыпал словами, словно семечками, лишь иногда заикался да еще и ногами перебирал. Чапурин больше вздыхал.

— Пять дней честно отработал, как штык. Пас эту скотину с утра до ночи. К-капитально. Понял? — торопился все высказать Тимофей Иванович.

— Ну...

— Вот и гну, — злился Тимофей Иванович. — Ты попросил тогда, я — пожалуйста. Хотя мог бы... Но я тебе навстречу. Я иду тебе навстречу, я несу тебе цветы... — пропел он. — Я тебе навстречу пошел. К-капитально договаривались: пять дней. Я отпас, истер всю... — потрогал он истертое место. — Ходить не могу, — и прошелся по крыльцу — ноги колесом, — демонстрируя.

Чапурину все это было не внове: слова, песня, демонстрация. Он лишь сказал:

— Ну, отпас пять дней. Чего ж, теперь на тебя молиться?

— При чем тут молиться, — закипятился Тимофей Иванович. — Какой божественный! Да ты кроме в бога мать, и молитвы не знаешь. Вроде Шурани моей. Тоже молятся,

с тещей, — состроил он постную физиономию и перекрестился. — А сами зырят. Знаем мы эти молитвы...

— За пять дней рублей семьдесят заработал, — уговаривал Чапурин. — Месяц поработай. Посчитай, сколько получишь.

— Я не жадный, — остановил его Тимофей Иванович. — Живу зажиточно. Дочерей определил, а теперь Шураня шторы на окнах в три ряда вешает. К-капитально. Не веришь — зайди. Первые — простые белые, с кружевами, вторые — прозрачный капрон, третьи — в розах. В домах — темь. Шураня с тещей счастливые. Вот куда идут денежки. А человек, между прочим, рожден для жизни, как птица для полета. Это еще Пушкин сказал. А какая жизнь среди этой скотины? А? Я уже сам начинаю мычать и становиться на четыре... — Тимофей Иванович набычился и встал на четвереньки, но тут же поднялся. — Понял?

— Ну понял. А чего ты хочешь? — спросил управляющий. — Какой работы?

— Пошли меня куда-нибудь, — не задумываясь ответил Тимофей Иванович. — На станцию или хоть на центральную, чего-нибудь достать или украсть. Каким-нибудь экспедитором.

— Ага, — хмыкнул управляющий. — А потом ищи этого экспедитора. Хватит, поездил.

Недавно, весной, поддался управляющий на сладкие Тимофея Ивановича речи и отправил его — человека пронырливого — добывать запчасти. На лошади и снабдив всем нужным.

Целый месяц блукал Тимофей Иванович вдали от дома. Вести приходили со всех сторон. Приметную белую кобылу Нюрку видели в Филонове, в Урюпине, в Бударине. Все плетни и заборы обгрызла она возле тамошних пивных. Арестована была вместе с хозяином и отработала десять суток. Домой добралась — кожа да кости. И хозяин не краше.

— Не хочешь ты работать, — заключил управляющий.

— Достойной работы не вижу. Лучше я подожду.

— Ну жди, — махнул рукой Чапурин и пошел от крыльца.

Тимофей Иванович проводил его взглядом и вздохнул облегченно. И тут же подался от конторы, потому что Чапурин мог еще передумать. А Тимофей Иванович нынче к работе не был расположен. Он целых пять дней пас молодняк, подменяя Романа Макеева. Вчера вечером они с Романом выпили, и теперь самое время было похмелиться да людей повидать. Истомился он без людей за пять дней одинокой пастьбы.

Шел Тимофей Иванович неторопливо, легкой вихлявой походочкой, а глаза его так и шныряли туда да сюда, угля-дывая, где бы поживиться.

Утренний хутор был пуст. Бабы уже отстряпались и скотину прогнали. Ребятишки укатили на велосипедах в школу, в соседний хутор. День поднимался ясный и теплый. Стояло бабье лето, долгое, до самого Покрова.

У колхозной кузни колготился народ, но Тимофей Иванович туда не свернул. Там — управляющий, там — работа, туда надо попозже, а не с утра.

Ноги несли Тимофея Ивановича к дому. И вовсе не потому, что он наскучал по жене да теще или домашних забот искал. Впереди был день, он сулил многое, но теперь, поутру, лишь одно Тимофею Ивановичу приходило на ум: зайти домой, незаметно пробраться в погреб, прихватить там сальца ломоть или банку домашней тушенки, отнести Максимихе — и будет стакан. А дальше все пойдет своим чередом.

Родное подворье встретило хозяина обманчивой тишиной. Кошка грелась, забравшись на камышовую крышу сарая, куры татакали, а баб не было видно. Тимофей Иванович стал продвигаться к погребу. Но тут вышла из дома жена его Шураня и, разом все отгадав, спросила:

— Куда крадешься, котяра?

Тимофей Иванович принял независимо-скучающий вид, вроде он никуда не собирался.

— С конторы иду, — сказал он. — Отгулы дал управ.

— За прогулы? — в лоб спросила жена. — Пять дней отпас — и шлычку набок. Теперя в загул до морковкина заговенья.

— Ну, нет нынче работы подходимой. Поняла?

— Я все поняла. Мама! — позвала она.

Вышла из летней кухни мать, тяжелая крепкая старуха.

— Посиди с платком, покарауль, — сказала Шураня и разъяснила: — В отгулах он.

Мать сразу все поняла, взяла вязанье и, неторопливо прошествовав к погребице, уселась там на крышке погреба. Поерзала, устраиваясь поудобнее, сдвинула со лба очки и заработала спицами, ни на кого не глядя.

— К-капитально, — оценил Тимофей Иванович обстановку и съехидничал: — Снизу не продует. А то чхать начнешь, этим самым...

Теща не удостоила его ответом. Лишь спицы заработали яростней, посверкивая на солнце.

Шураня принялась вычитывать мужу:

— Управу ты буки забьешь... Набрешешь — кобель не перепрянет. А я тебя на дело постановлю, не дам баглайничать. Неси из сарая лук, рассыпай, нехай провенется. На козьем базу столбушок похитнулся. У поросенка две дощеки надо заменить...

Жена, стоя на крылечке, считала и считала дела, загибая пальцы, а Тимофей Иванович с улыбкой слушал ее и приговаривал:

— Сделаем. Сделаем, товарищ начальник.

— Ты чего лыбишься? — не выдержала жена. — Я об деле...

— Как же мне не лыбиться, — развел руками Тимофей Иванович. — Крас-сивая ты у меня баба. Прям стоишь как гоголушка.

— И-и-и, — вздохнула жена. — Лопота!..

Но, может, и против воли ее, на мужнюю похвалу что-то дрогнуло в душе, и уголки губ мягко опустились.

Она и вправду была красивой, даже теперь, в пятьдесят почти лет: подбористая, легконогая, статная, большие серые глаза, тонкий, с горбинкой нос.

Какой они были парой когда-то... Весь хутор глядел вослед.

Ах, Шура, Шура-аня,
Как любили мы с тобой!

Шураня... Это ласковое, воркующее имя осталось и до сих пор. И столько в нем было сокрыто, что и теперь, через век уже, отзывалась душа.

— Ах, Шура, Шура-аня... — дурашливо пропел Тимофей Иванович и кинулся исполнять приказы своей супруги. Лук он вытащил на середину двора и рассыпал его. К козьему базу подступился с лопаткой и дубовым стояком, а главное, с такой живостью, которая обманула даже Шураню.

— К Таисе надойду, — сказала она матери. — Може, отвезем бычка.

Скрылась жена за воротами, и Тимофей Иванович, недолго переждав, медленно и вразвалочку пошел к дому. Он шел и сверлил глазами тещу, сидевшую на погребице. На крылечке остановился и прямо-таки чуть не сказал: «Я в хату иду, а в хате никого... И я, может, там чего... Без вашего-то бабьего глазу...» Он вошел в дом и в окно, через занавеску, стал подглядывать: не двинется ли теща проверять ненадежного зятька. Если бы она пошла в дом, то Тимофей Иванович ее бы обманул, прикрыл в хате и тогда наведался в погреб до прихода жены.

Но теща, исполняя приказ, с места не сдвинулась. Тимофей Иванович подождал-подождал и вышел из дому весьма разочарованный. К работе его пыл угас. Он постоял, покурил и решил, пока не поздно, скрываться.

Лопата осталась на месте и новый столбушок, а Тимофей Иванович перелез через забор и подался от дома прочь.

Хутор дремал, укрывшись в падинке, над речкою. В просторных, по-осеннему ясных полях, далеко и близко, ползали, словно оранжевые жуки, трактора, и желтое жниво обрезалось час от часу черной пахотой. Но тракторный гул и рокот тяжелых машин на грейдере — все это было вдали, уносилось ветром. А здесь, в низине, над речкою, среди зеленых еще садов, лежала тишина. Ласточки, сбиваясь перед отлетом, носились в вышине, чернели на проводах — старые и молодые. И ласточиный щебет слышался. Да еще пела Анютка Чигарова в своем дворе, пела звонко, голосисто:

У деревни Глухова
Погибает взвод!

Песня была печальная, о войне и смерти, но Анютка пела ее отчаянно радостно. Она готовилась к свадьбе. Через неделю ее должны были выдать и увезти на центральную усадьбу, в Деминку.

Тимофей Иванович решительно повернул на голос. Пока он дошел до двора Чигаровых, Анютка успела еще одну песню спеть и снова завела:

У деревни Глухова
Погибает взвод!

Тимофей Иванович отворил воротца, подошел к певунье, которая стиркой занималась, и спросил:

— Здорово живешь, голосистая. Ты чего, других песен не знаешь? Деревня Глухово да деревня Глухово. Меня мои бабы послали переказать: пусть, мол, поет чего-нибудь подушевнее.

Анютка весело рассмеялась.

— Да я уж все перепела.

— Мелковатый у тебя гашник, — попенял Тимофей Иванович и тут же успокоил: — Ну, ничего. Считай, что тебе повезло. Сейчас я накидаю полно корыто. К-капитально.

Уж кому-кому, а Тимофею Ивановичу песен было не занимать. В давние теперь уже годы, когда он вернулся на хутор из ремеслухи, а потом в армии отслужил, новым песням его счету не было. Парнем он был голосистым, с гармошкой, и песни его распевала вся округа. Теперь их изрядно подзабыли. И сам Тимофей Иванович певал нечасто. И потому не сразу завел нужное:

Вспомню я милые речи.
Зальюся я горькой слезой.

Он пропел и тут же смолк, поняв, что песня не та. Чуть подумал и запел высоким, твердым тенорком:

Никого я не спросилась,
Окромя сердца да своего.
Увидала, и возлюбила,
И помру, любя его...

Он пел, как в давние молодые времена: закатывая глаза, страдая. Так, именно так пел он в старые годы, и хуторские девки и бабы плакали от этих слов. Но теперь, через время, смешновато гляделся Тимофей Иванович, морщиненный, поседевший, темноликий. И страсти его песни казались неправдашними.

Когда он замолчал, Анютка, переждав лишь мгновение, широко раскрыла глаза и завела мягким девичьим голоском:

Никого я не спросила,
Кроме сердца своего...

И песня словно вновь родилась. Все в ней было: девичья горячая любовь, вера любимому и верность ему. Старые, затертые и, в устах Тимофея Ивановича, смешные слова ожили и брали за сердце.

Спели одну песню, затем — другую.

— Что-то у меня голос... — откашливаясь, намекнул Тимофей Иванович. — Там, у матери, есть. Стакашек влей.

Анютка сбегала в дом и налила стаканчик. Нашлось бы, конечно, и еще. Но некстати появилась Анюткина мать, шумоватая Лизавета, и все поломала. Тимофей Иванович удалился.

Он посидел на дровах, возле медпункта, оглядывая просторный и пустой выгон перед магазином и клубом. Магазин был на замке, возле клуба крутилась малышня. Подъехала на велосипеде почтальонша и приколола к клубным дверям бумажку. Тимофей Иванович заинтересовался, пошел читать. Бумажка была про выборы. Он сразу поскучнел.

Но вдруг его осенило.

За пустырем, за клубом, на отшибе стоял просторный дом Тарасовых. Сам хозяин сейчас был на работе. Тимофей Иванович подумал немного и заспешил к тарасовскому подворью. Потом он перешел на рысь, спешил, задыхался. В тарасовский двор влетел запаленный и зашумел:

— Раиса! Раиса, где ты! Включай!

Жена Тарасова — Раиса — вышла из кухни и недоуменно воззрилась на Тимофея Ивановича, не понимая, в чем дело.

— Включай! Включай на полную мощность! — кричал и звал ее Тимофей Иванович, спеша к дому.

Раиса засеменила вослед. Так, друг за дружкою, они пересекли двор, взобрались на крыльцо, а в доме Тимофей Иванович кинулся к репродуктору.

— На полную мощность! — в последний раз крикнул он и включил эту самую полную мощность.

Из черной коробки полилась звучная музыка.

— Тьфу, — сплюнул Тимофей Иванович. — Опоздали. Но слышишь, какая музыка? — поднял он палец. — Его славят.

— Кого?

— Кого-кого... Гаврилу твоего, — он поднял руку, чтобы поглядеть на часы, которых у него сроду не было, потом поискал по комнате и нашел: — В одиннадцать часов снова будут передавать. — И наконец объяснил ничего не понимающей Раисе: — Гаврилу твоего в депутаты выдвинули. Верховный Совет СССР. Поняла?

— Гаврилу... — охнула Раиса, округляя глаза.

— Ну да. Сейчас передавали. Мы с Шураней сидим, а по радио гутарят: Гаврилу Тарасова, — продекламировал он, — знатного механизатора. К-капитально. Шурка как зашумит: беги к Раисе, она ничего не знает. Я — рысью. Но видишь, не успел, — огорчился он. — А может, в телевизоре, — спохватился Тимофей Иванович и бросился в другую комнату, включать.

В телевизоре пошипело, потрещало. Раиса впилась глазами, ожидая. Но из тьмы прояснился не Гаврила, а диктор и объявил:

— Сейчас в Москве шесть градусов. Ветер северо-западный, слабый, до умеренного.

— А-а... с погодой твоей, — заругался Тимофей Иванович. — И здесь опоздали. Значит, теперь надо ждать, — постановил он. — До одиннадцати. Радио включим на всю катушку, откроем двери, сядем на крылец. Нам некуда спешить. Ты постановь, — намекнул он. — За это полагается.

Раиса, словно оглушенная, слушалась во всем: радио включили, открыли дверь, уселись на просторном крыльце при бутылке и закуси.

Какой-то червячок неверия все же точил Раису: Гаврила ничего не говорил, а тут — нá тебе.

Но, заглушая сомнения, Тимофей Иванович, хватив стаканчик, запел соловьем:

— Повезут его прямо в район, потом в область. Потом будем за него голосовать. Отдадим все как один. Наилучший механизатор. При орденах и почете. Костюм и галстук есть? — между прочим поинтересовался Тимофей Иванович.

— Есть, есть, — поспешно ответила Раиса.

— Потому что придется ехать в Москву, — объявил Тимофей Иванович, выпивая еще стаканчик. — Отведут вам квартиру. Гаврила будет заседать, а ты — по магазинам. Уж кое-что купишь. Моя Шураня говорит...

Речам Тимофея Ивановича не было бы конца. Но тут заурчал трактор. Сам хозяин подъехал ко двору. Счастливая Раиса кинулась встречать дорогого мужа.

— Гаврила! Ты слыхал...

А когда она обернулась, ища своим словам поддержку, на высоком крыльце стояла недопитая бутылка, закуска, а сам Тимофей Иванович был уже далеко.

Он махнул с крыльца, через забор, и заулком кинулся к речке, ненадежную кладь перешел и лишь там, в займище, почувствовал себя в безопасности.

Здесь, над речкой, было совсем тихо. Старинные вербы высились над водой, заслоняя густой куделью солнечный свет и жар, и потому спокойные воды были темны. У берегов мелочно светили чашечки лилий. Голубые и красные стрекозы потрескивали сухими крыльями. Но осень уже пускала желтые кораблики листьев по гладкой воде. По берегам отаву скосили и свезли. В пустых огородах — лишь кое-где россыпь старых коричневых огурцов на посохших плетях.

Поодаль, на Денисовом плесу, склонился над удочками Шаляпин, чернобородый бобыль, первый на хуторе рыбак. Тимофей Иванович подвернул к нему, проверил улов. Три карасика плавали в ведре.

— Н-негусто, — сказал он.

Шаляпин лишь вздохнул.

— А выпить у тебя нет? — поинтересовался Тимофей Иванович.

— Нету, — прогудел Шаляпин. — Алексей Яковлевич заказал рыбы. Обещал постановить.

— Да это... — разочарованно протянул Тимофей Иванович. — Ты это когда поймаешь...

— К обеду должен, — решительно ответил Шаляпин, подсек и выудил еще одного карасика. — Бери удочки, садись. Наловим, щербы наварим.

— Н-нашел дурака, — ответил Тимофей Иванович. — А где гарантия? Она, может, сидит, эта рыбка, поглядывает на тебя, щерится да шиш кажет. Н-нет, нервы не железные. Ты тут гостей никого не видел, отпускников?

Приезжие люди всегда к речке устремлялись, для баловства: искупаться да выпить над водой. Но нынче над речкою никого не было.

Шаляпин выловил еще карасика, но до ведра было далеко и Тимофей Иванович пошел прочь, предупредив:

— Тебе если поставят, меня не забудь. Я где-то здесь, на близу.

Он перебрался через речку, прошел садами и огородами и выбрался на улицу возле дяди Архипа и Рабуновых, у водопроводной колонки. Клавдия Рабунова вышла со двора за водою, первое ведро набрала, склонилась к нему глотнуть водички.

— Запалилась... — засмеялся Тимофей Иванович.

Клавдия ответить не успела, болезненно сморщилась, хватаясь за щеку.

— Зуб, что ли? — спросил Тимофей Иванович.

Клавдия покивала головой, а когда боль сошла, объяснила:

— Цельный месяц мучаюсь. Коронки спали. Надо бы в район, а когда... Там в день не управишься, сроду очередюка. Хозяйство не кинешь... — пожаловалась она.

Тимофей Иванович раздумывал недолго.

— Какие коронки? — спросил он. — А ну, открой рот, закрой глаза.

Клавдия послушно открыла рот и показала те зубы, с которых коронки снялись,

— А где они, коронки? Не потеряла? Пойдем поглядим?

Он подхватил ведра и направился во двор. Клавдия вынесла коронки, показала. Тимофей Иванович повертел их, прикинул и сказал:

— Это можно все сделать. К-капитально. На месте.

Клавдия глядела недоверчиво.

— Чего глядишь? Я по этому делу в армии три года, при санчасти. Только что операции не делал.

— Правда? А не испортишь? — нерешительно спросила Клавдия.

Ненадежный был человек Тимофей Иванович, все это знали, но, с другой стороны, уж очень хотелось легкой помощи.

— Дура! — обрезал ее сомнения Тимофей Иванович. — Всю жизнь спасибо будешь говорить. Сейчас поставим, к-капитально, и выдадим замуж.

Так тверд был Тимофей Иванович, что нельзя было ему не поверить. «Видно, и впрямь может», — подумалось Клавдии.

И Тимофей Иванович уже искал инструмент и занимался делом. Конечно, ни в каких даже санитарах он не ходил, но самому ему однажды коронки ставили. Этого было вполне достаточно.

Он прочистил коронки шилом, убрал остатки раствора, тройным одеколоном их промыл, подбадривая себя: «Поставим... Цемент надо развести, и пойдет. А может, клею взять у деда Архипа». Имелся у деда Архипа хороший клей, из города привезенный, в желтом иностранном тюбике.

— Все надо делать к-капитально, а не скрозь пальцы, — приговаривал он, гоняя Клавдию за ватой да бинтом. — Воды принеси. К-конечно, кипяченой. В медицине соображать надо.

Размыслив, Тимофей Иванович решил ставить коронки на клей: «Кость клеит, железо клеит — пойдет».

И через полчаса коронки празднично посверкивали у Клавдии во рту.

— До вечера ничего не ешь, — предупредил Тимофей Иванович, получая оплату самогоном.

Стакашек он на месте выпил, опробуя, а две бутылки забрал с собой. За клей деду Архипу налил, по-честному.

Одну бутылку спрятал в тернах, на берегу, для завтрашнего опохмелья. Шаляпина угостил. Осталось и еще, в кармане, поплескивало.

Солнце вставало к полдню. Тимофей Иванович с початой бутылкой в кармане пошел было к кузне, чтобы поговорить с людьми, но вдруг раздумал.

На усадьбе деда Архипа, в задах, лежали сухие дубки на дрова. Тимофей Иванович шел-шел да и присел на них. Сразу расхотелось куда-то идти. Здесь было хорошо сидеть: под хмельком, на теплом солнышке. И хутор был вокруг как на ладони: амбары, кузня, колхозная контора, конюшня, а рядом — дома, а за домами — речка со старыми вербами. За усадьбой Солонича — покатый курган, с которого пацаном на салазках катался, на лыжах; потом в женихах хороводился. Теперь вот сивый, седой, а курганик все такой же стоит, зеленый. Уже дочери с него откатались и отхороводились, слава тебе Господи, и скоро — пусть не завтра, но скоро — пронесут его мимо курганика за амбары, к кладбищу. Оно лежало видное: полсотни крестов среди желтого жнива. «Унесут, — с усмешкой подумал Тимофей Иванович. А потом — еще спокойнее: — Не нынче же и не завтра».

От кладбища по дороге тащилась старая Митревна с мешком за плечами. И чем ближе подходила она к домам, тем медленнее делался шаг ее.

Тимофей Иванович резво поднялся навстречу, подхватил мешок и саму старуху и усадил ее на колоду.

— Ноги подыграли... — охала Митревна.

— За яблоками ходила?

— За ими, за ими, Тимоша.

— Кто тебя посылает? Иль молодых нет? Ты уж годы свои выжила, мешки тягать, — укорял Тимофей Иванович.

— Взаправду, взаправду, Тимоша, — отдышалась Митревна, — Нет могуты, отживаю. Да меня и не гонит никто. А нетерпение. Ныне яблоки в садах удалися, веришь, мостом лежат, земли не видать. Вот и тягаю помаленьку, для скотины.

Просторный колхозный сад, давно заброшенный, еще родил, а порой даже щедро, как в нынешнем году.

— Сижу, сижу... и взойдет на ум: яблоки в саду пропадают. Хоть чудок да в дело произвесть. Свиньям. Телку. И коровке режу. Она так привыкла, вперед стада бежит. Сладкие яблоки, покушай.

Тимофей Иванович выбрал румяное, погрыз его, пососал. Язык, напрочь обожженный табачным и винным зельем, все же учуял сладимую плоть.

— Пацанами к Чакалкину лазили, — вспомнил он с улыбкой.

— У Чакалкина были сады, — подтвердила Митревна. — В станице продавали.

Старуха оживела, поднялась. Тимофей Иванович поднес ей мешок ко двору, наказал:

— Ты уж боле не ходи. А то завалишься вместе с яблоками.

— Да ныне уж куда... а завтра как Бог живости даст, — посмеялась Митревна. — Може, и снова встревай меня.

Проводив старуху, Тимофей Иванович, не торопясь, пошел через выгон, к амбарам и кузне. «А неплохо бы яблоками торгануть, — подумалось ему. — Набрать машину — и айда. А что? Управляющему сказать, он не будет против. А можно и без него».

Мысль была неплохая, обещая поездку, базар, веселую колготу. Но, прикинув трезвее, Тимофей Иванович решил не пытать судьбу. В райцентре этих яблок девать некуда. Свои сады. В городе, наверное, тоже. Увезти бы подальше, в северные края, и огрести большую деньгу. Но такие дела армянам да грузинам, те могут. А нашему брату — до первого милиционера, и капец. И яблоки отберут, и посадят. Тимофей Иванович сидел уже сутки. Правда, не за торговлю.

Поразмыслив и повздыхав, он решил судьбу не пытать, тем более в кармане имелась бутылка, а в ней поплескивало.

Возле амбаров, на ржавой веялке висела старенькая фуражка с голубым околышем. Старая, но гожая. Тимофей Иванович натянул ее на голову. Поглядеться было не во что, но он и так знал, что вид у него бравый.

Считай при форме, и потому походкой развинченной и легкой двинулся он к кузне, к людям. Но тут подкатил автобус со станции и высадил пассажиров. Среди них узрел

Тимофей Иванович городских, особенно им чтимых. То был Юрий Амочаев, мужик почти Тимофеевых лет, инженер. С ним — баба и еще мужик, незнакомый. Тимофей Иванович встретил их торжественно: чеканя шаг, подошел, поприветствовал — руку к козырьку.

— С возвращением на родную землю.

— Тимофей Иванович! — обрадовался Юрий.

Они были даже родней, хоть и дальней.

Тимофей Иванович подхватил чемоданчик и повел гостей, обсказывая хуторские новости.

Моложавая гостья спросила смеясь:

— А почему в фуражке? Вы — военный?

— Голубой околыш, — разъяснял Тимофей Иванович и сдержанно сообщил: — Зачислен в отряд космонавтов.

Приезжие удивились. Амочаев хохотнул, он-то знал Тимофея Ивановича.

— А я вполне серьезно, — настаивал Тимофей Иванович. — Могу документы предъявить. Скоро выезжаю. Политическое дело, — сообщил он доверительно. — Запускаем в космос инженеров, врачей, баб, жучек всяких, а потом вопрос: где работники сельского хозяйства? Вот и хотят колхозника для политики запустить, — втолковывал Тимофей Иванович. — Хотят показать перед другими странами, перед капиталистическими, что у нас колхозники космоса достигли. А я первый сообразил и еще три года назад подал рапорт. Теперь вызывают. Конечно, будут еще кандидаты. Но я тренируюсь.

Он поставил чемоданчик на землю и сделал стойку на руках. Вполне прилично. Это он мог. Сделал. Отряхнул руки и поглядел на гостей очень серьезно.

И ему почти поверили. Даже Юрий Амочаев хмыкнул и спросил:

— А как же с этим? Завязал, что ли?

— Выпиваю, — кротко ответил Тимофей Иванович. — До пятнадцатого числа. А потом — завязка.

— Ну и хорошо, — рассмеялся Юрий. — Сейчас же пойдем на плес, посидим. Я люблю там, у речки.

Вот за это Тимофей Иванович городских гостей уважал и помогал им чем мог.

И сегодня все было хорошо. Принесли шаляпинские удочки, надергали карасиков, сварили, выпили под уху и сидели у речки до вечера: тары да бары.

Солнце зашло. Закатный плес светил зеленью, а потом заалел, словно зимний восход. В потемневшем небе тянулся караван воронья на ночлег. Кособокая луна встала над займищем, и сразу похолодало.

Проводив гостей, Тимофей Иванович решил и сам прибиваться к дому. Он был крепко выпивши, но не пьян. Не пьян и немного обижен. Так всегда было после городских гостей. Чем-то гордились они, подсмеивались. А Тимофей Иванович двум дочерям дал образование и замуж выдал. И дом у него не хуже других, про Шураню уж не говоря. Но когда об этом поминал в разговоре, над ним подсмеивались, и это было обидно.

И теперь немного посасывала эта обида.

На прямом пути к дому услышал он песню:

Расцветала вишенья алыми цветами,
Опадала вишенья раными зорями.

Тимофей Иванович разом понял: поют вдовы. Приехала Чуриха со станции, и собрались у нее подруги: Дора Лунякина, Паранечка, Макуня. Собрались и гуляют. Это бывало у них раз-другой в году.

Тут уж ноги сами понесли его ко двору Чурихи. Он подошел, встал возле ворот и, когда во дворе стихло, завел словно в лучшие времена:

Здравствуй, чужая милая,
Та, что была моей.
Как бы тебя любил я
До самых последних дней.

Он распахнул воротца и вошел. Бабы сидели за столом возле кухни, под лампою, сидели замерев.

То не Тимофей Иванович во двор вошел, то прошлое: горькое, вдовье, сто раз клятое, но дорогое, то молодость вернулась к ним.

Прошлое не воротится,
И не поможет слеза.
Поцеловать мне хочется
Дочки твоей глаза.

И через подступившие слезы видели бабы в радужном тумане Тимошку — куту зеленую, молодого да раннего из далекого далека. И песни его — сладкая отрава, голова от них кругом, как и прежде.

— Тимоша...

Счастливый Тимофей Иванович замер посреди двора. Бабы кинулись к нему, усадили за стол. И покатилась гульба.

К полночи, устав от вязания, вышла во двор Шураня и услыхала песни. Голос мужика своего она, конечно, сразу признала и твердой стопой направилась к Чурихе. А там пели и плясали.

Девки, пойте, девки, пойте,
Девки, веселитеся.
Три копейки вам цена,
Хоть вы разорвитеся.

Хрипловато припевал Тимофей Иванович. А ему в ответ Дора Лунякина выводила:

Девки стоят три копейки,
А ребята один рупь,
Как задумают жениться,
Трехкопеечных берут!

Ворота отворились, и встала в полутьме Шураня, руки в боки. Но Тимофей Иванович был пьян, жены не боялся и пропел ей со смехом:

Ах, Шураня, дорогая,
Дорожил ведь я тобой.
А теперь я дорожу,
С кем я время провожу!

И прошелся по двору с приплясом.

Бабы Тимофея выручили. Они обняли Шураню, потянули ее к столу:

— Золото у тебя мужик. Золота кусок... Цены ему не установишь. Ко всему приложенный. Изо всего хутора...

Их усадили за стол парою. Шураня сдалась, выпила стакашек и глядела уже не так строго.

Но пора было и к домам. Стали прощаться.

— Вы пойдете и песняка играйте, — наказывали вдовы, — как бывалоча...

Поехал казак на чужбину далеку,
На своем, на боевом коне...

Тимофей Иванович завел, а Шураня, держа его под руку, помогала, подголашивая:

Свою он краину навеки спокинул.
Ему не вернуться в родительский да дом!

От вина ли, от песни, словно живой ключ проснулся в груди Шурани. Рука мужа была горячей, голос его молодым, и ночь плыла, словно весенняя, дурманила и кружила голову. Жить да жить...

Легкокрылый ночной ветер нес песню к садам, к тихой ночной речке, где под старой вербою, возле подернутого пеплом костра спал бородатый Шаляпин.

Ему не вернуться в родительский-да дом!

По-осеннему яркий Казачий шлях тянулся в небе. От века по нему уходили с этой земли в края иные, откуда вестей нет.

По этому шляху той же осенью ушел и Тимофей Иванович, умерев от сердца и вина. Так и должно было случиться, рано или поздно.

ТАРАСОВ

1

Из райцентра возвращались ночью. В председательском газике сидел управляющий четвертым отделением Талдыкин, и надо было его завезти. И потому свернули с ухабистого грейдера и легко покатили к хутору по ровному, наезженному следу сбоку дороги, по зеленям.

На полпути к хутору, у Терновой балки, впереди замаячили вдруг красные огоньки, и, переключив фары на дальний свет, увидели «Беларусь» с возом соломы.

Увидели и стали нагонять.

— Кто это? — спросил председатель. — Откуда везут? Зачем?

— Не знаю... — недоуменно пожал плечами управляющий Талдыкин. Он и вправду не знал. — Не наш, наверное...

— А чей же? — недовольно спросил председатель, и вдруг его осенило: — Он! Точно, он! Поймали!

И Талдыкин, и главный агроном Нистратов, и даже шофер сразу поняли, о чем речь.

Нынешней зимой, в январе, начали воровать солому. Свезенное к фермам не трогали, видно, побаивались, забирали оставленное в полях. Соседи, из колхоза «Россия», тоже замечали неладное. Время шло, солома пропадала, а вор следа не оставлял. И вот теперь, наконец...

— Ты никого нынче не посылал за соломой? Вспомни? — спросил председатель.

Талдыкину и вспоминать было нечего.

— Никого не посылал, — ответил он, не спуская глаз с тележки, которая подходила все ближе и ближе. И управляющий узнал наконец. — Тарасов... — проговорил он вначале неуверенно, но тут же повторил твердо: — Тарасова трактор. Тарасов.

— Тарасов?! — разом и удивленно выдохнули в машине.

— Догоняй и останавливай! — скомандовал председатель.

Трактор взял правее, позволяя набегавшей сзади машине себя обогнать. Газик пошел вровень с трактором, посиг-

налил и затем, обогнав, остановился впереди, у правой обочины. «Беларусь», не сбавляя хода, обошел машину и покатил вперед. Председатель, уже открывший было дверцу, захлопнул ее и обескураженно глядел на спутников.

— Вот стервец...

Шофер, не дожидаясь команды, тронулся и снова стал догонять вихляющийся зад тракторной тележки.

— Перегони и ставь посредине.

Теперь трактор дороги не уступал. Отчаянно сигналя, газик все же обошел его справа, по зеленям, обошел и остановился в полусотне метров, посреди дороги. Трактор повторил тот же маневр. И не успели в машине опомниться, как прогремели мимо «Беларусь» и тележка и ушли вперед.

— Догоняй и ставь поперек! — разозлился председатель.

Тем временем колея, вильнув, перешла с правой стороны лесополосы на левую и оказалась зажатой между щеткой деревьев и вздыбленной теркой основной дороги, вовсе теперь непроезжей. Трактор шел посередке, и обогнать его было нельзя. Шофер бесполезно сигналил и сигналил, а потом, заметив прогал в лесополосе, кинулся туда, выскочил на ровное поле озимки и пришпоренно поскакал вперед и вперед, с тем чтобы, обойдя трактор, выйти на его колею возле старой птицефермы.

Трактор, конечно, обошли, и намного, и на развилке дорог остановились, дожидаясь его. Председатель и управляющий вылезли из машины и стали глядеть назад, во тьму, силясь увидеть далекий свет фар.

Прошла минута, другая. Торопливо закурили.

— Сейчас, голубчик, придет... — говорил председатель. — Сейчас прискачет. Вот так вот машину ставь, — приказывал он шоферу. — А вот здесь мы. Никуда не денется, остановится.

Трактора все не было. Докурили сигареты.

— Света нет, — сказал шофер. — Куда ж он подевался?

— Может, выключил?

Шофер вернулся к машине и остановил мотор. И теперь уже все вчетвером встали посреди дороги, глядели и слушали.

Рядом, подле наезженной колеи, смутно белел снег и чернели ветки деревьев, но чуть далее, уже в десяти шагах, тонуло все во тьме: и дорога, и поля, голые вязки,

и небо — ничего не разобрать. И лишь далеко-далеко, на бугре, на бессонном грейдере два merклых автомобильных огня шли навстречу друг другу, и встретились, и поползли прочь, все далее расходясь в просторной ночной темени.

— Не слыхать... — досадливо проговорил председатель. — Куда же он девался?

— Да мало ли куда... В лесополосу заехал и встал. В степь свильнул, в балочке схоронился, теперь ищи его.

— Зачем вот ты свернул? — попенял шоферу председатель. — Ехал бы за ним да ехал.

— Как лучше хотелось... Думаю, перехватим. Вот чертяка премудрый, этот Тарасов...

— Да-а... Ну и Тарасов...

— Ему-то чего не хватает?

— Жадность. Готов все проглонуть.

— И проглотит... Ядало здоровое...

— Ох и Тарасов...

На хуторах издавна паспортных фамилий не признавали, и всякая семья носила прозвище, данное кому-то из рода. Всяк знал Рабуновых, у которых бабка Матрена еще в молодости ходила просить к соседям рубанок да назвала его впопыхах рабуном. С того дня стала Рабунихой, а весь род ее — Рабунами. У Курсанов, в давние тоже годы, покойный дед Мосей был курсантом тракторных курсов. У Фетисовых прославился Фетис — гуляка, балагур и песенник. У Казначеевых казначеем был дед при старых еще властях.

Лишь почтальон Фокич знал всех по настоящим фамилиям, но и тот на старости лет стал терять память и порою голову ломал, глядя на конверт, вспоминая и бормоча под нос: «Косихин Николай... Это какой же Косихин... Либо из Юданов?.. Юданичев Николай...»

Один лишь Тарасов прозвища не имел, хотя известен был давно и широко. О семье его говорили просто — Тарасовы.

Если кто-то на хуторах гусей лишка заводил, его спрашивали: «Тарасовых решил обогнать?» Если сена много накашивал, говорили: «Как у Тарасовых».

О самом Тарасове сторонним людям рассказывали много и охотно. О том, как он зараз двадцать вареных яиц

съедает, два фунта сала или целого гуся да четвертью молока запивает. А потом сутки напролет может из трактора не вылезать, пашет и пашет. Рассказывали, что косит он траву неотбитой тупой косой, а отбитой ему косить нельзя, потому что при его бычиной силе, замахнувшись, он может волчком крутануться и самого себя подкосить. А тупая коса его сдерживает и бережет. О том, что с трактором он как с живым человеком говорит, и тот его понимает. Многое могли рассказать на хуторах о Тарасове.

А вот теперь стояли и ждали его посреди дороги сам председатель, и управ, и главный агроном. Но в ночной степи не видно было ничего и не слышно. Лишь позади, за спиной, светили желтые огни близких ферм хутора и дома его. И далекий собачий брех был единым звуком в ночном тихом мире.

Поняв, что Тарасова не дождаться, на всякий случай проехали по дороге, посвечивая фарами вправо и влево. Но найдешь ли иголку в непроглядной теми? Доехали до поворота и вернулись, и ругали Тарасова, не жалея слов.

— Ну и нахалюга...

— Бессовестный. Ну куда волокет? Сена — на три зимы хватит. Соломы навез, я сам ему разрешал, целый скирд. И еще мало...

— Ненасытный...

— Да это просто болезнь, — доказывал агроном. — Надо тянуть и тянуть. А глядя на него — и другие.

— Нет, я его приструню, — нешуточно сердился председатель. — Я ему покажу. Скажу участковому, чтобы составил акт. По всей строгости. Это же явно не себе, это явно возит и куда-то за бутылку... — председатель проговорил и осекся. Он знал, что Тарасов водки не пьет. И выругался: — Куда же он прет ее?.. И с наших полей, и из «России».

— Есть такие люди, что готовы и купить, — подсказал шофер. — В Дурновке, в Борисах.

— Ну, мы ему продадим, мы ему устроим, — обещал председатель.

Машина между тем въехала в хутор и прямиком направилась к сараю, где техника стояла. Управляющий вылез, сходил посмотреть и, вернувшись, сказал:

— Нету тарасовского трактора. Точно, он.

Подъехали к тарасовскому подворью, прямо к воротам, и долго сигналили. Заволновались, тревожно загоготали гуси. Потом на крыльце свет загорелся — вышла Раиса. Еще не видя, кто там сигналит в темноте, она крикнула:

— Чего? Кого надо? Хозяин еще не приходил! На работе!

— Ну, вот и понятно, — сказал председатель. — Ладно, мы поехали, а ты, управ, иди и дожидайся своего передовика. Он в степи ночевать не будет. Вот ты его и встрень. А я завтра участкового подошлю. Нехай пресекает.

Машина ушла. Талдыкин проводил ее взглядом и тяжко вздохнул. Не хотелось ему в дом к Тарасову идти с дознанием и нелегким разговором. Но выбирать не приходилось.

Жена Тарасова, Раиса, еще стояла на крыльце. Талдыкин ворота открыл и пошел во двор, к свету.

— Это я, тетя Рая, здравствуй.

— Ты, Николай Иваныч? А я не догляжу... Машина пипикает да пипикает. Кого Господь принес? Проходи...

Талдыкин поднялся на высокое крыльцо, в дом вошел. Под ноги ему с жалобным блеяньем сунулся черный козленок.

— Куда лезешь... — осторожно отодвинул он ягнака и другого заметил, еще не обсохшего, возле печки. — Пошли котиться?

— Пошли... Как из мешка трухануди. Да по двое котятся. Трое уже двойню принесли. Спасибо, хоть ныне по одному.

— Три двойни? — позавидовал Талдыкин.

— Не в радость все это, Николай Иваныч, — ответила Раиса. — Бог здоровье отымает, и ничего не мило.

Жена Тарасова смолоду была бабой фигуристой, крупной, а к преклонным годам ее разнесло поперек себя шире, стало пошаливать сердце, отекали ноги.

— Ничего не мило... — повторила она. — Так, лишняя колгота. Сама некудовая, а хозяина вы зануздали и продыху не даете. С ночи до ночи он с трактора не слезает. Вот ныне в какие ты его тритарары услал, что его досе нет? А ведь девятый час. Где он, чего с ним?

Открываться Раисе прежде времени Талдыкин не хотел и потому ответил уклончиво:

— Должен приехать, школьников он привез, я видел. Побег на центральную за углем для кузни.

— Вот, школьники... — ухватилась Раиса. — Сколь я прошу, отставь его, Николай Иваныч, от школьников. Да неужели другого человека нет, помоложе? Из зимы в зиму... Добрые люди зорюют, а наш дурак подымается и идет ране всех. Греет цельный час. Другие механизаторы к девяти, как бухгалтера какие. Они лишь идут, а мой уж съездил в Вихляевку, отвез, давай ему новую делу. Да неужели нельзя его хоть зимой помене нарунживать. Нехай Силяев ездит, Юдаичевы... Никому не надо. А Тарасов попрет.

Разговор был старый, больной и справедливый. Но как и прежде, управляющий лишь руками разводил:

— А чего делать?.. Это же школьники... С ними абы кого не пошлешь. А Мишка Юдаичев проспит, он их к третьему уроку будет привозить.

На хуторе школу давно закрыли, и детишек по зимнему времени да в распутицу возили в будке в Вихляевку каждый день. Из года в год таскал их Тарасов. И Раиса, жалея мужа, ругалась из года в год.

Козленок, что в тряпку завернутый лежал возле печи, освободился и стал подыматься. Оскальзывались и разъезжались на крашеном полу нетвердые ножки. Но козленок был упрям и наконец встал и заблеял. Он был хорош. Черный, в тугих блестящих кольцах, головастый козел с белыми ушами и носом. Он шагнул раз-другой и закричал, требуя молока.

— Еще не очунелся, погоди трошки, — успокоила его Раиса. — Вон на кухне каких надо кормить. Ты посиди, Николай Иваныч...

— Я подмогну... — поднялся управляющий. — Чего зря сидеть? Погляжу на твоих двойнят.

— Гляди, коли свои не надоели, — засмеялась Раиса.

Подворью Тарасовых, их базам и строениям позавидовать было не грех. Раиса включила электричество, и в ночи свет ярких под колпаками ламп осветил ровную площадку двора с водопроводной колонкой посредине, и круг него высокий дом под белой жестью и добрый флигель, призе-

мистые сараи и катухи, крытые и обшитые шифером, огромный, словно самолетный ангар, сенник, тоже шиферный. В прошлом году его поставили тарасовские зять и сын. И теперь по всему хутору бабы пилили мужиков.

Козлята помещались во флигеле, его протапливали. В семь добрых глоток замекекали они, людей узрев. Талдыкин хотел было в руках нести козлят, но Раиса подала вместительный зембиль, плетенный из чакана, и сказала:

— Сажай сюда и доразу понесли.

— Это да... — удивился Талдыкин. — Это рационализация. А я тягаю по одному. Сам, что ль, плел?

— А кто же...

В козьем катухе тоже горел свет под матовым колпаком. Огорожа ясель тянулась вдоль стен. Пол был настлан из дубовых плах. Козлята матерей нашли сразу. Раиса лишь двойнятам помогала, пристраивая их без обиды. Хорошие были козлята, здоровые. И сосали хорошо, поддавая матерей. А люди глядели на них с доброй улыбкой.

— Нехай сосут, — сказала Раиса, запирая катух.

А в соседнем, почуяв хозяйку, заволновались поросята. Поднялись и стали стучать своими пятаками в стены.

— И-и, черти ненажористые... — обругала их Раиса.

— Вы больших-то зарезали? — спросил Талдыкин.

— В тот выходной. И так сколь лишку прокормили. Дал Господь погодушку.

Погода стояла необычная: весь декабрь — тепло и дожди. Лишь перед самым Крещеньем открылась зима, и по хутору, торопясь, начали бить скотину и птицу.

— А я своего только собираюсь. Тетя Рая... — наконец решился спросить Талдыкин. — Може, я зря жду? Он не упреждал, никуда не заедет?

— Ничего не говорил, — встревожилась Раиса и пристально поглядела на управляющего. — Уж в такую пору... А може, чего случилось? Обломался посеред степи...

— Не должен...

— Вот и не должон! — вдруг тонко, со слезой проговорила Раиса. — Добрые люди по домам сидят, а мой скоро в тракторе и ночевать будет! А весь белый свет, всех лодырей да пьяниц не обработаешь!

— Ну, чего тута?.. — раздался от ворот голос хозяина. — Чего приключилося? — Тарасов вошел во двор, поглядел на управляющего, на жену.

— Вот тебе и чего... Ночь на дворе. Скотина не поена, не кормлена, а ты все блукаешь, с работой твоей, пропади она. А я не в силах... Сколь разов я говорила: кинь все и иди придурком в бригаду. При доме завсегда будешь, при тепле...

— Перестань, Рая, перестань... — нагибая голову, проговорил Тарасов. — Ступай, Рая... Мы зараз.

Раиса послушалась и пошла в дом.

— Козлята... уже насосались... — со всхлипом напомнила она с крыльца. — Белоносая и энта, мальначкая... окотилися ныне. Тоже надо покормить...

— Баба... — оправдался за жену Тарасов. — Тонкослезая... Да и здоровья... — Это была длинная речь. Очень длинная для Тарасова. Она вместила в себя извинения за женины слезы, и раздумье о женском роде вообще, и рассказ о нелегкой Раисиной болезни.

— Я к тебе, дядя Гаврила... — начал и сразу запнулся управляющий. — Ты сам знаешь зачем. Уж попался, так давай начистоту. Куда ты солому возил?

— Солому ты не приказывал, — прикинулся ягнаком Тарасов.

— Я-то не приказывал, в том и дело. А ты ее возил. Вот я и спрашиваю: откуда, и куда, и зачем? Своей у тебя вроде хватает.

— Не возил я солому, — потупился Тарасов.

— Как не возил? Я лично, и председатель, и главный агроном догнали тебя на машине, останавливались дважды, а ты уехал. Но мы гнаться не стали, куда ты денешься? И отпираться так, дядя Гаврила, нехорошо. Попался, так давай начистоту.

— Обшиблись вы, — спокойно сказал Тарасов, все так же глядя куда-то в сторону. — Не возил я соломы, на кой она мне.

Управляющий был несколько обескуражен.

— Чего ж я, глупой совсем, дядя Гаврила? Уж раз попался...

— Обшиблись, — повторил Тарасов. Разговор был нелегкий, и следовало его скорее кончать. — Обшиблись, и чего толочить...

— Ну гляди, дядя Гаврила, — уже другим тоном, с ноткой угрозы, сказал управляющий. — Я хотел по-хорошему. Все же смальства тебя знаю, с твоим Виктором вместе росли... По-хорошему хотел. Не хочешь — твое дело. Председатель завтра участкового пришлет. Он с тобой по-другому, гляди...

— Ну, чего... — любимой фразой своей ответил Тарасов. Сейчас она означала будто покорность судьбе, но и немалую каплю задора в себе заключала: дескать, поживем—увидим.

Разговор был окончен. Управляющий пошел со двора, у ворот оглянулся: может, сдастся упрямый Тарасов? Но тот уже открывал козий катух, спрашивая у рогатых обычное:

— Ну чего тута?..

Малые козлята ответили ему сытым меканьем.

А между тем в доме Раиса собирала на стол. Поглядев из окна, она видела уходящего управа. На печи, огонь в которой она взбодрила, грелась кастрюля щей и в тяжелой жаровне — мясо. Ел хозяин помногу. И как всякий человек, нахолодавший за день, любил горячее.

Еда поспела ко времени. Когда, управившись на базах, ступил Тарасов на порог, щи закипали, а в жаровне шкворчала и шипела в жиру гусятина.

— Зачем управляющий приходил? — спросила Раиса.

— Утра не дождутся... — ответил Тарасов и начал раздеваться.

Обычно он казался просто приземистым, оттого что был по-медвежьи могуч. Широченные плечи, тяжелые веслатые руки, грудь и спина котлом — все это как-то скрывала просторная, до колен, телогрейка. Но когда Тарасов раздевался, оставаясь в нательной рубахе, то сразу становился медведь медведем. Жесткий курпей волос на его голове был жуково черен и спускался по шее, под рубаху. И вся спина и грудь, весь Тарасов оброс этой короткой кучерявой шерстью. Широкое лицо его отливало темной медью, как у всех, кто под крышей лишь ночует. Нос... Нос, как говорится, Бог троим нес, да одному Тарасову достался. Добрая бульба. И лишь глаза были суровому лику не в стать: они голубели малыми озерцами. Голубели смальства и теперь, когда Тарасову шестой десяток катил, ничуть не выцвели.

Раиса порядок знала, и когда муж подошел к столу, на нем уже дымилась миска щей. Это хлёбово очень любил Тарасов и ел его огненным. Потом уже шло остальное: кислое молоко, жирное гусиное мясо, а к нему соленые помидоры, красные, целенькие, рядом с мраморным ломтем вилковой квашеной капусты. Ел Тарасов хорошо. А жена, обождав, когда он борщ похлебает, сказала:

— Письмо ныне принесли, от Ксени.

— Ну и чего?.. — не оборачиваясь, отозвался Тарасов.

Ксеня была младшей дочерью, любимой. Теперь она жила в городе с мужем и дитем.

Раиса понятливо достала письмо и стала читать его:

— «Здравствуйте, дорогие папа и мама. Нам передали вашу посылку...»

Раиса читала громко и не торопясь, чтобы каждое слово мужа достигло. А дочитав, положила возле него письмо, и конверт, и белый листок бумаги с пятерней двухлетнего внука.

Тарасов поглядел, удивляясь, сколь крохотными могут быть детские руки. Он даже приставил свой палец для сравнения. Тяжелый палец с круглой скорлупою ногтя, считай, прикрыл отпечаток детской ручонки.

— Он не болеет? — спросил Тарасов.

— Кто?

— Алешка... Ручка дюже кащелая...

Раиса над мужниным сравнением искренне посмеялась:

— Да это ж дите... Два годика.

— Дите-то дите... — покрутил Тарасов головой. — Прям пичужкина лапка.

Отужинав, он спросил:

— Ну, чего?

— Давай старую веди, рогастую. Надо ныне ее ощипать.

Тарасовы, как и все на хуторе, держали пуховых коз. И теперь наступала самая колготная пора: окот, и пух щипать надо.

— Я планую завтра Виктору позвонить. Нехай едут помогать. Мы не управимся. Трех всего пощипали. Еще более десятка. Нехай едут.

— Ну чего же, — одобрил Тарасов. — Нехай.

Он привел из катуха длиннорогую козу, уложил ее возле порога. И в четыре руки принялись пух дергать. Коза была старая, давно на подворье жила. Она уже привыкла и лежала спокойно и молча, лишь взмекивая, когда порою железные пальцы Тарасова, ухватив, дергали слишком уж щедрую жменю. Щипали споровисто. Пух был хороший в добрую четверть длиной. И на глазах росло серое, с синеватым отливом облачко невесомого пуха.

С козой провозились, считай, до полуночи. Раиса, наскучав в одиночестве, рассказывала хуторские новости. Нынче на хутор цыганки приходили с хорошей тюлью и гардинами. Просили по тридцать рублей за метр. Раиса денег пожалела — несусветная цена, а вот жена управляющего на платок выменяла. Продорожилась, конечно, да где еще взять. А гардины такие красивые: розы на них прямо живым цветут.

Под мерный Раисин говорок Тарасов щипал и щипал козу, а думалось о другом. Цыганки, тряпье, женины покупки мало его волновали и в добрые дни. А теперь уж и вовсе были ни к чему. Известие о том, что сам председатель гнался за ним и пробовал остановить, тревожило Тарасова. Там, в тракторе, Тарасов лишь подсмеивался над своими преследователями. В степи все дороги были его — попробуй возьми. А здесь, на хуторе, досадить могли.

За прошлое, и за сегодняшнее в том числе, Тарасов не боялся — то уплыло. А ни руки, ни ноги своей он нигде не оставил, и никакой участковый ничего не докажет. О прошлом душа не болела. Но теперь, когда узнали, будут следить. А брать под чужим глазом нелегко. Все равно подстерегут, не нынче так завтра, а устерегут и поймают. Переждать бы неделю-другую.

Но ждать было нельзя. Нужно снова солому везти, снова и снова. А до кой поры?

Эта мысль тревожила Тарасова, потому что не видел он конца и краю...

— Ты ныне как не в себе, — сказала жена. — Куда тебя завтра гонют? Чего здесь начальство руилось?

— Да так... — не сразу ответил Тарасов.

— А я не прижмурки живу, я все вижу, — продолжала Раиса. — Письмо от Ксени получила, а ты молчишь. И не гутаришь об нем.

Раиса попала в точку. Письма дочери всегда Тарасова радовали. И, добрую весть получив, обычно весь вечер говорили о Ксене, о ее семье и жизни. Сыновья росли тихомолом, попроще. Младшенькая, ластунья Ксеня до сих пор грела отцово сердце.

Жена попала в середку, и Тарасов несколько смешался.

— Либо председатель подъезжал? — не отставала Раиса. — Или главный инженер? Чего это ты сподобился? Либо потяжельше запрячь хотят? Ходором ходишь, так подцепить еще борону?

Открывать мысли и дела свои Тарасов не хотел. Жена и без того болела. Да и к чему?.. Чем она поможет? И потому Тарасов сказал:

— Да, ничего... Так, сепетят... Давай дощипывать да на лытках постригем. Время уж...

Время подходило к полуночи, пора было кончать.

Дощипали козу. И прежде чем поднять ее и увести, Тарасов поднял с полу Раису. Грузная жена слабела и слабела ногами и, отсидев их, не могла сама встать. Тарасов поднял жену, на кровать посадил. А потом уж с козой занялся.

Он отвел ее и запер катух. И в каком-то невольном, но желанном забытьи шагнул к катуху соседнему, коровьему, и открыл его. Живым теплом, и терпкостью сена, и хлебной преснотой соломы дохнуло в лицо, духом Марты, старинной тарасовской коровы, сколько лет уже стоявшей на этом базу. Тарасов зажег лампочку, Марта лежала и, еще до света узнав хозяина, повернула к нему свою белую голову и глядела умными, все понимающими глазами. Тарасов же видел глаза иные.

Другие глаза ему виделись, полубезумные, в шаге от смерти.

Приключилось это под Новый год. Сбегав на своем тракторе на центральную усадьбу, Тарасов обратным ходом, делая крюк, вез на хутор Вихляевский «столярку» для нового комплекса: рамы да двери.

Вихляевский животноводческий комплекс строили который уже год. Строили и осенью сдали и запустили туда скотину, но, как всегда, доделок был целый воз.

Миновав ворота комплекса, Тарасов остановил трактор, потому что не знал, куда ехать ему, где привезенное свали-

вать. И тут он услышал рев, нестройный, диковатый рев словно взбесившейся скотины.

Он огляделся: рядом, на базу, скотина теснилась табуном и ревела. Она стояла у самой городьбы, силясь пробраться ближе и ближе. Задние напирали дуром, на дыбки становились, пробиваясь. И мык, тревожный коровий мык висел над фермой.

Вслед за первым базом взволновался другой, дальний. И оттуда донесся рев.

Тарасов не сразу понял, а сообразив, погнал трактор вперед и вперед, подальше от коровьих глаз. Скотина, по всему видать, голодала, а трактор Тарасова с тележкой был такой же, как и все «Беларуси», что привозили на ферму корма.

Он укатил подальше и, заглушив трактор, вернулся к базам. Подошел к городьбе и встал — встал и стоял, хотя глядеть было несладко.

Многое Тарасов перевидал на своем веку и, какой бывает колхозная скотина — знал. Но такого давно не видывал.

Годовалые телочки были худы: крестцы и маклаки наружу торчали. Шерсть свалялась клочьями. Ноги выше колен черны от несмываемой грязи. Застарелыми сосулями и ошметками висела грязь на пузе, на лытках, по бокам до самой кабарги, на хвосте — до репицы. И даже головы были в грязи. Воспаленные глаза мутны, с гноем. Нос, обычно у всякой скотины вылизанный, и тот нечист.

Телушки начали успокаиваться и разбредаться по базу, выбирая место посуше. Но, несмотря на декабрь, подмораживало слабо, и на базу грязь стояла. И лишь вдоль яслей тянулась твердая асфальтовая полоса да посреди база земляной остров высился над вселенской хлябью. Туда и забиралась скотина.

— Здорово, кум, — послышался рядом голос.

Тарасов обернулся и узрел дальнего вихляевского родственника и, поздороваться с ним забыв, горько спросил:

— До чего же вы скотину довели... Господи... Чего же это, а?

— Довели... Да я сам с этой скотиной дошел. Во, погляди!.. — Вихляевский кум провел рукой по впалым небритым

щекам. — Скотина ревет, а я возле нее. А чем ей помочь оказать? Не дают кормов. Хоть дурняком реви. Не дают, и все.

— Почему не дают?

— Говорят, не колхозная скотина, а всеобщая.

— Всеобщая? — не понял Тарасов.

Вихляевский кум разъяснял людям не первый раз.

— Всеобщая... — уверенно подтвердил он. — С четырех колхозов молодых телок согнали. С Березовского, Ярыженского, «Победы коммунизма» и нашего. Телки всеобщие, и корма должны все везть. А не везет никто. «Победа» сама всю жизнь в попросях ходит, березовские немного совесть имели, а как грязь встала — с тем и до свидания. И наш председатель не дюже горится. Нахрен, говорит, мне нужно... Так прямо и сказал: нахрен чужую скотину кормить. Вот ее и кормит, на полшага до смерти. Соломки подвезут беремя — и шабаш. А тут погода огорчает. Дожди да дожди. Негде скотине на сухое встать. Спасибо, земли привезли да курган вот насыпали. А то прям плыла скотина.

— А внутри нет настилу? — спросил Тарасов.

— Ничего нету. Ученые люди доумились. Да оно, може, и взаправду, ежели по-хорошему. Солому, мол, стелить да стелить, как по-научному. А чего же стелить, когда ее и пожрать нету. Беда, кум, прямо беда. И никто к нашему горю не прислухается. Никому мы не нужны.

Телки уже совсем успокоились и разошлись, стояли друг за дружкой вдоль пустых яслей, кое-как умещаясь на твердой асфальтовой ленте. Другие на бугор забрались и теснились там, сгорбленные, поближе к солнцу.

И лишь две скотиняки остались стоять возле городьбы и смотрели на людей тоскливыми глазами.

«Му-у», — коротко взмыкнула одна из телок. Она и мычала не по-коровьи, а вроде по-собачьи, хрипло и коротко.

Взмыкнула и замерла, в грязи по колено, сгорбленная, не телка, а нелепый захлюстанный верблюжонок.

«Му-у», — вослед ей повторила другая.

Они были по масти вроде красные и в добрые времена, видно, белоголовые. Обе — красные и с белыми головами. И Тарасов, не веря, не желая верить, негромко позвал:

— Ночка... Дочка... Либо вы?

«Му-у-у...» — теперь уж долгим, таким знакомым мыком ответили телки.

— Мои... — охнул Тарасов. — Мои телушки. Осенью колхозу сдавал.

— Обеих? — спросил вихляевский кум.

— Обеих. От нашей Марты, Ночка и Дочка. Двоих она принесла. Да разве признаешь, Господи...

Нельзя, невозможно было признать в этих мосластых одрах тарасовских телок, каких сдавали колхозу в сентябре. Те были не скотина — картинка, с лоснящейся шерстью, сытыми боками, широкой спиной — веселые молодухи. А теперь...

— И они тебя признали.

— Да как не признать... — простонал Тарасов. — Возрастали... Кормил и поил.

Он стоял и глядел. И не мог глядеть. Сами глаза закрывались. Он стоял и бормотал:

— Какая беда... Какая беда. — И руки протянул, оглаживая телушкины головы. Ловкими большими пальцами прочистил им глаза и ноздри. А телушки стояли вкопанно, жадно обнюхивая руки, которые пахли не только железом и солидолом, но соломой и сеном и еще каким-то давно уже неведомым, почти позабытым, но сладким духом.

— Какая беда... Какая беда... — бормотал Тарасов.

Он мигом к трактору сбегал и принес суменку с остатками обеденной еды. Разломив пополам горбушку, Тарасов подал ее телкам, и они жадно, еще не понимая, чего им дают, схватили и, не жуя, заглотили хлеб. И снова нюхали руки, они пахли хлебом, сладким хлебом, хлебушком, которым в добрые времена из этих вот рук лакомились каждёнво. Но теперь в пустых руках Тарасова ничего, кроме запаха, не было. И он растерянно говорил:

— Нету, ничего боле нету, мои хорошие... — и раскрыл, и протянул пустую раскрытую сумку, в которой на самом дне каталось одинокое вареное яичко.

Телушка сунула голову в сумку, и схватила яйцо вместе с добрым куском газеты, и захрустела, и проглотила. И снова полезла в сумку.

Тарасов обомлел и отступил в испуге. Какая-то чужая телушка, и за ней еще одна, и еще, почуяв еду, кинулись,

мыча и тесня друг друга. Тарасов отступил и испуганно глядел то в сумку пустую, то на телушку, в зубах которой только что исчезло куриное яйцо и газета. Он глядел, глядел, ничего не соображая, и вдруг понял тяжкий и долгий голод скотины.

Понял, и так ему стало больно. Где-то там, внутри, под серой фуфайкой, под ребрами что-то жгло, и болело сердце, и хотелось заплакать. Но плакать Тарасов не мог. Он лишь сморщился и начал сморкаться. И глаза его теперь не видели ничего. Голова сделалась дурной. И так болело, так жгло и пекло у сердца.

Тарасов опомнился в тракторе своем далеко от Вихляевки, в старой Тубе. Видно, в забытьи он сел в кабину и ехал, и ехал. А лишь теперь в память пришел. И когда опомнился, то сразу же встал, потому что руки и ноги какие-то не свои были. И чтобы не случилось греха, Тарасов решил чуток переждать.

Декабрьский день кончался. И хоть светло еще было и далеко видать, но уже пала синева на займищный лес, на озеро Ильмень, на просторные камышовые чащи, что обступили озеро с трех сторон, год от года сжимая его.

Еще недавно стоял здесь хутор Туба, на золотом месте, на озере. И рыбой тут люди кормились, водили помногу птицы, огружались картошкой на заливных огородах. Но люди разошлись, и пропало все, сгинуло. И теперь лишь ветру свистеть в диких садах да в озерных камышах плодиться лысухе. А людского житья так быстро заросли следы...

Где дом кузнеца Макеева, трудяги и веселого бабника? У него сад был богатющий. Атарщиковы целым колхозом жили; а рядом развеселая Касатушка. От старого хутора Туба ничего не осталось. Жили тут век, в одночас разлетелись.

Тарасов вспомнил, как по зиме съезжались с окрестных хуторов на Ильмень-озеро рубить камыш. С Найденова, Вихляевки, Борисов, Дурновки и тубинские. На санях. И разом начинали сечь камыш, которым и крышу крыть, и ставить теплые стены. Весь вывозили, и стояло озеро голым. Это теперь ничего не нужно. А прежде, коли припи-

рало, косили зеленый камыш скотине на еду. И все подбирала зима.

Тарасов поглядел назад: Вихляевки отсюда было не видать, ее закрывал бугор. Но обостренным, а теперь уже болезненный слухом Тарасов, казалось, уловил дальний-дальний рев скотины.

И снова подступила боль, оттого что во всем виноват был сам Тарасов. Это он, а не кто другой обрек телок на такую жизнь.

Прошлой зимой, как и всегда в конце января, тарасовская Марта отелилась, на этот раз сразу двойней, Дочкой и Ночкой. Не сказать что плохие были телочки, хотя поменьше обычных. Двойному приплоду, конечно, радовались. И Тарасов чаще обычного стал заходить во флигель, где содержалась всегда малая животина. По утрам и вечерам хозяин сам поил телочек молоком, и они узнавали его, встречая нетерпеливым мычанием. А уж молоко пили...

Тарасов приносил два ведерка, и Дочка с Ночкой бросались к ним и шумно цедили еще теплое Мартино молоко. И, надудонившись, все равно искали еще, с ногами забираясь в ведерки. И Тарасов, обтирая им мокрые мордахи, урезонивал:

— Будя, будя... Вон пузы какие...

Тарасовы скотину жалели и даже теперь, когда Марта двоих принесла, выпаивали их по-обычному, молоком не скупились. Но Гавриле стало казаться, что жена телочкам помалу отделяет, и он бурчал:

— Не жадай, вливай... Нехай кормятся! — И порой своею рукой добавлял.

— Ты чего, отец? — удивлялась Раиса. — Первый раз, что ли? Всегда по столько вливаем... Самим тоже нужно. Сам спросишь молочка да сметанки.

— Ничего... Не джуреки доедываем, — отвечал Тарасов и оправдывался: — У нас, мать, всякая еда. А им ни мясца не дашь, ни яичков. Им молочко требоваится, одна радость.

Раиса лишь удивлялась да посмеивалась. А про себя думала, что мужик ее стареет и просит душа его внуков.

Наверное, так оно и было. Старших, сынов, Тарасов в детстве их вроде не замечал. Выросли они у материнско-

го подола. Младшую, Ксеню, прижаливал. Теперь же, видно, пришла пора, и просыпалось в Тарасове извечное дедовское чувство. А внуки были далеко.

Да и просто любил Тарасов скотину, от веку. Жил с ней, кормился от нее и любил. Скотина была иной раз и получше людей, понятливее, совестливей.

Через полмесяца Дочка с Ночкой захрумтели сенцом. Зелеными веточками дикого гороха, да клеверка, да повители. В садах, где косили, была одна полянка с добрым листовым сеном. И Тарасов его всегда отдельно сохранял, для малышни.

И пошли расти Дочка с Ночкою, догоняя сверстников. И по весне, когда погнали телят на попас, они уже гляделись крупнее иных.

Лето пронеслось быстро. К осени Тарасов стал баловать своих телушек яблоками из диких садов. И Ночка с Дочкою ждали хозяина каждый вечер за двором, в низах, возле гати. И бросались к трактору, не боясь его рычания и дыма.

А в сентябре, когда пришла пора со скотиной определяться, Тарасов решил сдать телушек в колхоз. Платили, правда, не особо богато, денежнее было бы продержать их до весны, зарезать да на базар свезти. Но Тарасов к телушкам привязался и решил оставить им хоть и колхозную, но жизнь. Коровками они обещали стать удоистыми, а значит, и доярка их будет жалеть.

По-доброму рассуждал Тарасов. Но человек предполагает, а Бог располагает. И кому теперь плакаться, кому кричать?

В замолкшем тракторе стало холодно. И вечер уже крылатился, зимний вечер. Над Вихляевской горой быстро темнело. Из угрюмых озерных камышей, старых садов и займища наползала серая мгла. А вдали на родном Найденовском хуторе, в крайнем дому, у Амочаевых, затеплился огонек.

Пора было ехать. И Тарасов поехал. В дороге он доброго ничего не придумал, но, трактор поставив, все же не домой пошел, а завернул в контору. Управляющий Талдыкин сидел еще там, надрываясь над рацией:

— «Резеда-два», я — «Резеда-четыре». Как меня слышишь? Прием! Нехай уборщица клуб завтра натопит,

собрание будут проводить. «Резеда-два», как меня поняла? Прием.

Тарасов дождался, когда управляющий кончит, и сказал:

— Отвез я дробленку на центральный. А оттуда на Вихляевку ездил, двери да рамы возил на комплекс.

— Это хорошо, — одобрил управляющий. — Начали чесаться.

— Хорошо, да не дюже, — переступил с ноги на ногу Тарасов. — Скотина там, Николай Иваныч, голодает. Телушки прям никакие. Чего из них будет дальше? Неужели мы — такая беднота, ничего не можем им подвезть? Все же скотина, живая душа. Да и какие из них коровы будут?

Управляющий слушал Тарасова рассеянно, рассеянно и ответил:

— А-а... Телки... Район придумал эту дурость, всеобщее выращивание, кооперацию. Нехай у него и голова болит. Нам бы со своими совладать. Чужих еще кормить.

— Да ведь там и наши.

— Ну, сколько там наших. Чужих навезли, спихнули на мою голову. Нехай... Сами пусть расхлебывают. Председатель так и сказал: каждую неделю звони в район, что кормов не везут. И нехай там разбираются, как хотят. Ты вот что... — оживился Талдыкин. — С комплексом, это не нашего ума, там председатель политикует. Нехай. А ты завтра с утра, как ребят увезешь, цепляй сразу корыта, какие возле кузни. Там их четыре. В Большой Дубовский два и в Малую Дубовку. А потом...

И про телочек больше ни слова. Обычные пошли разговоры, про дела.

Жене Тарасов тоже ничего не сказал, не стал ее тревожить. Лишь поздно вечером, когда запирал на ночь катухи, к Марте зашел и пожаловался:

— Бедуют наши Ночка и Дочка. Загубятся. А все я виноват, мелкоумный...

Тарасов вздохнул. Но Марта, его печали не внимая, равнодушно жевала жвачку. Она донашивала в утробе нового телка и знала теперь лишь его.

Тарасов же забыться не мог, по ночам видел своих телушек и днем, словно наяву. Он думал и думал о голодной ско-

тине. И однажды, как раз перед Новым годом, возвращаясь порожнем с центральной усадьбы, взял и подъехал к скирду, что стоял посреди степи. Подъехал и наложил сколько мог в тележку и увез на ферму, к телкам.

Увез и стал теперь каждый день помогать скотине. Вилы с собою брал, приспособив их под тележкой. И когда шел пустой, то сворачивал к какому-нибудь скирду. И у телушек на Вихляевском комплексе хоть и не великое было, но разговенье. Скотники про это дело молчали.

Так и шло день ото дня, так до поры и катилось.

Среди начальства поговаривали о соломе, которая пропадала и пропадала. Грешили на заезжих, на своих не думали. И Тарасов возил и возил, пока беда не случилась.

2

Ночью Тарасову снилась погоня. Не один председательский газик, а целый выводок их гнался за ним. Тарасов петлял по всей округе: в займище уходил, кружил возле Городбищ, меж песчаных кучугуров, в Чуриковы талы нырял, убегая в Летник. Но повсюду шли и шли за ним волчьей стаей желтоглазые лобастые газики, молчаливое неустанное зверье.

Они гнались за трактором всю ночь, и потому утро Тарасов встретил с облегчением.

Зимнее утро просыпалось над хутором не вдруг. Серый рассвет его и красное морозное солнце были еще далеко. А теперь, во тьме и холоде, лишь просяные огни фонарей светили у магазина да клуба. Но поднимался Тарасов и зажигал лампы над крыльцом, на базу, в катухах — разом везде. И высокий костер электрического света вставал над тарасовским подворьем и над хутором, раздвигая ночь.

И теперь, словно поспешая друг перед другом, начинали просыпаться и в других домах, потому что «Тарасовы уже зажгли».

По утрам Тарасов управлялся быстро. Подпуская к матери козлят, сена задавал, поил скотину. Птицу не выпускал, темно еще. Но за двором, на гусином точке́, сыпал зерно в длинное деревянное корыто. И, в дом воротясь, напоминал жене:

— Я насыпал гусям. Выпустишь, как развиднеется.

Раиса с утра передвигалась трудно. Больные ноги ее не сразу расхаживались. Но она ко времени успевала и печь затопить, и завтрак сготовить.

И нынче она щей налила, мяса поставила, яичек, сальца порезала. По утрам Тарасов ел много. День впереди длинный, и неизвестно, куда он поведет и что подаст.

— Буду письмо писать Ксене, — сказала жена. — Чего переказать?

— Ну, чего... — задумался Тарасов. — Нехай там глядят. Може, на гости приедут. Дорога встала. Подмогнут и остатних гусей заберут и сало. Чего зерно переводить? Время указывает.

— И взаправду, — согласилась Раиса. — Нехай забирают. Галды меньше, с утра до ночи орут. В выходной головы посекем. Виктор приедет, обделаем.

Тарасов держал гусей помногу, до полутора сот. Но продавать их не продавал. «Сами научились гусятину есть», — когда-то промолвил он свою знаменитую фразу. И хутор, и вся округа повторяли за ним: «Сами научились...» И на базар стали меньше возить, себе оставляли, хоть и цены были завидные. Тарасов же вовсе не продавал, щедро оделяя птицей детей. Даже старшему, Петру, что в Сибири работал, доставалось. А уж Ксенина да Виктора семья на отцовских харчах и жили, на базар не заглядывая.

— Може, отец, цыганки опять ныне придут, с продажей... Уж я, видно, не подорожуся. Возьму на шторы. И себе, и Ксене подарим. Давно мы ей ничего не дарили. Красивый матерьял... Розы прям живые цветут. Талдычиха взяла, а мы чего...

— Сама гляди... — равнодушно ответил Тарасов, в бабьи дела он не лез.

Над хутором висела ночь. Лишь по земле, в хатах светили огни да возле тракторного сарая ударило в небо желтое чадящее пламя солярки. Полыхнуло высоко, осветив кухню и амбары, и даже контору, но тут же сникло. Это Костя Дуков развел свой костер, согревая для техники воду. Хорошая была у Кости работа. Летом он на конях бочку возил с водой. Зимой разжигал водогрейку. И ждал Тарасова.

Тот всегда приходил первым. Еще издали, не видя, слышал Костя и узнавал тяжелый тарасовский шаг. Слышал и радовался: можно домой идти, дозоревывать.

Тарасов подходил к огню, спрашивал:

— Ну, чего тут?

— Да все в порядке, вода греется, — весело отвечал Костя. — Коней твоих, — показывал он на тракторный навес, — тоже цыгане не свели. Не желают. А я пошел, еще не завтракал.

Нехитрый рабочий день Кости кончился, и он уходил. Тарасов оставался один. Теперь он шел к тракторам. Две машины его под навесом стояли: приземистый, похожий на хозяина, гусеничный «ДТ» и синий «Беларусь» на резиновых высоких колесах. Гусеничный трактор теперь пребывал в медвежьей дреме, дожидаясь весны. Зимою Тарасов ездил на «Беларуси».

— Ну, чего тут? — входя под навес, негромко спросил Тарасов. — Живые?

За этими короткими словами крылось многое и доброе. И трактора это понимали. «Беларусь» знал, что сейчас хозяин сунет ему факел под брюхо, согревая поддон, а потом в радиатор горячей воды зальет — и живительное тепло потечет по жилам. И все остылое за долгую морозную ночь стальное тело его начнет оживать.

Тарасов подъехал с будкой к конторе и остановился. Пока школьники соберутся, можно и сыну позвонить, Виктору. Тот жил в райцентре и имел телефон.

В контору никто в такую рань не приходил, и Тарасов без чужих глаз набрал номер и, услышав голос сына, сказал:

— Ну, чего там? Все здоровые? Слава Богу. Ты это... на выходные приезжайте. Делов много. Пух подошел. Гусей надо определить. Понял?

Разговор у Тарасовых получился короткий. А по-иному и не могло быть, потому что сыновья удались в отца. Что Петро, что Виктор. В мальчишках они, как и все дети, иногда и баловались, в парнях, бывало, проказничали, но знали свой час. Виктор кончил школу, потом ушел в техникум, в райцентре, там женился. Отец ему дом купил. И в двад-

цать с небольшим парень как-то сразу превратился из компанейского Витька в Тарасова. Он поугрюмел, погрузнел, разговаривать стал мало, зная лишь всегдашнее тарасовское «Ну, чего...», и, часто приезжая на хутор, впрягался в работу. От порога снимал добрую одежду, натягивал старую и день-деньской пропадал на базу. И уже со стороны непросто было разобрать: кто там возится во дворе — старый Тарасов или молодой.

Что и говорить, сильна была тарасовская вера. Даже Ксении муж, парень городской, и тот Тарасовым словно на кону достался. Городские зятья на хуторе обычно в гостях баловались удочкой, ружьецом, грибами, купаньем — им все прощалось. Тарасовский зять в первый же приезд выкопал и обделал кирпичом новый погреб. Потом электрический свет везде провел. И с Виктором в четыре руки сладил огромный сенник. Кое-кто говорил, что Ксении муж отрабатывает квартиру, которую Тарасов купил для зятя и дочери. Но то было пустое, мало ли городским зятьям денег пихали. Умные люди лишь завистливо качали головами: одно слово — тарасовский зять.

Школьники собрались ко времени. Большенькие сами в будку лезли. Укулеманных в мамкины платки малышей Тарасов поднимал и рассаживал поближе к передку.

— Раз, два, три... — считал Тарасов. — Шляпужонка нету.

— Здесь я, дядя Тарасов! — пропищал из угла Шляпужонок. — Погнали!

Тарасов не спешил. Он оглядывал будку, крючки проверял, запоры, обстукивал баллоны колес. И уж тогда лез в кабину. Кабина была тесной. Тарасов в ней вплотную умещался. Казалось, трактор и создан был именно так, чтобы с трудом уместить в себе большое тело Тарасова и ни грамма больше. Он, кряхтя, влезал в кабину и долго ворочался, расставляя тяжелые ноги и руки умащивая. Но сидел в тракторе влито, словно врастал в него. И уже не было Гаврилы Тарасова и синей железяки с именем «Беларусь» — теперь это было единое живое существо с горячим дыхом и голосом, с тяжкой силой, машинной и человечьей. Оно не торопясь проползло через хутор, приглядываясь рачьими глазками фар к разбитой дороге, а за околицей прибавило

ходу и мягко покатило наверх, укачивая в будке недоспавших ребят.

К обеду Тарасов дважды успел сбегать на центральную усадьбу за удобрением. А когда в другой раз подъехал к складам груженый, то здесь его ожидал участковый милиционер, всем известный Листухин.

В потрепанной шинелишке, красномордый, насквозь провонявший табаком, Листухин вот уже три десятка лет мотался по хуторам на мотоцикле. Он всех знал, а уж его — как облупленного.

— Воруем? — с ходу спросил Листухин и засмеялся. — Молоде-ец...

Тарасов опустил глаза, обиженно фыркнул носом.

— Сколь соломы упер? Тонн пятьдесят? Кому возишь? А? В Борисы? Они всю жизнь с протянутой... Отгадал? Молодец! — снова расхохотался Листухин.

— Брешут люди... Наговаривают... — отводил глаза Тарасов.

— На тебя набрешешь. Ты же первый работник и вор... Точно. Первый работник и вор. Я знаю. Сознавайся. Честное признание — меньше наказание. Всего пять лет — и выйдешь. Райка не успеет наскучать, — похохатывал Листухин.

Тарасов переминался с ноги на ногу, оправдывался:

— Брешут люди... На кой мне иха солома?

Так они и говорили, словно играясь. А между тем тракторную тележку уже почти разгрузили. И тогда Листухин, обрывая хоть и с намеком, но все же нарочный разговор, сказал серьезно:

— Солому увозишь ты. Я далеко не ездил, а на Поповский бугор завернул, ячменную ты свез. Возле Арчаковой балки тоже твои следы. Тебе цепя на колеса еще Митрон Макеев ковал. И ты не шути, — глядя в глаза Тарасову, строго продолжал участковый. — Я за тобой гонять не буду, ночьми тебя ловить. Я белым днем объеду, как ныне, и сниму отпечатки следов. Вот этих, — указал он на колеса трактора. — И конец тебе. И хоть ты и Тарасов, а загремишь по восемьдесят девятой статье. Вот так-то, кум.

От былого веселья Листухина и следа не осталось. Взгляд его был пронзителен и трезв. И у Тарасова похолодело внутри.

Листухин пошел к магазину, там его верный дружок торговал, Максимов. Участковый ушел, а Тарасов стоял в огорчении. Сколь много было в эти дни горького и доброго, много думалось про давнее и про нынешнее, а теперь вот пришел человек и единым махом все поломал. В руках его сила, и с ним, словно с Богом, судиться не будешь.

Бабы уже опорожнили тележку, а Тарасов все стоял, глядел вслед ушедшему милиционеру. И, поняв неладное, подошла к Тарасову Василиса Егоровна.

— Разгрузили мы, — сказала она.

— Чего? — не понял Тарасов.

— Чего-чего... Удобрению твою дорогую... Какая урожай дает, — рассмеялась она, напоминая о прошлом.

Как-то весною удобряли кукурузу. Весь день работали. И уже стемнело, и на хутор коров пригнали, и пора было домой. А Тарасов гнал и гнал, он хотел поле кончить. «Хватит, Алексеевич», — не выдержала наконец Василиса. А Тарасов голосом жалобным, чуть не плача, попросил: «Василиса Егоровна, там же уголок остался. Завтра в другое место пошлют. И останется голызина. Без удобрения не даст кукуруза урожай». Посмеялись тогда над Тарасовым от души.

А теперь вот вспомнили. Вспомнили, улыбнулись, и у Тарасова отлегло на сердце.

— Чего Листухин тебя пытал? — спросила Василиса.

— Да бычки пропали, на Дубовке, — сбрехал Тарасов. — Ищет...

— У Максимова за прилавком найдет, — определили бабы.

Пора подходила за школьниками ехать. И Тарасов, прицепив будку, подался в Вихляевский. И хотя в школу он ездил верхом, горою, но белокаменные строения комплекса и на базах скотина сверху видны были как на ладони. И, против воли, глядели туда глаза, глядели и словно видели белоголовых телушек, Ночку и Дочку, которые теперь, быстро привыкнув, ждали хозяина. Ждали и верили.

Обратным ходом Тарасов спешил, убегая от треклятого хутора, от скотины, от мыслей своих. Он спешил, и будка с ребятами непривычно скакала по колдобинам, словно не Тарасов в тракторе сидел, и непутевый Юрка Силаев.

Возле конторы, когда школьники высыпали из будки, щербатый Шляпужонок бесстрашно сказал:

— Ты, дядя Тарасов, ныне либо выпитай... Все кишки растряс. Оляпька наша чуть не... — он не договорил, прыснул в рукавичку и кинулся прочь, улепетывая от рассерженной сестры.

И вдогон им несся ребячий смех...

А Тарасову и вправду не моглось. Странное равнодушие овладело им. Все вдруг разом обрыдло, надоело. День казался пасмурным, людские разговоры — вздорными, одиночество в кабине — тягостным. И что-то томило, и сосало под ложечкой, и временами подступала пугающая дурнота.

Он сделал еще один рейс на центральную и засветло ушел домой. Раиса, всполошенная и ранним приходом его, и смутными слухами, которые уже покатились по хутору от магазина, от щебетливого Листухина, от дружка его Максимова, встревоженная Раиса закудахтала слезливо:

— Да ты либо заболел? Прям с лица скинул... А тута люди всякое несут. Листухин приехал... к тебе, говорят, присучивается... Чего-то ты взял, вроде солому... Какая солома? На кой она тебе? Либо кто попросил... Людям сделай добро, а тебя за чичер возьмут. Ты бы не венчался со всякими, отец. Нам ничего не надо, а люди нехай сами об себе думают.

Женины заботы были приятны Тарасову, но объяснять ей он ничего не стал. Лишь успокоил. И, пообедав, пошел во двор.

Зимний день, серый ненастный день уже клонился к вечеру, но светло еще было, совсем светло. Редкий снег неспешно летел и летел косым нескончаемым роем. На воле начинало мести. Снежная пыль курилась по крышам. Гусиное полчище за двором притихло, улеглось на ветер, схоронив головы, и лишь старый гусак, красноносый унтер, стоял настороже.

Тарасов почистил у коз и коровы и сменил на полу солому. И сразу уютно стало в катухах от рыжей, не тронутой дождями соломы, и явственно запахло хлебом. Тарасов присел на коровьем катухе, возле стеночки, и посидел недолго.

А потом у козлят затопил, во флигеле, наносил скотине и в дом воды, угля и дров жене на завтра приготовил. И когда все дневные заботы остались позади, Тарасов

занялся санями. Он их себе ладил, небольшие. Лошади в колхозе водились, а вот с телегами да санями совсем стала беда. Ни доброй арбы, ни саней. В давние теперь годы, когда работали старики Макей Фетисов, Силан Рабунов, Аникуша Юдаичев, все было. И хода, и сани. Прежние старики перемерли, нынешние получали хорошие пенсии, сидели по домам.

А в хозяйстве без лошади не обойтись. Пришлось Тарасову свою телегу заводить. Теперь вот санями он занялся, чтоб на колхозных обломках позору не принимать. Делались сани не вдруг, в заделье, и, как смеялась жена, к весенней грязи должны были поспеть.

Нынче Тарасов делал копылья, а потом, спохватившись, вспомнил об оглоблях. Два молодых ровных вязочка давно уж приметил он в займище, против своего огорода. Еще с осени. Да все недосуг их было срубить: рано темнело, поздно с работы приходил.

Напрямую, своим заулком и гатью Тарасов в займище сходил, свалил вязки и понес их домой. Нынче по осени и в начале зимы шли дожди, и речка разлилась да так и застыла, не войдя в берега. И потому зима была рыбной. На хуторе говорили о щуках и карпах, которых ловил дед Архип Сентюрин. У тарасовского обережья был просторный омут, глубокий. И в недавние еще времена сын Виктор бил здесь котцы и рыбу ловил. И Тарасов, бросив ношу свою, свернул на обережье, поглядеть: может, и в самом деле стоит рыбкой побаловаться?

В низах над речкою было тихо. Заснеженное блюдо омута там и здесь секли заячьи тропы. Они пропадали на той стороне, где чернела путань терновых да сизая вербовая поросль. А дальше и выше лежал просторный плат рябой паханины да в сизоватой дымке расплывались песчаные курганы и темная полоса далекого леса.

Тарасов о цели своей будто забыл и отрешенным взглядом смотрел вокруг. Черные огороды, обнесенные старыми плетнями, спускались к речке: темные базы, и сараи, и дома — все было серо и неуютно, как всегда в предзимье, без доброго снега. Не хотелось туда глядеть. И взгляд Тарасова, уходя от немилой сейчас картины родного хутора,

остановился на старой большой вербе, что росла на берегу в кругу своих молодых товарок.

Верба была так велика, так огромна и неохватна... она вставала из земли серым мамонтом, а потом, наверху, ближе и дальше росли из ее могучего тела стволы больших деревьев.

Сейчас, в тусклом январском дне, старая верба притягивала взгляд и манила своей неколебимой прочностью в мире и отрешенностью от земных забот. Своей вечностью.

Да, старая верба жила вечно. Еще пацаном Тарасов нырял с крепких ее ветвей в глубокий речной омут. Отец Тарасова, давно уже покойный, рассказывал о том же. И дед Никанор, и бабка Мотька... Сколько людей прошло, сколь ушло, сколь еще уйдет... А верба все такая же.

С какой-то неведомой робостью Тарасов подошел к старой вербе, оперся рукой о ствол ее и замер. И не было вокруг ничего, кроме сизого неба, да земли, да старого дерева. А сам Тарасов...

Что жизнь его перед этой землей, перед старой вербой? Он пришел — верба шумела зелеными листьями, он уйдет, а дерево все так же будет стоять, неколебимо: будет покойно плыть через новые зимы и весны, через новые и новые лета.

И разве в памяти ее мелькнет вихрастый голубоглазый мальчонка или тяжелый мужик, что стоит сейчас перед нею?.. Какое... Много и много их здесь прошло под развесистой кроною. Раскачивались на ветвях, с шумом прыгали в воду, прятались от дождя, любились в ее сени, зачиная новые жизни, такие же короткие, в птичий посвист. В недолгий птичий свист.

Ведь вроде вчера еще Тарасов купался в отцовском омуте. А потом приводил сюда Раису. И словно через миг уже свои ребятишки, один за другим: Петро, Виктор и Ксеня, уже они бултыхались под вербою. И как быстро выросли, Господи... Вчера были здесь, а нынче — далеко. И не вернутся уже никогда в светлые воды, к старой вербе.

И одно за другим пошло низаться давнее и вчерашнее, одинаково дорогое и больное, потому что прожито было самим.

Здесь, через эту гать, единственный раз уходили, бросая родину. Надо было уйти, иначе бы перемерли. А в совхозе, где спасались, там затируху в столовой давали и пшенную кашу. И разрешалось в баночку отливать, для детей. Выжили. Вернулись.

На этом вот поле, сразу за речкой, Тарасов на трактор сел четырнадцатилетним мальчонкой в войну. А еще Николай Силяев, Василий Курсанов. Вместе это поле пахали. И когда «колесники» глохли в борозде, то заводили втроем, ремни на ручки привязывали и крутили в шесть рук, врастяжку. Пацанва...

А сеяли и вовсе хорошо. Можно зернышко в банке нажарить. Ячменя или пшенички. И грызть. Или напарить, завязав в узелок, в радиаторе. Получалась кутья. Бригадир разрешал. Лишь уполномоченному нельзя было на глаза попадаться.

Продуктовоз бабка Татьяна на белой кобыле привозила хлёбово да просяные лепешки. Издалека было кобылу видать.

И потекла-покатила жизнь по этим полям. Лишь трактора старели и умирали. «Колесник» с железным сиденьем. Гусеничный «натик» с дерматиновым навесом над головой. Крыша есть... а вокруг — играй, батюшка! Дальше — получше.

Сколько изъездил этих лошадок Тарасов за сорок лет. И всех помнил, словно людей. Да и грех забывать. Они кормили и подняли ребятишек.

И вдруг где-то там, в ушедших днях, мелькнуло светлое. Две телочки, красные, с белыми головками, мчались сюда, к старой вербе, к речке и гати, через которую пробирался синий трактор хозяина. Как летели они, ошеломленные, хвост трубой... Не боясь тракторного грохота и соляровой вони. Они видели Тарасова и знали, что выйдет он из трактора и сыпанет перед ними беремя яблок, алых, хрустящих, сладимых, словно забытое материнское молоко. Так было изо дня в день, и телушки встречали его радостным ревом и летели навстречу.

Как быстро все кончилось. И как горько...

При мысли о телочках Тарасову сделалось не по себе. И жизнь человеческая показалась какою-то странной и непо-

нятной. Ведь нельзя было разумом понять и войну, и убиенных людей, и голодную детвору — эту злость вселенскую. Нельзя было понять, отчего пропадают телушки, Дочка и Ночка. Кому и зачем это надобно?

И сразу заболело сердце. И странная мысль легла на душу: лучше бы не жить, не мучиться, а стоять вербою тут, на обережье, возле речки. Стоять и глядеть, одинаково слушая ветер и шепот людской, радоваться малым ребятишкам и радовать их, подбрасывая на гибких ветвях, укрывая от пекла, и сережками кормить по весне. Стоять и стоять таким вот могучим древом, которое не тронет никто. Ни председатель, ни участковый Листухин.

Тарасов долго стоял возле дерева, но наконец отнял руку от шершавой коры и пошел. Поодаль, возле брошенных на землю вязков, он еще раз окинул взглядом старую вербу и порадовался жизни ее.

А во дворе уже искала его встревоженная Раиса.

— Отец! Отец! — звала она с крыльца. — Где ты?! Куда подевался? Отец!

Тарасов еще в заулке ее голос услыхал, и ускорил шаг, и, сбросив вязки под сарай, вышел на видное место.

— Ушел и пропал на нет! — жалобно проговорила Раиса. — Шумлю, шумлю...

Она не стерпела и стала спускаться с крыльца, торопясь к мужу. Больные, непослушные ноги ее с трудом несли тяжелое тело.

— Чего приключилось? — поспешил ей навстречу Тарасов.

— Отец... Ты ж набедокурил, а молчишь. Листухин-то по твою душу приехал...

— Откуда опять взяла?

— Приходила ко мне энта... НКВД, — показала головой Раиса на соседний двор.

— Макариха, что ль?

— Она... Все дочиста рассказала... Листухин грозится... — жена была испугана не на шутку и боялась даже говорить, лишь смотрела на мужа да моргала глазами и ждала.

— Не боись, Рая, — успокоил жену Тарасов. — Не боись. Я ту солому в дело возил. Меня за это ни Бог, ни люди не осудят.

Раиса мужу верила всегда. И от души у нее отлегло. Но не вовсе. Какой-то червячок все же точил. И потому она сказала:

— Листухин прям грозился. Привлеку, говорит...

— Э-э, чего нам Листухин, когда мы сами — Тарасовы, — так же спокойно и даже с усмешкой остановил Раису муж. — Не горься, не стоит того!.. — Он положил на плечо жене тяжелую руку. И потом вдруг вспомнил: — Виктору я дозвонился. Приедет. Говорит, и ребятишки наскучали, к нам желают.

— Ты гляди... — обрадовалась Раиса. — И Олюшку привезут, и Сережу.

— Сергея навряд. Учится. В школе ныне такие трудные спросы. А Оленьку чего... Не дюже холодно.

— Да она стерпит! — убежденно сказала Раиса. — Кремень — не дите. На ту зиму холодюка такой, а она бегёт рысью. И все. Приучили в яслях. Ксенина Натушка против нее — кисель. Энту все в сип целуют. А Оленька...

И пошел разговор о детях, о внуках.

Тарасов помог жене на крыльцо подняться. И здесь, на высоком крыльце, в глаза ему снова бросилась старая обережная верба. Она вставала над крышами сараев, над займищем, над всей окрестной землей.

— Рая? — спросил Тарасов. — В память не возьму. Либо бабка Марфутка покойная рассказывала, кто-то рубил ведь старую вербу?

— Какой-то вроде Никишка, — вспоминая, ответила жена. — Вроде он из Широков бешеных. Дедом он доводился Широким.

— Ну, эти доумятся...

— Рубил. Бабка Марфутка помнила. Рубил, рубил и ногу себе прям до мосла разнес. Тем и кончилось. А чего? Либо ты на нее заришься? Господь с тобой...

— Да ну... Просто в голову вошло. И гляди ведь, все затянулось. Еще мы молодые были, руились там... Не было и меты. Ты помнишь?

— Помню... — тихо ответила Раиса, поднимая на мужа глаза, и молодой вишневый жар кинулся ей в лицо.

И весь вечер вспоминали о былом. Щипали пух с большого козла Васьки и меж делом нет-нет да и говорили о давних временах.

Как вместе работали: сам Тарасов на тракторе, а Раиса на прицепе. Какие долгие ночи были осенью на пахоте... И как боялся Тарасов, что Раиса задремлет и попадет под плуг. И как в черной осенней ночи плывет над трактором неслыханной красоты лазоревый цветок: это у «натика» раскалилась выхлопная труба и над алой горловиной ее волшебными лепестками сиял голубой, и оранжевый, и сиреневый пламень. Однажды, уже в декабре, — тогда подолгу пахали, с уборки и до зимы, — и вот как-то уже в декабре допахивали клин за Петипской балкой. Пахали и пахали, но к утру остался еще лафтак. Тарасов решил чуток отдохнуть, а потом докончить, чтобы уж сюда не ворочаться. Прижались друг к дружке в кабине и задремали. А проснулись и ахнули — зима. Снег лежит чуть не в колено.

И как хотела вначале Раиса убежать к другому трактористу. Тарасов ведь работал по-дурному, без перекуров. И ничего не признавал. Без света, ночью, ощупкой пахал или пускал Райку вперед, перед трактором, чтобы шла она и борозду указывала. И вышагивала девка ночь напролет, с факелом. Или пристраивал у радиатора коптилку из снарядной гильзы. И при жалком свете ее пахал и пахал. Уже тогда рассказывали побаски о Тарасове.

А тут пришли другие времена. Стали в колхозах платить. И Тарасов словно расцвел. В какие-то годы он новый дом поставил, под белой жестью, стал обрастать скотиной и птицею. Раиса первой в хуторе панбархатное платье надела и лаковые туфли. И пошла и покатила тарасовская слава, обрастая былью и небылью.

Вспоминали о многом. И теперь, издали, дни ушедшие ворошить было легко.

3

Уже на другой день Тарасов снова приволок на Вихляевский комплекс чуть не полскирды соломы. Привез, свалил, телушек своих приласкал, сунул им по краюхе хлеба, с вихляевским кумом потолковал недолго. Тот лишь охал да приговаривал: «Победная головушка».

Так он сделал и на второй день, и на третий, в пятницу столкнулся лицом к лицу с начальством.

Председатель и управляющий словно ждали его на ферме. И он приехал. Отворились ворота, и тарасовский синий трактор подкатил к базу; и заволновалась скотина, торопясь к яслям. Но ей пришлось погодить. Наперед трактору вышел председатель колхоза, а за ним — управ и другие люди.

Тарасов все понял. Заглушив трактор, он долго вылезал из него, медленно шел к председателю, пытаясь на ходу придумать слова. Говорун из него был никудышный.

— Хозяйничаешь? — с ходу спросил председатель.

— Так уж... — разводя руками, сказал Тарасов. — Так уж получается... А то сами-то, слава Богу, обдутый хлебушко едим, а скотина губится. Да и солома все одно пропадает... — Но разговориться он не успел.

Председатель, а он был из местных, лишь помоложе, обрезал его, обжигая взглядом:

— Вот когда тебя поставят, тогда будешь командовать. Понял? Стратег. Дальше носа ни хрена... Давай сюда ключи.

Тарасов молчаком к трактору сходил, вынул ключи и отдал.

— Вот так... — удовлетворенно сказал председатель. — А теперь шагай домой. Забрать оба трактора, — приказал он управу. — И пусть в скотники идет, проветрится. Раз умом рухнулся.

И уже в спину прочь уходящему Тарасову председатель, усмехнувшись, добавил:

— Хозя-аин...

Ревела на базах скотина, не спуская глаз с желтой соломенной горы на тарасовской тележке. Председатель наконец услышал ее рев и сказал:

— Скормите. Чего ж ее, назад, что ли, везть?

Солому раздали. Тарасовский трактор поставили возле конторы. А хозяин его был уже далеко.

Он шагал и шагал. Вихляевку прошел и Тубу. Шел и шел знакомой дорогой, и горьки были думы его.

И вдруг, где-то уже в конце пути, возле табачной плантации и старых обрушенных навесов-сушилок, Тарасов остановился. Остановился и недолго глядел вокруг, а потом повернул назад. И зашагал торопливее.

На комплексе начальство уже, конечно, уехало. А посреди двора курили скотники, обсуждая недавнее. Увидев Тарасова, они разом смолкли и стали глядеть на него и ждать. Но Тарасов шел не к ним, а к базу.

Он отворил ворота и негромко позвал:

— Ноча, Ноча... Доча... Идите, идите сюда...

Тарасовские телки кинулись к хозяину, и он выпустил их за ворота.

Скотники, поняв, в чем дело, бросились к нему:

— Кум, кум, да ты в уме ли? Нельзя так!

— Нельзя, Тарасов. Мы же отвечаем.

— Мои телушки, — невозмутимо сказал Тарасов.

— Были твои. Тебе за них деньги заплатили!

— Я втрое верну. А губить скотину никто не повелел.

Тарасов больше слов не стал тратить.

— А ну, отойдите... — сурово приказал он. — Моя голова, с меня спрос. Прочь с путя, а то счас...

Суровый вид его разом скотников отрезвил. Да и кому была охота связываться.

И вновь, теперь уже втроем, пошли по знакомой дороге: через Вихляевку и длинной Тубой, а потом займищем, понад речкой и гатью. И пришли домой.

Раиса весь вечер проплакала. А Тарасов лишь одно сказал:

— У меня, Рая, теперь душа на покое.

А назавтра, несмотря на субботу, на хутор нагрянули ранние гости. Утром возле тарасовского дома остановились сразу две машины, председательский газик и милицейская. Хутор притих и ждал.

ЧАПУРИН И ЮРКА

Скотина ушла на попас, галдливая птица — утки да гуси на пруд убрались да в ерик, на теплую воду, и хутор лежал в утренней летней дреме. Солнце уже вставало над обережными вербами, и управляющий колхозным отделением Чапурин собирался в контору. И тут как гром среди ясного

неба ударили ружейные выстрелы: два дуплетом и через минуту еще два.

С шумом поднялись голуби от амбаров и гаража, воронье всполошилось в займище и закружилось темной тучею.

А стреляли где-то рядом: у кузни или колхозной конторы.

Чапурин заторопился со двора. Жена на крыльцо вышла, спросила:

— Это кто стреляет?

— А я откуда знаю.

— Гляди. Ежли кто пьяный, то не лезь, вызови участкового. А то еще...

Не слушая жену, Чапурин зашагал через пустошь, стараясь издали углядеть: где там и что... После выстрелов не было слышно ни бабьего крика, ни ругани.

Подошел Чапурин к гаражу и увидел стрелка с ружьем. Это был Юрка Сапов, рыжие крашеные волосы его светили под солнцем.

— Это ты, Юрий? — окликнул Чапурин.

— Я...

— Ты стрелял?

— Я.

— А чего? Ты пьяный?

— Тверезый.

— А чего лупил? В белый свет? Иль волков увидал?

— Какие волки... — засмеялся Юрий. — В голубей я, голубей стрелял. Во сколь...

Он показал мешок с добычей. Чапурин подошел ближе.

— Для чего тебе голуби?

— Жрать.

Чапурину было сорок лет с лишком. Под стать фамилии своей, которая прямо указывала на журавля, он был высок и худ и журавлино носат. А Юрка против него был много моложе, из себя невидный, волосы красил в рыжий цвет, «по-модному».

— Жрать? — переспросил Чапурин.

— Конечно. Лапши наварим мясной, ушнику. Колхоз же мяса не выписывает.

Чапурин не поверил, взял мешок, открыл его, там и правда были битые голуби, некоторые еще трепыхались.

— Как ты не гребаешь... — поморщился он. — Зарубил бы курицу.

— У меня их нет. А колхоз не выписывает.

Чапурин лишь рукой махнул и зашагал к конторе.

Кур у Сапова и вправду не было. Еще прошлым летом перестрелял он их, такую пальбу открыл, весь хутор сбежался. А получилось дело так.

Стали Саповы замечать, и Юрка, и жена его, что куры нестись не хотят и ходят едва, раскрылатятся и сидят. Петух даже кукарекать перестал, голову повесил. Понемногу и дохнуть начали, одна да другая.

Соседка, тетка Надя Валунова, поглядела на Юркиных кур и сразу сказала:

— У них клещи.

Поймала одну и показала: все тело птицы под крыльями, на шее, в пахах словно черной корой запеклось, столь нацепилось этой гадости. Тетка Надя все молодым Саповым рассказала: чем птицу лечить, курятник велела ободрать и новой глиной обмазать.

Юрка слушал ее, слушал, а когда соседка ушла, сказал жене:

— Пошли они, эти курочки... Легче побить, пока не подохли.

Зарядил ружье, и первого — петуха, потом остальных положил. Стрелял он метко. И куры на саповском дворе больше не водились.

Пока Чапурин до конторы дошел, его Фомич встретил, старый фельдшер да бабка Полька Бочкова.

— Кто там стрелял?

— Юрка Сапов. Голубей — на ушник. Жрать нечего.

Фомич лишь губами пожевал. Бабка Полька осудила:

— Нечистый дух. Доумился...

В конторе Чапурин в правление начал звонить и попал на главного зоотехника.

— Слушай, вы тут справку подали за июнь, — сказал зоотехник. — Я не пойму. Написано привес по второму гурту девятнадцать грамм на голову. Это как понимать? Нолик, что ль, не поставили?

— Какие там нолики, — ответил Чапурин. — Девятнадцать и есть.

— Не может быть.

— Сами не верили. Переваживали до двух разов.

Зоотехник пыхтел в трубку, пыхтел, потом спросил:

— Вы чего, сдурели? Среди лета. Концлагерь устроили, что ли? Ну должна быть какая-нибудь мера. Девятнадцать грамм. Да нас посадят за это.

— Давно пора, — согласился Чапурин. — И первых вас, в правлении. Я вам русским языком говорил: не давайте мне больше гуртов. Напхали и молочные, и молодняковые. А кому пасть? Вот Скуридин пасет, у него и привес по девятьсот грамм. А здесь — некому. Нет людей. Пришлось дураков ставить. Юрку Сапова да Любки Рабуновой примака, такой же друг.

— Это какого Сапова? Крашеного, что ль?

— Его.

— А-а-а... — протянул зоотехник.

— Вот и а! — разозлился Чапурин. — С такими скотниками. За ними вослед самому надо, с кнутом, чтобы их гонять.

— Ну сними.

— Снять недолга. А кого становить? Нету людей. Баб, что ли, на коней сажать? И второе дело: куда-то Сапова надо определять. У него — семья. Технику я ему больше не доверю. Он еще за тот трактор не расплатился. В общем, чего жалиться... Вам все это... Ладно.

— Вот и ладно. Ты уж там что-нибудь придумай. А людей не смеши. А то, в самом деле, среди лета, трава такая.

Чапурин опустил трубку.

Собирался народ. Начиналось обычное, утреннее. А потом, когда кончился наряд, Чапурин вышел на крыльцо, издали на ферму поглядел: гурт Юрки Сапова стоял на базу. Но молодняк уже не ревел как прежде, он привык.

Сегодня пасти была очередь не Юрки, а рабуновского зятя. Чапурин пошел к нему.

Возле двора Рабуновых сидела бабка Матрена.

— Где Любкин-то? — спросил Чапурин. — Досе зорюет. Ему скотину пасть.

— Уехал, уехал, — ответила бабка. — Даве еще.

— Нету его на работе? — выглянула из ворот Любка, жена, толстомясая молодая баба. — Вот черт... Это либо у Сапова засели, похмеляются. Надо к ним меры...

— Меры... — оборвал ее управляющий. — Выбирать надо женихов добрых, а не всякую шолудь на хутор тянуть.

— Где они ноне, добрые? — обиделась Любка. — Хоть какого, для прилику. Ты у нас добрый, и можно б тебя поделить на трех, да Лелька глаза подерет. Вот и рискуем... — рассмеялась Любка.

А Чапурину было не до смеху. Он повернулся и зашагал на другой край хутора, к Саповым.

В летней тишине лишь ветер лениво шелестел в высоких вязках да горлицы стонали протяжно. И все. Спокойно и тихо. И потому отчетливо слышно было, как щелкнуло и зашипело что-то на краю хутора, а потом музыка понеслась. Это у Саповых играло.

Весной Юрка смастерил, а скорее украл где-то динамик, повесил его посреди двора и музыку включал из магнитофона. Весело было. Первое время телята собирались у двора и стояли, насторожив уши. Теперь все привыкли. Музыка неслась на всю округу.

Чапурин подошел к саповскому двору. Оседланный конь стоял, привязанный у ворот. Юрка с напарником, рабуновским зятем, музыку слушали и голубей щипали. Сизый пух летел.

Вот они подъехали — показали аспиду!
Супротив милиции он ничего не смог:
Вывели болезного, руки ему — за спину...

Управляющий к друзьям подошел незаметно, сказал громко:

— А ну выключи!

Юрка вскочил, уменьшил звук.

— Ты ныне пасешь? — приступил Чапурин к рабуновскому зятю.

— Ну я... — ответил тот.

— Почему сидишь?

— Ну счас пойду.

— Солнце в дуб. Другая скотина уже наелась, на стойло ее становить, а ты все не выгонял. Как не стыдно!

Рабуновского зятя было трудно пронять. Он из тюрьмы пришел, весь исписанный, хоть грамоте по нему учи: «Не забуду мать родную...», «Нет счастья...» и прочее.

— Ну счас, никуда она не денется, эта скотина. Песню дослушаем. Высоцкий.

— Господи... Да неужто у вас никакой жали нет? — в сердцах проговорил Чапурин. — Молодняк... Живая душа стоит, городьбу грызет, а вы тута... А ну, счас поднимайся! — гаркнул он. — Выгоняй скотину.

Юрка вместе с зятем рабуновским вскочил.

— Ну иду, иду... — огрызнулся зять. — Еще шумит.

Он вперевалочку двор пересек, руки в карманы. Долго громоздился на коня, залез на него и поехал трюшком, оглядываясь. Чапурин с Юркой провожали его взглядами.

А когда проводили, Чапурин почуял, что как-то ослаб, будто плохо ему было, что-то ныло внутри. Он закурил, сел на колодку. Динамик шепотом и сипом пел:

Ну и меня, конечно, Зин,
Все время тянет в магазин...

Чапурин послушал, послушал и сказал:

— Выключи его, Христа ради.

Ощипанные голуби были синие и махонькие, в кулак. «Чего в них есть?» — подумал Чапурин.

— Юрка, Юрка... — проговорил он. — Ну ладно, тот — чужой. Все одно не ныне, так завтра увеется. А тебе-то довеку работать и жить... — обвел взглядом саповское подворье и покачал головой, словно впервые его увидел.

Стояла посреди двора черная небеленая хата, облупленный сараюшка под чаканом, пустая собачья будка со ржавой цепью — и все. Остатки мотоцикла громоздились подле крыльца, какие-то железяки по двору валялись, в бурьянах. Пустой двор казался огромным, словно хуторский выгон.

— Жена-то где? — поглядел Чапурин в темный зев растворенной хаты.

— Пасет.

— Чего пасет?

— Коров.

Чапурин воззрился на Юрку: у Саповых коз и тех не было.

— За людей, — вздохнул Юрка. — Попросили.

Чапурин вспомнил, ему говорила жена, что нанимается Юркина баба за людей пасти: десять рублей и харчи.

— Пацан с ней?

— С ней.

Сынишка был у Сапова трех лет.

Расхотелось Чапурину что-то говорить, лишь снова промолвил он:

— Юрка, Юрка...

Мысли потекли вспять, в годы прежние, когда жива была Юркина мать — Пелагея, баба жизни несладкой. Растила она Юрку без мужа. Уходила из хутора в город, на станцию и возвращалась вновь. Слепца какого-то божественного принимала, водила его по хуторам. Тем жили. Попивали. Потом слепец умер. И все. Юркой Пелагея успела чуток погордиться, когда он учился на тракториста. «Будет механизатором широ-окого профиля», — счастливо выговаривала она и руками разводила широко-широко.

Так Юрка и вырос на вдовьем небогатом дворе. Жену он привез из армии, с севера. И как стояла при матери небеленая хата, так и осталась стоять. Пелагея хоть коз держала да кур. У молодых и этого не велось.

— Юрка, Юрка... — горясь, проговорил Чапурин. — Чего же ты так живешь, беспризорно. Ведь у нас, погляди, ни одна бабка так не живет, — обвел управляющий взглядом саповский двор. — Вдовы, старухи, и те стремятся хозяйство развернуть. А ты — яко наг, яко благ. По двору твоему, — раскинул Чапурин руки, — заголись и бегай. Сам голубями кормишься, женёнку в люди услал. Так нельзя. Время не указывает так жить. Ты погляди, какой ты есть: крепкий, молодой, профессия на руках — тебе ли не жить. Тебе наперегонки надо со Скуридиными, с Кривошеиными, за пояс их затыкать. Они — старцы. А ты — в силах. Погляди, как они живут, зайди в хату: скатерти, шторы в три ряда, холодильники, шкафы полированные, ковры, дорожки, — Чапурин краем глаза глянул на пустые окна Юркиной хаты, но говорить ничего не стал. — А все почему: трудятся люди. Скуридин триста, а то и четыреста

получает. А ты, при таком же деле, — семьдесят. Потому что он пасет, а вы — музыку слухаете да попивохиваете. А погляди у людей во дворах. Катух на катухе, баз на базу. Коровы, телки, бычки, коз по сколько, овечек, гусей по полторы сотни, индюшек. А у тебя — пустынь. Почему? Ответь честно.

— Да молодые пока... — замялся Юрка. — Охота пожить. А с хозяйством...

— Господи... — схватился за голову Чапурин. — Это у тебя жизнь? Да у тебя горе горькое. Люди деньгам счету не знают, машины покупают, строят дома, детей обеспечивают. А у тебя жена внаймы ушла, чтоб прокормиться. Ведь это правда. И тебе нечего кусать. Дожился. Юрка, Юрка... Тебе ли не жить?!

— Меня ж с трактора прогнали, — вздохнул Юрка.

— А как тебя было не прогнать? — жарко спросил управляющий. — Ты же об работе не болеешь, пьянствуешь. Послал тебя сеять, а ты все бросил и очутился в Мартыновке, да еще трактор поломал. Конечно, такого прогонишь. Хоть и нет людей. Пусть лучше трактор стоит неполоматый. Душа не будет болеть ни за тебя, ни за машину. Как же на технике пить? А ты пьешь.

— Я, что ль, один, — оправдывался Юрка.

— Не один, это верно, — согласился Чапурин. — Это какая-то зараза на вас, на молодых. Ни об чем не думаете. А вот Василий Шляпужок не пьет, Демкин Михаил, — пожилые люди. Если и выпьют, то в дело. И себя блюдут. Ты вот тоже — гляди на старых людей и делай по-умному. Слава Богу, уж двадцать пять, наигрался. Дитё, жена... Надо их обеспечивать. А то, прям, стыд. Бабу — в батрачки. Уж коли ты ее взял, то содержи, парень. Бросай эту дурь свою и трудись. Становись хозяином.

Слова Чапурина, горячие и вроде без ругани, слушались легко. Юрка внимал им, и в душе что-то саднило. «Да, да... — думалось. — Люди живут. И я смогу, коли захочу...»

И легкие волны мечтаний уносили вперед, виделась иная жизнь: новый дом, машина, жена и сам он — вроде другие. Похожие, но другие, лучше. И сын в матросском костюмчике, как Максаева внук, городской.

— Корову выпиши. Ну как же ты живешь без коровы? У тебя дитё, ему молочка требуется. Давай выпиши в колхозе, заплатишь в рассрочку.

— А сено? — спросил Юрка. — Уже откосились.

— Об чем разговор! Сколь по степи сена! По балкам... А по лесу какие поляны... Вы с женой за два дня накосите. Ты лишь возьмись. Ты же не хуже людей. Накосишь?

— Накошу, — нетвердо сказал Юрка.

— Курей выпиши с полсотни. У тебя клещ, что ль, был?

— Клещ.

— Обдери курник. И вновь помажь. Полы, стены и потолок. А потом солядкой. Заводи курей, утей, гусей. Козами займись. Ты, Юрий, на золоте живешь, по золотой земле ходишь, — указал управ. — Нашей земле все завидуют, такая родимая. И тебе ею владеть, только трудись. Жену в доярки посылай. Пока в подменные. Я ее к Чертихиной Василисе постановлю. А сам до осени попаси молодняк. Это тоже хорошая работа. Потом можешь на технику садиться. Только перебори себя. Дурь свою перебори, — сжал свои большие кулаки управляющий. — Она, эта дурь, ежели завладеет, всякого может погубить.

Они сидели на колодке рядом, курили, и Чапурин, как казалось ему, не Юрке, — себе говорил.

— У меня тоже иной раз. Ныне, например, с утра в саду поработал, деревья окапывал, с клубникой занимался. Утро, прям, дорогое, так бы никуда и не ходил. В контору идти неохота, там собачиться, — засмеялся он, — а все же пошел. А ведь мог бы и не ходить. Правильно? Но пошел. Надо. Жизнь... — Чапурин хотел объяснить, почему это надо, но слов не нашел. Чуял, что верно говорит, а вот слов не было. — Жизнь, — повторил он. — Надо трудиться. Так что, Юрка, давай.

Он поднялся, руку пожал.

— Давай, Юрий. Давай жизню другую зачинать. Старое бросим. И — за ум. Сын у тебя растет. Давай.

Он пошел со двора легко, и на душе было легко и светло, словно пришла какая-то нечаянная радость. За воротами, на улице, он оглянулся: Юрка стоял, глядел ему вслед.

Время к обеду шло. Он зашел домой, сел, как всегда, на крыльце покурить, крикнул жене:

— Леля! У нас сала старого цельный ящик. Ты отложи сальца поболе. Закрутки погляди, какие у нас в банках, лишние. Варенье там. Они у нас по три года стоят. Собери, Саповым отдадим. Да, да... Я ныне зашел. Незавидно живут. А дитё, женка. Родных никого. И возрастал так, без доброй руки. Не дай бог. Надо помогнуть. Ты собери.

— Соберу, — ответила жена. — Мне не жалко. А все одно доброго не будет. Так довеку и будут — Сапы. Сап да храп...

— Ну, ну... Это ты брось. Он еще молодой, образуется.

А у себя на дворе Юрка голубей дощипал и поставил вариться. Из головы не выходило одно: «Чего управляющему надо? Что-то крутит он... Пришел, не шумел... Юрка да Юрка...» И было, было в разговоре что-то сердечное. И это тоже непонятно. Может, выпил он и пришел побазарить, как говорится. Но вроде не пахло.

Но если и выпивши, то кое-что все равно правильно он говорил. Корова, конечно, не нужна. Ну ее... С ней мороки: коси да вози. Сено да солому. Да убирай. Молока не захочешь. А вот что в доярки жену послать — это дело. Пусть идет. Научат ее, привыкнет. Там и зарплата, и молоко можно носить. С утренней и вечерней дойки по бидончику. А больше и не надо. И с курами надо на слове поймать. Пусть выпишут по дешевке. Глины привезти, курятник помазать. А может, эти клещи уже подохли. Скорее всего. Целый год без жратвы не просидишь. Конечно, подохли или к соседям сбежали. Соляром обмыть стены — и сойдет...

Сварилась голубятина. Юрка поел. Мясо было вкусное, тем более в отвычку. Он наелся, по двору походил, поглядел во все стороны. С пустого Юркиного двора все было видать. Ребятня игралась возле кургана, да бабка Валунова грелась на солнышке. Потянуло на сон.

В доме было прохладно и сумрачно, словно не белый день во дворе стоял, а вечер. Закопченная печь, черные потолки и стены, сроду немытые окна — так было всегда. И при матери, и теперь. Юрка иного не знал. Но сейчас, после разговора с Чапуриным, вспомнилось, как когда-то к управу в дом заходил. Он вспомнил и вздохнул. Но не тряпкам позавидовал, не шторам, приемник ему понравился

с магнитофоном и проигрывателем, всё вместе — комбайн. Такой бы неплохо заиметь.

Он улегся на кровать, помечтал, глядя в потолок и покуривая. Неплохо бы к осени на трактор сесть, поработать как следует на силосе и купить такую штуку. Поставить посреди хаты и слушать.

Ему и приснилось, будто здесь, на кухне, прямо на печи стоит эта махина и разом три музыки играет: в приемник, в магнитофон и в проигрыватель. Поет и играет. Красивая машина, вся полированная, с блестящими ручками. А громкость — на весь хутор, соседям на зависть.

Сон был хороший, а пробуждение и вовсе, потому что разбудил его Петро Турченков, старинный друг. Он будил, кричал: «Здорово!» А Юрке казалось, что спит он, ведь Петро на Украину уехал, к теще с тестем, почти год назад.

— Здорово! Ты чего?! Не узнаешь? — спрашивал Петро. — Иль с похмелья?! Полечу. Вот она, есть, — показал он бутылку и сунул ее Юрке под нос.

Юрка нюхнул и понял, что это не сон, вскочил обрадованный, закричал:

— Ты откуда?! Ты же на Украине?!

— Все. Дембель, — коротко ответил Петро. — Пошли они...

Сели на дворе, на воле. Выпили, закусили голубятиной. Петро рассказывал об украинском житье, о тесте с тещей.

— Пошли они... Горбатиться я буду... Тесть всю жизнь в литейке и меня туда. Я там чуть не сдох. Не нужны ихние деньги, у нас тоже жить можно. Я понял. Я там скучал по хутору: у нас ведь захочешь рыбалить — пожалуйста. На пруд, на ерик, на озера. Поохотиться — тоже. Утки и зайцы, и кое-что еше можно подстрелить. Здесь — свобода. А там в вонючей литейке каждый день. А у нас — можно жить. Тут дыхнешь — и то чуешь.

Он дышал глубоко и глядел вокруг.

Из Юркиного двора хорошо было все видать: хуторские дома в зелени, друг за дружкою, над вилючей речкой. А за домами — сады, потом густая чащоба обережья, а за водой — займище.

Речка — подковою, дома над ней, улица, заросшая лебедой, ромашкой, лопухами. На хутор только-только сено

свезли, стояли по дворам зеленые прикладки. И пахло острым духом сухой травы.

А за амбарами зеленели поля, далеко уходили, встречаясь вдали с небесной синевою. Тепло было, тихо.

— У нас можно жить, — говорил Петро. — Я понял. Вот сейчас выпили мы, а где еще взять? — поставил Петро вопрос. — Если б там, в Хохляндии, у тестя, это надо денег просить-выпрашивать, то ли дадут, то ли нет. А и дадут, так укорять будут. А тут мы всегда добудем. Кончилась? — потряс он пустой бутылкой. — Сейчас будет. Пошли.

Они сходили к Таисе Юдаичевой, взяли литр водки, пообещав привезти два мешка дробленки.

— Будем жить... — говорил Петро. — Я ключей привез от тестя целую низку. Всякие. В амбар теперь не на пузе лазить, под дверь, а откроем любой замок. Будем жить, приворовывая. Вот так. Кто не ворует? Скуридин? Шляпужок? Воруют. Потому и живут. И управ прет. Только поумному. Развел индюков. Мы их еще пощупаем. Мы тоже индюшатнику любим.

— Он у меня был ныне, — сказал Юрка.

— Кто? Чапурин?

— Ну да. Приходил. Читал какие-то хери-мери. Не поймешь, — вздохнул Юрка. — Работать, мол, надо лучше. Как Демкин, Шляпужок. Они, мол, устарели. А ты — в силах.

— Вот ему, — показал Петро торжественно крупную дулю. — Нас в такие дураки не постановишь. Мы кумекаем. Это старики по дурости горбатились всю жизнь, света не видали. А мы — хренушки... Сами грамотные. Жить надо.

Как было хорошо с Петром... Как понимал он Юрку, каждое движение души его. Хотелось все ему рассказать. Ведь столько не видались.

— Он меня досевать послал, в ночь. Я отказывался. На фиг надо. А он: езжай, и все. Ну, я ему насеял. Под Дубовкой оставил сеяльщиков, говорю: спите, а я вам привезу. Уехал и загужевался.

— Молодец! — одобрил Петро. — Пусть сам сеет.

— И с молодняком, я тоже. В обедах выгоняем. Рысью их до Ярыженской горы и назад. И хорош. Кайф давим. Управ орет: привесы, привесы.

— Ага! Привесы! Чтоб премию за чужой счет получать. Хренушки! Мы и без привесов проживем. Колька Скуридин пусть пасет. Он в авторитете. Нехай додыхает. А мы, пока молодые, надо жить. Правильно я говорю?

— Законно.

Как хорошо было сидеть с товарищем, выпивать, рассказывать. Петро все понимал. Они вместе росли, в школе их учителя вместе гоняли. Когда Петро на Украину уезжал, Юрка плакал. И чуть было на станции не уехал вместе с ним, еле стащили. Но теперь Петро вернулся.

Говорили и наговориться не могли. Уже свечерело, жена пришла с попаса, принесла бутылку. Выпили и ее. Жена устала за день, а пацан еле дошел и сразу уснул, даже голубятины не попробовал.

Надо было расходиться, а не хотелось. Пошли по хутору просто так. У клуба было пусто, и магазин давно закрыт. И никого нигде не видать.

— Поехали на центральную, — решил вдруг Петро.

— А с чем? Выпить-то? — спросил Юрка.

— У себя на хуторе да не сделать. Либо рук нету. Пару мешков в амбаре нагребем, загоним — и хорош. Надо коней поймать.

Взяли коней, упряжь сыскали, поехали к амбару. А здесь, в темноте, вдруг наткнулись на комбайны. Их пригнали, видно, к вечеру с центральной усадьбы, с ремонта. Петро как увидел, сразу коней остановил.

— Стой, — сказал он. — Пошли.

— Куда? — не понял Юрка.

— Дура... — шепотом проговорил Петро. — Аккумуляторы. У тебя ключи дома есть? Волоки.

Юрка поспешил напрямую, через пустошь, и слишком поздно увидел огонек сигареты на лавочке возле чапуринского двора, но на шаг он успел перейти и даже засвистел независимо.

— Ты, что ли, Юрий? — узнал его управ. — За глиной ездил?

— Ну да... — облегченно выдохнул Юрий. — Привез вот, лошадей отгонял.

— Молодец, сразу взялся, не откладывая. Правильно. Завтра жинка помажет, и я завтра позвоню. Выпишем тебе полсотни кур.

Чапурин вышел проветриться перед сном и рад был, что встретился ему именно Юрка. Не зря, нет, не зря были нынешние слова, весь утренний разговор не зря. Чапурин был очень доволен.

— А я перед сном всегда покурить выхожу, — посмеиваясь, сказал Чапурин. — Тихочко... Хорошо... Звездочки поглядишь. Смотри вон... Гляди... Гляди туда, — оживился он.

Сияла небесная зернь над головой, и в щедрой россыпи Чапурин узрил бегущую звезду. Она плыла высоко, неторопливо пробираясь по небесному плесу через белые отмели и черные бездонные глуби. Она проплыла и ушла.

— Видал? — спросил Чапурин.

— Видал, — соврал Юрка.

— Космический корабль. Люди сидят. И я вот не пойму. В такую страсть, в махотку тебя какую-то запихают — и лети. С богом, по морю-океану. И люди туда стремятся. Подумать, какая там радость? Пустынь мертвая. А идут люди. И неплохие. Головастые, с добрыми руками — работники. Чудно... На небеса стремятся, на заводы, где все горит, идут, в шахты лезут, во льды... А в нашу благодать, при живой земле, — не дюже. А ведь самое человечье — хлеб насущный. Или жалко души. Как думаешь, Юрка?

— Не знаю, — ответил Юрка, переминаясь в нетерпении.

— Ну, иди. Жена ждет. Ты уж ей не вели за людей-то стеречь. Как-то нехорошо.

— Ладно, — ответил Юрка и заспешил к дому, матеря в душе Чапурина и его вечерние привычки.

А Чапурин еще постоял недолго.

Во тьме ночной, в тишине мерно гудели водяные быки, соловьиный щелк перекатывался из края в край; хутор засыпал, засыпала земля, и легкий покойный вей, словно теплое ее дыхание, плыл над миром, согревая холодеющий воздух.

Юрка сбегал домой и обратным ходом дом управляющего обошел. Аккумуляторы сняли на всех трех комбайнах. Поснимали их быстро. Теперь пшеница была не нужна. Аккумуляторы с руками оторвут, они к «Жигулям» подходят.

И гулянка получилась что надо. Едва-едва на заре поднялись и погнали назад, на хутор. Но кони шли плохо, особенно правая, пузатая кобыла. Она и вчера подленивалась,

Юрка давал ей кнута. А теперь, поутру, она и вовсе не хотела идти.

— О-о-о занудились... Черти ленивые... Ночь стояли...

Нужно было спешить, и Юрка в лесопосадке дрын выломал и начал охаживать лошадей. Особенно кобыле доставалось, она аж ёкала.

Но ходом пошли, загремела телега.

— Но-о-о, добрые! — орал Юрка. — А ну, полетели!

От центральной усадьбы до Малоголовки пронеслись мигом. А потом, за просторной падью Козинкой, кобыла начала приотставать. А хутор лежал уже рядом, под горой.

— Ну, добрая! — кричал Юрка и раз за разом охаживал дрыном кобылу, все более злясь. — Ну, падаль колхозная! — лупил он ее и лупил.

— Давай! — кричал Петро. — Поори!

Кобыла повалилась на ходу, путая постромки. Телегу занесло поперек дороги.

Юрка выпрыгнул из телеги, поднял дрын над головой.

— Спотыкаешься, стерва! — Но вдруг он замер и проговорил тихо: — Петро... Жеребится. Она жеребая.

Глядеть было страшно.

Под горою послышался гул машины. Она могла идти и сюда, верхней дорогой.

— Срываемся! — сказал Петро.

И они кинулись вниз, к яру, по глубокой балке, чтобы потом берегом Ильменя и займищем пройти в хутор.

Машина прошла внизу, к Вихляевке. А сверху, с горы, слышны были хрип и придушенное ржанье.

К домам добрались и завалились спать. Но как следует выспаться им не дали, в контору вытребовали обоих разом.

Они пришли хмурые, злые. Чапурин сидел за столом.

— Слушайте меня, — сказал он. — Аккумуляторы сняли вы. Я знаю.

Петро и Юрка кинулись к столу, перебивая друг друга.

— Ты чего?!

— Нашел крайних!

— Докажи!

— Молчать! Слушайте меня и молчите. Сняли вы. Завтра утром чтоб все было на месте. Иначе посажу по статье, —

Чапурин говорил устало и в окно глядел. — И кобылу забили вы. Заплатите за нее и за жеребенка, — он повернулся от окна, поглядел на Юрку и спросил: — За что ее? Она ведь жеребая... Вы чего, не видели? Ох, зверье, зверье... Вон отсюда, — проговорил он негромко, но так, что Петра и Юрия мигом выдуло во двор.

Они ушли. Чапурин положил голову на стол и сидел. Дурная была какая-то голова, словно гулял неделю на свадьбе, а теперь майся. И на душе так муторно было, просто не хотелось жить.

И во двор идти не хотелось. Там кобылу привезли, начали обдирать.

ЖИВАЯ ДУША

Тебякины жили напротив бригадной конторы, через дорогу. Сама Наталья числилась при конторе в истопниках да уборщицах. Это было очень удобно: зарплата твердая и дом под рукой. Приезжий народ, когда в конторе оказывалось пусто, шел к Тебякиным и спрашивал, где искать управляющего, зоотехника или еще кого. Им говорили.

И в этот ясный январский день приезжий вошел к Тебякиным во двор, огляделся, опасаясь собаки, крикнул от ворот:

— Хозяева дома?!

Никто ему не ответил. Приезжий прошел по двору. Просторен был тебякинский двор: дом под жестью, рядом теплая кухня флигеля, сараи, катухи. На скотьем базу копошились люди. Приезжий подошел ближе: старик с мальчонкою убирали навоз, набрасывая его в деревянные санки с коробом. В опущенных треухах, телогрейках, валенках с калошами, они работали молча и гостя не видели.

— Здорово живете! — окликнул их приезжий человек.

Старик поднял голову.

— Хозяйка в домах, — сказал он и кончил разговор, возвращаясь к работе.

Мальчик и вовсе глаз не поднял, управляясь лопатой.

— От дяди Левона поклон вам привез, от бабы Лены, — сказал гость.

Старик распрямился, опершись на вилы, поглядел, словно вспомнил, ответил не торопясь:

— Спасибо. Значит, живые-здоровые... Слава Богу.

В эту минуту хозяйка вышла на крыльцо, и старик окликнул ее:

— Наталья, встрень человека!

Мальчик, оставляя лопату, окинул взглядом нагруженные санки, сказал деду:

— Повезли.

По приезжему он лишь скользнул равнодушным взглядом, пристраиваясь к санной упряжке. Веревочная бечева, прилаженная к саням, была длинна, позволяя мальчику и старику удобно впрячься. Они взяли разом и потянули груженые санки по набитой снежной колее в низы, в огород. И согласен был ход старого и малого.

Хозяйка оказалась приветливой и говорливой. В доме, резонов не слушая, она поставила чай и закуску, живо расспрашивая о родне.

— Свекор-то не больно разговорчивый, — сказал гость.

— Старовер, — оправдалась хозяйка. — Кулугурами их раньше называли. Меня взяли, так я с непривычки... — посмеялась она, вспоминая, и, вздохнув, добавила задумчиво: — Баба Маня у нас померла. Дед скучает, и Алешка.

Попили чайку, поговорили. Гость вспомнил о делах.

— Я приехал-то к вашему управу.

— Он на ферме. Алешка вас проводит. Только обедать — к нам. Василий придет. Он всегда дядю Левона поминает и братьев. Они же смолоду... — Хозяйка выбежала во двор, крикнула сына и вернулась. — Глядите к управляющему не заходите обедать, к нам, к нам. А то Василий обидится.

Отворилась дверь, вошел сынишка хозяйки, спросил:

— Звала, мама?

— Проводишь дядю на ферму. Найдешь управа. Понял?

— Санки еще одни с дедой отвезем, — сказал мальчик.

— Ху-ух, делучий... А то без тебя... С дедой...

Сын, ничего не отвечая, повернулся и вышел. Мать покачала головой, сказала, извиняясь:

— Проводит, проводит. Не дитё, а порошина в глазу. Кулугуристый... Быча.

Последнему слову гость посмеялся, но, когда шли они с мальчиком, понял, что слово точное.

Мальчик не больно разговаривал: «да» и «нет». Пухлая розовая губенка выпячивалась вперед, голова была крупной, лобастой. И словно бычился он, глядел недоверчиво, исподлобья.

— В каком же ты классе?

— Во втором.

— Как учишься?

— Без троек.

— В Вихляевке школа? — спросил гость и поглядел на далекую Вихляевскую гору, которая поднималась над округой и светила теперь снежной белью.

— В Вихляевке...

— Пешком или возят?

— Когда как... — уклончиво ответил мальчик.

— Ты в райцентре был?

— Нет.

— Приезжай в гости. У меня сын — ровесник твой.

На мальчике была телогрейка, перешитая из военного, защитного цвета, с ясными пуговицами.

— Мать ватник-то сшила?

— Баба, — коротко ответил мальчик.

— А валенки дед катал, — догадался гость, любуясь аккуратными черными катанками, мягкими даже на погляд.

— Деда.

— Молодец у тебя дед.

Мальчик покосился, давая понять, что эта похвала — лишнее.

Ферма стояла от хутора на отлете, в белом поле, чернея скирдами сена, соломы, силосными курганами. Приземистые строения по окна тонули в снегу. На крышах — пухлые высокие шапки.

Осень в округе тянулась долгая, с дождями. Лишь к Новому году подморозило, неделю шел снег. А теперь разъя́снило. Белесое солнце светило, не грея. Другой день тянул восточный жесткий ветер. Понизу мело. Ленивая поземка дымными ручьями обтекала снежные заструги.

На ферме, на базах ее, стоял птичий гвалт: стайки воробьев перелетали с места на место, ища легкой поживы: тяжелые голуби поднимались сизой тучею, закрывая небо, делали круг и опускались; стрекотали говорливые сороки; чопорное воронье расселось на жердях изгороди в терпеливом ожидании.

«Беларусь», синий трактор енок, пофыркивая дымом, пробирался глубокой колеей вдоль базов. Из прицепа, через рукав, сыпалась в кормушки желтая мешанина силоса. Коровы спешили к корму, слетались птицы.

Мальчик остановил трактор и крикнул:

— Дядя Коля! Управа не видал?!

— В водогрейке! — ответил тракторист. — И отец там.

Последняя скотина выбиралась из темных пещер коровника, от соломенного кургана, что высился посреди база, из-под загата, где в затишке, под ветром, теплей и покойней. Теперь все спешили к силосу, к еде, выстраиваясь над кормушками.

Баз опустел. И тогда объявился посреди него красный бычок. Маленький, взъерошенный, в сосулях, он стоял на снегу, ноги врастопырку, нитка пупка — чуть не до земли, голову опустил, словно обнюхиваясь.

Мальчик заметил его, позвал:

— Быча, быча... Чего тут стоишь?

Телок поднял голову.

— Какой-то ты... Мамка не облизала, глупая... — сказал мальчик и погладил по взъерошенной шерсти.

Бычок еще не походил на скотину, все в нем было детское: мягкое тело, тонкие, в камышинку, ноги, белые, не затвердевшие копыта.

Телок тронул носом руку мальчика и глядел на него большими синими, словно сливины, глазами.

— Ты тут, парень, задубеешь, — сказал мальчик. — Мамка-то где?

Ждать от телка ответа, тем более от такого, было трудно. Мальчик на приезжего оглянулся, сказал:

— Надо его хоть к загату отвесть, там теплей. Пошли, — подтолкнул он телка и почуял его хрупкую плоть.

Телок покачнулся и было упал, но мальчик повел его, оступаясь на ископыченной, колдобистой земле. Он довел бычка да загата — соломенной стены — и здесь отпустил.

— Вот и стой здесь. Понял?

Телок послушно прислонился бочком к соломе.

Мальчик, а за ним приезжий пошли с база, телок проводил их взглядом и закричал тонким блеющим голоском, вытягивая шею.

— Дишканит, — сказал, улыбнувшись, мальчик.

За воротами база стоял мужчина-скотник с вилами.

— Отца ищешь? — спросил он.

— Управа. Вот ему, — ответил мальчик, показывая на гостя.

— В водогрейке все.

— А у вас там телок, — сказал гость.

— Да... Вчера вроде не было.

— Значит, отелилась. Чего же вы его не определите никуда?

Скотник внимательно оглядел гостя, сказал бодро:

— Нехай пообвыкнется день-другой, трошки закалку возьмет. А там и определим. Вот так, — кашлянул он.

Воронье, сидевшее на жердях ограды, от гулкого кашля его лениво поднялось и снова уселось.

— Умная птица, — засмеялся скотник и, кинув на плечо вилы, пошел в коровник.

— Подохнет... — проговорил мальчик, не глядя на приезжего.

А в водогрейке было тепло и людно. Гудело в топке пламя, синел папиросный дым, и лежали на столе белорябые арбузы, корки от них и пара ломтей с алой мякотью в лужице сока.

— Откуда арбузы? — удивился приезжий. Управляющий отделением поднялся со скамьи, гостю навстречу, и объяснил:

— Когда силос закладывали, завалили туда несколько машин арбузов. С бахчей оборушки. И ныне открыли яму, прям расхорошие. Покушайте.

Мальчик взглянул на отца, тот понял его и дал ломоть. Гость ел, похваливая, потом спросил управляющего:

— Откуда у тебя телок на базу? У вас же молочного гурта нет?

— Яловых докармливаем. А они видишь... Какого уж бог подаст.

— Ну, и куда ты их?

— Куда... — хмыкнул управляющий, отводя глаза. — Туда. Кто их где ждет? Они же яловыми числятся. Попробуй переиграй. А то ты сам не знаешь...

— Знаю, — опустил глаза приезжий, — да как-то... Все же живая душа.

Управляющий лишь покачал головой. Мальчик доел ломоть, отец обтер ему ладонью мокрый рот и сказал:

— Ну, беги домой.

На воле ветер ударил в лицо стылостью. Но так легко дышалось после дыма и пара! Наносило пресным духом соломы и терпко-бередящим силосом, и даже арбузиком пахло от раскрытой ямы.

Мальчик пошел было напрямую к дороге, к дому. Но вдруг передумал и заспешил к скотьему базу. Там, в затишке, возле соломенной стены загата, красный телок стоял на том же месте.

Недолго думая, мальчик подошел к сену, скирды которого высились неподалеку. В прошлые годы, когда домашняя корова Зорька приносила телят, за ними ухаживали мальчик с покойной бабушкой Маней. И он знал, какое сенце нужно маленькому теленку, правда, попозднее. Зеленое, с листиками. Его пучком подвешивали, и телок похрумкивал.

В большом колхозном скирду найти такое сено было труднее, но мальчик нашел пучок-другой зеленой листовой люцерны и отнес телку.

— Ешь, — сказал он, — ешь, живая душа...

Живая душа... Это было умершей бабы Мани присловье. Она жалела всякую скотину, домашнюю, приблудную, дикую, а когда ее укоряли, оправдывалась: «А как же... Живая душа».

Телок потянулся к пучку сена, шумно понюхал его. А мальчик пошел домой. Вспомнилась бабушка, с которой жили они всегда, до этой осени. Теперь она лежала в земле,

на заметенном снегом кладбище. Для мальчика баба Маня пока оставалась почти живой, потому что он долго знал ее и расстался недавно, и потому не мог еще привыкнуть к смерти.

Теперь, по дороге к дому, он поглядел на кладбище: в белом поле чернели кресты.

А дома дед еще не ушел с база: кормил и поил скотину.

— Деда, — спросил мальчик — телок может на одном сене прожить? Малый. Только родился.

— Молочка ему требуется, — ответил дед. — Ныне вот наша Зорька должна принесть. Телочка.

— Нынче, — обрадовался мальчик.

— Ныне, — повторил дед. — Ночь не придется спать. Караулить.

Корова стояла рядом, большая, бокастая, и шумно вздыхала.

А в доме мать готовилась встретить гостя: катала тесто для гусиной лапши, и в духовке что-то спело, сладкий дух горячего печева разносился по хате.

Мальчик пообедал и убежал кататься с кургана и домой заявился лишь вечером.

В доме горели огни. В горнице, за столом, сидели приезжий и вся родня. Отец, мать, дед в новой рубашке, с расчесанной бородой, тетка с дядей и сестры. Мальчик неслышно вошел, разделся, пристроился на кухне и поел. И лишь тогда его заметили.

— А нам и в глаза не влезло, что ты пришел! — удивилась мать. — Садись с нами вечерять.

Мальчик мотнул головой, коротко ответил:

— Я поел, — и ушел в дальнюю комнату. Он стеснялся чужого.

— Ух, и натурный, — попеняла мать. — Прям старичок.

А гость лишь глянул на мальчика и тотчас вспомнил о теленке. Вспомнил и сказал, продолжая начатый разговор:

— Вот живой пример. Теленок, этот, на базу. Ведь колхоз должен лишней скотине радоваться.

— А вот нам такие телки — одна морока, — засмеялся хозяин дома и серьезно добавил: — Не числится — и шабаш. Тама, на ферме, на Большеголовке, от своих криком кричат.

По-пожарному. Дохнут они. Их уже ставили на вопрос. Одного заведующего спешили, другому — не слаже.

— Дожилися... Хозяева... — покачал головою дед.

А мальчик зажег свет в комнате-боковушке, пристроился на кровати с книжкой. Но не читалось. Рядом, через комнату, сидели родные, слышался их говор и смех. Но было тоскливо. Мальчик глядел в темное окно и ждал, когда дед вспомнит о нем и придет. Но дед не приходил. Бабушка бы пришла. Она бы пришла и принесла вкусную печенюшку, из тех, что лежали на столе. Она бы пришла, села рядом, и можно было прилечь к ней на колени, ласкаясь и задремывая.

За окном наливался густой синью январский вечер. Соседний дом, амочаевский, светил будто издалека, а дальше стояла тьма. Ни хутора, ни округи.

И снова вспомнилась баба Маня, словно живая. Так хотелось услышать ее голос, тяжелую шаркающую походку, почуять руку. В каком-то оцепенении мальчик поднялся, подошел к окну и, глядя в глухую синеву, позвал:

— Бабаня... Бабань... Бабанечка...

Он вцепился руками в подоконник и глазами впился во тьму, ожидая. Он ждал, слезы стояли в его глазах. Он ждал и, казалось, видел через тьму кладбище, занесенное белым снегом.

Бабушка не пришла. Мальчик вернулся к кровати и сел, теперь уже никуда не глядя, никого не ожидая. В комнату заглянула сестра. Он приказал ей:

— Уйди.

— У-у, быча... — укорила сестра, но ушла.

Мальчик не слышал ее, потому что вдруг ясно понял: бабушка никогда не придет. Мертвые не приходят. Их уже никогда не будет, вроде и не было. Настанет лето, потом снова зима... Школу он кончит, в армию уйдет, а бабушки все не будет. Она осталась лежать в глубокой могиле. И ничем ее не поднять.

Слезы высохли. Стало вроде легче.

А потом вспомнился телок с колхозной фермы. Он должен умереть нынешней ночью. Умереть и тоже никогда не оживеть. Другие телки будут дожидаться весны и дождутся ее. Задрав хвосты, будут носиться по обтаявшему базу.

Потом лето настанет, и вовсе хорошо: зеленая трава, вода, по выгону бродить, бодаться, играясь.

Мальчик решил все разом: он возьмет сейчас санки, привезет бычка и поселит в кухне, с козлятами. И пусть он не умирает, потому что живым лучше, чем мертвым.

Он проскользнул в кухню, схватил одежонку и кинулся из дома. Деревянные санки с коробом были легки. И мальчик рысью помчался напрямую к амбарам, а потом по гладкой накатанной дороге от хутора к ферме.

Позади оставались желтые огни домов, впереди открывалась смутно белеющая степь и небо над ней.

Месяц уже истаивал, белый его рожок светил неярко: поблескивала накатанная дорога, посверкивал на застругах искрами снег. А в небе такой же молочный шлях тянулся через звездное поле, но ярче земного горели льдистые огни, от края до края.

Желтые фонари скотного двора и совсем робкие, прижмуренные окошки фермы ничего не освещали. Свет поярче лился от теплой кочегарки, где и теперь сидел человек.

Но мальчику не нужны были чужие глаза, и он обошел скотный баз снизу, от речки. Он сердцем чуял, что телок сейчас там, где он оставил его, у ворот, под стеною загата.

Телок был на месте. Он уже не стоял, а лежал, привалясь к стене соломы. И тело его, остывая, принимало холод, и лишь сердце еще слабо стучало в теплом нутре.

Мальчик распахнул пальто и, обняв теленка, прижался к нему, согревая. Сначала телок ничего не понял, потом заворочался. Мать он почуял, теплую маму, которая наконец пришла, и пахло от нее сладким духом, какого давно просила изголодавшая и иззябшая, но живая душа.

Настелив в санки соломы, мальчик повалил телка в короб и сверху его соломой накрыл, сохраняя тепло. И двинулся к дому. Он торопился, спешил. В доме могли его спохватиться.

Он въехал на баз от сенника, из темноты, и втянул теленка в кухню, к козлятам. Учуяв человека, козлята затопотили, заблеяли, кинулись к мальчику, ожидая, что им привели матерей. Мальчик устроил теленка у теплой трубки и вышел во двор.

Свет фонаря желтел в коровьем катухе, и голос деда слышался:

— Ну, моя хорошая, давай, давай... Давай Зорюшка...

— Деда! — позвал мальчик.

Дед с фонарем вышел на баз.

— Чего тебе?

— Деда, я телка привез, с фермы.

— С какой фермы? — удивился дед. — Какого телка?

— С колхозной. Он там к утру бы замерз. Я его привез.

— Кто тебя научил? — растерялся дед. — Ты что? Либо умом рухнулся?

Мальчик поднял на него вопрошающие глаза и спросил:

— Ты хочешь, чтобы он помер и его кобели по хутору таскали? А он — живая душа... да!

В голосе мальчика зазвенели слезы, и дед сказал:

— Погоди. Паморки отбил. Это какой телок? Обскажи.

Мальчик рассказал сегодняшнее, дневное, и снова попросил:

— Деда, пускай он живет. Я за ним буду доглядать. Я совладаю.

— Ладно, — выдохнул дед. — Чего-нибудь придумаем. Ох, отцу-то, отцу неладно. Он где, телок-то?

— В кухне, у козлят отогревается. Он нынче не ел.

— Ладно, — махнул рукой дед, ему вдруг почудилось нужное. — Семь бед... Только бы нас Зорька не подвела. Я тут сам управлюсь. И молчи. Я сам.

В голосе деда мальчик почуял твердое и кинулся в дом.

— Ты где пропадал? — спросила мать.

— У Шляпужков, — ответил он ей и стал собираться ко сну.

Он чуял, что его познабливает, и, когда очутился в постели, устроил себе тесную пещерку под одеялом, надышал ее до жары и лишь потом высунулся наружу, решил дождаться деда.

Но разом сморил его крепкий сон. Сначала мальчик вроде все слышал и видел: огонь в соседней комнате, голоса, и рожок месяца в верхней шипке окна светил ему. А потом все затуманилось, лишь белый небесный свет становился ярче и ярче, и теплом пахнуло оттуда, таким знакомым, родным, что, даже не видя, мальчик понял: это баба Маня идет. Ведь он звал ее, и она, поспешая, идет к внуку.

Тяжело было открыть глаза, но он открыл их, и ослепило его светлое, словно солнышко, бабы Мани лицо. Она торопилась навстречу, протягивая руки. Она не шла, не бежала, она плыла по ясному летнему дню, а рядом с ней красный телочек вился.

— Бабаня... Быча... — прошептал мальчик, и тоже поплыл, раскинув руки.

Дед вернулся в хату, когда за столом еще сидели. Он вошел, встал у порога и сказал:

— Радуйтесь, хозяева... Зорька двух принесла. Телочка и бычок.

Из-за стола и из хаты всех разом выдуло. Дед усмехнулся вослед и прошел к внуку, свет зажег.

Мальчик спал. Дед хотел было погасить свет, но рука остановилась. Он стоял и глядел.

Как хорошеет детское лицо, когда сморит его сон. Все дневное, отлетев, не оставляет следа. Заботы, нужды еще не полонили сердце и ум, когда и ночь — не спасенье, и дневная тревога дремлет в скорбных морщинах, не уходя. Все это — впереди. А теперь добрый ангел мягким крылом своим прогоняет несладкое, и снятся золотые сны, и расцветают детские лица. И глядеть на них — утешенье.

Свет ли, топот ли на крыльце и в коридоре потревожили мальчика, он заворочался, зачмокал губенками, прошелестел: «Бабаня... Быча...» — и засмеялся.

Дед погасил электричество, дверь прикрыл. Пусть спит.

ПОСЛЕДНЯЯ ХАТА

1

Баба Поля спала хорошо и проснулась здоровой. В хате было тепло, тепло стояло и на дворе. Позавчера, в среду, весь день-деньской впритруску дождик сеялся. Больших дел он не наделал, но примочил все вокруг, и теперь лежала земля в пахучей весенней свежести и редкой еще зелени.

Баба Поля пошла по своему хозяйству с утренним дозором.

Смородина, что топырилась вдоль ограды, развернула мелкий копеечный резной листочек; а куст возле калитки уже в пятачок их вывернул, в ребячью ладошку. Этот куст был особый. Ягоды черные, крупные, а лист резко-пахучий. Даже почка его в январе-феврале была духмяной. Берегла этот куст баба Поля из-за листа. Для огурцов такой лист — лучше не сыщешь.

Уже разбухли и полопались и вот-вот должны были развернуться вишневые почки. И полезла на белый свет бледная зелень яблоневых. Под старою вишнею пробились тугие пульки ландышей. Их посадила в прошлом году соседская девочка Нина.

Картошка, конечно, еще не взошла. Но любо глядеть было на черную, влажную, парную землю. Казалось, это земля от тепла и дождя вспухает и поднимается, словно доброе тесто.

Под забором уже на вершок поднялась бедовая крапива. Прежде всех вражья трава доспевала. Еще пустая земля стоит, а крапива уж вот она, радуйтесь, хозяева.

Баба Поля дальше пошла в огород. Здесь встали уже грядки лука-ботуна, чеснока, щавель дружно пошел, лезла петрушка. А со старой дулины, словно радуясь здоровью хозяйки, залопотал и залился черный веселый скворец. А вокруг орали дуром содомистые воробьи. Веселая шла жизнь во дворе.

Давным-давно, сразу после войны, заняла баба Поля это место и потому клетку себе взяла немереную, чтобы всю семью земля прокормила. Теперь она жила одиноко, но клетка осталась такой же. Лежала она просторным ломтем почти на углу улицы.

Слева, вдоль поместья шумливой Грипы, кишкой протянулось бабы Полино жилье — мазанка. Лепилась она не в один раз: сначала комнатка, потом другая, чулан, сараи, а там — плечом к плечу — прислонялись друг за другом курник, дровник, козий катух, а за ним базок. Стены у мазанки были невысоки — в малый человеческий рост — и везде одинаковы, а вот по крыше всякий бы угадал, где

чья. Жилье и чулан стояли под добрым шифером; сараи да курник под старым железом; все остальное обходилось горбылем, рубероидом; баз, как и положено ему, божьим промыслом да какой-то хурдой-мурдой.

Причудное это, по нынешним временам, строение занимало лишь узкую полоску земли. Поодаль от забора, напротив окошка, подпирал небо высоченный тополь-раина. Он был так могуч и высок, что издали бабы Полино жилье у его подножия казалось кротовиной.

Вот и все, что могло привлечь чужой взгляд: могучая раина да малая мазанка. Далее же, вглубь, до самого низу, просторно лежал огород с немногими деревьями вдоль забора, с кустами крыжовника, смородины да малины. Большую часть огорода занимала картошка. Она еще не взошла.

Баба Поля размышляла довольная: «Прямо к сроку я угодила. Как метила под дожди. Теперь пойдет картошечка».

Со своего поместья окликнула ее молодая соседка Люба:

— Поднялась, что ли, тетя Поля?

— Оклемалась, слава богу.

— А я Нинке приказываю: бабуню Полюшу проведай, погляди, поспрошай, може, чего надо ей.

— Спаси Христос, Люба. Она и вчера, и тот день меня проведывала. Молока мне из магазина принесла, хлеба, спаси Христос...

— Надо бы тебе, тетя Поля, все же операцию сделать. Делают же люди.

Баба Поля взглянула на соседку, молодую, с сильным телом под стареньким платьицем, и вздохнула.

— Это вам лечиться. А нас Бог пристроит не так, так эдак.

— А вот Андронов из проулка, тоже не молодой, а сделал. И хорошо. Прям не нахвалится.

— Да, може, и надо, — нерешительно ответила баба Поля. Это кабы знатье... Она если бы беспрерывно болела, тогда бы конечно. А то вот целую зиму хранил Господь, не жаловалась...

— Все от работы. Картошку сажала и надорвалась...

— От работы, от чего же еще... А куда от нее денешься? Землю не бросишь.

— Конечно. Мы вот молодые да вдвоем копали, и то Василий вчера кряхтит, матится... С картошкой, говорит, с твоей... Ну, побегу, на работу надо сбираться. А тебе, тетя Поля, чего нужно будет, Нинку шумни, я ей накажу. Да она сама прибегет.

— Спаси Христос, — ответила баба Поля.

И тут от второго соседства послышался резкий Грипин голос:

— Полюша! Поднял, что ль, Господь?! Здорово ночевала?

— Слава богу. Вишь, хожу, прядать не прядаю, а ноги держат.

— Оздоровела, значит...

— Оздоравливаю.

Городьба, что разделяла подворья бабы Поли и Грипы, имела перелаз, сделанный по-старинному, по-казачьи: низкая скамеечка поперек. Но шли годы, и хоть перелаз на месте, по-доброму содержался, зато баба Поля и Грипа свое отпрыгали и отлазили. И теперь ходили друг к другу по ровной земле, в ворота, а у перелаза встречались для бесед. Полюша даже присаживалась на нем вроде на лавочку. Короткая и толстая Грипа, словно кубырь на колесах, предпочитала стоять. Столбушки могли ее подвести. К тому же, боевой характер Грипе сидеть не велел. При разговоре должна была она лицо в лицо человеку глядеть да языку помогать руками и всем телом. А сидючи такое не управишь.

— Я же тебе говорила, я тебя упреждала, — принялась читать Грипа. — Мы с тобой люди старые, из своих годов выжили, могуты у нас нет. Да такая у тебя болезня, а ты себя не берегешь...

— Что ж теперь, — вздохнула баба Поля, — все кинуть, пускай бурьяном порастает?

— Жадать нечего. Мне вон ребята вскопали за десятку, провались она... И не клята, не мята.

— Мне за десятку не схотели, пятнадцать требовали.

— А ты — горькая сиротина — ее не имеешь? — подбоченилась Грипа.

— Тебе хорошо говорить, такую пенсию получаешь, А я — без рубля тридцать. Значит, боле половины отдай.

— Не беднись. Марея тебя не оставляет, и сын помогает.

Дочь Мария и вправду присылала каждый месяц десятку, сын от случая к случаю, по годовым праздникам, — на конфеты.

— И-и, помощники, — отмахнулась баба Поля. — Маруське носков да варежков не успеваю вязать, с севером с ихним. На этих помогальщиков больше денег уходит. То сальца им пошлешь, то рыбки, посолонцевать им охота. Иде же ее возьмешь, денежку?

— Поройся и найдешь.

— Дюже часто рыться приходится. Твои рядом, какая беда — то сын тебе помогает, то зятья. А мне одна песня — поллитру готовь. Колонка разорилась — поллитру. Свет надысь не горел — опять в магазин беги. У погреба крышку новую сделали — две поллитры. Не настатишься денежки.

— Из сундука вынь...

— Ну да, из смертных буду брать. Завтра помру, и хоронить не на что.

— Государство схоронит.

По правде говоря, баба Полюша наскребла бы эти пятнадцать рублей, что ребята из техучилища за копку земли просили. Не от жиру, но наскребла бы. Она уже совсем было на это решилась, увидев, как у соседки копальщики орудуют, ходко и вроде по совести. Но все же потом раздумала: как-никак, а всю жизнь и не по столько земли поднимала. Поможет Бог и теперь. Как-нибудь, потихоньку да полегоньку, с отдыхом. Зато своею рукою, по-хорошему. Все же картошка будет расти. Картошка. Без любой другой гусиной еды как-нибудь прожить можно. А без картошки и погреб пустой, и на столе поглядеть не на что. Особенно в стариковской, не больно роскошной жизни.

А к пятнадцати рублям (их уже сбереженными баба Поля считала) пятерку можно добавить да навозу машину купить. Второй год земля без навозу ходит.

Все вышло по решенному. Картошку баба Поля посадила, но болезнь свое взяла. И целую неделю старая маялась, пластом лежала да ползком ползала. И нынче лишь первый раз по-хорошему на свет объявилась. А не время, ох не время было вылеживать. Колесо-то пошло крутиться полетнему: мазать надо и белить, деревья обкапывать, пора

и гряды делать — да что припевать, весенним делам и Бог счету не ведает.

— Ладно, — вздохнула баба Полюша, — чего опосля воду лить.

— Жадай, жадай, до поры все это.

— А живем не до поры? До нее и живем. Пойду, еще не завтракала.

— Гля! — громким шепотом сказала Грипа. — Гость к тебе идет. Покупатель...

Баба Поля оглянулась: в калитку вошел и осматривался, ища хозяйку, мужчина.

Грипу от перелаза ветром сдуло. Когда баба Поля вернулась во двор и гостя встретила, в калитку уже вплывала ее досужая товарка, даже платок успела чистый надеть, и теперь, войдя во двор, поклонилась, поздоровалась.

— Слава богу, слава богу, — ответила ей с усмешкой баба Поля и подумала: «Без тебя-то и вода не освятится».

Так, все втроем, и уселись возле тополя, на лавочке. Гость был человеком не чужим. В этом же ауле он жил, на соседней улице, и пришел уже в другой раз, с торгом.

— Я все о том, тетя Поля, — начал он. — Давай окончательно поговорим. Я хитрить не хочу. Мне земля нужна. Земля у тебя добрая, клетка большая, — окинул он взглядом усадьбу.

— Ху-ух, — аж глаза прикрыла и головой закачала Грипа, — до чего здесь земля расхорошая, что у нее, что у меня. Родимая из родимых. Навозу сколь сюда покупали. Зато теперя картошка в кулак родит. Помидоры — сладимые, сил нет. Лучше нет наших помидор, и не говори мне! Во, раина эта, — ткнула она пальцем в дерево, — она не саженая. Хворостину пхнули — и гляди, чего сделалось, — задрала она голову кверху, но вдруг опомнилась, коротко глянула на Полину и запнулась.

— Клетка подходящая, — повторил мужчина. — Мне строиться надо, живем как в курнике. Пятеро нас. Материал у меня готовый. А ты, тетя Поля, человек пожилой, одинокий. Тебе мой флигелек, вот после этой, — качнул он головой в сторону мазанки, — как дворец. Ты там будешь хорошо жить. Сам я его сделал, для себя. Печку тот год перекла-

дывал. Ведрушку угля не сжигаем, а дверь хоть настежь отворяй. Землицы мало. Из-за этого и ухожу. Две грядки да два дерева. А нас — пятеро ртов. С базара не наносишься. А тебе одной хватит. А эту махину тебе поднимать уже не по годам.

Все эти слова баба Поля с прошлого раза помнила, с осени. И все было правдой: старость пришла, и, конечно, лучше бы дожить ее не в этой мазанке, а в добром теплом домке. Все годы на что-то надеялась, чего-то ждала баба Поля. Все же двое детей у нее в живых ходили. Думала, что останется кто-то возле. Но выучился сын и жил в городе со своей семьей, приезжал к матери раз в год на день-другой. Дочь Мария и вовсе на край света умелась. Несколько раз гостевала вместе с мужем и детьми. Но возвращаться оттуда они не собирались. А и вернутся, так не сюда, найдут получше место. Так что надеяться было не на кого.

— Как раньше договаривались, я своего слова не меняю, — закончил мужчина. — Две тысячи додатку. Только давай, тетя Поля, к празднику точный ответ. По теплу надо строиться. Я еще одну усадьбу присмотрел, тоже неплохая, но... — улыбнулся мужчина. — Твоя мне больше подходит.

Баба Поля лишь вздохнула, зато ее подруга устала молчать.

— А колонка у тебя какая? — недоверчиво спросила она. — Вода не горькая?

— Нормальная вода. Третий год колонке. Пьем, хорошая.

— А фильтр ты какой ставил? Песок не пойдет?

— Я ж для себя ее делал, — в сердцах сказал мужчина. — Не для дяди... — И на бабу Полю взглянул вопросительно, ожидая ее слова.

— Давай чуть погодим, — ответила баба Поля. — Тут такое дело, не враз придумаешь. Это ты правильно сказал, давай до праздников погодим, до майских.

Мужчина попрощался и ушел. Грипа, на цыпочках подглядев, что он удалился, принялась наставлять подругу.

— Ты приглядай получше, а то он забьет тебе глузды. Може, у него во флигеле шашел завелся, он и бежит. Надо у знающих людей поспрошать. Да еще про соседей, попадет какая-нибудь сапа, будет вредить, свету белого не уви-

дишь... Да и поторговаться надо, а ты сидишь, как куля какая. Видать, он небедного десятку... — вдруг она оборвала свою трескотню и сказала задумчиво: — А може, и правда... Може, и правда, Полюша, надо переходить. Флигелек неплохой. А твоя мазануха не на век. Рухнет, — вздохнула она. — И будет именья — одни каменья. А помочи откуда ждать. Дождешься, черт, от них помочи, — встала она. — Мои вон возле ходят да все доглядают, когда я подохну. Гуни не успеют поделить. На кой черт мы их на свет выпутали! Поморили бы лучше, спокойней было... — хлопнула она воротцами и ушла. И вот уже голос ее, вздымаясь до крика, кому-то вещал на улице о неблагодарных детях.

Тесной и какой-то темной, неуютной — может, после светлого дня показалась бабе Поле родная хатка. А была она и впрямь невеликой, эта мазанка, в которой и в рост выпрямиться нельзя. Полы были, правда, дощатые — вот и вся слава.

Переднюю комнатку и заднюю делила печь. В первой кровать стояла, к красному углу жался трехногий столик, а подле него — сундук. Во второй комнатке — вовсе крохотной — кухонный стол, умывальник, еще одна кровать, будняя, на ней баба Поля днем отдыхала, не раздеваясь.

Хоть и родная хатка, привычная, да не особо завидная. После войны-то она с другими в ряд стояла, а теперь, конечно, была за редкость. Худо ли, бедно, но строились люди. Поначалу все больше флигелечки ставили на два окна, не больше, с каркасами, но лепленые, беленые. Потом шелевать начали. Потом крыши менять с тесовых на шиферные. Мало-помалу кирпичные дома в ход пошли, сначала невеликие, а теперь в три, четыре глазастых окна лупились на улицу, да и во двор не меньше.

Только ее хатка с места не двигалась. Все выше поднимался над округой стройный тополь; и от этого соседства будто прижималась к земле мазанка.

А тот флигелек, что теперь предлагали ей в обмен да еще с додатком, был хороший. Шелеванный, крашенный зеленой краской, он весело глядел на мир светлыми окошками в голубых ставенках — хозяин был мастер. Стоял флигелек на высоком фундаменте, от коридора над крылечком нави-

сал козырек. И спускаться было на землю удобно, держась за перильца, — для старых великое дело. А рядом, во дворике, летняя кухонька стояла. Хоть совсем малая, но аккуратная, как игрушечка. За воротами — скамеечка со спинкой, тоже крашеная, вечерами сидеть.

Еще по осени, после первого разговора, сходила и обсмотрела тот флигелек баба Поля. И не раз еще, благо что недалече, проходила мимо, останавливалась, на лавочку присаживалась, глядела.

Когда в первый раз сходила, ночью плакала: очень похож был флигелек на мамин домик.

Ее мамочка в кухарках служила. Жили они при кухне. А мамочка не хотела на людях жить и мечтала о домике. Она часто Полюше о том домике рассказывала.

Вот сколько лет протекло, сколько всякого было, а как сейчас помнит Полюша эти разговоры. В кровать они лягут, и так сладко слушать мамочкин рассказ о домике: домик небольшой они купят, но настоящий, мазанка не нужна, пусть совсем маленький — большой и не нужен, — лишь бы две кроватки поместились и столик: и кухонька будет маленькая, но тоже со столиком, и шкафчик с посудой там же. Домик будет теплый, спокойный. Никто их там не потревожит. Днем мамочка будет к людям ходить, зарабатывать. А в домике хозяйничать будет Полюша. Вечером мамочка усталая придет, а у Полюши самовар готов. Сядут они на крылечке — у домика крылечко будет, пусть маленькое совсем, большого не надо, — сядут они с мамочкой и будут чай пить.

Сколько лет-годов прошло, вот уж кончается Полюшин век, а как сейчас она помнит: не было у них с мамочкой лучшего утешения, чем их маленький домик. У Полюши какая беда, слезы — мамочка ее ласкает: «Не плачь, Поленька, вот скоро будет у нас домик, будешь во дворике играться, цветочки с тобой посадим, мне-то некогда, а ты будешь их поливать. Будешь поливать?» Согласно кивает Полюша и успокаивается. А когда у мамочки что-то не ладится, Полюша ее лечит: «Не горюй, мамочка, вот скоро будет у нас домик. Красивый такой, хорошенький...» И все проходило.

Это ведь не сказка была про домик-то. Деньги для него лежали за божницей. И какую-нибудь мазанку уже можно

было купить. Но мать все прикапливала, деревянный хотелось, хороший.

Деньги лежали за божницей, и мать их почти всякий день пересчитывала. Хозяин ей говорил: «Положи в банк. Копишь-копишь, а потом утащат и ищи-свищи...»

— Что вы! — не верила мамочка. — Бог не допустит. Бог сирот берегет. Он за пазушкой наши с Поленькой денежки держит. Не достать их злому человеку. Не достать.

Бог деньги сберег. Но пришли вдруг худые времена, а потом еще хуже, а потом такие страшные, что память отшибло. Все кружилось там и горело, все смешалось: белые и красные, кадеты, казаки... И все пропало, все кануло, и все пошло прахом. И выбросило на опаленный берег лишь малую Полюшку для горькой сиротской жизни.

И вот теперь, когда увидела баба Поля тот флигелек, что предлагали ей, она сразу узнала его. Эго был их с мамочкой желанный домик. Но как опоздал он! На целый век. А одной и радоваться было несладко.

То ли дело, когда они с мужем и дочкой переходили в свой новый собственный довоенный дом. Уж тот был из домов дом. Даже с галереей вокруг.

Купили его с рук на хуторе, разобрали и перевезли. Но дом был крепкий, вековой. При разборе-то видно, нигде шашелем не тронутый. Золотой дом, что ни говори.

Вот когда радости было! Маруська топотала по белым скобленым полам, все по комнатам пряталась. У Полины и слов не было, она лишь как дурочка смеялась да все снова и снова кидалась прибирать дом, мыть его, печку подбеливать, полы банить. Алексей в первую же ночь в новом доме сказал: «Ну здесь-то, мать, ты родишь сына, не откажешься».

И она не отказалась. Раньше, еще до Маруськи, она двоих приносила мертвеньких. А здесь, в новом доме, и года не прошло, как закричал маленький, но весь, не только именем в отца, Алешка. Такой же светленький и сероглазый.

А может, и правда, она, как и мать ее, уже на этих домах помешалась. Как знать... Но, уходя в отступ, в войну, она уже точно знала, сердцем чуяла, что с домом ей больше не встретиться. Она и уходила-то совсем недалеко. Она бы, может,

и вовсе с места не тронулась, но когда Алешу на фронт забирали, он о детях приказывал. Пусть все дымом пойдет, лишь бы детишки уцелели. И она не посмела ослушаться.

А когда через полгода вернулась, то лишь фундамент, аккуратный, неломаный, лишь камни фундамента стояли на подворье. Не бомба, не снаряд, не огонь, а военные умелые люди по бревнышку раскатали Полинин дом и куда-то увезли его для своих забот.

Рядом, на улице, нетронуто стояли другие дома: мазаные, лепленые... Каких-то коснулась или вовсе порушила война. Но было, было что поднимать из разрухи. А золотой Полинин дом словно Бог забрал, оставив на земле лишь дикого камня фундамент.

Полина не вернулась на старое подворье, чтобы сердце не рвать. Зиму пробедовала с детишками у далекой мужней родни. А по весне начала ладить новое жилье.

Первый разговор об этом завела дочка Маруся.

— Мамочка, — сказала она, — давай домик сделаем. Хоть маленький, зато наш будет.

Дитем еще была Маруся, десятилетним, но, видать, и ей было несладко возле чужого подла жить.

— Из чего же делать-то, — вздохнула Полина. — Да и когда делать, кто делать будет... Я ж работаю.

— Другие же делают. Я подмогну... из глины слепим, — не сдавалась дочка. — Пусть маленькая-маленькая, но наша хатка. Только бы кровать одна уместилась, вам с Алешей. А я на полу. Натопим, тепло будет.

Полина и сама знала, что век у чужих людей не проживешь, но все оттягивала, все казалось ей: не сегодня-завтра война кончится, Алексей придет, тогда все и уладится. Но дочкины слова отрезвили; так можно и весну, и лето у чужого гнезда прокуковать.

На свою усадьбу Полина не пошла еще и потому, что там было место высокое, песчаное, а жить и детей кормить нужно было огородом. На иное надеяться нечего. Полина и нашла такое место, низовое, с хорошей землей.

Она тотчас обкопала неглубокой канавой огромный лафтак земли — лишнее можно бросить потом — и засадила всю землю тыквой. О картошке не приходилось мечтать,

а тыква была спасением, из каждого семечка воз может нарости, и уходу немного. А на уход рук не было, руки нужны были для дома.

Главная забота — глина. Из карьера на себе возить — не навозишься. Пришлось во дворе свою ямину копать, добывать глинку. Кое-где на брошенных усадьбах грудились остатки глиняных фундаментов. Приходилось их долбать и возить к себе на тачке. А еще...

Как лепит ласточка свое гнездо? Вроде и малая птаха, и слабая, а неустанно несет катышок по катышку, за комочком комочек лепит, и добрый домок получается, иным и большим птицам на зависть.

Так ладила свою мазанку и Полина. До работы успевала глины добыть на «круг» и оставляла ее размокать. А вечером ногами вымешивала, потом выкатывала с соломой и катышок за катышком, словно касатушка, лепила и лепила стены. Когда время пришло, два огромных плетня сплела из хвороста, чтобы разом накрыть мазанку вместе с сенцами. А сверху еще чаканом покрыла, положила притуги, приклячила их к плетням, промазала все глиной с навозом, и снутри, и снаружи. И получился домик.

Маруся, когда в готовый вошла, обмерла, а потом кинулась матери на шею: «Какая у нас хатка, мамочка! Лучше ее нету!»

Лучше не лучше, но и не хуже других получилась мазанка. Вот уж три десятка лет стоит, смены не просит.

Той осенью Бог наградил Полину и детей за ее труды. Столько тыквы огород уродил, аж глядеть было страшно, все укатано. И семена попались хорошие, желтая тыква, костянка. Все ею забили: погреб, и сенцы, и комнатку. Этой тыквой и спаслись, прожили зиму. Тыква сладкая была, парили и ели, парили и ели. И встретили отца живыми и здоровыми. И опять собрались всей семьей, но ненадолго.

Алексей вернулся с войны плохим, что-то надорвалось в нем или уже болело. В сорок седьмом осенью он простудился и за месяц сгорел. А в декабре, уже сиротою, родился мальчик, Ванечка, последыш, любимый сыночек.

Ах, сколько с ним было говорено-переговорено... Сколько рассказала ему Полина, доверила, сколько жалилась —

малой капли того другим детям не поверяла. Да и с кем еще было говорить Полине, с кем откровенничать?! Маруся как в техникум уехала, так и канула. Алеша тоже рано из дома ушел да так и не воротился. Один Ванечка от матери шагу не шагнул.

Как уложила его в январскую землю, почти под окнами. Ямку выскребла, горячими камнями с печи отогрела ему постельку, чтоб не в ледяную лег, последними тряпицами обернула, не пожадничала. А чтобы не утерять сынка, не запамятовать, вместо креста до весны хворостину поставила, какая под рукой оказалась.

А по весне объявились у той ветки почки, листы развернулись. Полина на то деревце как на чудо Божье глядела. И пошел, потянулся вверх молодой тополь-раина, свечкой стал над землей, над Ванечкой.

Встал и шагу со двора не шагнул, лишь в небо поднимался да в кости креп.

А как он слушать умел, не перебьет мать, слова́ ей не заступит... Как весело шумел по весне да летом. Как стерег ее волчьими осенними да зимними ночами, гудел басовито, но ласково: «Здесь, мол, я, спи, мать, не полохайся». И Полина спала, ничего не боясь. Чего же страшиться матери, коли не одна во дворе, и не будет одна, до веку.

Отзавтракав, надела баба Поля шерстяные носки, перепоясалась теплым платком, чтобы спину сберечь, старый пиджак натянула, а на него фартук, примкнула хату и отправилась в огород.

Не торопясь, глубоко вскопала она две грядки под огурцы. Вскопала, и пот ее прошиб, видно, от слабости, сколько дней проболела.

— Бабуня Поля! — окликнула ее соседская девочка. — Тебе в магазине ничего не надо купить?

— Спасибо, Ниночка. Всего ты мне нанесла: хлеб еще есть и молоко.

Девочка не ушла, она открыла калитку, что соседние огороды соединяла, и, подойдя, спросила:

— А чего ты будешь сажать, бабуня Поля?

— Огурцы думаю посадить.

— Можно я тебе буду помогать?

— А уроки поучила?

— Поучила.

Баба Поля поглядела через забор: на соседском огороде обычное место, где огурцы сажали, было вскопано, и только.

— Отец копал? — спросила она.

— Папка, нынче утром.

— Давай их, Ниночка, порадуем, отца с матерью. Я тебе буду показывать, а ты делай. По-соседски будем работать, на своих огородах. Помогать, кто чем может. Так у нас дело и пойдет. Мамка с папкой с работы придут, глядь, а огурцы уж сидят. Вот, скажут, какая у нас дочка работящая да разумная. С такой дочушкой мы не пропадем. Согласная?

Ниночка, смущаясь и радуясь, кивнула головой и прошептала:

— А я смогу, бабуня?

— Смогешь, коли постараешься.

И взялись они за дело: верхний слой земли вынули, сделали подкладку из прелых листьев и ботвы, чтобы не озябли нежные ростки, потом с перегноем помешали вынутую землю и в эту мягкую постель уложили семена. Воды нагрели погорячей для полива. Рамы устанавливали, накрывали их.

Славно было нынче работать на земле. Доброе солнце как с утра поднялось, так и светило, не ленясь, пригревало. Жирно поблескивала темная земля, хорошая земля, родимая. Недаром то и дело черви земляные попадались, да не какие-нибудь тощие да белесые, а жирнючие, красные, налитые.

Над головой, на высокой грушине, скворцы забавлялись. Нынешний день, людей возле себя завидев, они разбойничать принялись: шипели по-змеиному, по-лягушачьи квакали, клекотали утробно, будто добрых песен и не ведали.

Баба Поля терпела-терпела, и терпение лопнуло.

— Ждали вас, ждали, — распрямившись, сказала она, — а вы несусветное плетете... так, послухать нечего. Летите тогда отсюда, такие нам не нужны.

Птицы будто поняли человечью речь, устыдились, завели настоящие песни, с серебяными колокольцами. Особенно любила баба Поля, когда скворец, пропев, умолкал и вдруг

нежно высвистывал: «Тю-и-и-ить! Тюи-и-ить». Ласково выговаривал.

— Баба Полюша, — сказала Ниночка, — они тебя послухались, понимают.

— Эти цыгане такие, все разумеют, лишь притворяются. Счас снова дражнить зачнут.

Скворцы и вправду заквакали и закрякали, но ненадолго. Веселый день стоял, весенний, в такой да не петь! И скворчики залились, поднимая к солнцу серебряные клювы. А им помогал гость залетный, близкого поля житель, малый жаворонок.

К вечеру посадила баба Поля огурцы и свои, и Ниночкины. Небольшую гряду редиски посеяла, хотя редиска у нее не росла, червивела да и в корень уходила. Редиска на песке удается.

Посадила все баба Поля, отработалась и подалась в магазин. Честно говоря, идти туда ей было незачем: молоко еще оставалось, да и не бывало по вечерам в магазине молока, его с утра разбирали. Что до хлеба, то и черствым бы повечеряла, не подрала рот. Но какое-то невольное хотение заставило ее наскоро умыться и бежать на соседнюю улицу, в магазин.

А дело в том, что с высокого магазинного крыльца как на ладони виден был тот самый флигель, что бабе Поле на обмен предлагали. И, дойдя до магазина, она туда не зашла, остановилась на ступеньках: поглядеть.

Хороший был домик, ладный, крашеный, на высоком фундаменте. В желтом свете уходящего солнца он казался игрушечкой и золотисто сиял стеклом окошек. И дрогнуло сердце у бабы Поли, как взглянула она на домик. На ее домик. Как славно будет сидеть в тепле, возле окошка, и не в землю глядеть, а всю улицу видеть, весь просторный мир. В таком домике и жизнь, конечно, станет веселее. И может, сын будет почаще приезжать, а летом, на каникулы, внуки. В таком домике не грех и погостить, не то что в мазанке.

В магазине баба Поля не только хлеба взяла, но и на сорок копеек сыру. Срам говорить, но в последние годы стала она словно дите малое. И иной раз то сырку покупала, то конфет к чаю. Умом-то знала, что сыр ей не по день-

гам, а брала. И нынче решила взять. Все же день не простой, вроде праздник. Да и чего мелочиться, когда не сегодня-завтра тысячи будут у нее в руках. О таких деньгах баба Поля и думать боялась.

Дома, растопив печку, баба Поля чаю согрела и так хорошо поужинала, даже слишком. Весь сыр незаметно уплела и охнула: «О господи, куда в меня лезет...»

Потемнело уже за окнами, и пошла баба Поля погреб на ночь прикрыть, да кур, да сарайчики. Все дела обделав, она вернулась к мазанке и, как всегда вечером, присела на минуту возле тополя на лавочке.

Присела старая, подумала: «А ведь как уйду я...»

И как только она это подумала, легкая дрожь пробежала по тополю от темного уже низа до светлой еще вершины. Будто вздрогнул тополь, от ветви к ветви пронеся страшную весть. Вздрогнул и затих. И в этой тишине, сверху, издали, негромко, словно из иного мира, донесся до земли легкий стонущий звук. Голос горлинки.

«У-ур-лу-у-у, у-урлр-у-у», — мягко, сонно причитала птица.

А может, то вовсе не птица стонала, но вечная ангельская душа младенца Ванечки. Стонала и плакала, чуя близкое расставание с матерью и последний свой, уже недалекий час.

«У-урл-ру-у, у-урл-ру-у», — как всегда по весне постанывал голубь. Но баба Поля, замерев, не дыша, слушала этот далекий глас и, когда он затих, уронила на жесткую тополевую кору большие руки, ткнулась головой и замерла.

Ни о чем не думалось старой женщине, ничто не поминалось. Но в горьком отрешенье что-то теплое и родное грело ладони рук и туманило голову... Обрывки каких-то счастливых минут не то прошлой, не то будущей жизни проплывали, уходя насовсем... И другие, но не враз, приходили им вслед... То были не люди, не лица их, а лишь легкое дыхание людского мира. Лишь отзвуки, отблески своей ли, чужой ли жизни. А может быть, просто забытье...

А вернувшись в этот мир, баба Поля поднялась, утерла горстью сухие глаза, огляделась. Совсем уже стемнело. Мелкие желтые звезды проклюнулись на синем ночном небе. А самая золотая звезда стояла над раиной.

И об одном лишь пожалела сейчас баба Поля, жалела о том, что не похоронят ее вот здесь, подле этого тополя, подле сына и родного дома. Не исполнят ее волю, сколь бы она ни молила. А до той поры, когда позовет ее Бог, она сама властна.

2

Не ждала баба Полюша и не гадала, а вышло так, что в мае месяце, как раз накануне Троицы, прибыли к ней гости дорогие: дочь Мария, зять Федор и внучек Олег. Приехали они после обеда. Баба Поля, как всегда, в огороде возилась, когда заслышала во дворе говор. Рук не обтерев, пошла она поглядеть и, до места не дойдя, обмерла: родненькие во дворе ее ждали. Тут она голову потеряла, слезами залилась, стояла, опустив руки. Насилу-насилу опамятовалась.

Мужики — Федор с Олежкой — тут же собрались дорожную пыль обмыть, добро что на своей машине прибыли. Мария осталась с матерью.

Началась для бабы Поли радостная колгота. Из последнего, уже жестковатого щавеля затеяла зеленые щи варить. К Демкиным в проулок баба Поля сбегала, двух хороших лещей да судачка принесла. У соседки Грипы соленые арбузы век доживали, баба Полюша один порезала, пересыпала вялую мякоть сахаром. Слава богу, редиска нынче удалась неплохая. Портить ее магазинной сметаной не стали, сходили на дом, доброй купили да еще каймачком разжились. Соленые грибки у бабы Поли водились, новая вялка — чехонь да синец — подошли. И вовсе на диво, дождались-таки своего часа десяток темно-красных яблок с желтой медовой мякотью, из тех, что при добрых руках лежат до новины.

Женщины управились, а мужики что-то долго глаз не казали. Когда наконец машина ко двору подъехала, Мария ругаться изготовилась, но из кабины вылетел такой счастливый Олег с ведерком в руках.

— Ма-ама! — кричал он. — Ба-абушка! Ра-аки! Честное слово! Глядите!

В ведерке и вправду шевелились десятка два иссера-черных клешнястых раков. Оказалось, что попали мужики на водохранилище. Искупались и увидели ребят, которые в камышах промышляли. Принялись сами лазить. И вот, как говорится, улов налицо.

— Купили небось! — смеялась Мария.

— Мама, ну вот честное слово! — запунцовел от обиды Олег.

— Вот гляди, гляди, — совал он матери под нос меченые клешнями пальцы. — Вот он укусил меня и вот за большой как ухватит, а я аж заорал, — и тут же к бабке кидался. — Бабушка, бабушка, давай сварим сейчас, а?! Ну пожалуйста...

— Об чем говорить, — счастливая от радости внука, улыбалась баба Поля. — Счас и сварим.

Она старого укропу нашла, у него дух острее, сварила раков. И когда, наконец, уселись за стол во дворе, на воле, то зять Федор от удовольствия рыкнул:

— Ну, мать Полина, — он всегда ее так звал, — ну, мать Полина, уважила... И рыбка... — сладко тянул он ноздрями воздух, — и арбуз. Свои, что ль, яблоки?

— А то чьи. Вон та яблонька, — сказала она. — Такая добрая, всю зиму лежат.

За встречу, конечно, выпили, здесь и баба Поля не отказалась. И так хороша была добрая еда на свежем воздухе, что никого уговаривать не пришлось. Лишь хозяйка, шей похлебав, глядела на своих дорогих, радуясь.

Олегу всего хотелось. Он хлебал уху, а глазами косил на багровых, крапленных укропным семенем раков; увидел, что отец рвет и сладко ест вялку, к нему кинулся: «Дай, дай попробовать!» И на яблоки он глядел алчно, и временами ухватывал ложку-другую бело-розовой хрустящей редиски, и тогда сметанные «усы» раздвигали рот.

— Гляди, прохватит, — смеялась Мария.

— От доброй еды не прохватит, — успокаивала баба Поля. — Это не консервы ваши, столетошние. Чебачиную голову бери, Олежек, пососи. Ух и сладимая...

— Какая чебачиная? — не понял внук.

— Ху-ух, несмысленый... Чебак — ему два фамилия, у нас чебак, у других — лещ. А помене какой чебачок — тот киляк.

А совсем малый — ласкирик. Вот пойдешь на речку, ласкирей натягаешь, я тебе их поджарю. Ху-ух и сладкие. Прям не наешься...

Была бы Олегова воля, он бы тут же, из-за стола, за ласкирями ринулся. Но теперь он лишь повертелся, на мать, на отца поглядел, спросил: «Поедем?»

— Поедем, поедем. Не спеши, наловишься...

Первую охотку утолив, зять Федор еще одну стопку выпил. лучком ее закусил, редисочкой и, оглядев веселыми глазами застолье, родню свою и зеленый двор, его окружавший, и чистое небо, сказал:

— Хорошо... Сниму-ка рубашку. Не возражаете?

— Скидай. Пусть тело дыхнет.

— И я, и я... — не отстал Олег.

Теперь они сидели рядом, по пояс голые, отец и сын, круглоголовые, рыжеватые, белотелые, даже с синевой, сытенькие. Добрые складки — Олегу-то уж вовсе ни к чему — над поясными ремнями нависали.

Отец закурил, сын за раков принялся.

— Ну что, мать Полина? — спросил Федор. — Дочь тебе ничего не говорила?

— Чего? Либо что сделалось?

— Ничего. Просто я ей не велел тебя трогать. Потом, говорю, сядем и все обсудим. Мы ведь, мать Полина, с севера совсем убрались. Виктору с Анной квартиру оставили, а сами снялись.

— Чего это вы надумали? Не заболели ли, не дай бог?

— Да нет, пока здоровые. Мы уж давно решили. Хватит. Стажу у нас теперь, — махнул он, — хоть взаймы давай. Деньжат... — поглядел он на жену, — немного поднакопили. А всех их не заработаешь, да и ни к чему, надо другим оставить, — засмеялся он.

Баба Поля недоверчиво поглядела на дочь, та молча покивала ей головой; дескать, правда.

— Да хоть пожить надо, мать Полина. Ну чего мы на этом севере видели? Четыре стены? Да работа. Хочем вот к тебе проситься. Построиться здесь, — развел он руками, оглядывая просторный двор. — Хороший дом поставить, современный такой. С отоплением, с ванной. Машина

есть. Река здесь хорошая. Лодку куплю с мотором. Грибы есть?

— Грибов нынче много, — сказала баба Поля. — Масленков стало в соснах родиться, прям мешками люди везут. А я вот опенки больше уважаю, — показала она на тарелку. — А счас люди никакими не гребают. Чернопузики берут и сапиные жарют, бзделы, дожжовки...

— О! — обрадовался Федор. — Маслята — это хорошо! В соснячок за маслятами, о-о-о... — прихмурился он, а потом продолжал: — Это, я понимаю, жизнь. Сад разведем, настоящий. Земли много. А я люблю, мать Полина, в земле возиться. Не под землей, — подчеркнул он, — а наверху. Сад, огород, рыбалка, на охоту сходить, грибы, — перечислял он мечтательно. — Да так вот просто посидеть на воле. Арбузов насадим, бахчу заведем, — встрепенулся он. — Арбузов наемся. Да-а, — засмеялся он. — Я все распланировал, а ты молчишь. Берешь нас к себе?

— Чего спрашивать, — ответила баба Поля. — Мне скоро помирать, не с собой же я все это заберу. Живите. А я возле вас, глядишь, чем и помогу еще.

— Вот и хорошо, — сказал зять Федор. — Правильно. Тебе одной жить тоже несладко. Вместе лучше. Построим большой дом. Тебе отдельную комнату, чтоб не беспокоить. Жаловаться не будешь. Дочь у тебя вроде неплохая. Я тоже мужик не шебутной. Олег вот у нас, — засмеялся он, подталкивая сына, — колобродный... Ну, уж как-нибудь... Давай тогда, мать Полина, выпьем за новую жизнь.

За такое баба Поля не выпить не могла. А когда выпила, то скоро голова у нее пошла кругом. Легкий счастливый хмель ласково бередил душу. Так хорошо стало, так радостно. Да и как ей было, старой, не радоваться, если в один день свершилось то, о чем она уже и мечтать не смела. Обрезалось ее одинокое, горевское житье, и теперь до веку будут вокруг нее родные люди. Будет кому и кружку воды подать, а придет пора, и глаза закрыть, и поплакать.

— Мария как хочет, — говорил и говорил Федор, — а я устроюсь каким-нибудь сторожем. Так, лишь бы числиться. Семьдесят рублей, больше не надо. Чтобы сутки отдежурил и... свободный. Лодка, мотор... На рыбалку. Пожить, мать

Полина, по-человечески пожить. Солнце чтоб тебя грело, зелень вокруг, теплая вода... Пенсии мы свои заработали. Виктор сам на ногах, квартиру ему со всей обстановкой оставили, грамма не взяли. А этого огольца вырастим. Здоровый будет. И самим пожить охота. А всех денег не заработаешь, да и зачем они? Ведь деньги для жизни нужны. А если ее нету, если работа да четыре стены, зачем деньги? Скажи, Мария...

Мария согласно кивала головой. Она вся в мать была, в бабу Полюшу, лишнего не уронит.

Между тем отворилась калитка, и соседка Грипа, во всем новом, остановилась, будто от неожиданности, а потом весело возгласила:

— Здорово дневали! Отколь вас столько взялось?! Какой вас водой сюда принесло?! Либо каламутной?

Гостью за стол усадили, налили ей чарку.

Знакомые еще по прежним приездам, Грипа и зять Федор друг другу обрадовались. Он ей свое втолковывал про новую жизнь, которая теперь пойдет, про новый дом и прочее. Грипа слушать-то слушала, но и свое припевала:

— Ну, до чего разумный зять у тебя, Полюша. По-умному он все раскладает. Вот моих бы зятьев Господь надоумил... Или б вот у Федора они получились. А то мои дочушки мужьев себе понаходили каких-то с сырью. Так, пустодомные мужики. А он, вишь, как раскладает...

От добрых слов и выпитого Федор еще более разгорячился, ему тут же, не медля, новую жизнь хотелось начать.

— Рулетка где? Олег? Маша? — вскочил он с места. — В Москве какую брал. Пятидесятиметровая, специально. Где?

— В машине где-то.

Федор пошел к машине, все перевернул, но вернулся с новенькой рулеткой.

— О! — показал он круглую, посверкивающую на солнце коробочку. — Специально на толчок ездил. С рук. В магазине не достанешь. Олег, тащи свой альбом, карандаш, линейку. Рисуем план.

Тут же тарелки были в сторону отодвинуты, освобождая место для новой заботы. И мужики склонились над бумагой.

Женщины отсели от стола на лавочку, под тополь, Грипа принялась Марию дотошно расспрашивать: как на севере живут, да что едят, да сколько денег получают. Мария рассказывала охотно:

— Заработки не сравнить, даже смешно. Вот ваши, дочери ваши, зятья, сколько получают?

— У них разве добьешься, такие хитручие...

— Ну, пусть сто рублей, ну, мужчины сто пятьдесят. А у нас Федя получал пятьсот. Я — почти триста.

Грипа вскидывалась и застывала, рот забывая закрыть.

— ...но климат, климат. У нас как говорят: июнь — еще не лето, июль — уже не лето. Снег может выпасть. Купаться нельзя. Бывает, все лето так в пальто и проходим. А уж как ночь завернет...

Баба Поля все это знала из писем и прежних рассказов, но снова, как в первый раз, горько ей слушать было о таком житье. Глядела она на дочь, на внука, на зятя, искала на лицах следы их немыслимой жизни и тут же думала, чем бы пригреть их, порадовать. Думала, думала и придумала. Решила курицу зарубить да свежей лапшой попотчевать. Отвыкли, поди, от свеженького, все консервы да консервы. А в консервы чего не напихают.

Тут в мирные бабьи разговоры мужики влезли.

— Все, готово! — доложил зять Федор и рассмеялся довольный. — Идите, глядите! — и, не дожидаясь, пока женщины поднимутся, сам подошел с альбомом в руках.

— Ну-ка, Олег, — обратился он к сыну, — объясни, какой мы проект соорудили. Пусть утвердят, внизу вот здесь распишутся.

Олег принялся растолковывать, показывая линейкой:

— Дом будет двухэтажный...

— Какой-какой?.. — недоверчиво спросила Грипа.

— Двухэтажный. Наверху будет две комнаты: моя и для гостей.

Грипа к Полине повернулась, тихо спросила: «Ты слышь?» Полина кивнула головой.

— В самом низу под домом будет гараж, мастерская, погреб, — объяснял Олег. — На первом этаже вот веранда, видите... Потом коридор, прихожая, направо в зал входим,

налево кухня с кладовкой, там дальше туалет, ванная. А прямо по коридору бабушкина комната. После зала там спальня, и всё. Но оттуда можно на веранду выйти. А наверху еще балкон.

Грипа внимательно следила за кончиком линейки, которой указывал Олег, вытянув шею, вглядываясь, и хотя ничего не видела и тем более не понимала в рисованных перепутанных линиях, но слушала настороженно, даже испуганно. Потом толкнула Полину:

— Это чего такое делается?

Баба Поля лишь вздохнула в ответ, она толком и не слушала, а слышанному веры не давала. Мало ли что дите говорит. Да и в конце концов Полине разве дом был нужен? Она свое в домах отжила. Ей к иному пора готовиться. А дети пусть по-своему делают, как хотят. Им теперь жить.

— Это чего ж, — поджимая губы, спрашивала Грипа, — уборная при доме будет? Не гребостно?

— А как же в квартире, тетка Грипа, в городе? — отвечал Федор. — Все по-городскому сделаем. Сантехнику, септик сделаем, водопровод.

— Вода в хату пойдет?

— Пойдет.

— А чего, и пойдет, — со вздохом сама себя убедила Грипа. — Вон Чинегины сделали. Ходила, глядела. Вот так-то придавишь, — ткнула она пальцем, — щелканет и течет. И баня, значит, при доме?

— И баня. Ванную поставим, душ, все как положено. Греть воду в колонке. Все удобства. Приходи, мойся.

— Спасибо за приглашение.

Грипина разговорчивость куда и делась. Сидела она, опустя руки, слушала-слушала, с тем и поднялась.

— Дай бог, дай бог, — сказала она. — Помогай вам бог. Спасибо за угощение. Простите Христа ради, — и уж у самой калитки Полине сказала: — Ху-ух, и зять у тебя разумный, да и внук. Мне бы хоть одного такого Господь подослал.

И после ухода Грипы зять с внуком не успокоились, от бумаги к земле перешли и мерили ее, перемеряли вдоль и поперек, палочки втыкали, все прикидывали. Баба Поля в их дела не мешалась. Пусть себе тешатся. Будет еще время

по-доброму, всерьез обо всем поговорить. Ведь дело затевалось нешуточное.

Вечером стали устраиваться на ночлег. Баба Поля, как и в прошлые разы, приглашала гостей в дом, свою кровать уступала. Но они уж, видно, привыкли в машине спать. Правда, на этот раз Мария решила остаться в доме, на материной будничной кровати.

Пока постели устраивались, колготились, уже и свечерело.

— Бабушка, — спросил Олег, — а у тебя телевизора все нету?

— Зачем он мне нужен?

— Как зачем, глядеть. Кино показывают.

— Сроду я его не глядела.

— Без телевизора плохо, — сказал Олег. — Тогда будем спать.

— Это правильно, — одобрила баба Поля. — Это для здоровья, чем глаза-то ломать.

Следом за сыном зазевал и запотягивался и полез в машину Федор. Мать с дочерью тоже не засиделись, пошли в хату.

После долгой отлучки да с воздуха таким тесным, прямотаки неправдашним показалось Марии материнское жилье.

— Ой-ей-ей, — покачала она головой, оглядывая и трогая рукой стены и низкий потолок. — Как же мы жили-то здесь, мама, как умещались, а? Ведь... сколько? Трое, четверо... а с Ванечкой пятеро... О-о-о... — Она глядела вокруг и поверить не могла, что в этих тесных и низких земляных стенах, под этим жалким кровом когда-то жила она и росла.

— А как вошли мы сюда, — вспомнила мать, — ты уж забыла? Как кинулась мне на шею, говоришь: лучше нашего домика на свете нету, мамочка. Не помнишь?

— Не знаю... Забыла... Да нет, помню, как мы входили... Тыквы у нас еще много было, желтой такой. Везде накатано.

— Точно. Хорошо в тот год тыква уродилась. После никогда такой не было, сколько сажала. Може, на мою кровать ляжешь? Я же привычная.

— Ложись, мама, на свою. Я и здесь.

Улеглись и потушили свет. И лишь тогда, в темноте, спросила баба Поля:

— Вы взаправди надумали здесь строиться? Или смеетесь...

— Ты чего?.. Какой смех. Мы еще в тот раз, когда были, прикидывали.

— А чего мне не сказались?

— Зачем раньше времени трезвонить? Сейчас, знаешь, жизнь какая. Одно надумаешь, а получается...

— Значит, взаправди, — поверила баба Поля. — Ну что ж, вам здесь неплохо будет.

Они полежали молча, и баба Поля, зная, что дочь не спит, сказала:

— А я было хатами поменялась. Приходил тут человек.

— На что же он менял?

— На свой флигель. Добрый флигелек, шелеванный. Земли там, правда, мало. Еще в додачу денег давал, — горделиво сказала баба Поля. — Аж две тыщи...

— Чего ж не поменялась?

— Да вот не схотела. Раздумалась... Привыкла к своему углу, к соседям. И могилка здесь Ванечкина. Не схоте́ла. И я так планую, можа, не ломать мою хату вовсе. Вы рядом построитесь, земли хватит. А я уж по-старому. Базы да сараюшки можно поломать, срам один. А мой домик оставить.

— Ты чего это? — недоуменно спросила дочь, и слышно было, как кровать ее скрипнула. — Ты чего придумываешь? Места, что ли, не хватит?

— Да знаешь, доча, счас жизня какая пошла... Може, и мы, старые, виноваты. Но вот многие не уживаются. Ругня идет, нелады. А то бы я при своем домке жила да жила. Вам бы помогала, чем могла, а спать бы уж здесь. Сюда немного топки идет. Може, так лучше?

Снова скрипнула кровать, поднялась Мария и, найдя светлеющий проем между столом и печкой, вошла в материнскую комнату, нашла постель ее, рядом присела.

— Что с тобой? — спросила она. — Чего ты выдумываешь? Гляди, Федору не скажи. Он так уважает тебя. Меня если хочет укорить, то первые слова: «Ну нет, ты не в мать Полину». Чего нам с тобой не ужиться? Раньше, слава богу, уживались, а теперь... Сделаем отдельную тебе комнату, чтоб покойно было. Чего нам делить? Мы уж тоже не моло-денькие. Так что не выдумывай, мама.

Долгий вздох был ей ответом. И не могла понять Мария, что в этом вздохе: вера в слова ее или все та же печаль. Спокойнее было подумать первое. Да и вправду, чего было горевать. Но вдруг новая мысль пришла в голову Марии, и она ахнула:

— Ма-ама... Ты о Ванечке, о могилке?.. Да? Ну, давай перенесем ее, а? Выкопаем, так ведь делают. На кладбище похороним, возле папы. Памятник поставим хороший. Давай, мама? Завтра Феде скажем и всё сделаем.

— Не надо. Ничего не надо. Он уже здеся прижился. Он нас не осудит. Я с ним нады говорила.

— С кем, мама? — испуганно спросила Мария.

— С кем, с кем... Да с ним. Во сне он ко мне приходил. Хорошо мы так поговорили. Я ему загадывала, вдруг, говорю, домок себе надумаю делать, а ты как раз посеред двора. А он говорит, ну и с богом, ну и стройся. Я не помешаю. Чужим только, говорит, меня людям не отдавайте. А с вами я буду... Хорошо так поговорили... — почти шепотом и более для себя, счастливо вспоминая, проговорила баба Поля и замолчала вовсе.

Мария пошла к себе и скоро заснула.

Баба Поля же почти не спала, долго лежала и поднялась до свету. Вовремя завтрак сготовила. И когда зять Федор уселся за стол, первым делом спросила его:

— Вы точно надумали строиться или еще прикидываете?

— Точно, мать Полина. Чего лучшего искать.

— А когда начинать думаете?

— Надо начинать. Вам же Олег вчера показывал план.

— Чего об этом зря воду лить, дите есть дите. А я тебя серьезно спрашиваю.

— А я серьезно и говорю, надо начинать. Вот справа, здесь, дом.

— Прям на картошке? Она уже цветет.

— Чего ж делать? Ждать картошку, а потом зимой строиться?

— Никогда-то вы по-умному не сделаете, — в сердцах проговорила баба Поля. — Нет чтобы упредить. Семена бы не тратила, не надрывалася. О-о, господи... — поглядела

она на пышную зеленую ботву с фиолетовым цветом. И казалось бабе Поле, что никогда еще так хорошо не поднималась картошка, как нынче, и урожай она сулила невиданный. А теперь всему пропадать. Но тут мысли ее перекинулись к иному.

— Мария говорит, мою хату ломать, а я думаю, ни к чему эта спешка. Зачем? Дом домом, а мою хату вместо летней кухни оставить можно, — горячо убеждала она. — Мазанка крепкая, глина хорошая была, и лепила я ее хорошо, на руках выкатывала. Стоять ей да стоять. Чего зря деньги губить. Дом поставите, и моя хата не помешает, сколь простоит — и слава богу. Денежки целей будут. Она еще — о-о-о, многих переживет, — убеждала баба Поля.

Федор слушал ее, слушал, потом мягко сказал:

— Нет, мать Полина, давай уж одним махом. И дом, и летнюю кухню на месте хаты твоей. Чтоб уж все до дела. Сразу и материал брать, и людей, мастеров, нанимать не десять раз. Сразу в одно лето отстроимся, и потом голове не болеть. Сама подумай, хорошо ли будет: один год — стройка, другой год — опять канитель. Сразу-то легче и дешевле, согласись.

—Конечно, сразу оно... Ну, гляди, ты — мужик, хозяин, тебе видней.

— Вот и правильно, мать Полина. Ты не горюй, не горюй, не жалей. Все будет хорошо.

— Как же мне не жалеть! Ведь не дареное... Все руками вот этими... Везде сила положоная. Как ее не жалеть...

Федору жаль было старуху, но нечем было ее утешить, и он сказал:

— Что же делать, мать... Жизнь, жизнь...

— Жизня, жизня... — согласно ответила баба Поля и более разговоров об этом не заводила. Чего говорить о решенном.

Тем более что зять Федор с первого дня за дело крепко взялся, и негоже было у него под ногами путаться.

Уже через неделю во дворе словно цыганский табор поселился: большая палатка стояла для жилья, у забора высились ровно сложенные штабели кирпича, лесу, надежно укрытые мешки цемента, груды песка, глины. Да уж забора-

то почти не было. Пара звенок осталась, остальной убрали. Придавили бревнами, примяли смородиновые кусты. Хорошо хоть добрую не тронули, пахучую. И баба Поля этот куст выкопала и унесла подальше в огород, посадила. Хоть и не время, да все целой останется.

Но забор да смородина — все это мелочь, начало лишь. Все пустое перед страшным завтрашним днем, когда появится трактор, чтобы ямы для подвала выкопать и гаража, канавы фундамента, и заодно и смести со двора мазанку.

Баба Поля с утра поднялась угрюмой. Но не о мазанке, о доме своем, не о сыновьем тополе, которому тоже лишь день остался, не об этом почему-то думалось. Болела душа о картошке. Баба Поля ходила вокруг нее, глядела, рвала себе сердце.

В колено уже поднялась и дружно цвела картошка. Немного бы погодить, хоть недельки две, и рыть можно молодую картошечку. Ходила баба Поля, ходила и наконец не вытерпела, взяла лопату и ведро и начала копать.

Словно по живому резала, копала куст за кустом, обдирала белые грозди мелкой, в горошину, картошки, бросала их в ведро горсть за горстью. Рядка два вырыла, когда Мария к ней подошла.

— Ну, чего ты, мама, делаешь? Зачем?

— Хоть чуток, да нарою. Все не пропадет. Курям скормлю, — упрямо отрезала мать, не поднимая к дочери головы.

Дочь молча отошла. И хоть слова она не сказала, но баба Поля вслед ей со слезой выкрикнула:

— Я ее сажала, такую расхорошую. Сажала, чуть не померла, а теперь кидать!

Дочь ушла, ничего не ответила. А следом, немного погодя, объявился зять Федор. Вошел он во двор и, конечно, сразу направился к бабе Поле. В ведро заглянул, куст-другой отряхнул за лопатой и сказал:

— Ни к чему, мать Полина. Брось, переживем. Только надорвешься.

— Не надорвуся, — ответила баба Поля и запричитала со слезой: — Да ты глянь, чего делается! Какая расхорошая картошечка удалася! Да я сроду такой не видала! Счас бы полить ее хорошо и через неделю... — схитрила она, —

через неделю на базар. Да ее с руками по рублю килограмм оторвут. Озолотимся!

— А строиться будем зимой? Так? — спросил Федор.

Баба Поля сразу отрезвела, подняла к зятю виноватое лицо, сказала:

— Да понимаю я... А вот... Делай все как надумал, я не перечу. А меня не трожьте. Я ее все одно не брошу, вырою. Курям можно запаривать. А може, поросеночка заведем, — обрадовалась она. — Он все подберет. Да, може, в каких кустах подошла. Синеглазку я вон там сажала, у лапотников брала. Она быстро подходит. Так что делай, с богом, свои дела, а я уж сама...

Ушел и зять Федор. А баба Поля копала и копала, куст за кустом. «Ишь какие, — думала она, — ничего не надо. Все брось да все кинь. Привыкли на севере на своем деньгами раскидывать. Здесь вы быстро прокидаетесь. Дай волю, все на дым пустите. Богачи...»

«А вот богачи, богачи, — со злорадством припомнила она, — а цемент ворованный купили, подешевле. Впотьмах привезли да все быстрей, быстрей... А картошку брось... А по мне лучше мало, да честно, — отходила душой баба Поля. — Медное, да свое. Чтоб потом не оглядаться да не полохаться: ой, не меня ли ищут, да не меня ли ловят, а спокойненько по ночам спать. Вот так-то оно лучше, — думала баба Поля, — по-божески, по-человечески...»

Так она хорошо и спокойно, по-молодому, без отдыха, работала до самого полудня, как вдруг в единый миг поняла, что делает пустое. И оставила баба Поля в борозде и ведро, и лопату, кинула все, не прибрав, пусть пропадает. Пошла в свою пустую уже хатенку, дверь за собой прикрыла.

Большой и просторной показалась ей пустая хата. Просторной, светлой и такой доброй для житья, что чуть было не кинулась баба Поля дочку звать и Федора. Идите, мол, поглядите, не с ума ли мы сходим, собираемся такую хату зорить. Но вовремя остановила себя баба Поля. Вернулась в сенцы, заперла дверь, чтоб никто не входил, и пробыла там одна, сколько надо было, чтобы с хатой проститься и помолиться в ней в последний раз. А помолившись, сняла

теперь ненужную икону, в платок ее завязала и, выйдя во двор, объявила своим:

— Я к Михеевне уйду на два дня. Пока вы здесь ломаете. Не можется мне глядеть.

Но прежде чем идти в долгий путь, к Михеевне, на другую сторону поселка, баба Поля решила поужинать. И так хорошо она щей похлебала, целую миску да еще корец подлила. Голод какой-то напал. А наелась, сразу в сон кинуло. Отяжелела голова, руки-ноги чужими сделались. За столом бы и заснула.

С трудом добралась баба Поля до мазанки, кинула на пол фуфайчонку и прилегла отдохнуть. Прилегла и как провалилась. Но тут же проснулась от темного, душившего ее страха. Даже горло перехватило от ужаса, от предстоящей беды. И баба Поля с трудом дохнула, поднялась и вновь легла. Но страх, осязаемый страх, предчувствие какой-то подступающей, неминучей беды холодил душу. Что-то должно было случиться.

Баба Поля вдруг ясно поняла, что беды не миновать. Видно, родилась она с грехом, и с рождения положил ей Бог не иметь доброго угла. Первый мамочкин, забрал до сроку, даже не показав. Не дал и на второй порадоваться, тот, что с Алещей построили. Не отступится и теперь. Не будет нового дома, не будет. Пожар ли, войну ли нашлет, даве уж война была, даве, даве... Но дома не будет.

И больней больного было то, что за ее неведомые грехи пострадают дети: Маруся, Федор, внучек Олег. Она, она во всем виновата, и дом-то ведь не нужен ей, скоро помирать. А накажет Господь ее детей, которым жить да жить, жить да радоваться.

И о смерти, вначале робко, но о смерти подумала баба Поля.

Как хорошо было бы сейчас умереть. Пусть заберет ее Бог и как хочет карает, его воля, но пусть не тронет детей ее. Пусть они дом построят и живут в нем хорошо. А ее пусть Господь приберет, пускай даже в ад, она все вытерпит. Но пусть не тронет детей.

И эта мысль была так хороша, так умна, так разом все расставляла по-хорошему, что баба Поля принялась про-

сить Бога о смерти. Шептала она про себя горячие слова, молила. Потом к родным своим обратилась за помощью, чтобы они подсобили.

«Мамочка, хоть бы меня Господь прибрал... Я по тебе наскучала, мамочка. Сколь мы с тобой не видалися, попроси, мамочка, Господа... Ванечка, ты — ангельская душа, ты к Господу близко, замолви за меня доброе слово, сыночек. Алеша, и ты попроси. Може, вас вместе Господь и послухает...»

Так в немых молитвах и просьбах заснула старая женщина, все же взял ее сон. И сразу, только что заснув, увидела она, что идет по дороге, по чистому, ровному полю. Идет, и конец пути уже близок: посреди чистого поля стоит маленькая хатка. А у порога встречает ее мать. Встречает, улыбается, говорит:

— Полюшка, доченька моя, слава богу, дождалась я тебя. Уж как мы с тобой расхорошо заживем. Хатка у нас есть. Маленькая, но хорошая. Две коечки помещаются, твоя и моя, и столик. Такая теплая хатка. Иди скорее, ро́димая моя дочушка. Полюшка моя желанная.

А рядом, возле хатки, возле крылечка, кто там плещет ручонками ли, тонкими ли ветвями...

Поля прибавляет шаг, и слезы радости уже теплят ее лицо. И боль подступает, сладкая желанная боль встречи...

Сейчас, сейчас они встретятся.

ЧЕЛЯДИНСКИЙ ЗЯТЬ

1

Полуденный субботний автобус ждали всем хутором. Ко времени его прихода выглядывали на улицу, издали угадывая звук. Выбегали за ворота, а то и на выгон шли, к амбарам, встречая жданных и нежданных. По субботам хутор, словно старая мать, нетерпеливо ждал дорогих детей своих, внуков на короткий воскресный побыв.

Ярко-желтый кургузый автобусик, подкатив, треснул дверцами, словно спелый стручок, высыпая на дорогу

людей; остальных он повез вилючей дорогой к иным хуторам: Вихляевскому, Деминскому, Большой Головке тож.

У железного столбика автобусной остановки быстро откипела шумная ярмарка встреч с поцелуями, слезами и смехом, и разом разбежался народ, словно вода по капустному листу.

На придорожье, на бугре, где ржавели краснобокие сеялки, культиваторы и прочий негожий снаряд, остался лишь один пассажир — высокий нестарый мужик в короткой стрижке, с новым чемоданчиком в руках. Его никто не встретил, а главное, никто не признал. Разошелся народ. Мужик опустил чемодан на землю и, не спеша закурив, стал оглядывать место, куда принес его бог.

Старинные бревенчатые амбары стояли рядом на пустыре, а хутор, дома его чуть поодаль тянулись прихотливой дугой, обнимая и этот пустырь, и амбары. Дома располагались над речкою, и высокие, развесистые вербы указывали путь ее. Дальше кудрявился лесок ли, займище. В другие стороны открывались поля и поля. Сейчас, в июньском полудне, они ясно зеленели, желтели, отдавали розовым и фиолетовой чернью, уплывая до самого горизонта. И пусто было в полях, безлюдно и тихо. Стрекотали кузнечики, легко шелестело подступающее к ногам пшеничное поле, безмолвная большая птица лениво кружила в пустынном небе, тоже одна.

Приезжему сделалось не по себе. После людных и шумных мест, где пришлось ему обретаться, одиночество тяготило и настораживало.

Из-за амбаров вывернулся известный на хуторе Тимофей Иванович. Он спешил к автобусу в надежде кого-нибудь встретить, но припоздал. Угадав в приезжем нездешнего и недолго понаблюдав за ним, Тимофей Иванович решительно подошел и сказал:

— Ты, с-случаем, не ш-шпион? Раз-глядываешь наши секреты.

Приезжий оглядел Тимофея Ивановича, по лику и стати разом поняв, что это за птица, и спросил:

— Это какие же у вас секреты?

— М-магазин, например, — прозрачно намекнул Тимофей Иванович. — Могу указать.

— Обойдусь без магазина. Ты мне скажи, где у вас Челядины живут.

— Смотря какие...

— Что же, у вас много Челядиных?

— Навалом. Мишка Челядин, Фетинья — бабка, самогон у нее п-поганый, Клавдия, — загибал палец за пальцем Тимофей Иванович.

— Погоди, — остановил его приезжий. — Ты так дотемна будешь считать. Раиса мне нужна Челядина. Есть такая?

Тимофей Иванович мгновенно все понял. От волнения он не мог сразу слова промолвить, губами почмокивал и таращил глаза. Потом справился и перестал заикаться.

— Это ты, значит, Раисин заочник? Из этой, как ее...

— Из нее, — подтвердил приезжий.

— Вот ты и приехал! — обрадованно всплеснул руками Тимофей Иванович, и темный лик его как-то даже просветлел.

— А ты откуда знаешь? Родня, что ли?

— Мы тута все родня. Сейчас я тебя поведу, сейчас все будет. Встретим тебя как положено, — заторопился Тимофей Иванович, предвкушая добрую выпивку. — Моя теща, она твоей теще, Мартиновне, доводится сеструшкой двоюродной. Так что мы с тобой теперь... Я тоже сутки сидел два раза на станции. Один раз Шураня законопатила...

— Ну ладно, дядя, — остудил его приезжий. — Я такую родню знаешь где видал? Покажи и шагай куда шел. Ясно?

Голос был командный, ледяной, нельзя было его не послушать. Тимофей Иванович указал Раисы Челядиной дом, проводил взглядом приезжего, недолго погоревал, а потом понял: потеря невелика. С новостью о том, что к Раисе Челядиной приехал затюремщик — так его на хуторе загодя окрестили, — с этой вестью в любом дворе встретят и стаканчик-другой поднесут. И Тимофей Иванович вертлявой походочкой заспешил к Василисе Амочаевой. Там новости любили.

Приезжий человек, не торопясь, пошел к Раисиному дому, который приманчиво светил белой жестью крыши.

На первый погляд усадьба Челядиных смотрелась справно, хоть и домовничали в ней три вдовы: молодуха Раиса, муж которой помер пять лет назад, Мартиновна — мать ее,

женщина преклонных лет, хоть и крепкая, громкоголосая, и трухлявая бабка Макуня, она последние годы ходила плохо, а все больше дремала да спала, обвыкаясь перед вечным покоем.

Хозяйничали бабы, но дом, поставленный Раисиным покойным мужем, светил оранжевой краскою, ставенки голубели; привалок прошлогоднего сена темнел на забазье, а рядом — нынешнего стожок; пышно зеленел огород, картофельник; возле двора в мутной глубокой луже, напущенной из водопроводной колонки, покрякивал добрый табунок белоперых уток — всё как у людей.

Но пристальный взор разом бы углядел, как пьяно похилился забор-штакетник на подгнивших столбах и чаканом крытая погребица, обнажив жердлявую хребтину, просила рук, из лета в лето зарастал жилистой крапивой обчинок летней кухни, которую хозяин начал, но до ума не довел. Высокая телеантенна заметно кренилась, крылатый ее венец, словно хищная птица, целился в печную трубу. Бабий двор он и есть бабий.

Челядины хозяйничали и жили втроем, отправив детей Раисы к доле иной. Парень учился в городском техникуме при заводе; вовсе далеко, под самую Москву, уехала меньшая дочь, на ткацкую фабрику по вербовке. И теперь в субботние да воскресные дни Челядины никого не ждали, о детях весть приносила почтальонка. Она же доставляла иные письма, от затюремщика, как называли его. Алешка Боровсков, свой непутевый хуторянин, отсиживая немалый срок за магазинную кражу, расхваливал тюремным дружкам хуторских вдовых баб, добро что адреса у них были простые, без улиц и квартир. И потекли на хутор непривычные письма. Первой откликнулась на зов Фаина Чертихина, потом Скуридина. А в округе на добрых мужиков давно уже был недобор, много их спивалось. А жизнь просила свое. Стали и Челядиным письма приходить. Ответно отправляли в тюрьму посылки с харчами. Но надежда была невелика, и думалось о будущем страшновато.

Хотя перед собой и людьми оправдывалась Мартиновна: «Тама всякие бывают. И хорошие. С женой не поладят или начальством — его на кукан. От тюрьмы да от сумы...» С ней

соглашались. Но жутковатое «затюремщик» особо радоваться не давало. Надеялись лишь на Бога и ждали. И вот пробил час.

Во дворе Челядиных, когда подошел к нему приезжий, находились лишь двое старших — Мартиновна да бабка Макуня. В тени спасаясь от солнца, вязала пуховый платок Мартиновна, мать же ее, в теплой кофте усевшись на самом сугреве, сбивала масло в высокой дубовой пахтанке, уцепив стебель мутовки сухими немощными руками.

Приезжий подошел ко двору, увидел сидящих баб и стал их разглядывать, издали угадывая свою заочную подругу. Одна была совсем уж стара, не годилась и другая, хоть в такого рода знакомствах случается всякое: и чужие приглядные фотографии присылают, лишь бы уцепить, а там — бог в помощь.

Пристальный с улицы взгляд почуяла Мартиновна. Она голову подняла от платка, незнакомого человека увидела и спросила громко:

— Либо ищешь кого?

— Ищу, — ответил человек и шагнул ко двору, к забору. — Раиса Челядина не здесь живет?

— Тута... А чего она вам?

Незнакомец открыл калитку, во двор вошел, сказал:

— Константином меня зовут, Костей. А Раиса кто будет?

Женщины разом оставили свои дела, угадав пришедшего. И не столько имя им помогло — у бабки Макуни новой памяти вовсе не было, — они угадали его по чужому обличью, короткой стрижке, неробкому взгляду. Он был вроде из военных: высокий, поджарый, строгий.

— Господи, — поднялась Мартиновна. — Значит, вы... ты, значит... — сбилась она, не зная, как гостя величать. — А Раиса на обеденной дойке у коров. Проходи, проходи, чего посеред двора. Давай твои вещи.

С резвостью, неожиданной для ее большого, грузноватого тела, Мартиновна чемодан унесла на крыльцо и притащила стул, поставив его в тени.

— Садись, садись... Передохни. А Раиса скоро подойдет. На дойке. Во-он слыхать, доят.

В хуторской тиши явственно слышен был негромкий зуд компрессора, что доносился от летнего лагеря, от плотины.

— Чего попьешь? Компотцу или молочка? Кислого, пресного? Может, закусить желаешь?

— Закусывать будем потом, когда Раиса придет. А молочка бы неплохо, — голос приезжего помягчел.

Пока Мартиновна бегала из дома в погреб, приезжий решил познакомиться с бабкой, которая с его приходом будто обмерла, лишь глаза ее помаргивали. Старуха разменяла девятый десяток, как говорится, доживала век, за дочерью да внучкой не особо бедуя. Покойный Раисин муж иногда во хмелю гонял жену и тещу, старую Макуню не трогал. После смерти его она плакала. Сама вдовея с молодых лет, к дочерниному долгому вдовству привыкнув, Макуня историю с заочным знакомством внучки всерьез не приняла, полагая это баловством, от жиру. И когда соседи при случае спрашивали ее о Раисиных новостях, она отвечала, поджимая губы:

— Овечки глупые, посылки шлют. А он — убивец иль чего украл в магазине. Жених... Да его сроду не выпустят, таковского.

Макуня знала точно, что добрые люди по тюрьмам не сидят, но особо не горевала, полагая умереть до той поры, когда заявится затюремщик.

А теперь он стоял рядом и спрашивал:

— Дышишь, бабушка?

— Дышу, сынок, дышу, — через силу ответила Макуня, боясь голову поднять и поглядеть в страшные глаза.

— А что работаешь?

— Масло пахтаю.

Приезжий вынул из сухих бабкиных рук высокую бочечку пахтанки в темных обручах, поднял крышку, дырчатую веселку, внимательно оглядывая снасть, отпил из пахтанки кисловатой сметаны, чмокая губами.

«Полпахтанки зараз выдул, — рассказывала потом Макуня соседским старухам. — Глоть да глоть, губищами чмок да чмок».

— Сколько ж тебе, бабушка, лет?

— Много... — ответила Макуня.

— А все работаешь, помогаешь?

— Стараюсь.

— Ну старайся, отрабатывай харчи.

Макуня хоть и отвечала в лад, но ничего уразуметь не могла. Лишь последнее ударило в голову — «работай...» и про харчи. Показалось, будто упрекнул приезжий ее и работать велел. Уцепив руками веселку, Макуня по-молодому зашлепала ею. Руки скоро начали неметь, пот прошиб, но страх был сильнее.

Мартиновна наскоро собрала на стол: молоко да яйца.

— Перекуси, перекуси, пока туда да сюда.

Она уселась против гостя, глядя, как ловко тот управляется с яйцами, хлебом да молоком. Руки у мужика были крупные, пальцы сильные, с круглыми, словно ореховая скорлупа, ногтями. А зубы не свои, железные, но работал он ими исправно, острый кадык ходил энергично туда-сюда. И глядя на эти ручищи, на крепкую шею, на всю могучую стать, Мартиновна затосковала. «Документ бы проверить... — думалось ей. — Может, это вовсе не тот, какой писал, а вовсе другой, бугаина...»

Все знала, сама к Боровским ходила, письма читала, глядела фотографию, но казался ей издали этот человек не страшным. Писал, что сидит за пустое, люди подвели. Заранее утешала себя: «Всякие в тюрьме...» Но теперь по взгляду, по могуте, по ухватке поняла: не зазря сидел, посадили за дело.

Хотелось проверить документ, но как... Может, позвать бригадира? Казалось Мартиновне, что иной, подставленный и оттого страшный человек пришел в ее дом.

Приезжий, не чинясь, съел все поданное, закурил.

— Может, на речку сходишь? — предложила Мартиновна. — Тут близочко, в низах за огородом.

— Неплохо прохладиться, — оживился приезжий.

Мартиновна полотенце вынесла, указала тропку, а когда скрылся гость за деревьями, она, отбрасывая притворство, кинулась к бабке Макуне:

— Мама, мама... Как он, на твой погляд? Ты много жила, повидала...

Макуня, без устали пахтавшая масло, лишь теперь опомнилась, бросила веселку и проговорила шепотом:

— Чистый затюремщик. Кабы он нас не поджег. Надо спички похоронить и людей упредить.

Мартиновна лишь махнула рукой, минуту-другую посидела, обдумалась и пошла в дом. Пока гость ушел, она собрала в узелок деньги, Раисино кольцо да сережки, сберегательную книжку, новенькие паспорта, лишь недавно полученные, и отнесла к соседке на всякий случай. А лишь потом принялась к обеду готовиться. Как-никак в доме был гость, весть о котором уже пошла гулять по хутору вместе с досужим Тимофеем Ивановичем и докатилась до Раисы.

В летнем лагере над плотиной у пруда кончали дойку. Стадо черно-пестрых тяжелых коров уже прошло через доильные станки и на просторном базу, у яслей, похрумкивало сочной зеленой люцерной. Последних коров додаивали, последние молочные фляги тащили к машине-молоковозу.

От хутора по дороге подкатил к летнему лагерю Амочаев мальчонка, ерзая в раме великого ему велосипеда. Останавливаться он не стал, сделал круг перед машиной и доильными станками и выкрикнул громко:

— Тетка Раиса! Бабаня велела переказать: к тебе жених приехал из тюрьмы!

Крикнул и, завернув, снова покатил на хутор той же дорогой. Велосипед под ним вилял, велик он был для мальчонки.

Конечно, новость услыхали все: и Раиса Челядина, и другие доярки, и шофер молоковоза, и зоотехник — тушистый молодой мужик, к каждой дойке приезжавший на собственном красном «Москвиче».

Услыхав новость, Раиса обмерла. Кое-как додоив и выпустив из станка последнюю коровку, она поглядела вокруг, словно проверяя, все ли слыхали; поглядела, убедилась, и яркая краска стыда кинулась в лицо, даже слезы подступили.

Раиса Челядина родилась здесь, на хуторе, возрастала возле матери своей, Мартиновны, бабы очень неробкой, мужиковатой. Но иная кровь превозмогла. Раиса и статью была не в мать: худощава, подбориста, лицом белява — ступала по земле, словно аккуратная белая курочка. А уж характером и вовсе... Мать ее могла любого перешуметь. Раиса с малых лет росла тихомолом, замуж пошла — отдалась в чужие руки и волю, овдовев — снова мать во всем слушалась. Такая уродилась.

И теперь ей было стыдно, срамно. Смеялся шофер молоковоза:

— Невеста, тащи скорей молоко! Тебе жениться, а мне — работа!

Улыбался зоотехник. Бабы спешили высказаться:

— Раиса, взаправду, что ль? А молчишь?

— Да не видала я никого.

— Значит, с автобусом прибыл. Амочаевы, они чисто все знают.

— Ты беги. Мы уж доделаем.

— Куда бежать?

— Как куда... Встрень человека.

— Там мама да бабаня встренут.

— Ба-ба-аня... — передразнили ее. — Он на бабаню, что ль, приехал глядеть? А то разинешь рот, жениха и уведет Нинка Сытилина.

Раиса в ответ лишь вздохнула и понесла тяжелую флягу к машине. Потом заторопилась, быстро-быстро доильный аппарат помыла и фляги, бабы поняли ее, отошли. Но Раиса спешила не домой. Ей хотелось быстрее уйти отсюда и к дому ехать одной, чтобы опамятоваться, подумать.

Закончив дела, она села на велосипед, закрутила педалями, но отъехав, сбавила ход и дальней дорогой, в объезд, через плотину, через луг, медленно покатила. К чему спешить? Что судьба уготовила — того не минешь. Но доброе ли впереди, как знать.

Историю с перепиской и заочным знакомством затеяла мать. У самой Раисы не хватило бы смелости. Адрес добыла мать, но писала, конечно, Раиса. Фотокарточку отослала, получила ответную, собирала посылки. Тянулось дело...

За глаза, по письмам Раисе будто нравился человек. С фотокарточки глядел нестарый, приглядный мужчина, несколько, правда, суровый на вид. Но до улыбок ли там! Раиса заочника жалела, думала о нем по-доброму. И для себя хотелось жизни. Вдовья судьба несладка. А веку — сорока нет, жить да жить.

Без мужа провела Раиса пять лет. При нем — покойнике, — хоть и забурунном, как-то складывалось все не видя: словно сами собой приходили дрова, сено, уголь, зерно.

Потихоньку новый дом вырос. А ушел он, и в бабьих руках, пусть и работящих, сквозь пальцы текло. За пять лет летнюю кухонку и ту не могли поставить. Да что кухня... Коридор к дому дед Архип все лето лепил, вышло курам на смех — какая-то скворечня. А денежки взял.

А для души, для сердца — без дружечки какая боль... Милая на лицо и нравом, словно трава покорная, Раиса мужиков манила. Липли к ней и свои, женатые, и чужие. От своих она отстранялась, жен совестясь. С чужими иной раз сходилась. Лето прожила с заезжим шофером, другое — с командированным веттехником. И тот и другой обещали серьезное. Она слабо верила, но поддавалась. Слова обманные пила, словно мед, отзываясь на них бабьей лаской. Обещали многое... Но по правде случайные ее дружки и сама она словно игрались в игру, у тех были семьи и дети, у Раисы двое на шее висели да мать с бабкою. И о чем тут речь... Но словно перед собой и людьми они оправдывались серьезным загадом наперед.

Сватались за Раису местные, но все — люди нестоящие, горькая пьянь, каких жены прогнали.

Словом, в пятилетнем вдовстве сладкого было мало, и потому так хотелось хорошего впереди.

Дорога, которой Раиса поехала, вела за речку, за вербовую урему, потом просторным лугом, который раскинулся широко: от горы Бычок до Ярыженского хутора, до песков Ярыженских и, считай, до леса на Бузулуке. Теперь в летнем полудне после доброй весны с дождями луговина сочно зеленела и простые цветы ее — алый клеверок, белые кашки, желтяк — пестрели по зелени, уходя вдаль и вдаль.

Дорога вела околесом, но приходила на хутор. Пора было прибиваться к дому, там ждали.

По хутору Раиса катила быстро и опустив глаза, ей казалось, что в каждом дворе уже знают все и судят.

А той порою в низах челядинской усадьбы над речкою обживался гость ли, новый ли хозяин.

Тропка, которую указала Мартиновна, вела межой по огороду, где лишь распускали плети поздние огурцы, стрельчатый лук стоял в колено, цвел горох. Приезжий поискал огурчик, не нашел, выдернул белохвостую редиску, обтер

ее, похрумтел. На гороховой грядке в зеленой гущине набрал горсть стручков и на ходу шелушил их, выбирая губами молодые сладкие горошины. За огородом начинался старый сад с непролазным вишенником, колючими тернами, корявыми яблонями и старой грушей-дулиной с могучей высокой кроной.

Сойдя с тропы, приезжий стал пробираться через садовую гущину, словно птица небесная пробуя все подряд: кислые яблоки, жесткие груши, красные уже вишни. На обережье, подле воды, на садовой опушке сыскал он земляничную крохотную поляну, она цвела белым и алела спелыми пахучими ягодами. Приезжий лег на теплую землю, лениво щипал ягодки, погружаясь в покойную дрему.

Спать не хотелось, да он и не заснул бы сейчас. Через смеженные ресницы виделось все: синее небо, длинные косы вербовых ветвей над текучей водой, плоские листья кувшинок по водной зыби, алые и синие стрекозы, шурша крыльями, летали и садились подле самого лица на сухие былинки, неведомые птицы пересвистывались и пели рядом.

После долгой неволи, серой барачной жизни, скудной на радости, теперь вдруг нахлынуло все разом: столько зелени не видал он много лет, такое просторное небо, такая тишина, и в ней лишь птичье пенье да голос ветра в легкой листве — детство вспомнилось, пионерский лагерь. Но память прошлого была короткой и быстро ушла, ведь рядом был день сегодняшний, ослепительно яркий.

Подойдя к речке, он уселся на берегу, глазом вымеривая ширину и глубь. В годы прошлые, вольные он любил порыбачить, ухой побаловать на природе. Это было давно, но помнилось, и теперь колыхнулась память.

Шесть лет отсидел в колонии челядинский гость. И зря Мартиновна сомневалась, он был тот самый, что писал и фотографии слал, и звали его Костей — все правда.

Тридцать пять годков Косте стукнуло, из них восемь отсидел он в неволе. Сначала по молодости, по глупости короткий срок, теперь подлинней и за дело. Вырос он в городе, имел двоих детей и жену в заводской двухкомнатной квартире и профессию токаря на том же заводе. Токар-

ное ремесло ему опостылело давно, к жене и детям он не спешил, тем более что еще несколько лет назад нельзя ему было в городе появляться согласно приговору.

В колонии, на досуге, в раздумьях решил он попытать иную жизнь. К ней и прибыл. Зачин оказался славным: приняли пока хорошо; и это обережье, земляничная поляна, чистая речка, в которой он плавал и нырял, не боясь холодных ключей, а потом лежал на траве, на солнышке, даже от тихого хутора отгороженный глухой чащею старого одичавшего сада. Лишь птицы да ветер в вершинах дерев ласкали слух, да порою плескалась рыба, и шуршало что-то в прибрежных кустах, не пугая.

Начиналось по-доброму. И уже звал его голос Мартиновны, трубный, мужичий голосок, ясно долетавший через огород и сад:

— Константин! Константин!

Имя было непривычное, язык им с трудом владал, и потому как-то странно звучал ее зов, по-чужому.

Дальняя соседка Чигариха, в огороде копаясь и услыхав, стала раздумывать: кого кличет Мартиновна? Ничего не придумала, решила спросить.

Обедали в доме. Константин был человеком все же городским, и потому в горницу носили из кухни лапшу из петуха, вареники, молоко, огородную зелень, яйца, сало.

Позвали на обед Мартиновны племяша, человека бывалого. Тот, наученный теткой, с ходу проверил у Константина справку об освобождении, подтвердив, что все без обману.

Затем сели обедать. Мужики распили бутылку белого вина и сразу породнились, загалдев о рыбалке, охоте. Племяш, правда, в тюрьме не сидел, но прошел огни и воды, ездил на стройки в чужие края. К работе он был не больно горяч, а вот с ружьем баловать да на речке порыбачить имел охоту.

Бабка Макуня, похлебав лапши, разомлела и ушла отдыхать. Мужики выходили курить, галдели. Мать с дочерью переглядывались да переговаривались, оставаясь вдвоем.

— Как он тебе? Глянулся? — спрашивала Мартиновна.

— Не знаю, мама, — пожимала плечами Раиса.

Она и вправду ничего не знала. Увидела, угадала по фотографии и опустила глаза. Здороваясь, почуяла тяжелую муж-

скую силу, сидела рядом, порою касаясь чужого плеча, тепла, и обмирала, пугаясь ли, радуясь, не знала сама.

— Ты его враз соструни, — громким шепотом учила Мартиновна. — Поглядим, мол, что ты за птица. Може, нам и неподходящий. Нам хозяин нужон, чтобы и в поле, и в доме. А то можем и прогнать взашей.

Учила и не верила своим словам. Сидела дочь, словно перепелушка, у крутого мужского плеча. Такая не сострунит, не прогонит.

А новый хозяин за столом не церемонился: пил и ел, петуха умял, говорил громко, уверенно:

— Будем жить... Руки-ноги есть. Голова на плечах. — И уже обнимал жену ли, невесту, ободряя ее. — Будем жить.

Раиса молчала, лишь робко улыбалась, шумно вздыхала.

Мартиновны племяш поддакивал:

— У нас можно жить. Тута у нас, ежели человек неглупый... А там... — И текли рассказы о чужих краях, неприютных. — А если с ружьем да с умом... — Про охоту велась речь, про рыбалку.

Константин, Костя, как звали его теперь, об этом говорил охотно и за столом, и во дворе, когда уходили курить. А Мартиновна дочь пытала:

— Не боишься?.. И как теперь?..

Она гадала, прикидывала, но все уже было решено; сидел за столом высокий, крепкий мужик, похохатывал, сверкая железными зубами, Раису обнимал, обещал: «Будем жить...» Мартиновну тоже ободрял: «Руки-ноги целы... Заживем...»

Обед протянулся долго. Бабка Макуня успела выспаться и снова поднялась. Костя, о гостинце вспомнив, достал из чемодана конфеты — бабам посладиться.

А потом пришло время Раисе на вечернюю дойку идти, и Костя за ней увязался, балагурил там и смеялся, удивляясь, как выстраиваются коровы в очередь к доильным станкам, словно в цирке.

Бабам-дояркам он понравился, и у Раисы от сердца отлегло. Она колготилась у коров, подмывала вымя, массировала да надевала доильные стаканы. Костя фляги с молоком к машине носил. Их тяжесть была ему нипочем.

После дойки пошли домой не впрямую, а над речкою, садами, и вернулись совсем родными. Ночевали в горнице на широкой постели мужем и женой.

Мартиновна всю ночь не спала, за дочь, за себя боясь — за все разом, хоть и унесла к соседям узелок.

А молодые проснулись поутру с легкой душой. Раиса отправилась на работу, Костя до прихода ее зоревал. Перина была высокая, мягкого гусиного пуха, в доме тишина, лишь шелестела губами старая Макуня, творя утреннюю молитву. Помянула она и нового жильца за здравие, по-хорошему.

2

В один из первых дней утром вышел Костя на подворье до пояса голый, крякнул, щурясь на солнышко да на ясную зелень. На плите уже шкворчала яичница с салом, Раиса несла на стол зелень да молоко. А пока она колготилась, Костя поглядел на пошатнувшийся забор и в пять минут поправил его, вогнав две железные трубы стоякам на подмогу. Кувалда в руках его играла легко. Трубы пошли в землю, как в масло. Так же с ходу подтянул он растяжки телевизионной антенны, и она встала, «как стуцер».

Это Челядины, Мартиновна да бабка Макуня, людям хвалились.

— Прямо враз... По ухватке видать — делучий, — гудела Мартиновна. — Взялси, и забор, как стуцер.

— Как стуцер стоит... — подтверждала бабка Макуня.

Что такое «стуцер» ли, «штуцер», никто на хуторе не знал, но понимали, потому что говорили так отцы и деды.

С колхозной работой Костя не спешил.

— Отдохну немного, — сказал он Раисе в первый день и пообещал: — По хозяйству кое-что поправлю.

— Отдохнет... — послушно передала Раиса матери, бабке. — И по хозяйству...

— Нехай отдохнет чуток, — повторила по хутору Мартиновна гулким басом. — По хозяйству у нас много дел. Косить надо, кухню ставить, погреб перекрывать, на базах...

Соседи понимающе кивали. Дел в каждом дворе было невпроворот.

Сколько бы отдыхал Костя, как знать, но в субботу да выходной гуляли у Алифашкиных, встречая сына из армии. Раиса и Константин сидели на первом столе как близкая родня. Тут уж челядинский новый зять всему хутору себя показал и многим пришелся по душе. Он петь умел и сплясать был мастак, не отказывался от рюмки, но голову не терял.

Здесь и углядел его Чапурин, управляющий отделением, по-старинному колхозный бригадир. Знакомясь, они поздоровались, пожимая друг другу руки. А рученьки были что у одного, что у другого — лопатистые. И сами мужики под притолоку, плечо в плечо. Бригадир, правда, был потушистее и старше.

Поздоровались, поговорили о том о сем.

— Работать думаешь? — спросил Чапурин.

— Надо, — коротко ответил Константин.

— Это правильно. До пенсии тебе далеко. Специальность имеешь?

— По моей специальности у вас работы нет.

— Тогда иди паси. Новый гурт молодняка нам дают. Дня через три пригонят. Николай Скуридин и ты. Он болел, а нынче опять берется.

В шумной тесноте двора и застолья отыскали Николая. Он после болезни только отходил, с восковым лицом, худой до невозможности, мослы все наружу.

— Бери напарника, — сказал ему Чапурин.

— Возьмем, — легко согласился Николай. — На коне сидишь?

— Не приходилось, — ответил Костя.

— Ну, не беда. Подберем тебе кобыленку какую посмирней. Трю-юшком. А там обвыкнешься, и в казаки примем.

На том и сговорились.

Скуридин на гулянке и раз-другой к новому напарнику подходил. Он быстро пьянел, после больницы в чем и душа держалась.

— Будем пасти, — говорил он. — Я всю жизнь при скотине. Будем пасти... Кобыленку тебе подберем. Триста рублей гарантия.

Потом его жена увела, никакого. А челядинский зять весь день на гулянке пробыл и ушел на своих ногах.

Дома Раиса и теща его разговор с управом одобрили.

— Хорошая работа... — довольно гудела Мартиновна. — Скотники ныне у Бога за пазухой. Мыслимое дело: то триста рублей, а то и боле...

— Позавтракаешь и пообедаешь горячего, — заботилась Раиса. — В обед отдохнешь. А на другой день — дома. Работают люди.

— Такие зарплаты... — гнула свое Мартиновна.

О деньгах Костино сердце не особо болело. Манила пастьба через день. В другом ремесле — шофером ли, на тракторе, за станком — всю неделю привязанный. А здесь с передыхом.

Через два дня пригнали с центральной усадьбы гурт молодняка. Смирную кобылу для нового скотника подобрали и оборудовали, и дело пошло.

Первые дни, приучая скотину к новому месту, Костя с Николаем пасли вдвоем.

Хуторской луг лежал за речкою, просторно раскинувшись до самого Ярыженского хутора, до песков. Когда-то он заливался вешней водой, теперь плотины мешали. Но и сейчас луг оставался богатым. Нынче весенние дожди да тепло взбодрили траву, она поднялась пышно, хоть коси. Поднялась и цвела простыми цветами луговины.

Два гурта молодняка, дойное стало да хуторские коровы паслись теперь на лугу, иногда забредали козы. Но последние больше любили обретаться на солонцах да песках, похрумкивая сибирьком, полынью, а то и молодой вербой. Вдали у Ярыженского хутора еще два гурта виднелись ясным крапом. Пастись было вольно.

К обеду, когда припекало солнце, в парной духоте, в безветрии звенели над лугом оводы. Заслышав их, скотина тревожилась, стремилась убежать, задирая хвосты.

А с утра пастухам можно и подремать. Бычки идут неторопко, кормясь. Луг просторный, не скоро их заворачивать.

Николай Скуридин дремал на коне. К седлу он уже прикипел за долгие годы. Легкий телом, сутулый, он сжимался комочком и, бросив поводья, подремывал, опуская голову на грудь. Через время вскидывался, глядел на скотину и опять сникал, словно старый коршун на сугреве.

А новый пастух, зять челядинский, на кобыле сидел по-мужичьи, колом, в седле елозил, натирая пах. И все стремился к земле при удобном случае. Там было покойнее. Расстилал он телогрейку, ложился, но не брал его сон. Позвякивал удилами конь, тревожа, муравьи беспокоили, букашки. Костя вскакивал, тряс телогрейку.

— Пыль вытряхиваешь? — спрашивал Николай.

— Кусаются. Еще тарантул заползет.

— Чего это такое?

— Ядовитые пауки.

— Бабы у нас ядовитые, — смеялся Николай. — Но они сюда не доберутся.

Хутор лежал вдали за речкой, за вербовой, садовой гущиной и отсюда казался малым. За хатами его, за кладбищем тянулись поля наизволок, к Вихляевской горе. Просторно было, покойно. Солнце взбиралось круче, припекало.

— Скотины сейчас немного, пасти можно, — говорил Николай. — Лишь поглядывай, чтоб не смешать гурты. Можно пасти. И платят неплохо.

За эти дни Николай с Костей узнали друг о друге все.

— Мы должны по килограмму привеса брать, — убеждал Николай. — Да. Вплоть до килограмма и выше. По такой траве... И хорошо получим. Ты не горься, и алименты заплатишь, и тебе останется.

Поднималось солнце, начинало парить. Скотина чуяла оводов, тревожилась. Кончалась покойная пастьба.

— Может и забзыкать, — говорил Николай. — Задерет хвосты и на баз. Не удержишь. А и удержишь, так кормиться не будет. Как оглашенная бежит, и всё. Головы не опустит. А мы бзыка обманем.

Обступали просторную луговину пологие холмы, рассеченные теклинами и балками. Зеленели холмы травой, хоть и не луговой, в колено, но едовой, сизый полынок, свистуха, чилига, вострец, а местами, в падинках да по отрожьям, вовсе хорошие были попасы.

— Это Батякина балка, Терновая, Козиная падина, Лучка, Каргали, Краснов курган, Веселый, — называл Николай места здешние, им исхоженные вдоль и поперек.

Завернув скотину с луга, погнали ее вверх, уходя из парного душного полудня к свежему степному ветерку.

— И ты так-то всегда, — учил Николай. — Скотина нудится, ты ее на бугры, над балочками, чтоб ветерок обдувал, на ветерок. Одну неделю, положим, Батякиной балкой, потом Терновой, а той — роздых. Не толочи траву. Потом Лычкой, Козинкой.

Поднимались вверх и вверх. Хутор уходил. Сочно зеленела, пестрея, внизу луговина. Темнела обережная гущина, кое-где речка посверкивала. Округа ширилась, открываясь с каждым шагом просторнее, и уже виделся хутор Вихляевский в садах, синело Ильмень-озеро, белели пески, Малые Городбища открывались, Большие, Летник и совсем далеко — Бузулук, скрытый уремным лесом. Словно расступалась земля, забирая у неба новые и новые версты.

Николай Скуридин долго болел, в райцентре в больнице дважды резали его, и не верил никто, что он выживет. Он выжил. И вот теперь сидел на коне. Эти первые дни радовали его возвращением к привычной жизни. Там, на больничной койке, у смерти под крылом, грезилось ему что?.. Ребятишки, жена, хутор, эти места, в которых провел он жизнь. Так хотелось сюда. Рвался хоть и помереть, но дома.

И теперь с новым напарником Николай был разговорчивее обычного.

— У меня-то четверо, — повторял он в который раз. — Врачи говорят — на пенсию. А пенсией семью не продержишь. Работать начну, враз оздоровею.

Он был худ, желтолиц, да еще редко брился. Седая щетина вовсе старила. Это на лицо. А в душе он чуял живость и верил, что теперь от болезни ушел.

Светило солнышко, и живое тело коня будто добавляло свою кровь горячую в человечьи жилы. И чуял Николай, как прибывают силы. Он говорил живее, улыбка теплила лицо.

— А поить будем у Пяти колодцев, у Чурьковых ключей. Я там колодки сделал, трубы повставлял.

И словно виделись Николаю эти места, тенистые, укромные, там и скотине покойно переждать дневной жар и самому пополудновать.

— Летом тута повыгорит... — повел он рукой. — Все погорит дочиста. А мы к лесу будем уходить, в колки. Там такие места есть, я покажу. Молодняк у нас добрый.

Бычки были неплохие, широкие в кости, присадистые. На центральной усадьбе на худых кормах они затощали, но теперь должны были быстро нагулять мяса.

— Хорошие бычки, — хвалил Николай. — Прокормят они и твоих детишек, и моих.

Он был один в семье работник на четверых детей да еще теща с женой. За всеми болезнями с деньгами прожились, жена ругалась.

— Обработаем... детишек... И нам на табачок...

Молодой летний день разгорался, стремясь к полудню. На буграх тянуло полынным ветром, скотина кормилась, шла неторопко. Николай говорил, Костя на часы поглядывал; припекало, морило, тянуло в сон, а время тянулось медленно.

Вдвоем отпасли неделю и стали гонять скотину в черед: день Николай, день Костя, как всегда это водилось.

На челядинском дворе были довольны. Бабка Макуня хвалилась перед соседями:

— С Скуридиным пасет. Теперь обогатеем...

Довольна была и Мартиновна. А Раиса и вовсе. И не столько работой нового мужа, будущими деньгами, сколь им самим. Костя не пьянствовал, не поднимал на нее руку, даже худого слова не молвил — о чем еще мечтать? Теперь лишь одно ее заботило: не ушел бы Костя к старой семье да на хуторе к кому не прилабунился. Раиса и прежде была милой на вид, чистопрятной, теперь она стала лицо беречь от солнца, закрываясь платком по-старинному, по-хуторскому, так, чтобы одни глаза на белый свет глядели. Лицо она берегла, причернивала брови, губы подкрашивала, молоком умывалась.

Костя ж в хуторском своем житье правил медовый месяц. Ему нравилось, что по утрам его никто не тревожит, приходила Раиса с утренней дойки, вместе и дозоревывали.

Дивила его тишина. В доме лишь муха порой пожужжит залетевшая. Да в дальней комнате бабка охнет — и всё. И во дворе словно тоже под крышей: петух пропоет, утки покря-

кают, чей-то голос прозвучит и стихнет — редкий звук разом тает и глохнет среди вольно разбросанных хуторских домов, в зеленой огороже палисадов, левад, густых вишенников, а то и просто крапивы да лопухов выше плетня. Редкий машинный гул где-то там, возле кузни, бригадной конторы, на дороге к грейдеру и вовсе не тронет слух, растворясь в зеленых земных полях да синих небесных.

Лишь гул самолетный иногда повещал, что есть в мире другое. Его Константин хорошо помнил. Завод, улица, семейная толчея в квартире. Лишь порой вырвешься за город, на рыбалку. Поживешь день-другой среди зелени, тишины, над речной водой.

Теперешняя жизнь была похожа на долгую-долгую рыбалку. Все казалось, сейчас она кончится. Просыпался утром — она продолжалась.

И простодушная новая семья нравилась Константину: покорная милая Раиса, мужиковатая мать ее, о бабке что было и речь вести. Разве можно хоть на миг поставить их рядом с прежней семьей! Здесь вбил у забора два кола да антенну поправил, они и рады до смерти.

А в косьбе Костя не преуспел. Махнул два раза косой, увязив носок до обуха, и бросил.

— Дурость, — сказал он. — Люди ракеты запускают, а тут — как при царе Горохе.

И бабы его не осудили: городской — и косили сами. И с летней кухней дела не больно клеились. По утрам Константин неспешно оглядывал бревна обчина, положенные покойным предтечей. Осматривал, задумчиво курил, чесал в затылке, словно мерековал: как тут и с какого конца ловчее начать. И забывал до следующего утра. Заботила его рыбалка.

В первые же дни он проверил свою речку, хуторской и соседний пруды, на теплых ярыженских ериках побывал, на Лесной Панике, на озере. Без рыбы не приходил. Жарили карасей да карпов, ушицу варили. Пошел, правда, говор, что проверяет он чужие сети да верши. Но не пойман — не вор, а охотников чужие грехи считать на хуторе много.

Как-то, осмелившись, Мартиновна сказала зятю:

— Погреб наш распокрымшись стоит. Дожди пойдут...

Погреба на хуторе крыли чаканом. Челядинский давно просил рук. Старая кровля почернела, расползлась, обнажая ребра стропилин.

Костя поглядел на погреб, похмыкал.

— На озере чакан берем, — объяснила Мартиновна. — Тама много. Об лошади надо с управом поговорить. Я сейчас пойду, и мы в четыре руки... — засобиралась она.

Костя ее остановил:

— Самогон есть? — спросил он.

— За лошадь-то? Конюху? Само собой.

— Сегодня понедельник, — прикинул Костя вслух, — строители приехали. Давай две бутылки и сала.

На хуторе поднимала два домика районная стройконтора другой уж год.

Мартиновна не поняла, но послушалась. С сумкой в руках направился Константин к выгону, где домики строились. И спустя полчаса на жестяном листе, словно на санях, приволок шифер. Его тут же на место и определили. Погребица встала на базу ясным белым домиком, радуя глаз.

Мартиновна лишь руками от радости всплескивала да повторяла:

— Теперя наша картошечка... Теперя она...

И виделось ей наперед, как лежит в погребной тьме сухая картошка высоким буртом. Радовалось сердце. Бабка Макуня с порожков качала головой:

— Зимовать можно в погребе.

Радовалась и Раиса: за погреб, за бабку с матерью, за своего мужика. Костя в душе посмеивался.

А когда начал он скотину пасти, то от хозяйских дел и вовсе руки развязались. Понимали домашние — у мужика работа.

В день пастьбы, утром, Костя ходил за лошадью, потом завтракал. Смирная кобыла под седлом дремала у ворот.

Скуридин в обед скотину на хутор не пригонял, он поил ее и держал на стойле, в местах не близких. Он и напарнику внушал:

— С собой набери харчишек. Скотине там лучше. Место укромистое, тенек. Она хорошо отдыхает. А на базах —

солнцепек, нудится скотина. Я всю жизнь на этом деле, я, парень...

Скуридин убеждал горячо. Но Костя с первого дня стал гонять скотину по-своему: обед — значит обед. Гуляк отправлялся на колхозный баз, а пастух — к горячему хлёбову, к отдыху.

Раиса его поддержала.

— Скуридин в обеды не пригоняет, потому что дома его все одно не кормят, — сказала она. — Вот он насухомятку.

Семейные дела всякого дома на хуторе, чужой обиход не держался в секрете.

Поддержала дочь и Мартиновна:

— Конечно, такую страсть... Весь день без горячего. Желудок загубить можно.

И Костя домой приходил обедать, отдыхать. Да и не только он. Другие скотники тоже гоняли скотину на стойло на колхозный баз. Лишь Николай Скуридин делал по-своему. Но на то он и был Скуридин, не кто иной.

Прошла неделя, другая. Скуридин стал замечать, что бычки по утрам его встречают невесело, словно после худой пастьбы: животы подтянуты, глаза мутные, просящий мык. А тут жена с тещей запели. Они колхозной работы сроду не ведали, из двора не выходили, но знали всё.

— Затюремшик челядинский... Люди говорят: до обеда он завтракает, до вечера полуднует, а ты его обрабатываешь. Дурак ты и есть дурак.

Николай не поверил, на хуторе любили и прибрехать, абы уцепиться за что. Не поверил, но решил поглядеть.

Утром, уже не рано — по росе он успел покосить — отзавтракав, пошел Николай к Челядиным. Вся скотина уже давно была на попасе.

Челядинский двор лежал за выгоном, но от Скуридиных его не было видать. Николай пошел улицей вроде к куме Лельке по делам. Еще издали он увидал кобылу под седлом, понуро дремавшую у челядинских ворот.

— Твою мать... — заругался он вслух. — Хоть кобылу бы спрятал, а то и впрямь весь хутор глядит.

Из двора навстречу Николаю вышла Мартиновна.

— Где пастух-то? — спросил Николай.

— Да вроде завтракал...

— Тут уже полудновать пора, а он все завтракает. Подсказала бы...

— Вам раз подскажешь, другой раз не захочешь, — ответила Мартиновна и пошла дальше.

Она ведь и вправду подсказывала. В первые дни, когда зять начал пасти один, она сразу увидела, что он не торопится, и сказала:

— Надо выгонять. С утра самый попас.

— Успеют, наедятся, — отмахнулся зять.

Она сказала в другой раз да в третий. А потом не рада была.

Костя встал перед нею, глаза построжели, и голос словно военный.

— Много говоришь, мать, — цедил он. — Мне скотину доверили? Мне. И ты не суйся во все дырки. Я этого не люблю. Очень не люблю. — Он смотрел ей в глаза, она хотела отвести взгляд, но не могла, страх сковал. — Ты поняла меня? Чтобы я не слыхал. Не люблю повторять.

Потом он ушел, зятек. А Мартиновна долго зябла, не могла отогреться и пожаловалась матери:

— Зятек-то наш...

Макуня ее выслушала, попеняла:

— Приманули сокола... А чего же хотите? Он из тюрьмы. А туда зазря не берут. Он, може, людей резал. Ты уж его не тронь. Може, даст бог, уйдет.

Мартиновна после того долго мучилась: сказать дочери — не сказать. Решила перемолчать. Жалко было единственную. Хоть какой, да мужик и вроде не обижает Раису. Может, и приживется. А что до пастьбы, то нынче немало таких пастухов развелось. Умных.

И потому теперь, встретив Скуридина, она и ответила ему так. Сказала слово и ушла. Пусть меж собой разбираются, на то они мужики.

Костя во дворе налаживал велосипед.

— Ты чего? — спросил Николай.

— Да вот, занялся, — ответил Костя. — Камеру клеил, завтра на озеро.

— Солнце-то где? Когда же скотина будет пастись? Потом овод. Ты, парень, уж как-то...

Скуридину было неловко ругать немолодого уже мужика. Он слов не находил.

— Сейчас погоню, — ответил Костя. — Наестся, трава хорошая.

Он тоже не хотел ругни, особенно здесь, во дворе, и потому поднялся от велосипеда и пошел. Отвязал кобылу, неловко залез на нее и поскакал. Не наметом, но бодрой рысцой. Подкидывало в седле. Оставив Скуридина позади, он перешел на шаг.

Николаевы, так и тещины, укоры были ему в тягость. Теще он дал укорот. Пора было и напарнику ломать рога. Чтобы раз и навсегда понял. Он знал, что откладывать такие дела нельзя.

И потому когда через день в ту же пору подошел Скуридин к челядинскому двору, по-прежнему стояла у ворот оседланная кобылка, ее мухи одолевали. Она махала хвостом, звенела железом удил.

А хозяина во дворе не было. Мартиновна пропалывала картошку.

— Костя где? — спросил Николай. — Заболел, что ли?

— С удочками пошел туда... — махнула Мартиновна рукой. — К речке.

— С удочками? — не поверил Николай.

— С ними, — подтвердила Мартиновна, опуская глаза.

Скуридин стоял и глазами хлопал. От себя, из дома он шел нынче и впрямь лишь к куме Лельке косы отбить, безо всяких проверок, понимая, что теперь его напарник хоть неделю, да вовремя будет скотину выгонять, посовестится укора. А потом глазам не поверил: кобыла стоит у ворот челядинских. Сразу подумалось: заболел. Теперь же, услышав про удочки, Николай минуту-другую приходил в себя, а когда опомнился, то не знал, что делать ему: бежать ли напарника искать в прибрежных кустах или напрямую в контору идти к управляющему.

Подумал и пошел на берег. Вослед ему глядела Мартиновна, горько поджав губы.

Николай не торопился: сладкого впереди было мало, а главное, не мог он ничего понять. Стояла сейчас на базу голодная скотина. Стояла нынче, стояла в прошлые дни.

А этот человек, его напарник, спокойно рыбу удил, велосипед ремонтировал, спал. Николай прожил уже сорок с лишним годков. Дети выросли. Считай, дед. Много пожил он и всяких людей видал. И скотину видал всякую: голодную, недоеную, под открытым небом среди осени, зимы, по брюхо в грязи ли, в снегу. Но чтобы трезвый и в своем уме человек рыбачил, когда скотина от голода ревет, этого он понять не мог. Не мог, и все тут. Чего-то до него не доходило.

Костя сидел на берегу на черном вербовом пне. Когда-то вербу спилили, пенек остался. Удобно сидеть. Скуридина он услыхал издали, не обернулся, но спросил:

— Гнать меня пришел?

В это время поплавок дернулся, распуская по гладкой воде круги. Костя замер, дожидаясь, когда поплавок нырнет, и подсек коротким рывком, почуяв тяжесть рыбы.

Увесистый карасик светил темным золотом, отдавая красниной. Костя снял его, кинул в ведро, где гулял остальной улов. Карасика бросил, смыл с руки слизь, не торопясь вытер ладонь и лишь тогда повернулся.

Скуридин стоял тощий, сутулился, горбатый нос торчал из-под фуражки, тоскливо смотрели глаза.

— Чего надо? — поднялся Костя. — Чего пришел? Нынче ты отдыхаешь.

— Там же скотина. Как тебе не жалко?

— Скотина, — подтвердил Костя. — Скотина там. А мне людей жальче. Тебя, дурака, например.

Он шагнул к Скуридину, и тот по глазам, по оскалу зубов понял: сейчас ударит. Николай хотел защитить больное, резаное, еще живое. Но не успел.

Костя коротко махнул рукой. И не ударил. А Николая уже жиганула боль, он упал, скорчился, минуту-другую приходил в себя. Потом боль ушла, но дышать было трудно, и осталась в голове какая-то дурь. Зеленое, красное плыло перед глазами пятнами.

Костя поднял Скуридина за шиворот, держал его, считай, на весу, в большой лапе. Отпустил лишь тогда, когда понял: будет стоять.

— Не тронул, а ты уж валишься, — сказал он. — А если трону?.. Чего будет? А? Гляди. Заруби на носу. Чтобы я от

тебя слова не слыхал. Я тебя не учу жить, и меня не трожь. Второй раз повторять не буду.

Все было понятно. Николай отдыхивался и не мог взять в толк, трогал его Костя или нет. Вроде не тронул. Он пошел было, но Костя позвал его...

— Погоди...

Николай остановился и через минуту не верил слуху своему и глазам. Костя обнимал его, помогал идти и говорил дружески:

— Тебе лечиться надо, на курорт. А ты изводишь себя. Надо по-человечески: как нравится, так и живи. А другого не трожь, у него, может, свой ум, чужого не просит.

Они прошли по тропке через старый сад, огород, а во дворе Мартиновна удивленно глаза таращила: зятек ее был весел, доволен.

— Зарыбалился, понимаешь, мать. Спасибо, Николай подошел. Время летит. А рыбу — Николаю. Детишки поедят. У нас много.

Он сложил улов в целлофановый пакет, вручил Скуридину. Вместе они и вышли со двора.

— Не люблю я, когда у меня над ухом зудят. Ты меня понял, надеюсь, Коля. Повторять не буду, — сказал за воротами Костя и, забравшись в седло, поехал к скотьим базам.

А Николай у кумы своей Лельки во дворе отыскал старый табак-самосад, растер лист-другой и закурил. Сначала поплыло перед глазами и кашель просек, болючий, отдающий где-то в животе, в резаном. Он долго не курил. Сначала помирал, очухался — не до того было. И врачи запрещали, сказали: помрешь. Но кашель прошел, и стало легче. Яснее думалось, трезвее все понималось. Хотя чего понимать? Все ясно. И теперь, через час почти, ныло в боку и груди, гудело в голове. А ведь и впрямь, наверное, не тронул. Просто испугал. А если тронет? Сила-то бугаиная, и коечему научился в тюрьме. Если тронет — конец. И дети останутся сиротами.

Николай покурил и отправился прямиком к управляющему. Он решил не жаловаться, но про скотину как умолчать? Рано ли, поздно — всплывет. И в чем бычки виноваты? Жаловаться не жаловаться, но надо сказать. И попро-

сить себе другого напарника или самому в другой гурт уйти.

Чапурин находился возле конторы. Сломалась машина, конюх подседлал коня. Чапурин верхом ездил редко, лишь когда хозяйских коров пасли в очередь, раза два или три за лето. В седле он держался не больно ловко, мешали длинные ноги, и тяжеловат был, больше центнера весом. Он уже в седло взгромоздился, слезать не хотел и потому Николая слушал сверху, похмыкивая.

— Ладно, — сказал Чапурин. — Это ты правильно. Надо враз, а то избалуется. Никаких замен, будете пасти. Я его ныне соструню.

Чапурин уже слыхал про челядинского зятя пастьбу, жена говорила.

— Сегодня я с ним погутарю, — пообещал он, трогая коня.

Конь пошел в намет, екая селезенкой. Управляющий такие дела в долгий ящик откладывать не любил и вечером пошел к Челядиным. Во двор он не стал заходить, с улицы крикнул:

— Мартиновна! Зять дома?

— Дома. Пас ныне, отдыхает.

— Покличь.

Возле забора лежала вязовая колода, ошкуренная и обтерханная до блеска за много лет. Чапурин сел на нее. Вышел из двора Константин, потягиваясь и позевывая. За это время на хуторе он заметно поправился, лицо потемнело от солнца, железные зубы ярче светили при улыбке.

— Здорово живешь, казак, — поприветствовал Чапурин, протягивая руку.

И как в первый раз, на гульбе, они померялись силой в рукопожатье. Костя был моложе, сильней. Управляющий хмыкнул:

— Хорошо масло жмешь. А вот скотину пасешь плохо. Поздно выгоняешь, обедаешь долго, рано пригоняешь. — Он поглядел на солнышко, которое садилось. — Свойская только идет с попаса. А твоя когда на базу?

— Виноват, исправлюсь... — с улыбкой сказал Костя.

— Это другое дело, — помягчел управляющий. — Ты мужик в силах, напарник у тебя хороший. Вы можете. И ка-

ких бычков вам дали, геренфордов. На дрожжах будут расти, только паси. И заработки пойдут. Деньги-то нужны?

— Нужны, — ответил Костя. — У тебя деньги есть, ты дом построил вон какой.

Дом управляющего, просторный, шелеванный, крашеный, под шиферной крышей, виден был как на ладони. Чапурин строил его долго, но по-настоящему. До смерти на хуторе жить, а там — наследникам. Словом, навек.

— Хороший дом, — улыбнулся Чапурин. — Не хвалясь скажу. И ты займись строительством. Зарабатывай, расширяйся.

— Не стоит, — ответил Костя. — Такая жара стоит. Строишь-строишь, мучаешься, деньги изведешь. А какой-нибудь дурак спичку бросит, — понизил он голос. — Одна спичка, и нет дома.

Чапурин вскинулся, хотел было рот открыть и замер. В глазах челядинского зятя горел недобрый огонек. «Подожжет», — сразу же поверил Чапурин. И взгляд его метнулся к дому. Садилось солнце в алом пожаре. В стеклах чапуринского дома играл закатный отсвет. На мгновение перехватило дух, потом отпустило. Но холодок в груди не проходил, и ощутимо кольнуло сердце.

— Ты вот ко мне пристаешь, — спокойно сказал Костя. — А другие как пасут? Один запил — не пришел, другой с похмелья. А я не запью. Гарантия. Так что давай жить мирно.

Разговор кончился. Чапурин пошел домой.

Не хотелось о худом думать, а думалось. Сколько денег перевел на этот дом, сколько трудов, нервов... Другого уж не вытянуть, нет. А этому дураку чего стоит... Кинул спичку — и всё. Будет потом сочувствовать, зубы свои железные скалить. Докажи, что это он. Да и посадят его — разве легче? Дома не вернешь.

Опять кольнуло сердце. Чапурин остановился, прислушался к нему. И против воли, но стало думаться о том, что челядинский зять действительно не из худших. Пьет в меру, работать пошел сразу. Есть и почище ахари, зятьки. А с Николаем Скуридиным кому тягаться? Пусть сам ищет себе напарника. А то — управ да управ... Привыкли, как детишки, за управом, а разве он не человек? Разве он лишь бригадир?

Ведь тоже покою хочется, и сердце одно. Хочется до пенсии дотянуть, пожить на покое, садом заняться, рыбалкой. Попробуй тут доживи.

Возле дома, с другой стороны, у ворот сидел на лавочке Николай Скуридин. Вот уж кого не хотелось сейчас Чапурину видеть.

— Сидишь? — спросил он его со вздохом.

— Да вот тебя жду. Думаю, може, ты поговорил.

— Я поговорил, я давно поговорил, — раздражаясь, ответил Чапурин. — У меня только и дел с одним да с другим гутарить. В обедах я говорил, — соврал он. — Потом в правление звонил, советовался. Там прямиком сказали: воспитывайте своими силами. Прикрепляйте наставника и учите. А прогонять никто не разрешит. Так что давай уж как-нибудь. Он — парень неплохой, не алкаш. Разболтался. Обвыкнется. Мне председатель не звонил?! — крикнул он через забор жене. — А главный агроном?! Звонил?! Я тоже его ищу, — уже Скуридину объяснил управляющий. — Заходит уборка, а он...

Николай все понял, поднялся и пошел домой.

На выгоне было шумно. Перейдя плотину, рогатое козье племя на хутор вышло наметом. Потерянно блеяли козлята, орали козы, ребятишки и бабы с криком отбивали свою животину в шайки, искали потерянных, хворостиной гнали норовистых над выгоном, словно ворвалась на хутор не козья, мамайская орда.

Младшие Николаевы дочки, увидев отца, крикнули:

— Папка, корову перевстрень. Козленка одного нет и комолой, будем искать.

— Встрену, — ответил Николай и остался на выгоне.

Коровы приходили позднее, в сумерках. Скуридинская Марта, молокастая, до корма охочая, обычно правилась не впрямую домой, а к амбарам, где меж брошенной, ржавеющей техники росла трава. Николай туда и пошел. Там сел на сиденье старой косилки и ждал.

Козы прошли, хутор сразу притих. Солнце ушло за Вихляевскую гору. Вспыхнули, загорелись алым и розовым высокие перистые облака. «Пёрушки на небе горят — к дождю», — вспомнил Николай покойную бабу Фешу, невольно глянув на кладбище. Давно она там.

Горело небо желтизной, обещая долгую зарю. На хутор от займища потянулись сумерки. А вместе с ними — коровы в теплом облаке мягкой дорожной пыли и терпкого скотьего духа.

Николай увидел свою Марту. Она поглядела на хозяина и опустила голову к траве.

Николай остался сидеть: успеется, долгий вечер. Думалось все о том же: о скотине, о затюремщике, о Челядине — словом, о нынешнем и предстоящем. Нынешний день прошел, завтрашний лежал на ладони: подняться рано утром и пасти допоздна. А вот потом...

У своего двора на теплой вязовой колоде сидел Костя, челядинский зять, ожидая Раису. Ушел бригадир, Костя посмеялся ему вослед. «Как легко их припугнуть... Дети, дети...» Посмеялся — и всё. О другом стало думаться, о завтрашнем. Велосипед на ходу. Забраться куда-нибудь на Лесную Панику и провести там день. Там крупный окунь, черный, горбатый. Ушицу сварить, запечь окуней в чешуе, в горячей золе. Солнце село в бурлящем желтом огне. Алая с желтизной заря разлилась вполнеба. Хутор и вся округа уже покоились в вечерней дреме. Лишь высоко над головой почти невидимый самолет стремился куда-то, тревожа слух и высокое золотое небо.

Так закончился день. Следующий прошел по-задуманному: Костя рыбачил на Лесной Панике, Николай до ночи пас молодняк. Бычки за день наелись хорошо, бока их округлились — любо глядеть.

А потом, ночью, Николай плохо спал. Думалось и думалось. Спал плохо, проснулся затемно и стал собираться. Не его был нынче срок, Костин, но Николай собрался, своим ничего не говоря, хлеба взял, сала и в положенный час выгнал бычков на пастьбу. Кости, конечно, не было, он еще завтракал.

Николай понимал: ругани будет, а может, еще чего. Но он так решил: выгонять, и всё. И нынче, и потом. Потому что скотина не виноватая и семью кормить надо. А еще хоть и слабая надежда, а была: может, совесть прошибет. Должна ведь у человека совесть быть. Пусть зубы у него железные, но душа, как у всех, человечья, живая.

ПАСТУШЬЯ ЗВЕЗДА

1

Поселок был невеликий. Назывался он нынче городом, но, как и в прежние времена, люди строились и жили в своих домах. Лишь на окраине поднимался табунок неказистых кирпичных двухэтажек. Десяток двухэтажных домов, разбитая асфальтовая дорога с редкими автобусами — вот и всё городское.

Тимофей провел в этом поселке, считай, всю жизнь. А за год что могло измениться?..

Приехал он поздно вечером, ночевал у старшей сестры. Она жила одиноко. Долго не спали.

— Братушка... — удивлялась сестра. — Да как же так?.. Нежданно-негаданно...

Тимофей уехал год назад, продал хатенку и подался к сыновьям доживать. Теперь вот вернулся.

— Братушка... — охала сестра. — Может, тебя обидели чем? Ты уж не таись.

— Ничем меня не обидели. Приехал — и всё. На лето. Попасусь. А там...

— Братушка... — качала головой сестра. — Люди скажут, прогнали. Разве людям...

Она и сама не верила, что брат приехал просто так. Уехал ведь навсегда. Прощались. А теперь — вот он.

— А на лицо ты прямо помолодел, — хвалила она. — Сытенький... Гладкий.

Тимофей усмехался. Перевалило ему за пятьдесят. Всю жизнь он пастушил. Степное солнце и ветер много лет палили, сушили его, словно степной карагач на юру.

— Смеись, смеись... — убеждала сестра. — Хорошеликий стал, прямо на завид. Тьфу, тьфу, не сглазить. Погонишь скотину, враз свернешься. Опять будешь как дрючок. Да и чего еще гнать, — спохватилась она.

В прежние времена поселок — тогда еще совсем невеликий — имел четыре стада на четыре конца одних лишь коров. Телят пасли отдельно. Овечек да коз тоже наособь.

Теперь одно малое коровье стадо, голов на полсотни, едва-едва набирали.

— По хуторам поспрошаю. Там скотины поболе, — вслух думал Тимофей.

— Мое дите... — горестно качала головой сестра. — А где жить будешь? Чужие углы отирать? Чего ж там у вас приключилось? Родной сестре не хочешь открыть... — Она заплакала.

Телом полная, в густой седине, на лицо еще приглядная, она была на пять лет старше Тимофея, но вынянчила его девчонкою на своих руках. Теперь она плакала оттого, что случилась беда и брат таит ее, не открывает.

— Чего ты ревешь? — укорил ее Тимофей. — Нет беды, так давай кличь ее. Тебе русским языком говорю: занудился я там. Думаешь, это легко — чужая сторона? Побуду лето.

Он вышел во двор покурить. Все было здесь, как грезилось ему, как мечталось: осколок луны белым камушком лежал на обочине, но на земле и без него было светло, потому что цвели сады.

Весна пришла поздно, а потом накатило тепло и распустилось все разом: вишни, яблони и высокие груши. Теперь было не разобрать, что там цветет в ночи. Да и к чему разбирать? Не все ли одно?.. Белый кипень вставал над землей, серебрясь в луне. Смыкались деревья, что росли перед домом, в палисаднике и в саду. Серые заборы — ненадежный заплот — словно пропали. И сливался весенний цвет от двора ко двору в один белый душистый разлив, бесконечный.

Светила земля, а над ней, отвечая весеннему часу, сияли сады небесные, распуская цветок за цветком и роняя лишние. Там, наверху, было торжественней и краше, чем на земле. Небосвод горел не только белью простой, но играл, маня, волшебным разноцветьем. Там было краше. Краше, но холодней. И никто не бродил под душистыми ветвями, не обрывал весенних цветов. И молодая любовь не смеялась там серебряным девичьим смехом.

Тимофей вернулся в дом. Сестра разбирала постель.

— Так и не скажешь ничего? — с обидой спросила она.

— Ты почему к детям не идешь? — вопросом ответил он ей. — Они же кличут тебя.

Сестра сказала задумчиво:

— Я — баба, хозяйка. А ты — мужик. Хату продать поспешили. Принял бы вдову какую и жил...

Потушили свет и легли. Сестра ворочалась, что-то спросила издали. Но Тимофей уже крепко спал. Последний раз таким глубоким и легким сном спал он год назад здесь же, под этой крышей. Он спал, и снились ему добрые видения из прошлой жизни: молодость, пастушество, малые дети, покойная жена.

Жена болела недолго. А когда приехали сыновья ее хоронить, то и судьбу Тимофея решили одним разом. Бобылем мужику жить неладно, тем более в старости. И хоть был еще Тимофей крепок, стадо пас и зарабатывал хорошие деньги, но пора пришла загадывать наперед. Всю жизнь он пастушил, этим семью содержал, детей поставил на ноги, но добрые люди говорили, что пенсии ему не видать. И теперь, когда жена умерла, решили: хату продать, Тимофею ехать с детьми, селиться у них и пристроиться на какую-нибудь посильную работенку, чтобы хоть малый, да был стаж, а значит, и пенсия.

В подмосковном городе, где жили сыновья, работы было хоть отбавляй. Устроили Тимофея дворником в своих же домах. Работа оказалась нетрудной, на сыновей да невесток жаловаться было грех. Томила лишь скука.

В поселке зимою тоже немного дел. Но день проходит не видя, в малых заботах. Тимофей ходил в магазин, ждал, когда молоко привезут и хлеб, толковал с мужиками да бабами, к сестре ходил новости собирать, по соседям. А вечером собирались в лото и карты играть. Весело, допоздна сидели. У сынов была забава одна — телевизор. Первая программа, вторая, третья. Кино ли, хоккей, что другое, вроде и разное, но Тимофею все казалось на одно лицо.

Он томился, рано ложась в постель. Но спалось ему плохо. Детям он не жаловался, молчал, но за весь год добром так и не выспался. За окном проходила улица, шумели машины. За стенами со всех сторон тоже шумела жизнь: телевизоры, магнитофоны, проигрыватели, топот. Наверху

ругались каждый день допоздна, плакали детишки. Тимофей задремывал, просыпался, лежал, слушал и ждал утра. Спасибо, что по дворницкой работе подниматься приходилось рано: снег убирать, посыпать тротуары. Днем Тимофей додремывал. А ночью мучился.

Когда же пришла весна и грачи, прилетев, стали расхаживать у домов, на обтаявших пригорках, Тимофей и вовсе покой потерял. Он глядел на черных птиц, и казались они ему роднёй. В поселке сейчас солнышко, первая зелень, грачиный гвалт, скворцы заливаются — все вспоминалось, и вовсе сон уходил.

Тимофей терпел, терпел, а потом решился. Не слушая резонов, сговорился он на работе о подмене, добро что дворнику летом райское житье. Сговорился, сел на поезд и теперь был здесь.

Утром проведали покойников — жену да отца с матерью, — посидели на могилках. С кладбища воротились, и Тимофей, не мешкая, собрался в дорогу.

— Пожил бы, передохнул, сколь не виделись... — уговаривала сестра.

Но Тимофей скорее хотел прибиться к делу. Он пошел на автовокзал, где роился хуторской народ в ожидании рейсов. Там обо всем можно узнать, расскажут.

Утро встало весеннее, ясное, а Тимофей одет был в дорогу: телогрейка, ватные брюки, сапоги, а сверху брезентовый плащ с капюшоном, за плечами вещмешок. На автовокзале под развесистыми тополями с редким, еще молодым листом Тимофей уселся на скамейку и огляделся.

Его заметил немолодой кавказец с подбритыми усами. Он прошелся возле Тимофея раз да другой, присел рядом:

— Работу ищешь?

— По скотьему делу, — ответил Тимофей. — Скотину пасу. У вас на хуторе людям пастуха не надо?

Тимофей угадал собеседника по обличью. В округе по хуторам чабанил пришлый народ, занимаясь овцами.

— Пас?

— Всю жизнь.

— Пьешь?

— Не боле, чем ты, — резко ответил Тимофей и отвернулся.

Усач посмеялся высоким, клокочущим смешком и сказал:

— А я много пью. Приходится. Такая жизнь. Ко мне пойдешь пасти овечек? Плачу восемьдесят рублей, на моих харчах.

Теперь засмеялся Тимофей.

— Чего? Мало? А ты сейчас лучше и не найдешь. Люди уже наняли, пасут. Ладно, деловой разговор, напрямую. Начнешь пасти, неделю погляжу. Если можешь, получишь сто двадцать рублей. Кормлю хорошо, есть где спать. Раз в неделю баня, бутылка водки. До зимы. Согласен?

Он, конечно, прав: пастухов на хуторах уже наняли. Хотя как знать... Соблазняла определенность. Не нужно куда-то ехать, расспрашивать, узнавать. Ударил по рукам — и шабаш. Сто двадцать он обещает, еще тридцать набавит. Да на его харчах. Конечно, в последние годы Тимофей зарабатывал много более и сейчас мог бы. Но какой уж день тяготили дорога и неизвестность. Хотелось прибиться к месту.

— Сто пятьдесят — и по рукам, — предложил Тимофей.

— Ты с документами? Паспорт есть?

— Есть.

— Договорились. Сейчас будет машина, поедем.

Ждали недолго. Подкатила белая «Волга». На шоферском месте за рулем сидел чернявый мальчишка. Тимофей удивился, сказал:

— Ты погляди... Сам рулит? Вот это малец!

Хозяин усмехнулся довольно:

— Наследник. Джигит.

Мальчишку Тимофеевы слова оскорбили. Он презрительно поглядел на нового работника, нарочито громко спросил у отца:

— У него вшей нет? А то разведет.

«Сам ты гнида», — хотел было ответить Тимофей, да стерпел. Нанявшись в работники, не стоило с первых шагов ругаться.

Поехали. Завернули к сестре. Тимофей попрощался, не зная, до какой поры, может, до осени.

— Ну и всё... — сказал он хозяину.

Мальчишка сидел за рулем важно, с отцом говорил не по-русски, на своем языке. Остановились у одного магазина, у другого. Мальчик выходил, делал покупки, укладывая их в багажник.

За поселком, у моста через Дон, мальчишка посигналил постовому милиционеру-гаишнику, поднял руку, приветствуя его. Постовой помахал ему в ответ.

Машина загудела натужней, пошла в гору, на мост. Впереди открывалось холмистое Задонье. Позади оставался поселок. Тимофей оглянулся, мелькнула короткая растерянность: как-то быстро случилось все, не зря ли он согласился?.. Но передумывать было поздно. Белая «Волга», легко обгоняя ползущие в гору грузовые машины, поднялась на увал и, свернув, побежала накатанной степной дорогою, старинным шляхом на Клетскую, Усть-Медведицкую и другие хутора и станицы Задонья, вперед и вперед.

Ехали, ехали и наконец свернули с грейдера, и скоро в пологой, стекающей к Дону балке открылся хутор.

Стояли над дорогой дома, цвели сады, могучие груши, разлапистые яблони, вишневая гущина вскипала белым и розовым. А людей не было видно, и разноголосые хуторские дворняги не лаяли, не гнались за машиною вслед.

Близ Дона, на взгорье, остановились возле просторного дома с верандою. Поодаль, на пологом крыле балки, виднелись кирпичные, под шифером скотьи постройки, базы да загоны.

Вышли из машины. Хозяин сказал:

— Бери вещи, пойдем.

Ухватив рюкзак и брезентовый плащ, Тимофей зашагал вослед хозяину от дома через глубокую теклину, заросшую шиповником и цветущей бояркой. За теклиной на просторной, выбитой овечьими копытами пустоши стояли низкие овечьи кошары, базы с крепкой огорожей, ряды железных корыт — поилок, деревянных кормушек. Сбоку, под самой горой, прилепился жилой вагончик на железных сварных санях.

Хозяин подниматься на ступени не стал, показал на левую часть вагончика:

— Там будешь спать. Оставляй вещи. Сейчас покушаешь, поедешь к отаре.

В тесном коридорчике, большую часть которого занимала железная печка, Тимофей отворил левую дверь и очутился в комнатке, где места хватало для двух кроватей да навесного столика.

Тимофей снял ватные брюки, одевшись полегче и телогрейку прихватив, поспешил вослед хозяину, который ушел к дому.

Там, во дворе, под легким навесом у стола и газовой плиты хлопотал мальчик. Он поставил перед Тимофеем шкворчащую жаровню с мясом и картошкою, вареные яйца, молоко, выставил и ушел.

Утром у сестры Тимофей хорошо позавтракал, не зная, придется ли обедать, и теперь есть не хотел. Но впереди был день.

К отаре снова повез его сын хозяина, сменив «Волгу» на юркий «Запорожец». Пробирались едва заметной колеей, а кое-где напрямую, степью. Скоро увидели отару. Она паслась в полгоры на глубокой, к Дону сбегающей балке. Овцы машины не испугались, а вожак отары, большой рогатый козел, поспешил к «Запорожцу» и мальчику.

— Васька, Васька... — потрепал его за холку хозяйский сын. — Молодец, Васька... — И угостил конфетой.

Козел похрумкал, понюхал брошенную на землю обертку и вернулся к отаре. А сверху, с горы, вприпрыжку сбежала к машине молодая женщина. Лицо ее было от солнца и ветра укутано белым платком по-донскому, по-старинному, одни глаза глядели. Женщина сбежала к машине, раскуталась, спросила весело:

— Смена приехала?

Хозяйский сын, словно не видя ее, говорил Тимофею:

— Поить внизу. Рано не пригоняй, овца к вечеру лучше пасется. Да не засни, а то растеряешь, тут волки есть.

Тимофея, человека уже пожившего, пожилого, учил чернявый мальчишка уверенным тоном. Казалось, все это игра и сейчас он озорно рассмеется. Но мальчик не смеялся, говорил наставительно, ровно.

Рассмеялась женщина.

— Лом-Али... Хозяин молодой, — игриво сказала она, покусывая яркие, пухлые губы. — Ты почему мне ни «здравствуй» не сказал, ни «бог помощь»?

Мальчик зыркнул на нее, нахмурился, коротко бросил:

— Поехали. Хватит болтать.

Женщина засмеялась и, поворотясь к Тимофею, посоветовала:

— По-над балками иди и иди. Зеленка есть, овцы хорошо ходят. До третьей горы дойдешь, она приметная, двоепупая, тогда поворачивай и гони в степь напрямую.

Она влезла в машину и еще что-то говорила там весело. Нахмуренный мальчик завел автомобиль и тронулся с места.

Тимофей поглядел вслед уехавшим, покачал головой, тут же забывая о них. Звук машины истаял и смолк. Весенний, но уже по-летнему жаркий день мягким зноем своим, теплым ветром, острым духом молодой зелени, птичьим пением — всем, что было в нем, заставил забыть мальчишку и все иное.

Овечья отара неторопливо, вразброд тянулась над балкою, пробираясь меж кустами боярки и паклинка. Молодая трава, мелкие ветки с зеленым листом — все нынче было скотине по нраву и впору.

Тимофей обошел отару и стал подниматься в гору. Овцы с козлом Ваською во главе неторопливо обтекали гору, разбредаясь по изволоку, и видны были хорошо. Тимофей поднялся наверх. Ветер шуршал в низких травах, посвистывал в голенастых, высоких стеблях сухого сибирька. Далеко внизу синела вода. Дон поворачивал здесь огромной пологой дугою и уходил вниз, к Цимле. Луговое Задонье открывалось на многие километры: густое займище, озера, речные старицы и протоки, слитые полой водой в одну голубую вязь, желтые разводья сухого камыша да чакана, огромный луг, за ним поля и поля, два хутора живых, Рюминский да Камышевский, — просторная земля, а небо — вовсе бескрайнее.

Тимофей кинул телогрейку, встал и вздохнул облегченно. Долгий путь кончился. Коршун кружил над головой, жаворонки пели со всех сторон, взлетая и опускаясь к земле, ветер дышал в лицо запахом пресной воды и молодой зелени, божья коровка, сияя под солнцем алостью, торопилась по сухой былке вверх и вверх, а потом улетела.

Сыновьям и невесткам был странен его отъезд, сестра думала о худом. Они и теперь, верно, горевали о нем, род-

ные люди. Горевали, но не могли понять. Да что родные... Сам он, оставляя поселок, разве думал о плохом. Жить возле детей, пенсию хоть малую, да заработать... «Отдохнешь», — говорили сыновья. А разве они были не правы?

В этих краях скотину пасли с апреля и порой до Нового года. Встаешь до света. Еще чуть развиднеется, звезды на небе, и горит над головою самая яркая, Пастушья, звезда. Поднялся и пошел. И домой прибьешься лишь к ночи, тоже со звездой. У добрых людей воскресенье — праздник и суббота. Пастух жди зимы. Весеннее ли ненастье, летнее пекло, когда к вечеру от жары темнеет в глазах и корочка соли запекается на губах. Или осенний дождь с утра до ночи, а самый сильный он на рассвете. Лупит по крыше, льет. Постоишь на крылечке, вздохнешь и пошел. День ото дня, год от году — считай, полвека. Вон там, на этих полях, лугах, в займищах, прошла его жизнь. Тимофей стал глядеть в луговое Задонье, которое открывалось с холмистых круч. Ближнее виднелось ясно, далекая даль туманилась для сторонних глаз. А Тимофей все видел: Березовый лог, Питомник, Семикурганы, куда с дедом Максаем скотину гоняли, Калмыцкую пустошь и Суходол, где три года Тимофей пас телят уже один, хоть и мальчонкою. Потом была долгая жизнь, но вся здесь, в один огляд: Назмище, Бугаково, Кусты, Лучка, Пески, Скородин бугор, Троиленское, Бирючье, Чебачий затон да Щучий проран, Линево, Карасево — луга, курганы да балки, озера, приречные места, займища, старые хутора, их сады да левады, все исхоженное, свое.

Даже коршун, что кружит высоко, он всю жизнь там кружит, сторожуя. И коршун, и крикливый полосатый лунь: «Кики... Ки-ки...», пестрая гагарка у земляной норы, пестрый же удод — пустушка с длинным кривым клювом, малый жаворонок. Вот вспорхнул он, поет. Может, такой же, как Тимофей, седоклокий, тоже старик. Может, знакомец. Сколько их спасалось возле Тимофея, когда желтоглазый кобчик уже доставал их на лету. Падали рядом и давались в руки. И малое сердце колотилось отчаянно, а потом успокаивалось в человечьих руках.

День прошел незаметно. С вечерней зарею Тимофей пригнал овец на ночлег. Над кошарами, над базами, над

овечьим тырлом стояла розовая от закатного солнца пыль. С горы спускалось лавиною темное козье стадо, неторопливо брели к базам коровы, летошние быки да телки, вторая отара грудилась у поилок. Скрипели отворяемые ворота, людские голоса вздымались над скотьим мыком и блеяньем: «Кызь-куда! Кызь-куда! Бырь-бырь! Ар-ра!» Садилось солнце, пыль оседала, от близкой реки наносило пресным теплом.

Ужинали во дворе хозяйского дома под навесом. Старинные могучие груши в белом цвету смыкались ветвями над головой. Через раскрытые ворота мимо веранды пробитая колея вела к базам да сараям, где стояли белая «Волга», красный «Запорожец», мотоцикл да мотороллер с кузовом — машинный двор.

Сели за стол втроем: Тимофей, хозяин, свежевыбритый, пахнущий одеколоном, и сухонький костлявый мужичонка с темным старческим лицом и пышной седой шевелюрой.

— Это наш Чифир, — представил его хозяин, поглаживая черные, аккуратно подбритые усы. Усы были густы и темны, в коротких же волосах на голове сквозила проседь. — Овечки как кормятся? — спросил он.

— Жаловаться грех, — ответил Тимофей. — Конечно, трава еще редковатая. Видно, холода стояли.

— Холодная весна, — подтвердил хозяин.

— Я и гляжу... Но пошла зеленка, и старюка есть. Берет овца, жаловаться грех.

Молодая женщина в легком коротком платье быстро накрыла стол, наливала горячий борщ в тарелки.

— Алик! — крикнул хозяин. — Ты где?!

— Иду-у! — издали, от базов, откликнулся сын.

Пахло свежесваренным борщом. Он даже на погляд был хорош, красный от помидоров и сладкого перца. Тимофей похвалил:

— Чую наш борщок.

— Зинаида у нас молодец, — поддержал его хозяин. — Повар высшего класса, — и, глянув на молодую женщину, не выдержал, цапнул ее рукой.

Зинаида увернулась. Тимофей, в городском житье наскучавший по привычной еде, хлебал жадно. Там, у детей,

было, конечно, не голодно. Но борщ, какой всю жизнь дома варили, не получался.

— Варишь по-нашенски. Сама-то откель будешь? — спросил Тимофей.

— С Арпачина, — назвала Зинаида старинный большой хутор.

Там теперь размещалась центральная усадьба колхоза.

— С Арпачина? У нас там много родни. Ты чья будешь-то?

— Лифанова по мужу.

Тимофей задумался, но не вспомнил.

— Либо приезжие? А родов чьих? По отцу-матери?

— Мелешкиных.

— Так бы и говорила. Мелешкиных? Это каких? Ивана Архипыча или бабы Лукешки?

— Левона Тимофеевича, — тихо ответила женщина. — Помер он.

— Левона. Это Феня твоя мать. Бабу Акулину я знаю, ее сеструшка у нас в соседстве, Анна Аникеевна, кре́стила брата моего, Василия, — говорил Тимофей и теперь уже по-другому на женщину глядел, по-родственному.

Зинаида была молода, хороша собой: чистое лицо, сбереженное от солнца и ветра, пухловатые губы, тронутые помадой, светлые волосы, сплетенные в толстую короткую косу, руки и ноги, женская стать — все было налитое, крепкое.

— Так что, считай, родня, — с улыбкой закончил Тимофей. — Потому и борщ твой сладимый.

— Родня — значит родня, — согласилась Зинаида. — Буду по-родственному тебя кормить, с добавкой.

Тимофей и хозяин ели в охотку, а третий их сотрапезник, Чифир, вздыхал да ерзал, потом сказал нерешительно:

— Надо бы налить за знакомство. Все же новый человек. По русскому обычаю обязательно надо.

— По русскому обычаю? — переспросил хозяин.

— Да-да, — подтвердил Чифир. — Это у нас ведется.

— Раз так, нальем по рюмке, — согласился хозяин и тут же принес водки, разлив ее в малые стаканчики. — Но ты, Чифир, тоже для знакомства, будешь стих читать. Он у нас стих складывает, — объяснил Тимофею хозяин.

Зинаида засмеялась, уходя к плите.

— Водку не трогай, сначала стих читай, — приказал хозяин.

Чифир, покашиваясь на желанное питье и шумно нюхая его, торопливо заговорил:

Пасем овечью породу
Посереди донской степи.
Всему кавказскому народу
Даем в своих краях свободу.
Пусть нас кавказцы поминают
И водку чаще наливают!

Закончил он и, ухватив стаканчик, выцедил его, прижмуриваясь и морщась.

— Во! — горделиво сказал хозяин. — Какие у нас люди...

Подошел хозяйский сын Алик, стал выговаривать:

— Чифир, надо глядеть. Два ягненка хромают, камень попал, растерло, а ты не глядишь. Чай свой жуешь да глупости болтаешь.

Чифир пожал плечами.

— Вроде не хромали.

— Как не хромали, я-то увидел.

— Ты молодой, а у меня глаза плохо глядят.

— Очки купи, — ответил Алик. И отцу объяснил: — Я помазал черной мазью, надел чулок.

Отец покивал, одобряя. Зинаида сказала, посмеиваясь:

— А если тебе правда, Чифир, очки... Будешь как профессор.

— Себе одень, — отозвался Чифир. — На то самое место. Чтоб в потемках не заблудиться.

Горячего борща нахлебались вдоволь, ели мясо, яйца, запивая кислым да пресным молоком.

После ужина Чифир с Тимофеем отправились к себе, к вагончику. Там возле ступеней лежала коряга. На нее уселись и закурили.

— Тебя звать-то как? — спросил Тимофей.

— Ты чего, не слыхал? Чифир.

— Но Чифир — это ж не имя. Настоящее-то как?

— Вот оно и есть настоящее. Другое я забыл. А может, его и не было.

Тимофей лишь плечами пожал, а Чифир спросил:

— У тебя выпивки нет? Налил каплю. Лишь раздразнил.

— Откуда у меня?

— Ну, может, в запасе.

— Не запасаюсь.

Чифир стал охать, поглаживая колено, постанывать.

— Что с тобой? — спросил Тимофей.

— Зашиб коленку. — Чифир засучил штанину, обнажая иссохшую плоть. — Растереть бы одеколоном, да нету. Растереть бы, завязать, и до утра прошло. — Он говорил и глядел на Тимофея жалобно.

— Одеколон есть, тройной, для бритья. Не жалко, бери растирай. У меня мать-покойница тоже ноги тройным растирала.

Тимофей принес из вагончика пузырек одеколона, сам же вернулся в жилье. А когда он снова вышел, то Чифир уже довольно покрякивал, пустой флакон валялся рядом.

— Выпил? — удивился Тимофей.

— Изнутри растер, — ответил Чифир. — Теперь полегчает. Еще нету?

— У меня ларек, что ли?

— Садись тогда, покурим. Ты на меня не обижайся. Это ты вроде для знакомства поставил. Куплю — отдам. За Чифиром не заржавеет. Садись.

Тимофей послушно сел, Чифир продолжал:

— Ты не думай. Я не какой-нибудь чурбан. Есть у меня, конечно, имя. Но про это молчок. Жена меня ищет, понимаешь? Желает засадить. Такая вот, вроде нашей Зинки. Стерва. А дочек я люблю, у меня две дочки. И они меня уважают. Я им шлю письма, чтоб знали отца. Стихи придумываю. Вот послушай:

Дорогие мои дочурки,
Я пишу вам издалека,
Я сижу у горячей печурки,
Не могу приехать пока.
Но люблю вас со всею силой,
Как не любит вас стерва-мать.
Вспоминаю, как на руках носил вас,
И мечтаю снова обнять.

Чифир декламировал, размахивая руками, седые длинные волосы падали на лицо.

— Я тебе еще буду читать, — пообещал он. — У меня их целая тетрадь. Мы с тобой дружно будем жить, душа в душу. И мы всем покажем мужскую дружбу.

Лицо у Чифира было в мелких морщинах, словно жатая бумага, зубы прокурены, черны.

— Ты за сколько нанялся?

— Сто пятьдесят, — ответил Тимофей.

— Ты с паспортом?

— Конечно.

— Был бы у меня документ, я бы тоже не меньше брал. А без документа они хозяева.

— У тебя паспорта нет?

— В том-то и дело. Был бы паспорт, я бы...

— А где же он?

— Кто его знает. Может, тоже не было, — уклончиво ответил Чифир.

— Так ты напиши заявление в милицию. Заплатишь штраф, и дадут документ.

Чифир поглядел на Тимофея, покачал головой и сказал:

— Дура ты, дура деревенская. К легавым, значит, пойти. Да-а... С тобой поговори, ты научишь...

Тут же, у вагончика, слажен был простой очажок из камней. Чифир разжег огонь, поставил на камни жестяную консервную банку с водой.

— Чифирнем... — потер он руки. — Дело душевное. А то все учат да учат. Щенок этот учит. Эта стерва тоже влезает, — вспомнил он застольное. — Тоже мне хозяйка. Очки... У хозяина баба уехала домой, — объяснил он. — Там у них дом, старики. Ну, она и уехала с детишками. А эту шалаву, Зинку, сакманить прислали, на окот. Она и засакманила, командиршей стала. Мало старика, так она щенка к себе приманивает.

— Да он дите еще, — заступился Тимофей.

— Дите... Погляди, как он на нее зырит. А она виляет перед ним. Шалава она шалава и есть. Вроде моей. Тоже с одним связалась, а чтоб я не мешал, меня упрятать. Но нет... — погрозил он пальцем. — Номер не пройдет.

Закипела вода в банке. Чифир высыпал пачку чая и глядел на темное варево, принюхиваясь.

— Чифирнешь? — спросил он у Тимофея.

— Нет, нет...

— Ну гляди...

Чифир уселся на землю, откинувшись к дереву, подтянул баночку, жадно нюхал. Тимофею сделалось не по себе, и он ушел в вагончик, стал устраиваться на ночлег. А когда недолгое время спустя с полотенцем и мылом он вышел на волю, Чифир уже словно подремывал, прикрыв глаза, и что-то бормотал. Тимофей осторожно обошел его, горюя: «Беда, беда...»

Вечер был теплый. Алая заря отыграла на воде, и в закатной стороне небо светило нежной зеленью. Ярче дневного, сочней виделось займище на том берегу, тополя и вербы с молодой листвою.

А здесь лежал тихий хутор в белой пене цветущих садов. Он словно дремал, уютно устроившись в ложбине меж высоких холмов. Вставали из белой кипени колодезные журавцы и столбы с оборванными проводами. Ни собачьего бреха, ни человечьего говора. Лишь голуби-сизари стонали по-весеннему страстно, да высоко в небе со щебетом носились ласточки, обещая добрую погоду.

Что-то знакомое чудилось Тимофею в этих домах, в могучих грушевых деревьях, в мягких очертаниях холмов. Что-то знакомое, давнее. А может, то разлука была виной, и теперь всякий клочок земли стал дорог.

С полотенцем через плечо пошел Тимофей вниз по избитой овечьими копытами дороге.

Над Доном висела вечерняя тишина. Похрустывали под ногами пустые панцири улиток, их пестрая россыпь тянулась далеко вдаль. Вечерние берега глядели в покойную воду, и стремились навстречу друг другу в ясном отражении займищные тополя и зеленые холмы с белыми меловыми осыпями. Пролетела тяжелая гагарка, села на бугре и стала звать кого-то детским жалобным плачем: «А-га-га! А-га-га». Долгий крик ее отзывался эхом, потом стихал. А она снова звала: «А-га-га! А-га-га!»

Тимофей обмылся, закурил и увидел поодаль, на берегу, склоненного над удочками человека. Увидел и угадал маль-

чика, сына хозяина. Рядом с ним темнела машина, а мальчик сидел на корточках, замерев. Чернели хлысты удилищ.

Тимофей, сам заядлый рыбак, хотел было подойти, но раздумал. Не по нраву был ему хозяйский сынок, молодой, да из ранних. В машине за рулем, в разговорах, всеми повадками он был Тимофею неприятен. Но теперь, в сумеречной полумгле, он показался бесприютным и одиноким, даже кольнула жалость. Хотя дело обычное: вечер, рыбалка — ребячья забава. Сам Тимофей и до сей поры рыбалить любил.

В распадке меж холмами было уже темно. В доме хозяина горел свет. В кошаре, стойлах и загонах было тихо. Лишь вздыхали коровы да мягкий топ доносился от козьих и овечьих базов. Гремели цепями сторожевые собаки. Их было три, огромные волкодавы.

В густеющей мгле, в тиши снова закричала гагарка: «А-га-га! А-га-га!» Плач ее разбудил в душе давнее, и Тимофей разом понял, почему эта горстка домов, сады, старые груши, голубей воркованье, крутые лобастые холмы — все знакомо. Это был хутор Каменнобродский, родина отца и деда. И он здесь родился и недолго жил, несмышленым еще, а потом его увезли. Но гостили здесь раз или два, тоже в ранней младости. Приезжали, переправлялись с луговой стороны на пароме. Здесь был паром через Дон, на тросу. Такой же вечер, сумерки, покойная вода, и гагарка так же кричала: «А-га-га! А-га-га!» Старинные могучие груши-дулины окружали дедово подворье хороводом. «Карагод... — как дед говорил. — Дулины наши, как девки, карагод ведут...»

Минуя хозяйский двор, Тимофей пошел улицей хутора. Неподалеку ясно виделись, белели во мгле высокие храмины груш, может быть, те самые, что хороводом стояли на дедовом подворье.

2

По утрам, на заре, над скотьей толокою, над базами, над всей тихой округой вздымались овечье блеянье, козьи вопли, мычанье коров и телят. Коров доила Зинаида наско-

ро, набирая молока лишь себе, телятам — остатнее. Верхом на лошади хозяин угонял коровий гурт наверх, на гору, там скотина паслась день-деньской. На мотоцикле, прыгая по буграм и колдобинам, наметом гнал козью орду хозяйский сын Алик. Козы тоже паслись без особого догляда на холмах. Далеко уйти они не могли, глубокие балки отрезали им путь. Позавтракав, уводил свою отару Тимофей в долгий, до вечера, путь. Чифир угонял своих овец. На загоны ложилась тишина. И теперь до вечера в кошаре под шиферной крышею лишь свиньи похрюкивали, да в сетчатых вольерах суматошились куры, покрякивали утки и важно разгуливали индюки, охраняя свое голенастое потомство. Кружили под поместьем коршуны, набалованные сладкой домашней дичью, осторожное воронье сидело поодаль, приглядываясь. Но птичья молодь быстро росла, и люди не дремали: сам хозяин, Алик, а то и бедовая Зинаида выходили с ружьем, паля в белый свет для острастки.

Тимофей вел свою отару не торопясь, овечий вожак, мудрый козел Васька, шел впереди, выискивая корм повкуснее. Иногда он шастал в кустах, хрумкая молодыми ветками, порою ложился передохнуть. Без вожака овцы не уходили, рассыпаясь вокруг для пастьбы. При нужде козла можно было и подогнать, сказав ему: «Вперед, Васька! Вперед...» Поглядев на чабана умными навыкате глазами, козел соглашался, кивал бородкой, неторопливо обходил отару, коротко мекал и шел вперед. Овцы послушно шагали вослед своему вожаку. Тимофей лишь поглядывал, чтобы не отбилась, не ушла в балку, в кусты овечья шайка.

Он поднимался в гору и стоял там, опершись на посох. Можно было кинуть телогрейку и лечь, отара была как на ладони. Но с детства, с первых шагов пастушества, приучил его дед Максай: «Сел на землю — уже полпастуха, лег — вовсе нет пастуха, а стоишь, костыликом подпершись, значит, на месте пастух».

Далеко внизу, за Доном, на той стороне, расстилалась просторная луговина. Там и сейчас пасли коз да коров. Ясно были видны далекие стада, их маковая россыпь. Там много лет назад начинал пастушить и Тимофей под рукою у деда Максая. В десять лет пошел. Семья — немалая, время —

военное, голод. Отец из госпиталя вернулся еле живой. Хочешь не хочешь, а старший сын и в десять годков — казак, подмога. Пошла мать еще зимой к деду Максаю, старинному пастуху. Он дальней родней доводился. Сговорились.

И ранней весной, в марте месяце, оставил Тимофей школу и пошел к деду Максаю в помощники. Платили тогда хозяева пастухам деньгами, молоком да картошкой. Третья доля — подпаску.

Дед Максай сплел своему помощнику ременный кнут, научил оглушительно хлопать. Сверстники-ребятишки Тимофею завидовали: кнут в руках, пастушья сумка через плечо и воля. Завидовали ребятишки, соседские бабы говорили матери: «Тебе ли не жить теперь... Подмога». Мать лишь губы поджимала. Сердце болело у нее, когда чужие ребятишки бежали в школу, игрались на улице, а Тимошка еле домой добирался к вечеру. А в непогоду и вовсе... Весенняя промозглая слякоть, дожди, одежда никакая: на плечах — старенький пиджачишко, на ногах — чирики раскисшие да мешок на голову вместо плаща. Промокало все насквозь. По осени, когда собаку хозяин не выгонит, провожала она сына со слезами. В поле — дождь да ветер. Примолкли соседки, лишь вздыхали, выгоняя скотину, да своих ребятишек школили: «Гляди, учись, а то будешь, как Тимошка, хвосты крутить». В эту пору Тимофей приходил черный, продубевший от холода. Мать сдирала с него прилипшую ледяную одежду, ставила ноги в чугун с горячей водой. Раздевала и плакала. Тимошка молчал. Он рано стал по-взрослому молчаливым. Поднимется утром, оденется, поставит в сумку банку кислого молока да пяток желудевых лепешек сунет — и пошел.

А потом помер дед Максай. Бывший подпасок заменил старика, теперь уж до веку. Пошла, покатилась жизнь, за летом лето, под Пастушьей звездой, которая светила и теперь, на склоне годов.

К полуденному часу Тимофей пригонял овец на тырло, к донской воде, в тень береговых тополей и верб. Туда приезжал на «Запорожце» Алик, привозил обед.

В аккуратном синем джинсовом костюмчике, ладно причесанный, смуглый, по-восточному красивый, старше

своих лет он не гляделся: по-детски светили глаза, свежие губы, кожа лица с легким румянцем — все говорило о нежном возрасте. И потому с какой-то неловкостью говорил с ним Тимофей. «Дите дитем, — думалось ему, — а гутарит как деловой...»

— Волков не видал? — спросил Алик.

— Бог миловал.

— В Осиновке на базу порвали овечек, и Чифир божится, что видел сегодня, отогнал.

— Чифир, он... — усмехнулся Тимофей. — Ему верить.

— В Набатове у лесников тоже напали, — настаивал Алик. — На острове были козы, овцы. Вырезали наполовину.

— Это беда... — вздыхал Тимофей. — Беда...

Ему доводилось в жизни своей встречать волков не раз, но все в давние годы.

Алик уехал. Встревоженный Тимофей стал оглядывать заросшие дубком, вязом да черноклёном балки, глухую путань шиповника и тернов по низине. Весь день пас он овец осторожно, стараясь держаться открытых мест, побаиваясь. Здесь, в Задонье, в глухих буераках, серые водились всегда. Нынче на безлюдье зверья много прибавилось. И не только волков. Сейчас по весне среди бела дня мышковали неприглядные, облинявшие лисы. Они шарили по зарослям, на открытых местах вскидывались на дыбки, выглядывая поживу. В глухих топких падинах дикие свиньи лакомились сладкими молодыми побегами камыша. Иногда они выходили на отрожье к дубам прошлогодних желудей поискать. Лосей в последние годы поубавилось, но появились косули, стройные, легкие, с золотистым мехом. Порою они неслышно выплывали из-за кустов и Тимофей затаив дыхание глядел на них. За долгий день то и другое зверье можно было повидать. От волков Бог еще миловал.

В конце дня, направляя отару к хутору, к дому, в пологом выходе балки Тимофей заметил чужих овец. Опасаясь смешать отары, он подал голос: «Ар-р-ря! Ар-ря!» — и стал поворачивать свою отару, уводя ее в сторону. «Ар-ря! Ар-ря!» — кричал он, но чабан не отзывался. Не упреждал Тимофея ни хозяин, ни Алик об иных овцах. Далеко, за четыре горы, стояла соседняя чабанская точка. Чужая ско-

тина паслась кучкой, Тимофей подошел к ней. Это были бараны, сотня голов, а может, и больше. Отара не отара, лишь малая часть ее. Тимофей вышел на гору, покричал, позвал. Не было никого. С холма на холм тянулась полынковая целина, за ней неширокая полоса смородины да вязкое, дальше черные пашни, сочная зелень озимки. Не видно было ни человека, ни скотины. Дело понятное: ушла от своей отары шайка баранов, и чабан не заметил. Когда ушла, где — ведает Бог. Тимофей, долго не раздумывая, подогнал чужую баранту к своей и повел к дому, к хутору, чтобы оповестить хозяина. А уж тот дальше объявит о приблудной скотине.

На хуторе у дома хозяина стояла машина. Хозяин собирался уезжать, но, заметив отару, прежде срока идущую к ночлегу, подождал ее, крикнул Тимофею:

— Что случилось?!

— Бараны чужие приблудились. Боле сотни голов, — объяснил Тимофей. — Не кинешь их. Смешал, гоню пораньше. Может, ищут люди.

Хозяин собрался в гости. Был он в костюме, в белой рубашке, чисто выбрит. Выслушав Тимофея, он покивал головой и, шагнув к отаре, разом углядел барана с чужой метою, двумя скрещенными восьмерками на спине.

— Веди, но не загоняй на баз. Отделим.

Тимофей напоил отару. Подошли хозяин с Аликом. Хозяин встал у приоткрытых ворот база, пропуская мимо себя овец и отделяя баранов со скрещенными восьмерками на спине.

— Либо и правда волк разогнал где... — говорил Тимофей, помогая хозяину. — А может, чабан рот разинул, заснул. Теперь кинутся. Магарыч с них... — посмеивался он.

— Будет магарыч, — коротко пообещал хозяин, пропуская мимо себя овечек и отстраняя баранов.

Алик и Тимофей тянули за витые рога приблудных прочь из серого овечьего потока, текущего на баз к ночному отдыху.

Баранов отделили. Хозяин достал из кармана деньги, пачку сиреневых четвертных, и подал Тимофею:

— Держи магарыч. Бутылка — на ужин.

Тимофей не понял, отстранился.

— Это я вроде в шутку, — проговорил он. — Хозяин, мол, найдется. Вроде с него… А это зачем?..

— Я — хозяин, я — твой хозяин. Я даю, ты бери. И больше ничего не знаешь. Я — хозяин.

Клокочущий голос был строг. И глаза из-под кепки глядели строго. Рядом стоял неулыбчивый мальчик. Тимофей перевел взгляд с отца на сына и все понял.

— Мне чужого и на дух не надо, — отстранил он деньги. — Сколько пас, слава богу, не польстился. А как же… Люди где-то плачут, а мы кукарекать будем от счастья, — говорил он, слабо, но все же надеясь убедить. — На чужих слезах не расцветешь. У нас всегда ведется…

— То — у вас, а это — у меня, — прервал его длинную речь хозяин. — Берешь?

— Нет, нет, — отмахнулся Тимофей. — Господь с тобой.

— Гляди. Деньги будут у меня. В любой момент заберешь. Но запомни: не было баранов. Не было, — повторил хозяин. — Ничего к нам не приходило. Никаких баранов… — развел он руками и на сына поглядел.

Тот кивнул головой, подтверждая.

— Лом-Али, — обратился хозяин к сыну и что-то проговорил на своем языке.

Мальчик быстро погнал баранов от кошары через падину по хуторской улице.

— Не было баранов, запомни, — еще раз повторил хозяин и, повернувшись, пошел прочь.

Тимофей остался возле кошары у загона. Скрылся во дворе хозяин, пропали из глаз среди хуторской зелени бараны и мальчик, хозяйский сын. Словно и впрямь не было ничего. Просто вечер, солнце к закату, дневная усталость в ногах.

За ужином не было ни хозяина, ни сына его. Зинаида, разогрев еду, сказала:

— Вы здесь сами управитесь. Я с огородом занялась, уж доделаю.

— Какой огород? — спросил Тимофей.

— Да понемногу копаю, чтоб зелень была своя на еду.

Отужинав, Тимофей пошел поглядеть Зинаидин огород. Потянулся за ним и Чифир.

Забазья, левады, как всякое место, брошенное людьми, в первые годы зарастало коноплей, крапивой да репьями. Лето за летом дикие травы буйно вскипали тут, к осени умирая. И теперь вздымалась над землей непролазная чащоба сухих стеблей, старник, а меж ними новая зелень.

Зинаида расчистила и вскопала за сараями невеликий лафтак земли. Радовали глаз ровные гряды, зеленые строчки помидорной да капустной рассады, тугие перья лука-слезуна, робкие стрелки чеснока. Молодая женщина возилась у гряд. Увидав мужиков, она поднялась, одергивая платье.

— Кое-чего понемногу... — объяснила она. — За всем не наездишься на хутор.

— Правильно, — одобрил Тимофей, — по-хозяйски. Картошечки бы посадить.

— Уж не до картошки, — отмахнулась Зинаида.

— А чего... Руки-ноги есть. А семена?

— Найдем.

— Невеликие труды. Вскопаем, посадим.

Принесли лопаты да грабли, убрали сухие бурьяны.

— Давай подожгем, — предложил Чифир. — Бензину линуть — и хорош.

— Полыхнет, — ответил Тимофей, — и хутор спалим.

— Больше места будет свободного, — усмехнулся Чифир. — Еще спасибо скажут.

Тимофей поглядел на хутор, вздохнул.

Земля хорошо копалась, распадаясь под лопатой темной влажной россыпью.

Подступала весенняя ночь с долгой зарею, со светлым небом, с парным теплом от земли и пряным духом цветения.

Сады отцвели. Высокие груши, раскидистые яблони, вишни да терны стояли в зелени, растеряв белый цвет и озерняясь дробью плодов. На смену им уже поднялась, вскипая, вторая волна весеннего цвета: распустила белые зонтики калина, гроздья душистой акации отдыхали от гудливой твари лишь в ночи, на пустошах колючий лох отворял свой невидный желтенький цвет, задошливо-пряный, расцвела сирень. Сирени на хуторе было много. В прежней жизни ее сажали в палисадниках, гордясь друг перед дру-

гом. И свойскую, и привозную белую, даже персидскую. Теперь сирень задичала, пышно росла, закрывая окна домов. Некому ее было ломать. По весне она цвела яростно, заливая хутор тугими махровыми кистями и тонким духом, словно бабьим ли, девичьим праздничным.

Посадили два ведра картошки.

— Хватит, — сказала Зинаида. — Ночь на дворе.

— Налей с устатку, — заканючил Чифир. — Я знаю, у тебя есть бутылка.

Черноликий, усохший телом, похожий на больного мальчонку, он глядел умоляюще.

— Мой хороший, — жалеючи покачала головой Зинаида. — Да куда же в тебя ее лить. Отдохни чуток. А за труды твои пускай тебе доброе нынче приснится.

— Чего доброе? — петушился Чифир. — Баба, что ли? Вроде тебя.

— Да хоть и баба, — с мягкой улыбкой ответила Зинаида, — Хоть и я, коли днем не надоела. Эх вы, мужики... — задумчиво протянула она, уходя с огорода к дому.

Невеселое, свое плеснуло в душе Зинаидиной. Это было так явственно, что даже Чифир понял и полез за куревом.

Проводили молодую женщину взглядом. Закурили.

— Вот моя тоже с армяном спуталась, — вспомнил Чифир, — потом жалела, да поздно. За мной она жила — горя не знала.

Тимофей рассеянно слушал, уже не в первый раз, печальную повесть прежней жизни Чифира.

Отсюда, из глубины хозяйского двора, с левады, хутор был виден по-иному. Дальняя усадьба, стоящая чуть на отшибе, под горой, показалась знакомой. Не там ли дед проживал? Не там ли он, Тимофей, появился на свет?

Крутое плечо холма, а под ним, в затишке, дом среди грушевых деревьев. У подножия холма били два родника, оправленные в дикий камень. Из них брали воду, поили скотину в дубовых колодах.

Тимофей пошел к усадьбе напрямую, через левады. Рядом поспешал Чифир.

— Она ведь со мной горя не знала. Приду с работы — все сделаю. Сам варил, сам девчат купал. Накупаю их, посажу

в кровать, они сидят, чистенькие мордашки, аж светятся. Я все умел: борщ варил, даже суп харчо. Плов умел делать. Казан достал специальный для плова.

Тимофей не слушая шагал и шагал к усадьбе. Чифир семенил рядом, боясь отстать. Прошлое, вся жизнь его нынче в голове трезвой так ясно поднялась. И носить в себе эту боль было горько и невозможно. А кому рассказать? Лишь этому человеку.

— Я и шить умел. Ей-богу, правда... Сам научился. Машинку швейную купили, жена не захотела. А я помаленьку начал, и пошло...

Усадьба деда, а может вовсе не она, но такая похожая, лежала в ночном оцепененье. Огромные кусты сирени вздымались перед окнами, смутно виделись тяжелые кисти. В полутьме дом стоял словно живой, лишь спящий. Тимофей шагнул во двор через поваленные ворота и разом узнал узкую веранду, по-старинному — галерею, что тянулась вдоль стен. Могучие груши обступали двор, родники из подножия холма, верно, сочились и теперь, камышовые заросли хоронили их.

Посреди двора на ветхую колоду Тимофей сел. Чифир пристроился рядом. Речь его, торопливая, сбивчивая, с захлебом, лилась и лилась.

— Вот, ей-богу, клянусь отцом-матерью, она придет, говорит, нет ничего в магазинах. Я сажусь и шью. Такие платья сошью девчатам. Сам расчерчу мелом, скрою́. Сошью платьишки, одену. Выйдут во двор как куколки — все люди завидуют. Я и ей шил. Как-то за Волгу собрались, она говорит: не в чем ехать. Я такой сарафан ей сшил, никто не верил.

Очнувшись от своих дум, Тимофей стал слушать, не поверяя, что там правда, что выдумки. Он понимал, что все там жизнь, которая была и уже не вернется. И человек, тот, что рядом, белого света не жилец, лишь память у него порой просыпается, как сейчас, — и только.

Жалость до слез резанула Тимофея. Была бы водка, он бы отдал ее Чифиру. Пусть пьет, пусть напьется, забудется, и слова перейдут в горячечный бред, потом в тяжкий сон. Но водки не было, и Тимофей сказал:

— Ты уж дюже не горься... Я тоже теперь вроде сирота... Не горюй, парень. Мы еще живые, руки-ноги целые, в силах. Будем жить. Хуторок пригожий. Добрый хутор. Дедов домок подладим, подлатаем. Чего нам этот абрек... Мы с совхозом договоримся, возьмем свою отару и будем жить. Оформим тебе документ. А как же... И пойдет дело. Летом здесь воля: сады, река. Приедут к нам в гости ребятишки, внуки мои, твои дочки. В городе тоже не дюже сладко. А здесь воля. Детвора любит...

— Да-да... Дочки мои очень любят природу, цветы...

— А цветов у нас хоть залейся, сам видишь. Сирень, а по степи сколь цвету. Им поглянется.

— Понравится, конечно, понравится!

— Их отсюда и не утянешь, — уверенно сказал Тимофей. — Раз покушают — и всё. Будут купаться, рыбалить. Груши здесь, яблоки, сливы, вишни, в огороде все дуром прет — Господний рай. Летом у нас будет гостей со всех волостей. А в зиму будем овечек кормить, глядеть за ними. А там снова лето.

— Да, да... Снова лето...

В тихой, светлой ночи хутор дремал без огней. Где-то рядом прокричала сова высоким плачущим зовом, ей ответили лаем да бряцаньем цепи сторожевые собаки кошар. От грейдера с горы к хутору спускалась хозяйская «Волга», следом за ней, осторожно тараща желтые глаза, пробирались тяжелые грузовики, попыхивая приторной гарью. Услыхав гул машин, Тимофей поднялся и все понял. Машины приехали за баранами.

На краю хутора «Волга» посигналила. Ей ответил высокий голос хозяйского сына. Машины подъехали. Началась погрузка.

Тимофей пошел к своему дому, на покой и от греха подальше. Чифир, ничего не видя и не слыша, спотыкался рядом.

— Они приедут... Они поймут... И она поймет... Душа в душу...

Никто его не слыхал.

По донским балкам, теклинам да отрожьям, в густых тернах, в колючем шиповнике допевали вечернюю песнь

соловьи, над водою, в теплых заливах и старицах отвечали им слитным гулом водяные быки, лягушачьи жаркие трели разгорались все яростней.

Короткая весенняя ночь в светлых сумерках, холодея, торопилась к утру, к тяжелой росе. Пастушья звезда уже поднималась с востока.

3

Как-то вечером, после ужина, нечаянно собрались на рыбалку. Тимофей сидел у вагончика, курил, поглядывая на хутор. Мимо проходил Алик. И в эту минуту от дома, с веранды ли, со двора, раздался заливистый смех Зинаиды, вторил ей, похохатывая, хозяин. Алик резко повернулся и стал глядеть в другую сторону, на реку. Тимофей поднялся и сказал, тоже на воду глядя:

— Играет рыба? Сазаника бы поймать, посладиться.

— А ты умеешь ловить? — повернулся к нему Алик.

— Было бы чем, — усмехнулся Тимофей.

— У меня есть! Всё есть! — крикнул Алик и побежал к дому.

Умел ли он ловить рыбу?.. В давнем детстве, в пастушестве, он старался пасти у воды и в полуденные часы, когда отдыхает скотина, ухитрялся наловить рыбы. Плел из конского волоса лески, добывал да ладил из проволоки крючки и ловил. Сам кормился, иной раз и домой приносил. Мать удивлялась: «Откуда?» — «Хозяева дали», — отвечал он, даже матери боясь открыться.

Алик примчался с целым ворохом удочек, донок, спиннингов.

— Весь Дон можно перетягать с такими снастями, — изумился Тимофей. И заторопил: — Время ждать не указывает, пошли.

Взяли пару удочек да донок, червей копнули и поспешили вниз, к воде. Алик, забегая наперед и заглядывая Тимофею в лицо, спрашивал нетерпеливо:

— А мы поймаем, точно?

— Такими удочками стыдно не поймать. Руки нам надо оторвать, если не поймаем, — твердо говорил Тимофей.

На Дону было еще светло. Вода, как и небо, горела закатным огнем — алым и розовым. Тимофей, глянув вдоль берега, заспешил к недалеким тополям над водой, к косе возле них. Там должна быть и глубина, и рядом — мель. Наскоро, по-своему настроив крючки да грузила, Тимофей проговорил:

— С богом...

Забросили. И сразу пошла браться крупная золотистая красноперка с яркими плавниками.

— Ура! — закричал было Алик, выудив первую.

— Ты чего... — прицыкнул на него Тимофей. — Распугаешь.

Мальчик, поняв, закусил губу. Красноперка ловилась одна за другой. И тут же, рядом, закинув донки, вытащили двух хороших подлещиков.

Стемнело. Потухла заря. На реке загорелись огни бакенов, на берегах — створные сигналы.

— А ты говорил, не поймаем, — весело пенял мальчику Тимофей. — Здесь такие места.

— У меня не получалось... — признался Алик.

— Ничего. Тут рыбы много. Лещи, судаки, бершики, сазан есть. Но его, парень, не сразу возьмешь. Сазана надо с привадой. Можно попробовать на макуху. Сазан на макуху идет.

Они поднимались в гору, к жилью. Дверь вагончика была закрыта, видно, Чифир уже спал.

— Ну, забирай улов, тащи, хвались, а я спать, — сказал Тимофей, и взгляд его упал на хозяйский дом.

Там было темно. Тимофей понял, что туда же, на темные окна, глядит и мальчик.

— Жарехи охота. Либо сейчас и нажарим? Чего утра ждать, — в минуту передумав, сказал Тимофей.

— Нажарим! Давай нажарим! — обрадовался Алик.

Включили свет под навесом у кухни. Быстро почистили и разделали рыбу.

— По весне я всегда сазанов ловил на той, на луговой, стороне, — рассказывал Тимофей. — Луга зальет. Тепленькая водичка. Сазан туда и приходит. Здоровые бывают, прямо поросята. Гоняешь за ними, с ног валят. Какого и прищучишь. Раньше сазана много водилось. Такой бой на заре.

Вскинется над водой, огнем горит. Один да другой. Так и назывался — сазаний бой. А сомы, они по яминам да бучилам стоят. Ночью выходят. Икру мечут, бывает, и днем. Трутся у карши, их видать. Черные, лобастые. Сома мы обязательно возьмем. Ночью на меляках поставим закидные на раковую шейку. А может, попробовать на квок? Но это лодку надо. Квочку сделать можно. У меня сосед, Паша Басов...

Шкворчала на сковороде рыба, закипал чайник. Ночная тьма обступала легкий навес.

После рыбы и чая решили день-другой готовить снасти и заняться ловлей сомов, а может, и сазанов.

Пора было расходиться. Вышли со двора. Над холмами вставала луна. В ночи, в лунном обманчивом свете, хуторские дома, плетневые да мазаные сараи, камышовые крыши — все казалось не брошенным, а живым. Будто на ночь уснуло все и пробудится с петушиным криком.

Степная тишина стекала с холмов в долину. Хутор тонул в немоте, в молодой зелени садов, в последнем весеннем цвете. Алик провожал Тимофея к вагончику.

— Иди ложись... — сказал Тимофей.

— Отца нет, — отозвался Алик. — Надо поглядеть скотину. Отец всегда на ночь глядит.

— Это по-хозяйски, — одобрил Тимофей.

Он остался у вагончика, дожидаясь, пока Алик закончит обход. Стоял курил. Алик вернулся:

— Завтра я обед не привезу. Возьмешь с собой на день. Я поеду за бичами. Надо кошары чистить, навоз вывозить.

— За какими бичами? — не понял Тимофей.

— Пьяниц на станции наберу. Они за водку все сделают, — объяснил Алик и пошел к себе.

Тимофей вел отару целиной. Справа начинались отрожья балок, слева невдалеке, за лесополосою, сочно зеленела озимь хлебов. Местами лесополоса прореживалась, а то и пропадала, и тогда зеленя лежали совсем рядом. На них поглядывал, стараясь свернуть ненароком, вожак отары — козел Васька. Но Тимофей упреждал его криком:

— Куда, нечистый дух? Кызь-куда!

Козел понимал.

Уже близ хутора и стойла увидел Тимофей хозяйских коров и бычат на хлебах. Они вольно паслись там, в зеленях. Тимофей испугался, хотя его вины тут быть не могло. Вины, конечно, не было. Но век он скотину пас и знал, что самое страшное — упустить ее в хлеба. И потому, завернув овец к балке, Тимофей кинулся выгонять коров. Хлеба стояли не больно густые и еще невысокие, но после твердой земли по мягкому бежать было неловко. Тимофей спешил и раньше поры закричал:

— А ну пошли! Куда пошли!..

Обычная скотина, послушная, с которой Тимофей всю жизнь провел, поняла бы свой грех и подалась с поля. Но это был вольный гурт, набалованный. Коровы глядели непонимающе, а несколько бычков и телок-летошниц, взбрыкивая, играясь, подались в глубь зеленей, дальше от человека.

— Куда пошли! Куда! — кричал Тимофей, стараясь завернуть скотину, а она уходила вскачь.

Бегал он за коровами долго. А когда, устав и взмокнув, наконец выгнал их на целину, пришлось к своей отаре бежать. Широко рассыпавшись, с Ваською во главе, овцы, не поднимая голов, стригли и стригли сочную зелень озимки.

Тимофей чуть не плакал от обиды и отчаянья. Хлебов было жаль и страшила расплата. Потраву, конечно, заметят, заметят, и будет беда. Дважды за жизнь упускал он скотину в посевы. Еще мальчишкою не углядел, так вместе с матерью находились и наплакались, да еще спасибо лесхозное было поле и лесник — родня. И к малым летам снисхождение. А когда в годах на Россоши потравил край кукурузного поля, то платил деньги немалые.

А теперь и вовсе кто он? Припишут всю потраву, попробуй докажи. Он собрал свою отару, коров с молодняком и подался на хутор к дому.

Солнце еще не садилось, когда подогнал он скотину к базам. Хозяин вышел встревоженный.

— Что случилось?

Алик выбежал следом.

— Беда, — ответил Тимофей, — беда... Скотина в озимые зашла, потравила много. Моей вины нет. Я гнал овечек целиной, гляжу, скотина в хлебах. Пока туда да сюда...

— Чего озимые? При чем озимые? — не понимал хозяин. — Чего случилось, говори!

— Я ж говорю, потравили озимые. Хлеб, озимые, зеленя... — втолковывал Тимофей. — Теперь начальство углядит. Большой лафтак у дороги, на виду. Скотина паслась. А пока я бегал, гонял ее, и овцы зашли. Много потравили.

— И все? — спросил хозяин.

— Куда ж боле...

Хозяин пожал плечами, на сына поглядел. Тот засмеялся, сказал Тимофею:

— Зачем выгонял? Пускай пасутся.

— Как пускай? — по-прежнему не понимал Тимофей. — На хлеба, на озимые... Начальство увидит...

— Ерунда! — отрезал хозяин и пошел во двор.

Тимофей загнал скотину на базы, но в себя не сразу пришел. Его колотил нервный озноб. Он запер скотину, присел возле ограды, курил.

От сараев, от птицы, подошла Зинаида с полным ведром яиц. Она поглядела на Тимофея, спросила:

— Дядя Тимоша, ты, часом, не захворал?

— Захвораешь... — ответил Тимофей и рассказал обо всем, что случилось.

Зинаида поставила ведро, присела рядом.

— Не бойся, — сказала она. — Ничего не будет. Здесь из хлебов не вылазят. И осенью, и весной. Вроде положено. Уж никто и не глядит.

— Неужто правда? — не верил Тимофей. — А я умом не накину. Хлеба... Да у нас лишь коснись.

— Это у вас. А здесь вроде привычно. Наш чабан с начальством хорошо живет, ему позволяют.

Зинаиде Тимофей поверил. Он, правда, и раньше еще поверил словам хозяина, и не столько словам, сколько лицу его, спокойной усмешке. Но доходить стало лишь сейчас, вот здесь.

Зинаида сказала:

— Идти надо... А вот присела, так бы и сидела до ночи.

— Уморилась... — посочувствовал Тимофей. — Долгий день.

— Уморилась, — со вздохом призналась Зинаида. — Дело за дело цепляет. Вроде и рано встаю и все рысью, а никак... Коровы, свиньи да птицы... Много всего...

— Хозяйство большое, — рассудил Тимофей. — Уморит. Варить на всех, доить да обиходить. Ты как числишься? — поинтересовался он. — От хозяев?

— Нет, я приписана от совхоза. На сакман послали, вот и прилипла. Где она в совхозе, бабья работа? Поищи. А здесь денежка идет зимой и летом.

— От дома далеко... — сказал Тимофей. — Свое-то хозяйство тоже рук просит.

— Там мать, дочка при ней.

— Без мужика живешь?

— А как ты угадал?

— Да чего угадывать... Мужик бы сюда не отпустил.

— Какой у меня мужик был, — с горечью сказала Зинаида, — тот бы куда хочешь отпустил, лишь бутылку посули.

— Дюже не горься, — вздохнул Тимофей. — Бабочка ты молодая, всем на завид. Найдешь себе человека, даст бог, работящего да приглядного, в пару...

— За одного приглядного Бог уже пихнул, — сокрушенно покачала головой Зинаида. — Еле опомнилась от приглядного... Нет уж, красоту не лизать. И с дурненькими люди живут в ногу. Кому что написано... Я тут, дядя Тимоша, свет увидела, — призналась Зинаида. — Никто не зашумит, руку не подымет. От своего-то родненького таких чубуков натерпелась, вспомнишь — душа вянет.

Она задумалась, глядела в отрешении. Большие, темные бабьи руки лежали на коленях.

— Зинаида, Зина! — позвал ее от дома голос хозяина. — Ты где?!

— Иду! — откликнулась женщина, поднимаясь. — Либо наскучал? Пошли повечеряем, дядя Тимоша, — пригласила она. — Горяченького покушай, пока не остыло.

После ужина Алик сказал Тимофею:

— Порыбалим? Червяки есть, тесто есть.

Тимофей согласился. Самое время было уйти на Дон. Пошли на место уже привычное. За меловым обрывом, в устье просторной балки стояли три тополя. В подножии

их — тяжелая, обмытая водою карша, занесенная песком. На ней удобно было сидеть.

Вечер ложился покойный. Наверху, на холмах, еще звенели жаворонки. В тополях, в засохших вершинах, заливались скворцы. Над тихой водой, над алой вечерней зыбью летали крикливые крачки.

Алик забросил удочку. Тимофей готовил закидушки. Он отошел чуть в сторону и позвал мальчика шепотом: «Алик...» — прижимая пальцы к губам. Алик подкрался осторожно. Тимофей шепнул: «Гляди...» — и показал рукой. Мальчик увидел сразу. Там, возле берега, охотилась за рыбой змея. Она ныряла, быстро вертела хвостом, чтобы не всплыть, шарила под камнями. В одном месте было пусто, в другом — неудача. Наконец она учуяла добычу. Хвост ее закрутился быстро, взбивая воду воронкою. Она вынырнула, держа в пасти большого пескаря, и поплыла к берегу трапезничать.

— Здорово! — удивился Алик.

— А как же... — ответил Тимофей. — Всяк по-своему.

Алик ловил на удочку. У Тимофея на донки клевало плохо.

Редкие облака в небе отгорели алостью и притухли. Вода словно подернулась пеплом, похолодела. Ветер стих. Прошла моторная лодка, с трудом раздвигая гладкую воду. Пологие волны лениво расходились к берегам. Смолкли птицы.

— Алик, — спросил Тимофей, — а ты в школу не ходишь? Ты в каком классе? Мои внуки еще учатся. Или распустили на каникулы? Вроде рано.

— Э-е... — махнул рукой Алик. — Поставят отметки. Некогда учиться. Дедушка заболел, мама уехала. У нас дом. Там тоже кому-то нужно быть. Хозяйство. Кто будет отцу помогать?

— А возьмут да на другой год оставят.

Алик лишь засмеялся.

Тимофей вспомнил свое:

— А я вот желал учиться. Думал, хоть классов бы пять-шесть и в ФЗО или ремеслуху. Была такая раньше учеба. Там кормили, одевали и специальность давали. Но не пришлось.

— Почему не пришлось? — спросил Алик.

— Скотину пошел пасти. Отец больной. Ребятишек четверо. Какая учеба...

— Ну и правильно, — одобрил Алик. — Мой отец тоже не учился. А дом у нас самый лучший. В два этажа, сад, бассейн есть и фонтан, виноградник. А теперь я буду дом строить.

— Отделяешься? — насмешливо спросил Тимофей. — Тесно с родителями?

Алик его шутки не принял.

— Строить не быстро. Землю купили. Надо начать. Дом все равно нужен будет.

— Зря ты об учебе не думаешь, — посетовал Тимофей. — Ученье, оно... Ученым людям дано. Им везде дорога. Мои сыны повыучились, слава богу. Один — инженер, другой...

— Выучились! — перебил его Алик. — Они выучились, а ты у нас пасешь! Почему так?!

— Да я же не от нищеты пасу. Меня дети не обижают, кормят. Это мне вроде не сидится под крышей, отвык.

— А учителя в школе выучились? У нас мясо просят. В совхозе директор выучился, зоотехник выучился, а к нам приезжают за мясом, водку пить. В районе начальники, милиция — все выучились, и тоже — к нам. Все едут. Потому что у нас всё есть. Семь сотен овечек, двести коз, — считал мальчик, — пятьдесят свиней, индюки, бычки, коровы. Осенью будет пух, мясо, деньги. Работать надо, а не учиться. Деньги зарабатывать, — с гордостью сказал мальчик. — Дом строить, машину покупать, две, три машины. Тогда тебя уважают и все завидуют. Нам все завидуют. И дома, и здесь.

— Так-то оно так... — проговорил Тимофей. — Без денег, конечно, нельзя. Но и на них лишь надежду иметь тоже опасно. Тебе тем более...

Тимофей глядел на мальчика, в красивое лицо его, видел огонек задора в глазах, и просыпалась неприязнь, но он пересилил себя.

— Гутаришь, как старичок какой, — посмеялся Тимофей мягко.

На закидушке звякнул колокольчик. Тимофей подсек и почуял тяжесть большой рыбы.

— Дай я... — срывающимся шепотом попросил Алик.

Тимофей передал ему удилище и, чуя, как натянулась леска, сказал:

— Попусти. А то оторвешь. Попускай, попускай, катушка большая. Добрый лещина... Попускай и подбирай слабину, играй с ним.

Сначала рыба сильно уходила вглубь и вглубь, потом встала. Алик подтягивал ее, наматывал катушку. Потом был снова рывок. До звона натягивалась леска.

— Попускай, попускай... — шептал Тимофей.

Он понял, что на крючке не лещ, но молчал об этом. И напрягся, словно сам держал удилище.

Снова рыба рванула, пошла вглубь, а потом сникла и почти до берега шла послушно. Леска вдруг ослабла.

— Подбирай! — крикнул Тимофей, испугавшись, что чиркнет умная рыбина прослабшую леску плавником и перережет.

Алик успел убрать слабину. Рыба — тяжелый сазан — плеснулась рядом с берегом и снова потянула вглубь, бросалась из стороны в сторону. Леска брунела, разрезая воду.

Лишь на пятый раз, ослабев, сазан лег плашмя на воду. Алик выволок его на сушу и упал рядом с ним, выпуская из рук удилище. Сазан звучно почмокивал круглым усатым ртом.

Темнело. Земная зелень, небесная, водная синь выцветали, обращаясь в дымчатый сумрак, который густел вдали, и, пробивая его, вспыхнул на реке белый огонек бакена. Вспыхнул, погас, снова вспыхнул и ровно замигал, отсчитывая время вечернее, а потом ночное до завтрашнего утра.

Лето наступало зеленое. Перепадали дожди. День за днем солнце светило не скупясь. Трава поднималась на глазах. Даже далекие пески за Доном, обычно голые, желтые, нынче гляделись весело в зеленом пуху.

Выбирая время, Тимофей с Аликом рыбачили вечерами да в полдень, когда овцы отдыхали на стойле от дневной жары.

Как-то Алик предложил Тимофею:

— Возьми мой приемник. Скучно целый день одному. Будешь его слушать.

Тимофей в ответ рассмеялся:

— Галды не хватало? Чего там слухать? Песни? Я лучше сам песняка сыграю. «Пчелочка златая, что же ты жуж-

жишь..» — пропел он шутливо. — А новости ихние, они мне и на понюх не нужны. У нас своих новостей хватает. Вот волков надо опасаться. Добрые зверюки нас не обходят: то зайца спугнешь, то лисица, косули, такие приглядные. Некогда скучать, ты уж сам слухай.

Когда-то сыновья, повзрослев, на первые заработки купили и подарили отцу приемник, им тоже казалось, что день-деньской в одиночестве в степи скучно. Подарку Тимофей был рад, но на пастьбе приемник не пригодился. Однажды положил в сумку, включил, малость послушал и выключил. И уж больше не брал. На попасе в степи и впрямь своих новостей хватало, успевай слушать и глядеть. И прежде и теперь, в месте новом, высоком, откуда далеко было видать.

Обычно отару пускал Тимофей вполгоры, а сам поднимался выше и стоял, грудью опершись на высокий посох. Глядел на овечек и вокруг. Здесь, в Задонье, пасти было не в пример легче: скотина как на ладони. Там, далеко внизу, в годы прежние было тяжелее. На лугах в жару нудятся коровы, овод им досаждает, и они, задеря хвост, мчатся куда-то, ища спасенья. Здесь, наверху, дул ветер, отгоняя летучую тварь.

По лесистому займищу тоже пасти непросто. Коровы разбредаются, всех не увидишь. Отобьется далеко в сторону, потом ищи. Корову Подольцевых Рябуху Тимофей помнил и теперь. Отчаянная была коровенка, бедовая. Так и лезла куда не следует. Другую, такую натурную, давно бы перевели. Но время стояло голодное. У Подольцевых четверо ребятишек росли без отца. Держались на Рябухе своей. Доилась она хорошо, и долго, считай, до нового телка, из нее молоко тянули. Пахали на ней. Зимой ездили за Дон, набирая дров. За плату отдавали людям внаем.

Однажды в займище, что виднелось отсюда сочным пятном, подольцевская Рябуха пропала. Тимофей сбился с ног, изодрался среди кустов и наконец к вечеру наткнулся. Рябуха тонула в грязи прибрежной бочажины.

Он сам чуть не потонул вместе с нею. Сначала ломал хворост, ветки, мостя грязь. Тащил за рога, звал, упрашивал: «Рябуня, Рябуня... Еще чуток...»

Выбрались они ночью. Их уже искали. Рябуха ушла домой сама. Тимошку тянули мать да сестра. А утром нужно было снова идти чуть свет.

Туда, в зеленые лога, уходила с Тимофеем невеста, а потом молодая жена. Неделю — на работе, а выходной — с Тимофеем. Тоже сумку через плечо, костылик в руки — и пошла. Годы молодые, а Тимофей рано уходил и возвращался ночью усталый. Добрые люди женихались в кино да на танцах. Пастухова невеста шла со стадом. Над ней смеялись, родители были недовольны. Тимофей жалел свою нареченную. Роста она была невеликого, в девичьей худобе, и работала много. «Отдохни, — говорил он ей, — отдохни в выходной». Но она не слушала и уходила.

И весь день пели для них голосистые жаворонки, взлетая из-под ног в поднебесье и падая вниз. Скрытная кукушка тихим ныряющим лётом подбиралась близко и долго считала их счастливые года. Важный удод, хвалясь, распускал нарядный гребень. Все птицы гостили у них. И целый день светила им серебряная Пастушья звезда, никому больше не видимая. Она стояла над душными логами и над песчаными пустошами, где в жаркий полдень томит и пьянит голову чабрецовый дух, и над пологими степными курганами, где гуляет и студит голову горький полынный ветер.

В обычную пору вышел Тимофей с отарою на вершину холма, лежащего перед хутором. Еще было время не торопясь пройти пологим склоном, спуститься вниз и покормить овец в хуторской низине, а уж потом к ночлегу.

С холма открывалась просторная долина, стекающая к Дону. По увалам, по изволокам, в теклинах да падинах курчавились боярка, шиповник да барбарис, редкие дубки, дикие яблони, черноклен да вязы. Земля, еще не спаленная солнцем, зеленела молочайником, свистухой, мягко серебрилась полынком, кое-где струились по ветру редкие ковыли.

Селенье лежало внизу. Череда домов, летние кухни, сараи, сады. Издали, сверху, хутор гляделся словно живой — все зеленело в нем, шиферные крыши светились под солнцем. Над домом деда кружили голуби, словно кто-то гонял их, забавляясь.

И снова в который раз подумалось Тимофею о том, что неплохо бы поговорить в совхозе да взять себе отару или стадо молодняка. Пусть помогут, а жить здесь можно, особенно людям пожилым. Пасти скотину, пчелами заниматься, картошку сажать. Так и текла бы жизнь артелью. Бабку бы какую найти, хозяйство править. Не скучали бы...

По дороге к хутору от грейдера вниз бежала машина, крытый брезентом «уазик». На таком ездили директор совхоза да районное начальство.

Машина, прокатив по хутору, остановилась у чабанского дома. Люди из нее не вышли. Навстречу со двора уже спешил хозяин. Потом он вернулся в дом и вышел с ружьем.

Директор совхоза всегда чудил. Он не просто брал птицу или еще чего, а стрелял из ружья, не покидая машины. Подавали ему ружье, подкатывали машину к индюкам ли, гусям ли, курам, и директор стрелял их, словно дичину. Зинаида брала подбитую птицу и успевала ощипать, пока директор с хозяином отмечали стаканом-другим успешную охоту.

Так было и нынче: ружье — в кабину, далекие выстрелы: пу! пу! Слышно было, как клекочет испуганная птица.

Тимофей неторопливо вел отару, солнце склонялось к холмам. В хуторе у кошар снова стреляли. Видно, затевалась гульба.

Алик на мотоцикле приехал за коровами да козами. С горы напрямую к стойлу гнал свою отару Чифир. Его порою звали веселить приезжих. Он читал стихи про дочурок, злодейку-жену, зарабатывая стакан-другой. Потому и спешил.

Тимофей повел отару не улицей, а стороной, загнал ее. Во дворе у хозяина шумели. Чифир уже был там. Издали было слышно, как он голосит:

Дорогие мои дочурки!
Я пишу вам эти стихи.
У своей горячей печурки
Вы простите мои грехи!

Хохот покрывал его голос:

— Простим! Вали еще!

Жену-злодейку ненавижу
И, будет случай, удавлю!
А вас, дочурки, не обижу,
Я вас без памяти люблю!

И снова хохот.

Алик прогнал сначала коз, а потом коров. Тимофей помог загонять. Кормили свиней, засыпая им ведрами дробленку. Сразу и птице зерна подсыпали. У вольеров еще летали перо да пух, кровью была обрызгана земля. Птица испуганно жалась по углам.

Пора было ужинать, но к гульбе, к чужим пьяным людям, идти не хотелось. Тимофей попросил Алика:

— Принеси чего-нибудь. Тут поедим.

— Водки надо? — спросил Алик.

— Ну ее... — отказался Тимофей.

Алик принес кастрюлю лапши, жареную курицу. Тимофей уселся на ступенях вагончика, мальчик внизу на колоде. Звякая ведрами, пробежала к коровам Зинаида.

— Вечеряете? — спросила она. — Бог в помощь.

— Управляемся, — ответил Тимофей.

Следом за нею появился один из пьяных гостей. Он шел нетвердо и звал:

— Зина! Иду к тебе... Буду ощипывать, как курицу. Зина! Ты где? Где Зина? — остановился гость перед Тимофеем и Аликом.

— Подоила. В дом ушла, — сказал Тимофей. — Там ищите.

Гость поверил, развернулся и пошел к дому, возглашая:

— Буду ощипывать! Готовься, Зина!

— Теперь поздно уедут, — сказал Алик. — Может, на Дон сходим?

— Пойдем, — ответил Тимофей.

Появился пьяный вскудлаченный Чифир.

— Где Зинка? — спросил он.

— Доит, — ответил Тимофей. — Чего она тебе? Чалься к нам.

Чифир пошагал к коровьему загону, что-то бормоча.

— Иди отсюда! — крикнула на него Зинаида. — Твоих только поганых рук не хватало! Иди, говорю!

— Чифир! — громко позвал Тимофей. — Отстань от нее.

Зинаида вышла с молоком, следом плелся Чифир.

— Ты кто мне? Свекор?! В четыре глаза за мной глядишь, — ругалась Зинаида. — Сопел бы вприжмурку, а то считает чужие грехи. Наплетете: на вербе — груши, а люди потом молву волочат...

— Зинка, я серьезно... — убеждал Чифир. — Хочешь, я стих сочиню?

— Иди спи. Напился на чужбинку, вались. Без тебя тут не знаешь, куда хорониться.

— Зинаида! Зина! — спешил от дома хозяин. — Тебя ждем.

Он оттолкнул Чифира и повел молодую женщину ко двору, что-то ей втолковывая.

Тимофей с Аликом пошли к реке. Звуки гульбы стихли, когда спустились к Дону.

Прошел буксирный теплоход. Три большие волны с шумом набежали на берег, потом долго поплескивали мелкие.

Вода успокоилась, и на вечернюю реку снова легло отраженье белой осыпи холма и зеленой его вершины с низкими деревами, кустами. Рыба ловилась плохо.

— Мать письма пишет? — спросил Тимофей.

— Пишет, — ответил Алик.

— Скучаешь по ней?

Алик вздохнул, сказал:

— Она, может, приедет. Дедушке получше будет, поглядит за хозяйством, а она приедет.

— Дай-то бог, — искренне пожелал Тимофей. — Я вот уж сам дед, а об матери помню. Жалела меня. И твоя об тебе горюет, думает: как он там, мой сынок...

Рыба клевала плохо. Может, погода портилась. Поймали пяток окуньков — и словно отрезало. Недвижно лежали поплавки на воде.

— Нынче-то коровы не в зеленях паслись? Не на хлебе? — спросил Тимофей.

— Нет, — ответил Алик.

— Ты уж не гоняй в хлеба. Хлеб травить — это великий грех. Раньше, бывало, корочку сосешь и сосешь, сладкая.

Сеструшка моя из-за куска хлеба в петлю лезла, еле вытянули, отходили.

— Как в петлю? — не понял Алик.

— Ну как... По карточкам тогда хлеб давали, по норме. Сто, сто пятьдесят грамм на душу. Сеструшка за хлебом пошла, карточки все при ней. Она их утеряла. Ну и всё. Пришла молчком и в сарай, в петлю. Спасибо меньший братишка увидал да зашумел. Отходили. А карточки добрые люди принесли, — мягко сказал Тимофей, и даже теперь, через столько лет, слезы подступили к глазам. — Нашли и принесли...

Помолчали.

— А нам с тобой либо сомами заняться? — вслух подумал Тимофей.

— Сумеем? — спросил Алик.

— Как будем ловить. Там, пониже, поворот реки и должно быть сомовье бучило. Яма такая, сомы там в прохладе любят... Лежат, развалясь, — показал он, потягиваясь.

Алик оставил удочку, придвинулся.

— А на что ловить?

— Это дело серьезное. Надо шнур, крючки большие, а насадка — ракушка, воробей жареный. Доброе дело сом. Забалычим и станем с картошкой есть да водичку попивать. Здоровучие бывают сомы. Я пацаном чуток не до смерти напугался.

Над потемневшей рекой возле берега шумно плеснуло.

— Вполне возможно, и он... — понизив голос, сказал Тимофей. — Вышел на охоту.

Смотали удочки, пошли к дому.

— Перетяжку я проверял с лодки. Ночью проверял. Перетяжку поставили, сами на берегу костер жгем. И проверяем. Ребята поснули, я один поплыл. Светло, луна большая. Поднимаю перемет, гляжу, рыбу сымаю. Потом тяжело пошло, неподъемно. Чую — прямо карша. Тяну ее, тяну. А по воде светло, луна. И вдруг прямо под носом вылазит из воды — лоб, глаза маленькие и усы, блестит все. Господи — водяной! Руки мои опустились, и я в лодку упал. Упал — еле дыхаю. Отдыхался, пришло на ум: да это же сом. Понял и боюсь. Но все же вытянул. Еле перевалил в лодку. Сомы, они ленивые, не бьются.

На взгорье остановились. Стемнело. На том берегу, где-то в старице, в озерке, крякал селезень. Позовет и смолкнет. Плескалась раз за разом у берега большая рыба. Потемнела вода. В займище на той стороне густела мгла. А небо лежало светлое, малое облачко, словно птичье перо, светило высоко над землей.

Тимофей у своего вагончика поставил удочки, сел покурить. В хозяйском дворе шумели. Обойдя кошары, базы, встал возле Тимофея Алик. Он глядел в сторону дома, слушал голоса.

— Не уехали... — посетовал он. — Орут.

— Ну и спи у меня, — сказал Тимофей. — Койка есть, матрас есть, одеяло. Спокойненько переночуем.

— Зина! — закричал вдруг Чифир, выбегая из вагончика. Он споткнулся на пороге и рухнул на землю. — Зина! — звал он, поднимаясь. — Зина!..

Лицо его было в крови. Тимофей схватил Чифира.

— Зачем она тебе? Иди ложись!

Но Чифир рвался из рук.

— Она жена моя! Законная! Перед Богом!

Что-то смешалось в его бедной голове, что-то запуталось.

— Зина! — кричал он. — Зина!..

Подошел от двора хозяин, спросил:

— Чего орешь? Напился — спи.

— Где Зина?!

Он рванулся и побежал.

— Пускай, — сказал хозяин. — Где-нибудь упадет, проспится!

— Зина! Зина!.. — слышался уже издалека, из хутора, громкий зов. — Ты где?!

— Я у Тимофея посплю, — сказал Алик отцу.

— Ну и спи. А то там... — Он повернулся и пошел ко двору, к дому.

— Ложись... — сказал Тимофей, трогая мальчика за плечо. — Ложись.

Он устроил Алика, сам вышел на порог. Шумели во дворе. А где-то на хуторе вдали кричал Чифир:

— Зина! Зина!

Тимофей вернулся к мальчику. Тот еще не спал.

— Мама меня укладывала, — вспомнил Алик, — песню пела...

И он запел вполголоса на своем языке, потом смолк, прошептал:

— Я ночью летаю к ней. Как засну, так лечу и лечу. Она меня ждет, и сестренки ждут. Каждую ночь...

И он тоже снова запел сам себе на своем языке. Тимофей помог ему, тоже негромко:

Ты, овсенка-дуда,
Иде ты была?..
Иде я была,
Коней стерегла...

Когда это было?.. Давным-давно, словно не в этой жизни, а в полузабытой сказке пела мама над ним нехитрую песню. Потом он, правда редко, над своими ребятами... Давным-давно... А помнилось все, до единого слова.

А иде эти кони?
За воротами стоят.
Ты овсенка-дуда,
А иде те ворота?
Волна унесла, волна унесла.
Овсенка-дуда, а иде та волна?
Быки выпили, быки выпили...

Мальчик ткнулся лицом в Тимофееву руку и замер. У Тимофея перехватило горло, но он пересилил себя и шептал, склоняясь все ниже и ниже:

А иде те быки?
За бугры ушли, за далекие.
А иде те бугры?
А их ветер стоптал.
А ветер иде?
Уморился и спит.
Уморился и спит

И табе велит,
Табе велит...

Мальчик, засыпая, вздрогнул. «Полетел... — подумалось Тимофею. — Ну и нехай... Хоть так...»

Он вышел покурить. «Беда, беда... — повторил он неслышно. — Беда, беда... Вот они, и деньги, и машины, и дома, и всё на свете... Беда, беда...»

С порога он увидел зарево. Над хутором вставало пламя. Забыв обо всем, Тимофей бросился бежать.

Горело одно подворье, а рядом другое, занималось третье. Ярко и неслышно полыхали солома и чакан крыш. Трещал пулеметной очередью шифер, разлетаясь огненными брызгами. И где-то там, у огня, кричал Чифир:

— Зина! Зина! Все равно найду!..

— Чифир! Чифир! — еще издали стал звать Тимофей. — Чифир! Это я!

Он уже подбегал к полыхающему дому, когда раздался крик:

— Найду!..

Темная человечья фигура бросилась в горящий дом. И раздался вопль. Он был протяжен и страшен. Тимофей встал. А горящий дом рухнул, обрывая крик. Взметнулись тучи искр, улетая во тьму. Рядом полыхали кухня, сараи, соседние дома.

Вставало зарево, освещая склоны холмов, изрезанные падинами да балками. В неверном свете они казались бездонными. Хутор горел.

На другой день Тимофей хоронил Чифира.

Хозяин с утра сказал:

— Не было никакого Чифира. Ты понял? Бродяги ночевали в хуторе, подожгли. Чифира никакого не было. Гони отару.

— Чифира не было, баранов не было... Чего ни коснись — ничего не было... — горько усмехнулся Тимофей.

— Тогда уходи, — перебил хозяин Тимофея. — Плачу деньги, и уходи. Чифира никакого не знаю, тебя... тоже никакого не знаю. К вечеру чтобы не было...

Обгоревшее тело Чифира Тимофей отыскал в погребной яме на пепелище, завернул его в одеяло и унес.

Хуторское кладбище лежало на взгорье. На нем давно не хоронили. Подгнивали и падали кресты. Могильные бугорки заросли полынью и уходили в землю. Тимофей выкопал могилу, схоронил Чифира, вернулся в вагончик.

Уложив вещевой мешок, он решил идти в поселок не дорогой и грейдером, а над рекою, по Дону. Он не хотел встреч с людьми, попутных машин, быстрой дороги. Идти не торопясь, шагать и шагать над водой. Не успеет до вечера, тоже не беда, заночует, костерик разожжет.

Напоследок Тимофей заглянул в жилище Чифира, думая найти там какой-нибудь след прошлой жизни. Может быть, адрес, чтобы жене сообщить, детям... Но в комнате было пусто и чисто, подсыхал свежевымытый пол.

Закинув за плечи рюкзак, Тимофей зашагал мимо кошар и базов, не оглядываясь на черное пепелище. Над Доном, над кручами холмов, в затишке было жарко. Тимофей прошел недолго и почуял усталость. Позади лежала бессонная ночь, просило тело покоя. В устье балки, чуть поднявшись на взгорок, в тени Тимофей лег отдохнуть. И заснул.

Проснулся он под вечер, испуганно вскинувшись. Показалось ему, что пасет он скотину и заснул. Он вскинулся, сел и сразу пришел в память, успокаиваясь. Чуть слышно шелестела мягкая, молодая листва деревьев, куст шиповника светил розовыми цветами.

Рядом по земле тянулась муравьиная тропа: светлая нить набитой дорожки, а по ней — живая черная прядь муравьев. Муравьи спешили друг за дружкою. Наверх — порожнем, а вниз — с ношею травяных семян. Их беззвучное движение завораживало. Неслышно, безостановочно они шли и шли. Текла и текла нескончаемо живая нить. Это была жизнь чужая, непонятная. Она теплилась рядом, бок о бок, но словно в мире ином, не видя Тимофея и не зная о нем. Таинственная, странная жизнь: заботы, неустанный бег даже на исходе дня. И не ведают, что склонилось над ними, и следит то ли добрая сила, а может — смертная тень.

Вдруг повеяло холодком. И почудилось, что кто-то иной, великий вот так же склонился над людской муравьиной кучею, наблюдая ее. Сам Тимофей, хозяин, бедный Чифир, не больно счастливая Зинаида, сиротливый мальчонка, а рядом еще и еще... Все в заботах, в суете муравьиной, голову некогда поднять: дела и дела. А кто-то склонился, глядит... Вот так же.

Тимофею вдруг стало страшно. Он явственно чуял этот взгляд. Хотелось вскинуть голову и увидеть... Но медленно распрямлялась спина.

Вечерело. Солнце уходило за гору. Смолкли птицы. Тимофей развел на берегу костерик, вскипятил в котелке воду, заварив доброй жменей сухих ягод шиповника и розовыми лепестками цвета. В терпком, душистом питье не хватало привычной горечи.

Можно было уходить. По вечерней прохладе не спеша идти и идти. Но Тимофей решил остаться и провести на берегу ночь, потому что более он сюда не вернется, лишь будет вспоминать кучерявую зелень займища на том берегу, тихую вечернюю воду, удушливо-пряный запах цветущего лоха, обрывистый берег, изъеденный сотами птичьих нор. Там уже успокаивались верткие ласточки-береговушки, золотистые щурки да голубые сизоворонки.

И ясно вдруг вспомнилось, что возле хутора, где-то здесь, проходила через Дон каменная гряда, мелководье почти от берега к берегу. Там хорошо ловилась стерлядь в давние времена, когда еще не было плотины у Цимлы.

Вспомнилось лето ли, осень — теплая пора. Он мальчонкою у деда в гостях. Так ясно увиделось: Дон неширокий, плетенная из чакана кошелка у деда в руках — стерляжин перемет проверяют. Течение быстрое, на гряде трудно стоять. И выплывает из светлой воды стерлядка, чудо-юдо остроносое, в золотистой кольчуге, с костяными бляшками.

Это было здесь, от хутора недалеко, вниз по течению.

Сверху, под горой, послышался голос мотора. Невдалеке от балки и Тимофеева становья, где вода подступала к обрыву, мотор смолк. Шелестящие, похрустывающие по мелкому камню и ракушке шаги приближались.

Это был мальчик Алик, хозяйский сын. Он подошел к костру, сел у огня. И Тимофей теперь уже вслух продолжал свои мысли:

— Раньше в голову не вошло, лишь ныне вспомянулось. Наш хутор звался Каменнобродским, потому что поперек Дона каменная коса. К осени на быках переезжали. И на этой косе всегда стерлядка держалась. Ты ее на лицо видал?

— Нет, — ответил мальчик, — лишь на картинке.

— Картинка — ерунда. Стерлядка на личность до чего приглядная... Прогонистая, носатенькая, и без солнца горит, светит. Ловили ее на переметы. Так и назывался: стерляжин перемет. Шнур, на нем поводки, на конце крючок самодельный, без бородка, острючий, прям жало. А сверх крючка пробка. На быстрой воде, на перекате стерлядка играет с пробкой — и на крючок.

Словно и не было позади вчерашней ночи, беды, нынешнего расставания. Словно обычным вечером у костерка собрались они.

— Время тогда голодное. В колхозе вовсе не платили. По весне стерлядкой спасались. Сетей нет, и ниток нет их сплесть, а переметы — полегче. Бабаня потом вспоминала: «Стерлядь и стерлядь... Утром несет дед, а я его корю: когда уж мы до добрых харчей доживем, обрыдла твоя стерлядка». А теперь бы поглядеть на нее, — посмеялся Тимофей, — поискать, может, остался перекат?

— Ты же уходишь... — сказал Алик, поднимая на Тимофея глаза.

— Да, да... — вспомнил Тимофей. — Сам понимаешь, нельзя мне оставаться, — проговорил он виновато.

Мальчик вздохнул, стал ворошить палкою угли костра. Лицо его в неверных отблесках угасающего пламени было печальным.

— Ты не горюй! — воскликнул Тимофей. — Не горюй! Я далеко не уйду, я тут, наблизу, на той стороне, в Рюмине, наймусь или в Камышах, а может, в поселке. Буду пасть. А ты надбегай. У тебя лошадка железная, незаморенная. Ты надбегай, мы по озерам побродим.

— Правда? — спросил Алик. — Ты не уедешь в город?

— Не к спеху туда, — сказал Тимофей. — Все озера с тобой пройдем: Нижнее, Среднее, Бугаково, Некрасово, Линево, Карасево, Назмище. Там наша воля. Поглядишь, какие места. Вроде и рядом — а все другое. Птица чудная есть: кулик-сорока. Нос у нее долгий и краснючий, как морква. А телом — сорока. Цапли — чапуры, по-нашему. Журавли — на Назмище. Ты журавлей видал?

— Нет.

— Повидаешь...

В затухающий костер мальчик бросил сухого плавника, и вспыхнуло пламя, раздвигая зыбкие сумерки летней погожей ночи.

— Уйдем на Лучку, на Старицу... Там теплые воды. Сплетем пару вентерей. Нам много не надо. Лишь на погляд да ушицу сварить. Линей будем брать. Нашего линя из воды вынешь — он золотой, светит. И враз пеплом подернется, потемнеет. Кто не видал, не поверит... Уйдем на озера, там камыши, пески...

Мальчик прилег у костра: в языках пламени, в жарких углях виделись ему далекие золотые озера в окружении камышей и песков. Над огнем, наклонясь, сидел Тимофей, рассказывал, и, послушные ему, из зыбкой глуби озер поднимались сказочные золотые рыбы и вновь уходили. Осторожные ночные птицы вздымались и реяли рядом, овевая лицо, и звали за собой.

Это был сон, золотой сон, когда лишь забудешься, вскинешь руки во сне и поднимает тебя над землей: сначала кружишь осторожно и низко, еще не веря, потом, осмелев, вздымаешься выше и выше, испытывая дух. И наконец, поверив, смело устремляешься в полет. Все выше и выше. Далеко внизу — золотые озера, золотой огонек костра, над ним человек склоненный, что-то бормочет, усыпляя и сам затихая. Уходит. Послушное легкое тело стремительно мчит, набирая высоту и скорость. Вперед и вперед... Где-то там, далеко, у синеющих гор, ждет его мама.

СОДЕРЖАНИЕ

Литературно-художественное издание

Борис Петрович Екимов

НА ХУТОРЕ
повествование в рассказах

редактор
Лариса Спиридонова

художественный редактор
Валерий Калныньш

корректор
Ирина Машковская

Подписано в печать 10.10.2009.
Формат 84×108 $^1/_{32}$. Бумага писчая.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,36.
Тираж 2000 экз.
Заказ № 615.

«Время»
115326 Москва, ул. Пятницкая, 25
Телефон (495) 951 5568
http://books.vremya.ru
e-mail: letter@books.vremya.ru

Отпечатано в соответствии с качеством
предоставленного оригинал-макета
в ОАО «ИПП «Уральский рабочий»
620990, г. Екатеринбург, ул. Тургенева,13.
http://www.uralprint.ru e-mail: book@uralprint.ru

Плакать не надо. Нужно жить. Осмотреться, огля-
деться, подумать — и жить. Потому что второй
жизни не дано, плачь не плачь. Я думаю, что все
мои книги, и прежние рассказы, и повести — они
об этом же: о жизни на земле, о жизни в России,
о жизни все-таки прекрасной, несмотря ни на что.

Борис Екимов